

НОВЫЙ МИР

10

1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10(858)

Октябрь, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЕКИМОВ — Рассказы	3
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ — На траве у веранды, стихи	24
АНТОН УТКИН — Хоровод, роман. Продолжение	28
ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА — Грибоедов. Три отрывка из поэмы	115
ВАДИМ СТЕПАНЦОВ — Владимир, стихи	118
ВИЛЬЯМ ОЗОЛИН — Король Лир, принц Гамлет и печник Зверев, рассказ	120
ГЕОРГИЙ БАЛЛ — Три коротких рассказа	128
МАЭЛЬ ФЕЙНБЕРГ — «О нет, я не осталась жить — я с вами!...». Публикация и предисловие Владимира Глоцера	132

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«...Я ЧЕЛОВЕК НЕГНУЩИЙСЯ И СВОЕВОЛЬНЫЙ. ТАКИМ И ОСТАНУСЬ». Письма Е. И. Замятина разным адресатам. Публикация Т. Т. Давыдовой и А. Н. Тюрина. Вступительная статья, перевод с английского и комментарии Т. Т. Давыдовой	136
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МИХАИЛ КУРАЕВ — Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург. Путевые заметки	160
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

«О ПЛАМЕННОМ ХОРЕ, КОТОРОГО НЕТ НА ЗЕМЛЕ». Разговор о творчестве Даниила Андреева с участием Бориса Романова, прот. Валентина Дронова, Владимира Микушевича, Станислава Джимбинова, Светланы Семеновой, Василия Морова, Аллы Андреевой. Запись беседы и подготовка текста Татьяны Антонян	203
---	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — Что имеем, не храним...	216
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

220

Валерий Липневич. Белый квадрат.
Татьяна Бек. Предшествование — и шествие вперед.
Лиля Панин. «Как вдруг растормошенная зола...»
Сергей Бирюков. Оттенки тревожного.
Рената Гальцева. Об умирании искусства.
И. Мочалов. Драма творческой личности.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

К. С. ПОМЕРАНЕЦ — «Новый мир» о наводнениях в Петербурге — Ленинграде	237
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ:	
Майя Злобина. — В поисках утраченных мгновений	242
КНИЖНАЯ ПОЛКА	246
ПЕРИОДИКА	249
SUMMARY	256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

БОРИС ЕКИМОВ



РАССКАЗЫ

ВОЗЛЕ СТЫЛОЙ ВОДЫ

Приметный, с желтым кузовом «газик» районной рыбоохраны катил от райцентра по замерзшему Дону, шершавому белесому льду его. Катил и катил, неторопливо, но без остановок, другой уже час. Незачем было останавливаться.

С самого утра по Дону мело. Тянула низовая кура. Лениво, волна за волной, тащились белесые дымы поземки. Под черными ярами правого берега было тихо, на левом, луговом, — вьюжило; по льду замерзшей широкой реки дуло, словно в трубе, несло старый крупитчатый снег.

По стеклам машины скребло, шуршало. На воле лицо сразу начинало гореть, и глазам было больно от снежного чичера.

И, конечно, людей на льду не было. Лишь возле Калача сидели несколько рыбаков, прячась в жесткие брезентовые плащи с куколом да целлофановые мешки. А дальше, в долгом пути, — вовсе никого. В устье речки Кумовки обычно толкся народ городской, с электрички. Нынче — пусто. Возле Пятиизбянской — тоже никого.

Неторопливо ехали и ехали, пробираясь к конечной цели — к хутору Рычковскому, что на Цимле. Там ждали их. Но по дороге, службу неся, нужно было ухватить каких-нибудь рыбаков — нарушителей правил подледного лова. Обычно с этим было просто: крючков больше положенного, снасть не та. Но нынче километр за километром тянулся пустынный замерзший Дон. Кое-где ледовая дорога была обозначена вешками, обходя места опасные — полыньи да майны на быстром течении. Чернели, обдутые ветром, береговые обрывистые холмы. Луговая сторона тонула в снежной замяти. Дымила поземка. Секло по стеклам машины. Шуршало по фанерному ее верху. В кабине было тепло, даже жарко. Сидели там двое: шофер и инспектор рыбоохраны, похожие друг на друга, крепкие, круглолицые мужики, в теплых тяжелых полушубках.

— Никого... — со вздохом сказал шофер. — Собаку хозяин не выгонит по такой погоде... Надо бы хоть пару квитанций выписать. А то опять начнется: ездите... — передразнил он начальника рыбинспекции. — Бензин жгете... Бьете машину... Свои делишки...

— Надо бы, — согласился спутник. — Придется на Цимле погонять. Там из города едут.

— Нежелательно, — ответил шофер. — Подвижка была. Трещины. Пере мело. Залезешь и не вылезешь.

Так и катили. И уже близок был железнодорожный мост через Дон, за ним — просторная Цимла, водохранилище, и хутор на берегу — конечная цель пути.

Справа, у берега, увидели темную на заснеженном льду фигуру человека.

— Поворачивай, сетку поднимает.

— Да это же Сашка, — сказал шофер.

— Ну и ладно. Квитанцию выпишем.

— Да он же — дурак, бич. А сетка — смех один.

— Выпишем для отмазки. Чем искать кого-нибудь.

Шофер пожал плечами и, свернув, подъехал к сидящему на корточках человеку, который и впрямь выбирал из проруби рыболовную сеть, выпутывая и бросая рядом рыбешку. Это был Сашка. С приехавшими он поздоровался, поднимаясь и вежливо кланяясь:

— Здравствуйте.

— Здорово, здорово... Как рыбалишь?

— Плохо, — ответил Сашка и стал выбирать последние метры невеликой сеточки, местами рваной, местами связанной узлами.

Поймал он и вправду немного: пяток подлещиков, двух красноперок и увесистого толстоспинного рыба. На белом снегу только что поднятая из воды рыба нежно розовела.

— Почему закон нарушаешь? — строго спросил инспектор. — Кто разрешил сетью ловить? Браконьерствуешь.

Сашка слушал приезжих и, конечно, не понимал ничего. Он был бездомным придурком: резиновые сапоги, заношенная телогрейка, худое, темное от мороза и ветра лицо. Он жил здесь в убогой землянке, на берегу, вдали от людей. На ближнем хуторе знали о нем.

— Сеть изымаем. Какие еще есть запретные снасти? Пошли проверим.

Инспектор, а за ним — шофер зашагали по набитой тропке к берегу, к землянке под обрывом. Они прежде ее видели лишь издали. Теперь шли к ней, с удовольствием разминаясь и продыхиваясь после долгой езды и прокуренной душной кабины. Бедный Сашка тащился позади незваных гостей, удивляясь, взмахивая руками, что-то бормоча.

Землянка пряталась в обрыве холма, на выходе балки. Устроили ее когда-то шахтеры с Украины, обычно отдохавшие в этих краях при воде и рыбе. Устроили для жилья летнего. Снаружи в обрыве была видна лишь горбылевая дверь, кое-как обитая толем, да торчала из земли труба.

Любопытствуя, инспектор открыл дверь, чиркнул спичкой и позвал товарища: «Погляди... Во зверье как живет...» Но тот отмахнулся. И вправду, чего было смотреть: земляные закопченные стены, железная печурка, дощатый топчан да стол. Била в нос кислая вонь нечистого жилья, сажи, дыма.

А Сашка стоял рядом, все так же что-то бормоча себе под нос и взмахивая руками. Рядом с крепкими, щекастыми мужиками в полушубках, шапках да валенках Сашка гляделся какой-то птицей-заморышем: вязаная шапочка на голове, хлопающие по тощим икрам резиновые сапоги, на худом, обрезанном лице лишь сизый нос да больные воспаленные глаза.

— Рыбка плохо ловится... — бормотал он. — Холодно...

И впрямь было холодно на ветру.

— Составляем акт, рыбка... — оборвал его инспектор. — Изымаем орудия лова.

Возвратились к машине, к проруби, к сетке, которая уже обмерзла под ветром на льду. Ее отодрали комом и бросили в кузов. Туда же — пешню. Составили акт и сунули Сашке под нос:

— Читай и расписывайся. Не хочешь? От подписи отказался.

С тем гости и укатили, оставив на льду бормочущего Сашку. Теперь их дорога была коротка: перед мостом объехали припорошенную снегом майну, с ледостава обозначенную пучками желтого чакана, нырнули под мост. Вдали виден был хутор, где ждали их. Машина, словно сама собой, побежала скорей.

Сашка же постоял на льду, глядя вослед уходящей машине, все так же бормоча и взмахивая руками. Потом он вернулся к землянке, колом подпер дверь и заспешил вдоль берега, к разъезду, к хутору, к рыбакам — единственным людям, которые знали его и жалели.

Сашка появился на разъезде ранней осенью. Сейчас по свету бродит людей немало: одних война да горе тронули с места, другие — всякая пьянь да рвань, — почуяв волю, полезли наружу. Так что бродягами никого не удивишь, ни в городе, ни в селе.

Объявился Сашка еще по теплу. По хутору он не шлялся, глаза никому не мозолил, с первого же дня прибившись к рыбакам. Хутор стоял на берегу просторного водохранилища. Сюда, в места рыбные, наезжали колхозные рыбаки с верховьев Дона, с Иловли да Калача. Возле них кружился всякий народ. Помогали невод тянуть да с сетями управляться, за труд получая кров, харчи, а главное — пойло. Такой народ появлялся и пропадал. К этому привыкли.

Прибыл Сашка неизвестно откуда. Еще нестарый. На лицо — темный, словно чугун. Непьющий. Но явно с дурью, не в себе человек. Появился он в тюбетейке, рубашке и кедах на босу ногу. Пристроился к рыбакам. Его приодели: нашлась старая телогрейка, резиновые сапоги. Стал он жить, старательно рыбакам помогая. А потом исчез. Но его видели порой у хуторского магазина, где он менял рыбу на хлеб. И уходил к Скитам. Было такое место вверх по течению: обрывистые холмы, меж них — лесистые балки. Там он устроился в землянке, летнем приюте отпускников-горожан. Помаленьку рыбу ловил, кормился ею, никого не трогал. Ударили холода. А он так и жил в своей норе. Больной человек, дурак — какой с него спрос. Никому не мешает, и слава Богу.

Порой он навещал рыбаков. Они его привечали. Ведь страх было глядеть, как он в дырявых резиновых сапогах, считай на босу ногу, среди зимы бедует. В портянки его одели, в носки, оставляли жить. Дары он принимал, но уходил к себе.

И теперь, когда его обидели, куда было податься? Лишь к рыбакам. И Сашка заспешил к ним вдоль берега, отмеряя привычный путь от холмистых Скитов, чье название восходило ко временам давним, монастырским, — от Скитов к хутору.

Рыбаки квартировали в казенном доме железнодорожного обходчика, над самой водой. Они только что пришли со льда, от сетей, еще не сняв клеенчатые оранжевые робы. В санях была рыба, и Сашку встретили весело:

— За ухой пришел, рыбачок? Или свою сдать хочешь?

Сашка сразу подошел к Михалычу, немолодому рыбаку, человеку дружелюбному, и начал жаловаться:

— Приехали, обидели Сашку... Сетку забрали, пешню... Я не воровал. Я сетку нашел, чинил ее. Они забрали, — показывал он пальцем на «газик» с желтым верхом, стоявший у соседнего дома.

Михалыч все понял.

— Рыбинспекция. Придурки, — сказал он. — Справились. Либо пьяные, — и пошел к соседнему дому, где шла гульба.

Он пробыл там недолго и вернулся злой.

— Подлянки... — ругался он. — Погань... Топить таких надо.

— Надо, надо! — горячо поддержал его Сашка.

— Ладно, — вздохнул Михалыч. — Найдем тебе сетку и пешню. Не горюй. Пойдем, с нами пообедаешь.

Сашка понял, что Михалыч ему не поможет. Он покрутился еще между рыбаков, жалуясь:

— Забрали... Моя сетка... Пешню я нашел... Я не украл... — убеждал он. — Сашка не ворует. Чужое не берет.

Его звали в дом, к горячему обеду. Но Сашку жгла такая обида, что было не до еды.

— Зачем забрали сетку? Плохие, злые.

Он заглядывал в людские лица, пытаясь найти ответ. Глаза его горели болезненно.

В дом, под теплую крышу, он так и не пошел. Поглядел на желтый вездеход, погрозил ему пальцем и двинулся в обратный путь.

Начался легкий снегопад. Ветер все так же тянул вдоль реки. И теперь уже не волны белой поземки бежали по льду, а всю гуляла снежная затьма.

Сашка возвращался в землянку не рекой, а своей тропой, под высоким берегом, затишкой. Метель ему не мешала. Он быстро шел, бормоча: «Плохие... Сашка не ворует... Плохие...»

По-зимнему, по-ненастному рано стало смеркаться. Белесые сумерки прежде поры накрывали безлюдную округу: придонские холмы, замерзшую реку, далекий простор лугового берега, — все укрывалось и пряталось в быстро сереющей мгле зимнего ненастья.

Возле землянки Сашка вдруг остановился и замер. В горячечной сумятице мыслей человека больного и обиженного внезапно начало проясняться: шелухой отлетало пустое и остались лишь слова доброго рыбака Михалыча. Михалыч всегда говорил правильно, и все его слушались, хотя он и не был бригадиром. Но он давно рыбачил, давно жил и поэтому все знал. Он правильно сказал Сашке, он велел ему... И пришла пора исполнять сказанное. Вечерело.

На разъезде, в доме, где гостевала и бражничала рыбинспекция, с полудня зажгли свет и потому снегопад, метель и вечер не сразу заметили. Лишь настенные часы боем своим подсказали, что пора в дорогу.

Засобирались. Радужный хозяин оставлял ночевать. Но нынче и завтра — дни рабочие. Нужно ехать. Тем более, что дорога — не длинная. А метель — не помеха. Решили, что по льду минуют лишь мост, а потом свернут на берег. Там — асфальт до самого райцентра.

Погрузили в кузов мороженых судаков да лещей, припасенных хозяином, и распрощались.

Инспектор, который не отказывал себе за столом, был пьян и поэтому сразу улегся на заднее сиденье, пробормотав: «До дому не кантовать...» Шофер был хмелен в меру. Он выехал со двора, за хутором спустился на лед и покатил знакомой дорогой.

Стемнело. Мело. Желтый свет фар упирался рядом с машиной в зыбкую кисею снежной замяти. Но дорога была накатанной, можно прибавить газу.

Не увидев, а почуяв смутную тень железнодорожного моста, шофер сбросил газ и вовремя углядел вешки — камышовые пучки с правой стороны, где из года в год река не замерзала, а лишь схватывалась льдом на стремнине. Эту майну он знал, сто раз мимо ездил, и что-то шевельнулось в хмельной голове: вдруг почудилось, что вешки стоят не так, должны стоять левее.

Машина ушла под лед на скорости, ломая непрочное корье колесами и выбив закраиной лобовое стекло. Вода хлынула в кабину, помогая шоферу открыть свою дверцу. Инспектор, спящий на заднем сиденье, повернулся, хотел крикнуть и сразу захлебнулся. Шофер выбрался из кабины, но поздно, когда машина мягко стала на дно. Он утребался и сумел выплыть, но ниже спасительной полыньи, ударившись головой в лед. Он стукнулся раз, другой, третий, потом дважды хватнул теплую подледную воду. И все кончилось. Поднимались, бурля, воздушные пузыри из машины, желто светили фары ее.

А Сашка сидел возле своей землянки другой уже час, ожидал. Наконец он услышал гул машины, треск проломленного льда. Криков не было.

Недолго переждав, он пошел к полынье. Но поглядел на нее лишь издали. Темнело окружье воды и ломаного льда.

Сашка переставил на прежние места камышовые вешки, промолив их снизу водой, чтобы примерзли и ветром не сдуло.

Он почуял, что коченеет, от ветра и холода промерзнув до самого нутра, до костей.

Обжитая землянка не была спасеньем, но лишь от ветра затишкой. Сашка разжег огонь в печке и раз за разом стал набивать дровами ее невеликое железное чрево. Прямая труба гудела. Дрова занимались огнем и прогорали быстро. Сашка подкладывал и подкладывал новые. Бока железной печки засветились малиновым светом, и жар поплыл, волна за волной.

Печной огонь освещал землянку неверным, мерцающим светом. Дошатая лежанка с тряпьем, дощатый же стол, жестяные банки...

Сашка глядел вокруг, силясь понять, что это и откуда... И почему он здесь? Да и он ли это? Он что-то хотел вспомнить, и что-то вспоминал, и, отходя от печки, разглядывал убогое ложе, жестянки на столе, трудно понимая, что это — немудреная, но посуда.

В землянке было тихо, лишь дрова потрескивали да пламя гудело в трубе. Осторожно, словно впервые, Сашка приоткрыл дверь и сначала выглянул, а потом вышел наружу.

На воле снегопад кончился, разветривало, порою светила круглая луна, яркая, режущая глаз. Казалось, светило все: сияющие высокие облака, заснеженная земля, лед замерзшей реки. Обморочная тишина накрывала пустынную округу.

Сашка все видел и понимал. Он знал, что в нескольких километрах отсюда — людское жильё. А здесь — лишь замерзшая река, пустые берега ее. Он будто все понимал, кроме единственного: как попал сюда и зачем.

Болела голова. Вернувшись в землянку, он почуял, что его клонит ко сну. Лег и уснул.

Страшно было утреннее его пробуждение: он лишь открыл глаза — и тут же его словно подбросило. Выскочив из землянки, он побежал к реке и по льду ее, где стояли желтые камышовые вешки, ограждающие полыню. Все было явью: обычно ровная наледь со снежицей нынче была взбуравлена ломаным льдом.

Значит, все это не привиделось — здесь утонули с машиною люди.

Сном было другое, теперь очевидное: его детей, его жену и его самого топили отсюда далеко. Там не было льда.

Он распахнул телогрейку, раздвинул рубаху, пальцами пощупал, а потом посмотрел на два шрама, два сиреневых пулевых рубца.

— А-а-а-а! — громко закричал он.

Но все осталось по-прежнему: замерзшая река, снежная пустыня вокруг.

Медленно, еле волоча ноги, он пошел к землянке, сел возле нее на скамейку. А потом вдруг вскочил и что было сил ударил с размаху по скамейке. Руку пронзило болью, лопнула кожа, и полилась кровь. Сашка лизнул ее: соленая.

Рука болела, и кровь текла, а вокруг ничего не изменилось: заснеженные холмы, ледяная река, тот берег в белесом тумане. Пробуждение не приходило. А значит, все было явью.

Не заходя в землянку, он пошел той набитой тропой, которой ходил много раз: берег, снег, белокорые осокори, колючие кусты шиповника с сухими ягодами.

В жидких серых облаках над снежной белью поднялся и повис оловянный зрак солнца. Вчерашняя метель местами вовсе схоронила тропу рифлеными переметами снега. Но путь был известный, хотя и странный: словно не был здесь никогда, но много раз во сне проходил этой дорогой. А теперь узнавал знакомое, удивляясь.

На разъезде рыбаки уже поднялись. Михалыч стоял во дворе.

— А-а, Сашка... — сказал он. — Греться пришел?

— Где Сашка, где?

Михалыч опешил, потом произнес мягко:

— Ну, ты — Сашка. Кто же еще?

— Я — Сашка... Верно... — опамятовал пришедший.

Он не был Сашкой. Сашкой звали сына его. Но какая теперь разница. Тем более, что во сне ли, наяву и его теперь Сашкой величали. Пусть будет так.

— Замерз я, замерз... — поежился он.

— Заходи, грейся, — пригласил Михалыч. — Чайник вскипел.

В свою землянку Сашка не вернулся, оставшись у рыбаков. В первый же день он натопил баню, помылся, постирал белье. И стал жить с бригадой, каждый день выходя на лед и получая из улова свою малую, но долю.

Уже на третий день нашли потонувший «газик», в нем — инспектора рыбоохраны. Дело было понятное: пьяные, метель — вот и влезли в майну. Не первый то был случай и не последний.

Шла зима. Сашка у рыбаков прижился, отъелся на вольных харчах, оделся по-человечески и стал глядеться обычным молодым еще мужиком, на лицо довольно приглядным. К тому же — и работающим, без дела не сидел. Научился работать иглицей, сети чинил. Перебрал разбитый бригадный мотороллер, и тот стал бегать.

Но оставалось в нем странное. Мог говорить с человеком нормально, а потом вдруг вскидывался, умолкал, и глаза его горели тем больным огнем, что и прежде. Несколько раз ночами он будил рыбаков отчаянным криком, кого-то звал по именам. Когда включали свет, он сидел на постели белый как полотно и ничего не понимал. С трудом приходил в себя.

Случалось это не часто. Обычно жил как все: днем работал на льду с пешней, с сетями. Дома печь топил, прибирал, готовил еду. Порою оставался полным хозяином, когда рыбаки уезжали к семьям. Про себя он так ничего и не рассказал — кто и откуда. Даже Михалычу, с которым подружился. А Михалыч и без расспросов кое-что понимал. Хватало ему Сашкиной тюбетейки, в которой тот прибыл, свежих, недавно затянутых пулевых шрамов, ночных бормотаний и криков, а еще того, о чем всякий день галдели газеты да телевизор и рассказывали беженцы из краев южных.

И потому Михалыч старался с Сашкой говорить лишь о дне завтрашнем: «Сделаем паспорт тебе... На весеннюю путину пойдём, сделаем через милицию паспорт, прописку. В колхозе будешь рыбачить. Ты — работающий, непьющий. Найдешь бабу, будешь жить помаленьку...»

Так и текли дни. Прошел холодный и ветреный январь, когда на льду возле сетей морозились: трескались и кровили руки и губы, чернели лица. В феврале стало теплей, и, как всегда, работы прибавилось: рыба ловилась хорошо, быстро прибавлялся и день. А в конце февраля Сашка вдруг исчез, никому ничего не сказав.

Вся бригада на два дня уезжала в райцентр, на собрание: перед весенней путинной начальство собирало. Вернулись — Сашки нет.

Ушел ли, уехал... Ждали день, другой, третий... Не было. Понемногу стали забывать о нем. Больной человек. Стукнуло ему что-то в голову, он и подался.

Одному лишь Михалычу не давало покоя Сашкино исчезновение. Тем более, что был нехороший знак: когда вернулись после отлучки, а Сашки не нашли, то кое-кто начал проверять тряпье да невеликие деньги, оставленные в заачках. Ничего не пропало. Но в изголовье кровати Михалыча появилась новая картинка: плотина гидроэлектростанции, высоченная стена ее, стиснутая горами, синяя вода. Все комнаты жилья рыбаков были обклеены цветными картинками: полуголые бабы, артисты, певцы да певички. А вот картинки гидроэлектростанции раньше на стене не было. Хотя прежде видел ее Михалыч. И крепко ее запомнил.

В один из вечеров Сашка просматривал старые журналы. Михалыч рядом сидел с крючком и дратвой — валенок подшивал. Шуршали, шуршали листы, а потом стихло. Михалыч поднял голову. Сашка замороженно глядел на цветной снимок, где снята была высоченная плотина гидроэлектростанции в горах, просторное водохранилище. Место незнакомое. Свои-то плотины вот они: на Дону — Цимлянская и Волжская рядом. А эта где-то в горах. Высоченная, даже глядеть страшно.

— Сколько же высота у нее? — спросил Михалыч.

— Триста метров.

— Это да... — удивился Михалыч. — А воды держит?

— Десять с половиной кубокилометров, — четко ответил Сашка.

— Написано?

— Я там работал, — спокойно сказал Сашка.

Михалыч удивился признанию, но занимала его плотина. Она была очень высокая, даже страшно глядеть. И оттого какая-то ненадежная: хоть и бетонная, но стеночка, а за ней — махина воды.

— Возьмет она да рухнет, — вслух подумал Михалыч. — Чего тогда будет...

— Всем им тогда конец, — твердо ответил Сашка.

— Кому?

— Всем... И тем, кто стрелял, и кто не стрелял... И кто резал, и кто посылал их... Никто не спасется.

— Кто стрелял, кого резал?.. — спросил было Михалыч, но вовремя опомнился. — Пошли-ка лучше, дружок, покурим, чем голову забивать, — забрал он из Сашкиных рук журнал и отложил его. — Пошли...

Сашка послушался. Но на улице, возле дома, в неверном свете фонаря он снова стал говорить быстро, горячечно:

— Рухнет, и всем — конец... Всех вода догонит и всех схоронит... Не надо искать. Никто не убежит, ни Сафар, ни Абдулла...

— Погоди, погоди... — останавливал его Михалыч, но тщетно.

— Всех накроет вода, всех достанет. И тогда ты правильно сказал. Топить. Не пикнули. Нет их и не будет. Я знаю, я работал там, я смогу...

Михалыч с трудом успокоил Сашку. Увел в дом. Сидели у телевизора, в карты играли. И будто прошло. А ночью Сашка кричал:

— Таня! Где Лена?! Спрячь ее! Сашку спрячь!

Его будили. Он сидел бледный, в поту. А через час снова кричал:

— Оставьте детей! Лена где?!

Намучились с ним.

И когда Сашка исчез, оставив странный подарок — журнальную картинку на стене: высоченная плотина, вода, горы, — Михалычу стало грезиться всякое.

И однажды отправился он в Скиты, к землянке, где прежде жил Сашка.

Кончался февраль. Придонские холмы оттаяли и почернели. У берегов появились закраины, поднималась вода.

Сашкина землянка была пуста, чернея отворенной дверью. Конечно, он не вернулся сюда. Скамейка возле землянки была просторная. Михалыч сел на нее, закурил, и его разморило. Одет тепло, и желтое февральское солнышко хорошо грело.

Возле ног, в глубокой промоине, чуть слышно журчал ручеек вешней воды, стекающей из балки к Дону. На холме, на черных оттаявших проплешинах, хрипло кричало воронье.

От землянки Михалыч пошел не берегом, а Доном, выбравшись на ледовую дорогу, что тянулась по реке. По ней уже не ездили, боясь ненадежного льда, весенних промоин.

Полынья возле моста открылась. И торчали сбоку дороги обтаявшие камышовые вешки. Возле первой из них Михалыч остановился, вздохнул, вспоминая утопших. Шофера так и не нашли. Теперь лишь поздней весной где-нибудь всплывет. А может, и не найдут. Михалыч знал этого человека. Глупая гибель. Двое детей осталось. Еще нестарый.

Досадуя, Михалыч пнул ногою подножие вешки. Пучок камыша отлетел в сторону и рассыпался. Михалыч удивился и подошел к следующей вешке. И она поддалась, рассыпаясь по льду. И третья — тоже. А четвертая, пятая, шестая стояли намертво.

Большим рыбацким ножом Михалыч разгреб основание последних вешек. Сомнений быть не могло. Три первые стояли как и положено: пучки камыша, замороженные в лед. Три ближние к полынье были срезаны, а потом их просто приткнули. Но они были обрезаны, а значит, переставлялись. Потому и ушла машина под лед: ее направили в полынья, переставив три вешки правее.

Метель, ночь, хмельная голова и обманные вешки. Потом их поставили на место, приткнули, но не заморозили. Михалыч все понял.

* * *

В бригадном жилье он убрал со стены картинку плотины. Глядеть на нее не мог. Грезилось: взрыв... рушится все... вода идет валом, смывая на своем пути людей, дома.

Вечерами — чего не было ранее — Михалыч стал глядеть телевизор, последние новости. Будто ждал чего-то. И холодело под сердцем.

Сказать кому-нибудь он не решался. О чем и о ком говорить? О словах больного человека? И про вешки молчал. Теперь не сможешь. А таскать будут.

Февраль прошел. В марте началась весенняя путина. Самая трудная пора: холод, ледяная вода, рыба идет. Жили на катерах, в тесных железных кубриках. Там уж — не до телевизора. Но радио Михалыч все равно каждый день слушал. Чаше — вечерами. Спать ложатся, он включит приемник, слушает. Слушает и боится. Вот-вот объявят. Не объявляли, слава Богу. Пока...

ЧИКОМАСОВ

— Чикома-а-сов! Чикома-асо-ов!! — кричали ему через протоку. — Чикома-асо-ов!!! — кричали до хрипоты, пока не садился голос до сипа. — Чикома...

Чикомасов не отзывался.

Порой на берег прибредали старые люди. Из-под ладони, подслеповато, они искали глазами лодку у той стороны, тоже пытались звать:

— Чикомасов! Где ты хоронишься, нечистый дух?!

Им — и вовсе — не могло быть ответа.

Пьяный Валька Калмыков с ружьем приходил и дважды стрельнул, целясь в далекую землянку. Без проку...

Лежала от берега до берега немая вода: днем — в слепящих солнечных бликах, утром и вечером — в зеркальной, розовой от зари тишине. Ответа не было ни громким голосам, ни тихим, ни ружейному выстрелу.

Но Чикомасов был там: в землянке ли, возле, но живой и здоровый на том берегу, в лесистом займище. Порою курился дымок над его становьем. Ранним утром да вечерами гудел мотор, лодка уходила из протоки в Дон. Конечно, не сама. Чикомасов в лодке сидел, на корме угнувшись. Но через воду достань его. Все лодки он на тот берег угнал, даже большую железную байду. Убрался и сидел там: и рядом вроде с хутором, а через протоку не достанешь.

Харчи привозил младший сын. Старший и средний слышать об отце не хотели. Младший характером был добрее, приезжал. Он у самой воды жил, своя лодка — во дворе. Спихивал ее, греб к отцу. Хлеба привозил, курава. Отец его ждал, скучая по живым людям.

Сын приплывал, чалился, выходил на берег, оглядывая становье: землянка, стол да скамейка.

— Ну как ты тут? — спрашивал он отца. — Зарастаешь?

— Помаленьку, — отвечал старый Чикомас.

В обычной жизни он гладко брился и оттого казался моложе. Теперь — в рыжей да седой бороде — в месяц постарел.

— Ничего, — отвечал Чикомас. — Рыбалю помаленьку. Сомята идут. Балыки заберешь. А там как? — кивал он в сторону хутора.

— Та же песня, — вздыхал сын.

— А ребята? — спрашивал Чикомас о сыновьях старших.

Младший сын голову опускал и опять вздыхал. Все было понятно.

— Бабы поджигают? — догадывался старый Чикомас.

— Грызут поедом, — подтверждал молодой.

— А твоя?

— Ой... — болезненно морщился сын и рукой махал. — Не вспоминай.

Все было ясно. Не о чем больше говорить. Лишь о рыбалке. О малой воде, о сомах, о лодочных моторах.

Но старому Чикомасу нужно было иное, и он не выдерживал:

— Ну разве я — виноватый? Разве я плохого хотел? Сам рассуди. Все вроде по-умному. Названия хорошие. «Русский дом»... «Русское поле»... «Русские мастера»...

— Ладно, батя, — сразу скучнел молодой Чикомас и начинал собираться. — Поехал я. До завтра.

Он отталкивал лодку и греб потихоньку, удаляясь от отца и его становья. Старый Чикомас провожал сына, глядел на хутор.

А хутор был славный, приглядный. Лежал он на донском берегу, в устье разлатой балки. Первые дома — прямо над водой, другие — в садовой гущине — за ними, удаляясь по балке от берега.

Имя хутора было — Чикомасов. Сроду здесь жили на донском берегу Чикомасовы, Чебаковы, Сулацковы. А еще — Калмыки, то есть Калмыковы. Чикомас — это окунь по-местному. Чебак — это лещ. Сула — судак. А калмыком зовут хозяина донских омутов — сома. До десяти пудов здешние сомы тянут. Глядеть страшно: лобастая голова, усы, глазки маленькие, ни дать ни взять — водяной.

Имя хутора — Чикомасов. Старый Чикомас здесь родился, всю жизнь прорыбачил, троих сыновей вырастил, женил их, а теперь вот сидел на острове за протокой и жмурился, как приبلудный кобель, глядел на дом свой, на хутор и лишь вздыхал, когда временами кто-нибудь звал его с той стороны: «Чикома-асов! Чикома-а...»

Отзываться было нельзя. Могут стрелнуть с дурной головы да с хмельной. Так что лучше молчать и не рыпаться. Может, забудется потихоньку...

Год назад все это началось. По весне. Как раз путина кончилась. Поехал Чикомас в город. Там — брат двоюродный, кое-какие дела, новости городские. И эта самая «Селенга», «Русский дом», провалились он... По телевизору да в газетах про эту самую «Селенгу» давно галдели.

Но в городе двоюродный брат, человек грамотный, как дважды два доказал, что «Селенга» — дело стоящее. У него — зеленая книжечка, вроде сберегательной. Там все расписано: сдал двести тысяч, месяц прошел — снимай сорок. А двести твоих так и остались целенькие. Не хочешь снимать, перетерпишь, значит, больше навару. За полгода, за год — глазам не веришь, как прибавляется.

— Коммерческие банки, — втолковывал брат. — Крутят денежки, умеют крутить. Тут главное — не зевать, пока другие чешутся...

Старый Чикомас поверил брату. Деньги были. Как раз путина прошла, в колхозе хорошо заработал, да и продал неплохо, купцы не обижали. Были деньги, грех жаловаться. Сначала он положил в «Селенгу». Потом прослышал про «Меридиан». У тех — выше процент. Подъехал, свежей рыбки тамошним ребятам привез, потолковал с ними, пригласил на ушицу. И понял, что эти ребята — с головой. Ловкость есть, а денег мало. Вот они и крутятся, берут у других. Взял деньги, съездил в Москву, товару привез. «Сникерсов» или другого чего. Продал в два раза дороже. Есть навар. Двести процентов. А если из Турции, из Китая привезти — можно и больше накинуть. Свободные цены. Никто не придерется. Жизнь такая пошла. У молодых ребят — хватка, у Чикомаса — деньги. Никто не в прогаре. И пока хлопали люди ушами: кабы да чего, — у Чикомаса на книжке стали нулики прибавляться. «Русский дом», «Меридиан», «Русские мастера»... Они друг перед другом повышали и повышали процент. А Чикомасу — на руку, растут деньги. Он все, что было у него, по компаниям расовал, в одну да в другую, в третью. У жены все захоронки забрал, хоть и ревела она, дура старая. Потом стало жалко сыновей. Они хоть своим кошельком живут, но родные. Деньги куда ни попадя суют, слушая баб: ковры да тряпки. А потом еще эти доллары...

— Доллар ваш, доллар... — убеждал сыновей Чикомас. — Кумекать надо! Завтра в Америке — денежная реформа. Вы куда кинетесь? Через океан? А они не пустят, — пугал он. — Да, да... Будут они с тобой гутарить? В стенку тогда врежь свои доллары и гляди на них, радуйся. А бабы будут точить. А тут дело верное, — показывал он сынам свои книжки. — «Русский дом» называется. Русский... Все люди — свои, рядом. «Русские мастера»... «Русское поле». А там — холдинг-молдинг. Это, может, по-ихнему фига с маслом. Они потом и предъявят: грамотный, мол, читал. Все без обмана, кельми-кельми... Вот и доллары ваши...

Сыны ему не вдруг, но поверили. И в самом деле, ведь долларов не прибывало — сколько купил, столько и лежат. А старый Чикомас что ни месяц в город мотался, и в книжках его прибавлялось — аж завидно, слюнки текли.

Сыновья потянулись за старым Чикомасом, кое-кто из соседей. А потом он и вовсе хутор как громом убил, самолично установив своей жене пенсию. Одну она от государства получала, маленькую. И вдруг другую стала получать. А все Чикомас. Он заключил договор с компанией в городе, и уже через месяц новую пенсию принесли его бабе — в три раза больше прежней.

Тут уж весь хутор Чикомасу поверил. Валом к нему пошли советоваться. А он, нахватавшись вершков, сыпал как правдашний знаток:

— Нефтьалмазкомпания... Соображаешь? Это бензин, без него никуда не денешься. Алмазы тем более дорогие.

Потянулся хутор по набитой Чикомасом дорожке: в райцентр да напрямиком в город. Рыбу ли удачно продадут, бычка зарежут, свинью на базар отвезут... Раньше прикидывали так да эдак, куда деньги деть. Теперь, обгоняя друг дружку, летели к компаниям: «Русский дом», «Русские мастера»... Старики, те от пенсии отрывали. Кто — на уголь копеечку сбить, на зимнюю топку, другие — «на батюшку», чтобы из района, из церкви, приехал на похороны, отпеть. Бабы ловко считать научились эти «проценты».

Старого Чикомаса зауважали всерьез. И ведь вот как бывает: всю жизнь на глазах людей, лучший рыбак, звеньевой колхозный, хозяин — далеко не последний, трем взрослым сынам отец, дома им поставил, — но все это из обыденной жизни, вроде привычное. Чикомас да Чикомас. А здесь — деньги немислимые, и будто своим умом. Он ведь первый придумал. Это факт очевидный. И одним разом словно до небес Чикомас поднялся. На что уж Раиса Чебакова — баба премудрая, сгальная, любого перерет... Но пришла, поклонилась. Хотелось Раисе переселиться в райцентр, ближе к дочерям. И покупатели на ее хуторской дом нашлись, давали десять миллионов. Но в райцентре дома — вдвое дороже.

— Продавай, — сказал, как отрубил, Чикомас. — Деньги клади в «Русский дом». Через полгода с наваром снимешь и купишь чего душе угодно. А пока перебьешься.

Чебачиха в неделю все сделала: продала дом и деньги отвезла в город, коротая дни в пустом флигеле, у соседей.

Валька Калмыков имел «Жигули», но мечтал о японской.

— Продай, а деньги положи, — был тот же совет. — Лишь не пропей — и через полгода пригонишь «судзуки».

Послушался Валька и даже не обмыл это дело. Все до копеечки отвез. Стал ждать.

А старый Чикомас, на свою вершину поднявшись, много считал. Купил он калькулятор с кнопками. Лишь нажимай, не ленись. Цифру на цифру, процент на процент, месяц на месяц, а там и годы пошли. От радости он не бесился, а, как положено человеку богатому, стал много думать. И многое объяснял людям, когда вечерами сидел возле дома на скамеечке, мудрый и немного усталый.

— В два горла жрать не будешь, — говорил он. — Не будешь ведь, правильно? Двое штанов зараз не наденешь. Сыны мои обеспечены. Будем

думать о хуторе, — произносил он значительно. — Во-первых, проведу асфальт. На свои, на личные, от государства все равно не дождешься...

Районные власти сто лет обещали на хутор асфальт провести. Но лишь обещали. Дождь брызнет — грязь по колёно. Трактора вязнут...

— Проведу асфальт, — твердо повторял он. — Это раз... А дальше — вот эти все хибары снесем, — решительно показывал он рукой. И словно исчезали хуторские дома, впрямь ведь не очень казистые. — Поставим эти... коттеджи в двух уровнях, — значительно произносил он и видел, как возле Дона, над самой водой, словно белые лебеди, друг перед дружкой красуются новые дома, не хуже заграничных.

Он замолкал, очарованный. Он видел свой новый хутор. Вместо серых заборов, плетней, летних кухонек, флигелей, сараев, свиных да птичьих закутов — словом, всякой тесноты, неприглядной, обыденной, — новый город, красивый, как сказка. Вернее, не город, а тот же хуторок, но приглядный, словно картинка заграничная. Ни помоев, ни навоза, а цветы, фонтаны, и ребятишки нарядные бегают. А вокруг — зелень задонских холмов, вольные воды Дона, — все это есть и сейчас, но станет еще краше, когда уберется весь этот стыд и срам.

— А не жалко денег? — спрашивали его. — Ведь свои.

— Нет, — честно отвечал Чикомас. — На такое дело не жалко.

Он правду говорил. Ничуть не жалко было. Но чуть-чуть и печально. Потому что — пока дорогу вести, пока строиться, придет время и помирать. А хотелось пожить в красоте подольше.

Потом, конечно... это была потаенная мечта, о ней — никому... помрет Чикомас, поставят памятник ему вот там, на горке. Будет он, бронзовый или мраморный, сидеть или стоять. Это уж как надумают... Будет похожий, какого мать родила: кругломордый, курносый, кудлатый до старости. Конечно, будет похожий, но — неживой. Вот в чем дело. Конечно, живые цветы — к постаменту, на День рыбака — венки. Все как положено. Но — неживой... Для людей постарался, а сам помер...

При таких мыслях даже слеза прошибала. Чикомас вытирал ее украдкой.

Так хуторская жизнь и текла, из лета к зиме. Одни рыбу ловили, другие на полях колхозную работу ломали. Старики копошились во дворах, на базах, на левадах.

А зимой, ближе к весне, вдруг грянуло: «Русский дом», «Русские мастера», «Русское поле» — все компании разом закрылись. «Нефтьалмаз», «Русское золото»... Куда ни кинься — замки на дверях или охранники стоят, не пускают. А люди какие деньги собирали, ищи-свищи их. Плакали денежки.

Конечно, больше всех пострадал старый Чикомас. А сыновей и вовсе было жалко. Они — молодые, им все нужно. Но разбирай теперь — молодой ты, старый ли... Нет денег, и людей, какие их забирали, тоже нет. Зато премудрый Чикомас — вот он, советчик дорогой, умная головушка. На него все шишки.

Хутор словно взбесился: «Где наши деньги?!» Раиса Чебакова когтями Чикомаса драла и ревела:

— Отдай хату, гад! Отдай мою хатку, Чикомасина поганая! Отдай, жить не будешь!!!

Валька Калмыков, тот сразу сказал:

— Застрелю. Нехай сажают, но застрелю.

Весь хутор на приступ шел:

— Ты народ сбаламутил!

— А может, вместе, по сговору?! — догадывались ушлые. — А теперь щерится, козел старый.

Родные сыновья чуть не с вилами на отца шли:

— Где наши денежки?!

— Убегай, — сказала Чикомасу жена. — Беги прячься, иначе не жить тебе

И Чикомас ночью, все лодки забрав, переправился через речную протоку, в займище и засел там наглухо, на хуторе не объявляясь.

— Чикома-а-асов! Чикома-а-сов!! — кричали ему через воду. — Чикома-а-а... — орали до сипоты.

Валька Калмыков напивался и приходил на берег с ружьем.

Стояло жаркое лето. Месяц прошел, тянулся другой. Чикомас все надеялся: может, забудут. Не забывали. Орали что ни день:

— Чикома-а-с! Чикома-асина-аа!!

КОТЕНОК НА КРЫШЕ

Так бывало всякую осень: похолодает — и объявляются возле дома приبلудные котята да кошки. Мало ли непутевых хозяев и дачников, что на зиму уезжают в город. Последнее — сплошь и рядом. По весне в поселок из близкого города прибывает много народу: старики-пенсионеры; детишек везут на свежий воздух, на фрукты и овощи. Целое лето живут. Как же без котенка... Детворе занятно. А придет осень — поехали, оставляя дом на запоре. А кошку куда тянуть? Городская квартира — не воля. Да там и своя живность есть.

Вот и нынче: пришла осень, печально засвистели в саду синицы, сороки громко стрекочут возле помоек, загодя чуя холода, жмутся к людям. И бездомные кошки объявились.

Семейство Крымцевых завтракало все вместе и довольно рано: старшие спешили на работу, дочка — в школу, малый Алешка — в детский сад. Утром он поднимался плохо, капризничал, есть не хотел. А тут еще — кошки. Сначала прибился ко двору черный жилистый кот. Он особо не досаждал. Сидел под вишнею, рядом с летней кухней и навесом, под которым обеденный стол помещался. Сидел и ждал. Первой его заметила десятилетняя Маша.

— Какой-то разбойник, — сказала она и угадала.

Карапуз Алешка тут же протянул коту кусок сардельки. Черный кот, обезумев от пахучего счастья, метнулся, цапнул и вместе с сарделькой чуть руку пацану не отхватил. Реву было... И крику. Кота, конечно, прогнали. Но он настырно являлся всякий день, утром, в обед и вечером, и сидел поодаль. Ждал своего. И чаще всего получал.

Еще объявилась милая молодая кошечка, пятнистая: серое с белым. Она была явно домашняя. Мягко мурлыкала, терлась о ноги. Ее особо не гнали. Жалко ли куска.

А потом, как-то утром, когда сидели и завтракали, послышалось жалобное мяуканье: мяу да мяу. Мяуканье слышали. Но вот откуда?.. Черный разбойник сидел, как всегда, поодаль. Пятнистая кошечка творог доедала возле стола.

Но кто-то еще мяукал, негромко, жалобно. То ли в соседском дворе, а может, рядом, в густой зелени травы и цветов.

Мяукал и мяукал, а себя не выказывал. И найти не могли, потому что глядели вниз: под стол и рядом. А оказалось — иное.

Опередила всех глазастая Маша.

— Вот он! На крыше! — закричала она.

И в самом деле. Не с земли мяуканье неслось, не из-под ног, а сверху. Легкий жестяной навес прикрывал обеденный летний стол. И с этого навеса, через край его, выглядывал котенок. Он высовывался и снова прятался. Жалобно мяукал.

— Вот это номер... — удивилась хозяйка дома. — Снизу за руки-ноги хватают. А теперь голову надо беречь, чтобы не откусили.

— Он не откусит, — успокоила ее дочка. — Он маленький.

Котенок и в самом деле был маленький. И непонятно, как и зачем он забрался на крышу. Но вот сидел там и мяукал.

Тут же выскочил из-за стола Алешка, стал требовать:

— Поднимите меня, покажите...

Маша щедро намазала густой сметаной кусок булки и положила на крышу, рядом с котенком. Тот сразу смолк и принялся за еду, осторожно слизывая сметану острым розовым язычком.

Хозяева вернулись к столу.

— Он — маленький, на крыше ему лучше, — объяснила Маша. — Внизу его взрослые кошки обижают. Он черного бандита боится. Будем его наверху кормить.

— Будем, — подтвердил Алешка.

— Молодцы! — поддержала их мать. — Под ногами — куски да огрызки, какие вы кидаете, а теперь еще сверху на голову все будет сыпаться.

На том разговор и кончился. Торопились. Дело утреннее. К восьми часам двор опустел; и дом дремал теперь на запоре до поры полуденной, когда возвращалась из школы Маша, и хозяйка прибегала на короткий срок перерыва, лишь пообедать. В эту пору ей было не до кошек.

А все вместе собирались лишь к вечеру. И хоть пора наступала осенняя, месяц сентябрь, но дел, как всегда, невпроворот. Помидоры солить, капусту рубить да квасить, картошку к месту прибрать, печку к зиме готовить, окна промазывать... Пусть нынче еще тепло и зелено, но холода — рядом. Так что забот хватало.

Но ужинали все вместе. Во дворе, за летним столом.

К этой поре собиралось кошачье племя: черный разбойник садился поодаль и ждал, терлась об ноги и мурлыкала пятнистая кошечка. И снова, как утром, раздалось жалобное мяуканье сверху. Про этого гостя взрослые уже позабыли. Но не дети.

Маша, придя из школы, покормила котенка, как следует разглядев его. Он был маленький, пестренький. И в руки не давался. А пристанище себе сыскал надежное: железная крыша, от солнца теплая, словно сковорода. Густые вишни вокруг, от ветра затишка.

— Вот и живи здесь, — сказала Маша. — Лишь меньше мяукай, а то прогонят тебя.

А младшего братишку, когда тот прибыл из детсада, предупредила:

— Ты к котенку при маме не лезь. А то она разозлится. Сами будем кормить его.

Алешка понял.

А вот котенок оказался не больно понятливым. В пору ужина, как только забрякали посудой, он сразу голос подал: мяу... мяу... И свесил через край крыши свою головенку: чем, мол, кормитесь?

— Здравствуйте... Он опять там? Не убрался? — спросила мать.

— А ему, может, некуда убираться, — заступился Алешка. — Маленьких всегда гонят. Вроде они виноваты. Мешаешься да мешаешься...

— О! — вспомнил отец. — Сейчас я его накормлю.

И, поднявшись от стола, поспешил в сарай, где были у него снаряжены мышеловки. Осенью и мыши подавались к людскому жилью, успевай лишь ловить.

Отец вернулся с мышью и бросил ее на крышу, котенку.

— Надо бы промахнуться, — укорила его жена. — Да чтоб эта гадость в тарелку. Доумился. Детям пример.

Но особо ругаться она не стала, спеша к телевизору. Каждый вечер показывали «Тропиканку», кино с продолжением. Не с руки было летом его глядеть, слишком рано. Но все бабы улучали момент. Спасибо, что короткие были серии.

Вот и нынче, на часы поглядев, она подалась, прямо с тарелкою, в дом, к телевизору, наказав:

— Маша, приберешь тут.

Без материнского надзора дети с ужином управились быстро, спеша к заботам своим. Торопил вечер.

Лишь хозяину дома спешить было некуда. «Тропиканку» он не глядел и потому, отужинав, уселся подле кухни и закурил спокойно.

Поселок был тихий. Улица — окраинная. Зеленая гущина — вокруг.

Котенок на своей верхотуре, управившись с мышью, сидел, жмурился, вроде подремывал, то смежая, то открывая глаза.

— Что, брат, сидишь? — спросил хозяин.

Котенок испуганно попятился.

— Не бойся. Не трону я тебя, сиди. Только недюже высовывайся да меньше вякай. Чтоб тебя не видать, не слышать. Так будет лучше.

Хозяин курил, глядел на котенка, вздыхал и думал о своем, не больно сладком: тоже ведь хоть садись и мяукай, чтобы пожалели. Но вряд ли... Всем нынче туго. Еще вчера вроде жили по-людски. Работал на заводе, зарабатывал, вроде хватало. А когда уж нужда, можно было и сверхурочные прихватить, в выходной выйти поработать. Текла копеечка. Нынче все рухнуло. Заводу пришел конец. Заказов нет. Не платят. Дело — все хуже и хуже. Бывало, идешь по цехам, людно: деревообделочный, механический, корпусной, литейный — везде шум и гром. А теперь — за пустыней пустыня. В цеху даже жутко становится. Тишина могильная. Лишь воробьи да голуби.

Нет работы. И зарплаты нет. Даже копеечной. Не дают. А какую дадут, жене нести стыдно. Начальство, оно всегда выкручивается. Работагам — хуже. Их дело — молчи. Чуть чего, рот затыкают: увольняйся! А куда увольняться? Везде такая песня, во всем поселке: на авторемонтном, на металлопроволочном, на молочном заводе. Все стоят. А жить надо. Детей надо растить. Да и сами еще — в силах. Только куда эту силу девать? И думай не думай, крути не крути, а путь лишь один — в Чечню. Контракт подписал — и поехали. Два миллиона в месяц обещают. Хорошего там, конечно, мало. Но никуда не денешься. Надо.

Он докурил, досадуя, сплюнул и пошел к дровнику, к козлам, где пилил каждый вечер дрова на зиму. И нынче надо спешить. А то ушлют в Чечню, некому пилить.

Котенок остался дремать. Крыша за день нагрелась. Было тепло, тем более на сытое брюхо.

Над двором сомкнулась тишина. Лишь за домом ширкала полегоньку пила. Да огородные сверчки понемногу заводили свою вечернюю песню.

Когда по телевизору кончилось кино и хозяйка вышла из дому, уже смеркалось. Во дворе никого не было. Она прошла к кухне. На столе, конечно, не убрано. Поели, все бросили и ушли — картина обычная. Но ругаться не хотелось. Так всегда было после кино. Вроде все там нарочное, придуманное: любовь, измены, радости, беды, — а все равно переживаешь и сразу о своем думаешь. И жизнь своя становится как-то видней, словно со стороны. И оттого — дороже.

Этот дом, который своими руками построен. Этот двор, его зелень, цветы. Все вроде простое, а — хорошо. Скоро дети прибегут, вечер уже. Ширкает пила за домом, там — муж. Похудел он в последнее время и как-то даже сгорбился. А лет еще — нет ничего... Много курит, переживает. Конечно, сладкого мало. Такие пришли времена: плохо с работой, не платят, а жить надо. Дочка растет. Осень. Сапоги ей, кричи, надо покупать. Двести тысяч... С ума сойти! И сапоги надо, и пальтишко ли, куртку какую-нибудь. Ведь — девочка. И скоро уже — невеста. Дочке — надо, сыну — надо, да и сами пообносились, который год ничего не покупали. Все надо... А с деньгами все туго. И главное, работы нет. ПМК закрылась, рыбозавод еле дышит. Всему конец. А ведь жили. Пусть не больно богато, всегда внатяг, но понемногу дом построили, обставили его. Голые-босые не ходили. А главное — был покой, и про завтрашний день думалось без страха. Нынче же... Лучше не думать, а делом заняться. Тем более, что посуда не мыта, помощница увялась, ищи да свищи ее.

Вода для мытья посуды на газовой плите согрелась скоро. А пока она грелась, вспомнилось, что надо выписывать газовый баллон. Лучше — сразу два. Но где деньги взять? Сорок тысяч. А если два, то — все восемьдесят. Старики, мать с отцом, сказали, что помогут с пенсии. Вроде почтальон деньги носил. Надо сходить.

При этой мысли на душе стало горько: идти к отцу с матерью, стариковскую копейку забирать. Разве лишняя она у них? Растили детей, надеялись: кормильцы будут. Появилась злость.

Муж все так же ширкал пилой за домом. Вроде спрятался. Чует кошка... Он — мужик. Семью завел — значит, думай, как ее обеспечить. Другие торгуют и на жизнь не жалуются. Где-то покупают и продают. Киоски свои да магазины. Жен одевают, меняют машины. А тут скоро в драной телогрейке будешь ходить.

Посуду помыла, понесла выливать помой. И там в задах огорода встретила соседку. Постояли. Лишь забор их делил, но не мешал разговору. Про кино говорили, его все бабы глядели, переживая. А потом — о новостях... Стояли будто недолго, а уже темнело. Надо идти. Распрощались.

У соседки полгода назад умер муж. Несладко ей теперь возвращаться в пустой темный дом. Вроде чужая беда, а — жалко, горестно. Но что делать?..

Вздыхая, пошла к себе и увидела издали, что возле кухни собрались все вместе: дети и муж. Они о чем-то говорили. И горячая радость разом отогрела душу. И ноги легко и скоро понесли к дому, к своим.

Она подошла ближе: так и есть — с котенком опять забавляются.

— Вам делать нечего? — принялась она вычитывать с ходу. — Со стола прибрать вас нет, а лясы точить...

— Мы тут думаем, — сказал ей муж. — Надо оставить котенка. Васька наш — старый. А в сарае мыши кипят. Я уеду, некому заряжать мышеловку. А котенок хороший...

— Куда уедешь? — спросила она. И тут же догадалась: — Ты ходил? Ты уже подписал?

— Почти... — опуская голову, ответил муж. — Завтра идем подписывать. Команду формируют. На той неделе, наверное, отправят.

Она ждала этого. Не признавалась себе, но все же ждала, потому что выход для семьи был только один — Чечня. Другого не придумаешь. Она ждала и себя утешала: не он первый.

— Старикам пока не говори, — тихо попросил муж. — Ни своим, ни моим. Не надо.

По тону, по голосу, по короткому вздоху она поняла, что дело — решенное. А поняв, вдруг закричала:

— Не-ет!

Дочка испуганно отпрянула.

— Не-ет... — обняла она одной рукою дочку, а другою — мужа и, припав к плечу его, заплакала. — Не-ет... Не поедешь! Нет! На картошке проживем... Голые будем ходить, но не поедешь. Пусть вовсе не будет работы, дома сиди... Но туда не поедешь. Не поедешь!!!

Дети ничего не понимали. Молчали испуганно.

А котенок и вовсе умчался на самый край крыши, под застреху, и сидел там.

Люди ушли в дом. Желтый свет появился в окнах. Стемнело. На земле, в гуще цветов и травы, что-то шуршало, живое. А наверху, на железной крыше, было покойно. В безветрии замерли ветви деревьев. Выше их были лишь звезды, вовсе далекие и немые.

Неделю спустя котенок исчез. Подкормился, окреп и ушел. Вольному — воля. Тем более, что холодов еще не было. Солнышко грело, зеленели деревья. Можно жить.

ПРОДАЖА

С полудня простояв в тупике, поезд Душанбе — Саратов все же тронулся с места и пошел, помаленьку набирая ход. Многочисленные его пассажиры облегчения не почуяли: они сидели молча и напряженно, боясь спугнуть неожиданное везение. Поезд сбавлял ход, и тут же замирало сердце: сейчас остановится и начнут выгонять из вагонов, а может, и хуже

что... Поезд шел и шел, оставив позади редкие огни города. Но впереди было много страшного: на любом полустанке, у каждого столба мог окончиться путь.

Света в вагонах не было, и поезд, словно тать в ночи, крался, будто уходил от погони. Уставшие пассажиры его не раздевались, не укладывались спать. Они даже говорили не вслух, а вполголоса. В темных вагонах, на сиденьях, порой задремывали. Сон был непрочен, а пробуждение — с испуганным выдохом: «Встали?..» Но колеса стучали. Поезд шел и шел. Законная тьма была страшной. Туда не глядели. От окон держались по-дальше, храня себя.

Так прошла ночь. Рано утром прибыли на станцию Карши. После нее заснули спокойно и отсыпались до полудня. А уж потом, наконец поверив, что вырвались и уехали, начали раскладывать вещи, устраиваться поудобнее, потому что дорога к России лежала далекая — почти четверо суток. Так было во всем поезде. Так было и в десятом, купейном, вагоне, где ехал для этого поезда народ обычный — русские беженцы. Прошла пора гостеваний, командировок да туристических путешествий. Который уже год лишь бежали.

И теперь, плохо ли, хорошо, но, выбравшись и после нелегкой, а у кого и страшной предотъездной маяты отоспавшись, народ без опаски отворял двери купе, выбираясь в коридор. На удивление, даже кипятилок был в титане, словно в старые времена. И в окно можно было глядеть без опаски. Словом — живи.

Стали жить обычной вагонной жизнью. С чаем, знакомствами, долгими беседами, в которых доброй была лишь надежда. Кто-то ехал на место уже присмотренное, а кто-то наобум. Вот и думали-гадали, на великое везенье не надеясь. Был бы покой...

— У нас в Таласе как началось...

— А мы в Нуреке сначала и горя не знали...

— В Кулябе в одну ночь...

— А в Исфаре... В Регаре... В Кансае...

У всех было горькое. А было и страшное, иного и не расскажешь, его лишь постараться забыть. И потому чаще говорили о завтрашнем, поминая Саратов, Волгоград, Воронеж да Пензу — тамошние места.

К вечеру все перезнакомились. И, конечно, заметили крайнее, у самого входа, купе, где не переставая пьянствовали молодая женщина и чернявый спутник ее, а белобрысая девочка-малышка неприкаянно бродила по вагону, заглядывая в открытые двери и охотно принимая угощение. Таких детей навидались, нынче они — на каждом шагу. Но эта была не с улицы, вагонная, а значит — своя.

Первое от проводников купе было веселым: вино, громкие разговоры, пьяные ссоры. Но слава Богу, один лишь словесный гвалт. Можно слушать, а можно мимо ушей пропускать.

Если первое купе было шумным, то второе — тихая вода. На верхних полках мирно посапывали; на нижних, друг против друга, покойно угнездились две женщины — мать и дочь. В одинаковых вязаных теплых кофтах, в пушистых серых платках, спущенных на плечи, они были очень похожи: сероглазые, круглолицые, пшеничного цвета волосы тяжелым узлом скручены на затылке. Младшей — лет сорок, старшую болезненно старили черные круги подглазий. Разговаривали они тихо, спокойно. Телом были крупны, но в тесном купе управлялись ловко, бесшумно. Когда сажались чай пить, будто сами собой объявлялись на столе стаканы, баночки, ложки. И так же все убиралось, без лишней суеты. Даже чайные ложечки звякали в этом купе мягко, спокойно. И теплился разговор, не выходя из стен и не тревожа тех, кто спал рядом.

Бежала за окном скучная пустыня. Шумели за тонкой стеной хмельные соседи. Покойному разговору женщин никто не мешал.

Порою старшая плакала, и тогда дочь пересаживалась ближе к матери. И слова, что она говорила ей, становились шелестом, но мать понимала.

— И я плачу, и я плачу.. Но что делать, мама. Живой за ним не уйдешь. Будем за него молиться. Что делать... Будем жить потихоньку. Паша, слава Богу, в институте. Я так рада. И он так радовался. Маруся уже невеста. Так потихоньку будем жить. Слава Богу, крыша у нас есть над головой. И кусок хлеба есть. А чего нам еще? Будем жить. Может, еще все успокоится... Мы его к себе перевезем. Карточку сделаем на керамике. Я люблю, где он веселый такой, в белой рубашке, смеется...

От тихих слов ее мать понемногу успокаивалась и говорила:

— Нет-нет... Зачем тревожить. Там все свои рядом лежат. Может, кладбище не тронут. Кому оно мешает, оно хорошее...

И вставало в глазах кладбище, на нем — могила мужа. Разом вспоминался поселок, где прожили век. Поселок, его улицы, родной дом, в котором столько лет прожили. А теперь — бросили, обрезав прошлое. Сердце болело.

— Ладно, ладно... Пусть там лежит. Может, не тронут кладбище. Оно — не мешает. Чего там, лишь — кресты. И может, все еще успокоится. Будем приезжать, проведывать.

Мать засыпала ли, задремывала. Дочь, отстраняясь, глядела в окно, но видела там не день нынешний — пустыню, серое небо, а прошлое — поселок, в котором родилась и выросла, вышла замуж, построила свой дом, детей родила. Казалось, все так и будет течь непрерывно: дети вырастут, заживут своими семьями, построят свои дома, появятся внуки... А потом вдруг все сломалось, Советский Союз распался — и началось страшное: грабежи, убийства, слезы, кровь. Слава Богу, вовремя успели уехать, детей увезти и притулиться успели в России, домишко купить, найти работу.

Конечно, надо было подниматься всем вместе, разом, не оставлять отца с матерью. Но пожилые люди — премудрые. А может, просто у них корни глубже. Отец все надеялся, говорил: «Переждем... Это пройдет...» Не прошло.

Отец, его смерть, похороны, свежая могила — все это теперь было рядом. Как слезы сдержать...

Боясь потревожить мать, женщина выходила из купе и плакала в коридоре.

В этом поезде привыкли к слезам, и можно было плакать не таясь, притулившись к вагонному окну, чтобы не мешать проходящим людям.

Можно было не таясь поплакать, а потом вернуться в свое купе, к матери, которая дремала ли, спала, и тоже прилечь. Позади были тяжкие ночи и дни. Тело и душа просили покоя.

Обедать собрались лишь к вечеру, когда стало смеркаться. Не просто чаю попить да перекусить, а по-настоящему пообедать.

На железной плите в вагонной кочегарке разогрели борщ, мясо, нарезали полную миску зелени, залив ее пахучим маслом. На бряканье посуды и запах осторожно заглянула в купе соседская девочка-невеличка. Ее звали: «Заходи...» Дня хватило понять, кто она и что с ней.

— Заходи. Хочешь, садись с нами пообедай.

— Хочу.

Прежде чем усадить гостью за стол, повели ее к умывальнику и как следует отмыли грязные руки, заодно и лицо.

— Мылом, мылом... — мягко напомнила женщина.

— Умывался без конца, — с готовностью продолжила девочка. — Смыл он ваксу и чернила с неумытого лица.

Умытая, досуха вытертая и причесанная, белобрысая девчушка, с белым же хвостиком волос на затылке, засветилась, словно свежая редисочка из грядки.

Будем, будем умываться
По утрам и вечерам! —

звонко читала она по дороге из умывальника и смолкла лишь над едой.

Девочка хлебала борщ жадно, пригнувшись к миске и по сторонам поглядывая, будто боялась, что остановят ее.

Женщины смотрели на нее с печалью. Младшая погладила, успокаивая:

— Не торопись, не спеши, моя хорошая... Хлебушко кусай, жуй... не спеши.

Опорожнив миску, девочка удовлетворенно выдохнула. Светлые бисеринки пота выступили на лбу и носу.

А у нас на сеновале
Две лягушки ночевали.
Утром встали, ши поели
И другим поесть велели.

Потом она ела жаркое и зелень, осваиваясь и рассказывая о себе прежде, чем ее стали спрашивать, уже привыкнув к расспросам.

— Мы с бабушкой тоже борщ варили. Каждый день. Когда я жила в Арагаче, у дедушки. А потом дедушку убили, а бабушка сама умерла, и всех похоронили. Мама меня забрала, мы на вокзале жили, а там варить негде, там не разрешают. В чай мне много надо сахару класть, потому что я привыкла с медом. У дедушки много было пчел. Наверно, сто, и много меду.

Она осваивалась и оживлялась все более, становясь милой разговорчивой девчушкой, под щебет которой уже не думается о плохом, а вспоминаются свои дети, какими были они в такой вот поре. Но свои, слава Богу, росли в пору покойную, от горького их увезли. А эта нет-нет да щебетала: «...они стрельнули... стрельнули, он упал насовсем! Мы его закопали...» Но это поезд был такой, в каждом купе — беда: «У нас в Гиссаре... в Канибадаме... в Чорух-Дайроне...» Поезд такой, время такое.

Девчушка оказалась — живость сама. Тарахтела без умолку:

Шли бараны по дороге,
Промочили в луже ноги.
Стали кашлять и чихать,
Стали ноги вытирать.

— Какие хорошие стишки ты знаешь! — удивлялись женщины.

— Это меня дедушка научил, он много стишков знал. Он учителем был в школе.

Паровоз по рельсам мчится.
На путях котенок спит.
Паровоз остановился
И котенку говорит.

А потом она неожиданно, прямо за столом, уснула, уронив голову на руки. Ее уложили. Старшая женщина прикрыла девочку своим пуховым платком.

— Вши, наверное, есть... — вслух подумала дочь.

— Чего ж теперь... — со вздохом ответила ей мать.

А за стеной, в соседнем купе, не утихала гульба. Но женщины к ней уже привыкли, словно к стуку вагонных колес. А про девочку там, конечно, не помнили. Поздно вечером, встретив хмельную мать в коридоре, младшая из женщин сказала ей:

— Ваша дочка у нас. Заснула.

— Шалается. Вот привяжу ее...

— Нет-нет... — испугалась женщина. — Пусть поспит. У нас — тихо. Никому она не мешает.

Ответ был коротким:

— Хоп.

— Вот тебе и хоп... — вздохнула женщина, возвращаясь в свое купе и передавая разговор своей матери.

— Пусть спит возле меня, — ответила мать. — Не мешает. Все равно буду лишь дремать по-комариному.

— Чего? — спросила дочь. — Боишься, что ли?

— Боюсь, — призналась мать. — Как не бояться. Жили-жили...

Она смолкла, опасаясь чужих ушей. На груди ее, под платьем, в самодельной клеенчатой сумочке, хранились все деньги, какие удалось выручить за нажитое: машина, дом, корова. По нынешним временам — не много. Отдавали чуть ли не задаром, но все же... Спасибо и на этом. Другие вовсе ни с чем уезжали.

Дочь ее понимала. Вслух поминать о деньгах было нельзя. И потому стали говорить словно о другом, в душе договаривая.

— Паша в обдергайке бегаёт. А зима — вот она. Не замерзну, говорит, мама. Молодой еще.

— Первым делом надо, — соглашалась мать. — Здоровье потом не веротишь.

Это они говорили про теплую одежду для сына и внука, какой теперь в институте учился, на врача. Первым делом его нужно было в теплое одеть и обуть.

— С сеном, говоришь, плохо?

— Плохо. Не было дождей.

— Значит, коровы дешевы. Стельную надо брать.

— Возьмем. Как без коровы...

А девочка спала и спала. Утром проснулась и зазвенела:

Спит или купается,
Все не раздевается.
День и ночь — на ножках
Красные сапожки.

— Кто это, отгадайте?

— Ты. Спишь и не раздеваешься.

С девочкой в купе сделалось веселее. Появились заботы. Колготки, носки на ней были заношены до дыр, а на бельишко и вовсе смотреть срам. Кое-как, но состирнули в умывальнике, в кочегарке над печкой высушили; и старая женщина целый день штопала да латала, добро, что мешочек с лоскутами да катушками ниток везла с собой.

— Чего ты все тянешь, бросай... — припомнила она дочери ее попреки. — А вот и пригодилось мое имение. Найди такой лоскуток... Это самое дорогое, что у меня осталось, — призналась она. — Торбу эту по ниточке, по клубочку всю жизнь собирала, да альбом с фотокарточками. Вот и все...

— У нас тоже был альбом. Дедушка сам фотографировал, — похвасталась девочка. — Много-много фотокарточек. Покажи... Я люблю смотреть фотокарточки...

Устроились совсем по-домашнему: неторопливая штопка, у старой женщины очки на носу. Руки привычным делом заняты. Рядом — девочка с альбомом, фотографии перекладывает.

— Это кто? — спрашивает. — А это кто?

Старая женщина глянет поверх очков, объясняет:

— Это моя мама-покойница, царствие ей... А это младшего брата семья, Васи. Они на Дальнем Востоке живут. Он моряком был, плавал всю жизнь. Весь свет повидал... А это вот она в девушках, еще молодая, — кивала на дочь. — А это...

Листались и листались неторопливо страницы альбома.

— А это кто?

— А это наши соседи, хорошие люди, немцы. Они в Германию уехали. Как началось все, они уехали.

— А я тоже в Германию поеду, — объявила девочка.

— Куда-куда?

— В Германию, а может, в Америку. — И чувствуя, что ей не верят, горячо принялась убеждать: — Да-да... Меня в Америку продадут. Там дети

нужны. Там люди бездетные. Турсун знает таких. Они в Москву приезжают. И я с ними уеду. А потом мама, если захочет, будет в гости ко мне приезжать. И вы тоже приезжайте.

Женщины переглянулись. Старшая погладила девочку по светлой головке, тронула хвостик косички с голубой ленточкой, которую нынче вплели. В той же торбе ее нашли.

Позднее, когда девочки не было в купе, немолодой мужчина, который почти не слезал с верхней полки, свесил оттуда голову и сказал:

— А ведь такая мама и продаст. Только не в Америку, а поближе... Не приведи господь куда... Гуляют... — вздохнул он, прислушиваясь к пьяному гаму за тонкой стенкой. — А на что-то ведь гулять надо.

Поезд стучал и стучал колесами, пересекая огромную пустыню. За окном не за что было зацепиться взгляду.

Мужчина сказал и спрятался на своей полке.

А сказанное осталось.

Старая женщина спросила у дочери:

— Неужто и вправду? Или так, мелет...

— В газетах пишут всякое... — пожала плечами дочь. — А то ты не читала.

Старая женщина и читала, и слыхала про всякое. А теперь это рядом, воочию. Вот она — девчонущка, горькое дите... Что ее завтра ждет?

— Господи, до чего мы дожили, — вздохнула старая женщина, — дитя продавать, как поросенка... Надо бы еще на вес... — И тут же вспомнила мужа: — Ушел, кинул меня... Лучше бы мне помереть. И осталась бы там...

Она заплакала. Началось обычное: дочь пересела к ней ближе, стала успокаивать. А потом плакала сама. Спасибо, что объявилась девчущка. При ребенке слезы лить — грех.

К вечеру, улучив момент, когда мать девочки маялась в вагонном коридоре от безделья ли, от похмелья, зазвали ее в купе:

— Заходи. Здесь твоя дочка.

— Бродит, поблуда...

— Не ругай ее, — заступилась старая женщина. — Нам скучно, а она нам песенки поет. Почаевничай и ты с нами.

— У меня от чая одышка, — отказалась гостья, женщина еще молодая, но по лицу было видно: пожито и попито.

Ее поняли, нашли угощение покрепче, которое хранили «для случая» в плоской бутылочке с винтовой пробкой. Но предупредили:

— Спирт.

— Булькоты меньше, — одобрила гостья.

Она выпила и сразу помягчала, обняла дочку.

— Это я за упокой, — сказала она. — Схоронили мы деда с бабкой... Всех схоронили...

— А куда же теперь? Работа, жилье есть?

— Ничего у нас нету. В Москву едем. Правительство обязано помочь. А может, в Сибирь. Подруга там, зовет. А может, назад вернемся. Квартир много разбитых. Бросают, бегут...

— С девочкой трудно... — посочувствовали ей. — Одной-то полегче устроиться.

— Была бы одна, ушла бы в рейс. Я в рейсе, в загранку ходила. А с ней...

— Отдай ее нам, — неожиданно сказала старая женщина.

И дочь ее поддержала:

— Отдай. Пока ты устроишься с жильем, с работой. Это — колгота да маета. А она — дите. Пусть у нас поживет. Мои дети — уж взрослые. Кусок хлеба да угол есть. Мы с мамой приглядим за ней. А как устроишься, заберешь. Поедешь с нами, дите?

— Поеду, — ответила девочка.

— У нас ей хорошо будет. Мы корову заведем, привыкли с коровой. Молочко парное будет пить.

Мать девочки внимательно поглядела на женщин, переводя взгляд с одной на другую. Простые их лица, простая одежда поведали ей больше, чем бесхитростные речи.

Свежий хмель уже ударил в голову, и она сказала многозначительно:
— Я ее получше устрою.

Женщины поняли.

— Спаси и сохрани, — прошептала старшая.

— Спаси и сохрани, — повторила за ней дочь и продолжала горячо: — Она же — кровинка твоя... Кому? Куда? В какую сторону?

— В какую надо... — Гостья по-хозяйски налила себе еще спирту, выпила теперь уже с тостом: — Хоп! — и сразу поднялась.

Но, выйдя из купе, она поманила за собой младшую из женщин. И в коридоре сказала ей:

— Тысячу долларов или пять миллионов. Все документы есть. Свидетельство и медицинская карта. Только втихую. Чтобы мой абрек не слышал. Поняла?

— Да где же... Да что ты... — всплеснула руками женщина.

— Тогда нечего и рот разевать.

Отрезала и пошла коридором, на ходу закурив.

Часом позже в соседнем купе снова началась гульба. Добро, что питье теперь — на любом полустанке. Были бы деньги.

Соседи загуляли. Девочку покормили и уложили спать. А мать с дочерью, устроившись друг возле друга, шептались и шептались, плакали и снова шептались:

— Господь с ними, с деньгами... Чем казнию потом принимать всякий день... Душа будет на покое... Сколь потеряли, сколь бросили... Чего жалеть... Здоровья бы дал Господь, остальное будет... Господи, Царица Небесная...

И снова плакали, и снова шептались.

Поздним вечером слез с верхней полки попутчик — мужик немолодой, серьезный.

— Вот что, бабоньки, — сказал он. — Все я слышал, все я понял. Сейчас я вам напишу бумагу, если решитесь, дадите ей подписать, этой мамане. И я поставлю свою подпись и свой адрес, чтобы вам завтра не сказали, что вы девочку украли. Какая-никакая, а бумага, доказательство. В случае чего, мы — свидетели.

— Спаси тебя Христос, добрый человек... — вздохнула старшая.

Бумагу он составил и посоветовал:

— Не дожидайтесь Саратова, сойдите в Урбахе. А к себе — астраханским. Там ходят поезда.

Ночь не спали. За окном еще не серело, когда приготовили деньги и младшая пошла в соседнее купе, в теплую вонь его, растолкала мать девочки и привела к себе.

Часом позже поезд встал на станции Урбах. Среди сошедших были две женщины со спящей на руках девочкой, укутанной в теплый пуховый платок.

А на рассвете, на станции следующей, сошла с поезда мать девочки, оставив в купе храпящего своего спутника.

Поезд пошел дальше, теперь уже по России. Вослед за ним, пересекая великую степь, спешили другой и третий. И так всякий день. На станциях, на вокзалах даже теперь, поздней осенью, былолюдно. Ехал народ и ехал.



ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

*

НА ТРАВЕ У ВЕРАНДЫ

* *
*

Я очнулся от сна, потому что
хохотал за окошком Пушкин.
Он кричал, что у старого «хорха»
сильно спущены задние шины,
стало быть, за шампанским Наташа
до обеда уже не поедет —
можно, стало быть, Блока читать ей,
не откладывая до заката.

Я не сразу о том догадался,
что смеется хозяин избушки —
Журавлев, воплотивший когда-то
в странном фильме невольника чести,
путешествующего в Арзрум.

Я приехал к Сереже Дрофенко
поудить с ним безумную рыбу,
налетавшую в приступе смеха
на нелепые наши крючки.
Я забыл, что он зять Журавлева.
И с артистом еще не знаком я.
Но лишь третьего дня старый ящик
мне по милости Госфильмофонда
показал позабытый шедевр.
Было видно до крайности плохо:
кинескоп был ровесник генсека.
Но со звуком не знал я проблем
и внимал, как в шмелином Тифлисе
беззаботно, беспечно, бесстрашно
все смеялся ребячливый Пушкин
и твердил благодарно: «Мадлоб!»

Это было хорошее время!
Я имею в виду эту дачу,
а не русско-турецкую брань.
Сколько все мы смеялись: и Дмитрий
Николаич, и две его дочки
(из которых меньшая — Наташа),
и Сережка, и я, и скворцы,
и рыбешка из искристой Истры —
молодые плотвички, чей хохот
и беззвучен при снятье со снасти,
и загадочен — what does it mean?..

Вот сидишь на траве у веранды —
из проема оконного слышен
Пушкин, звонко читающий Блока
на закате имперской судьбы.

* *
*

Куда ты подевался, Борька Котов,
когда твой прах мы предали земле?
Английский мат дворовых полиглотов,
полеты рок-певиц на помеле,
родные наши Жилин и Костылин,
в чеченском вновь воскресшие плену...
Поток событий мощен и обилен —
ты не узнал бы прежнюю страну.

Но там, у вас, поверят ли, что почва
сменила вдруг и цвет свой, и состав?
Что принесет нам бешеная почта,
ты знал вчера, газет не пролистав.
И потому, вздохнув темно и горько
в неясной и неведомой дали,
к неведомо Кому беги же, Борька, —
моли за нас, моли за нас, моли...

* *
*

А оттепели наши — ненадолго.
Оцепенела уличная Волга.
А буйных вод ее дворовой Камы
с декабрьских стуж не видели пока мы.
Префекта нынче власть иль власть райкома —
все вокруг двора привычно и знакомо.
Кто вам сказал, что в стужу для сугрева
полезно прыгать? Пресвятая Дева,
какой совет ошибочный и пошлый!
Полезно то, что стало жизнью прошлой:
тепло негородской моей лежанки,
ленивый смех прелестной горожанки,
да волжский груздь с грузинским самогоном,
да синева зимы в стекле оконном,
где месяц у креста, что на Николе,
качнулся, словно лодка на приколе.

* *
*

Потускнели озера. И солнце к земле охладело.
Но внезапный сквозняк предпокровский чарующ, немислим!
Для чего же даровано мне это дикое тело?
Для чего — неужели для жалкой бесплодной борьбы с ним?

Эти вечные оргии глаз, эти пиршества слуха
с чередой тишины и мелодий, шуршанья и грома...
Что ж ты смотришь, мой ангел-хранитель, так скучно и сухо:
не махнуть ли крылом на меня как на чадо Содома?

А ведь как ликовал ты, обуховским голосом вторя
той сентябрьской песенке, сложенной мной мимоходом,
и кивал, и внушал, что поэзия — дело святое.
Да неужто не знал ты, откуда та песенка родом?

Что ж ты очи отводишь? Оттуда, оттуда, из ночи
с голубыми гвоздиками неба, с дыханием влаги.
Там и камень до волн, там и волны до камня охочи
и цикады счастливо рыдают в предсмертной отваге.

Что же, щедрость Господню мне счесть провокацией надо?
Ты же видел Его — замолчи, богохульник, отыди...
Подожди, не бросай меня! В рабстве у жадного взгляда
пропаду. Неужели и ангел подвластен обиде?

Оставайся со мной. Не во мне — так хоть рядом. Я знаю:
зоркий глаз мой ослепнет и тонкий мой слух притупится.
Будем жить. Буду слушать рассказ твой про белую стаю,
оскудевшая черная птица.

* *
*

Тяжелы проклятия у грозы,
а вот арка радуги так легка.
Слюдяное крылышко стрекозы —
лишь на миг, а кажется — на века.

О, раздумье тихого муравья...
Он, как Гамлет, медлит в раю берез.
Уж не тот ли, главный для бытия:
быть не быть — решает сейчас вопрос?

А «не быть» — так просто: шагнет сапог
или пташка кинется из листвы.
Где-то здесь и сказочный колобок
исповедался под носом у лисы.

Современников милых не узнаю,
улыбаюсь — встретив их на стезе —
муравью неспешному, муравью,
стрекозе пленительной, стрекозе.

Плоть

Греческое, жреческое, общество Кротона.
Мышцы загорелые над фикцией хитона.

Старческие нищенские рясы у Лойолы.
Люди, виноватые, что под одеждой голы.

То костры, то оргии — грызня однообразна:
дар ли ты божественный, мерзость ли соблазна?

И никто в ристалище не чувствует укора
в тихом взгляде юноши из школы Пифагора.

И никто не слушает в «Упившемся олене»
францисканца мудрого с красоткой на колене.

Петербургским друзьям

Светлый кобальт вечерней речной воды.
Май и расцвел как будто, да вот зачах.
Чайки то круто падают, то поды-
маются без добычи в кривых когтях.

Разве не вы открыли мне нрав Невы?
Где вы? Звоню, стучусь к вам, и — никого.
Пьяное чудо лексики, вздох «увы!» —
что бы мы, братцы, делали без него...

Это только надежда: мол, жизнь прошла.
Что у судьбы в загорелом — не поймешь.
Ангелом, не освоившим ремесла,
эта весна коснется и бросит в дрожь.

Это прошла не жизнь, а ладожский лед.
Славно стоять — под Биржею, например, —
и ничего не ведая наперед,
и ни в одну не веруя из химер.

Странно стоять среди невского миража,
вместе и храм приемля в нем, и тюрьму,
всем поколениям сразу принадлежа,
не подпевая вчуже ни одному.

* *
*

Меня ты обругал за обращенье к Богу.
А с кем мне разговаривать — с тобой?..
Квадригу — на дыбы и — в вечную дорогу
ездок на крыше в выси голубой!

Торговец тербит разорванный передник...
Приезжий на углу сторговывает плоть...
Единственный в Москве свободный собеседник,
единственный, кто слушает, — Господь.

А что ответа нет — так сам же я в ответе:
прошляпил в Божьей щедрости искус.
Языческий кумир на древнем драндулете...
Гюрзы Эллады сладостный укус...



АНТОН УТКИН

*

ХОРОВОД

Роман

27

Вскоре мы оказались в щедро освещенной квартире Ламба. Рядом с накрытым столом стояли один на другом несколько ящиков с шампанскими бутылками. В комнате уже сидели Звонковский и Елагин, нетерпеливо покусывавший опаловый мундштук чубука. Прощка принял шинели, и когда мы уселись, часы в стенной нише пробили пять. Захлопали пробки открываемых сосудов, влага заискрилась и зашипела, пенясь и сползая на скатерть неровными клочьями. Вологодский медведь, распротертый на полу, косил стеклянным взглядом на нашу компанию; как связанный враг, наблюдал он за нами, враг, готовый использовать любую возможность к освобождению. Мы пили вино и болтали так весело, что на время я забыл о неприятности, постигшей Неврева. Через некоторое время подошли еще три товарища, и, по мере того как пустели бутылки, в комнате рядом с сизым дымом табака повис возбужденный гул.

Елагин взялся за гитару — он изумительно исполнял романсы, но пока только щипал струны, ожидая минуты затишья, как дворовый мальчишка ищет выломанную доску в яблоневом саду деревенского священника. Между тем общий разговор распался. У Неврева заблестели глаза, и упрямая тоска проникла в них.

— Как это может быть, — повторял он хрипло, — как это может быть? — спрашивал он, обводя общество неповоротливым взглядом.

Никто, однако, не обращал на него внимания, каждый слышал только себя. Мне докучали эти заклинания.

— Ну полно печалиться! — вскричал я со злостью. — Давай сделаем дело, наконец. Что толку сидеть сложа руки.

— Не говори глупостей, прошу тебя. Куда мне ее везти — у меня у самого дома нет.

Задорно зазвенела рюмка, упавшая со стола. Ламб раздавил ее каблучком.

— Она же сама мне сказала... — продолжал недоумевать Неврев, опустошая свой бокал огромными глотками. — Хочешь, — он схватил меня за руку, — я расскажу тебе, какое это блаженство — стоять на коленях перед ней?

— Володя, ты пьян, — поморщился я.

— Ну и что с того? Впрочем, ты не поймешь... не поймешь. Тебе для этого нужно в мою шкуру залезть.

Неожиданно в его голосе появились энергические нотки. Он ударил кулаком по столу, вскочил и зашагал по комнате, собирая удивленные взгляды приятелей. Казалось, чудная, спасительная мысль пришла к нему, как глоток воды в сухие уста караванщика. «Вот говорят, надежда умирает последней», — подумал я.

— Да и умирает ли она вообще? — услышал я голос Елагина.

— Точно умирает. Вчера уж за батюшкой посылали. Ночь прохрипела, так он под утро ушел спать, сейчас, верно, снова там, — возразил Донауров.

— Кто умирает? — спросил я. — Вы о ком говорите?

— Да вот у Донаурова двоюродная тетка умирает, — пояснил Елагин.

— У ней никого нет. Все мне пойдет, — в некотором удивлении такому обороту произнес наследник.

Время приближалось к семи. Тонкая стрелка незаметно кралась к цели. Мы отметили чужую, незнакомую смерть, доставившую приятелю пятнадцать тысяч дохода.

— Елагин, расскажи про француженок, ты, говорят, видел их уже, — попросил я.

— Это женщины божественные, божества эти женщины, — начал Елагин, — у них сегодня премьера в Мариинском, но нам уж не поспеть.

— Ну, брат, не успеем к началу — к концу успеем, — взорвался Ламб. — Я с большей охотой взгляну на них в примерной, черт возьми.

— Останетесь здесь, господа, здесь тепло и сухо, — слабо возразил Донауров. — Не надо женщин.

— Как это не надо? — приговаривал Ламб, оглядывая себя в зеркале. Вид он имел растрепанный, но вполне сносный для поздних визитов.

— Прохор, — позвал он, — неси мой новый.

Когда Ламб бывал пьян, его отличали три качества: негибкая воля, ласковое обращение с Прошкой и чрезвычайная щеголеватость.

— Нынче и лошадей не достать, — заметил Донауров.

— Достанем, — заверил Ламб, проверяя шинель.

— Едем, едем, — соглашался Звонковский.

Прошка поплелся на станцию за лошадьми. Мы долго ждали, наконец колокольчики зазвенели под окном.

— Ну, ребята, гоните вовсю, — обратился Ламб к извозчикам, выскочив на двор, — не обижу.

В одни пошевни уселись сам Ламб, Донауров и Неврев, в других разместились Елагин, Звонковский и я. Оставшиеся дома вышли поглядеть нам вслед и ежились на морозе. Извозчики вскрикнули, сани покачнулись, выбираясь на прямую дорогу.

— Опять ты с этим господином, — заметил мне Елагин. В его голосе слышалось неодобрение.

— Ну что ты, он славный малый, — заговорил я. — Отчего он тебе не нравится?

— Мне не нравится? — удивился Елагин. — Что ты, помилуй бог. С чего ты взял?

— Да вижу. — Меня раздражало это притворство.

Он замолчал. Лошади бежали все быстрее, ветер ударял в лицо, снежная пыль покрывала все поверхности, накапливаясь в складках одежды.

— Он тебе, верно, рассказал про свои несчастья? — спросил вдруг Елагин.

— Что ты имеешь в виду? — Я вздрогнул и покосился на Звонковского. Тот спал, закутавшись в шубу.

— Да любовь несчастную, — брезгливо произнес Елагин.

— Откуда ты знаешь? — Я недоумевал все более и даже заворочался.

— Мне Элен сказывала, что проходу ей не дает, — небрежно бросил он.

— Так ты знаком с ней!

— Знаком, знаком. — Он повернул ко мне лицо. Глаза его блеснули так же холодно, как голубые зимние звезды, их осветившие.

— А он знает? — Я посмотрел вперед, где темным пятном скользила первая тройка.

— Да что с тобой, право! — На этот раз Елагин удивлялся неподдельно. — Знает, не знает — мне-то что с того?

Я не отвечал. Мысли сбивались, как это всегда бывает при быстрой езде, и незаметно для себя я задремал.

Пока мы неслись мимо темных деревьев по заснеженным полям, казалось, что уже наступила глубокая ночь. Но вот появился город, поднявшийся вдруг из снежной глади, — город, который еще вполне бодрствовал. Потянулись, словно солдатские шеренги, грязных цветов дома, похожие на казармы, с окнами впалыми, как глазницы ветеранов. Редкие прохожие, завидя наши тройки, предусмотрительно приникали к фонарям, освещавшим высокие сугробы, бережно уложенные дворниками на обочины. Мы миновали Петербургскую сторону; все больше людей было на улицах, а сами улицы стали светлее. Встречные экипажи жались к сугробам. Ламб выполнял свое обещание, и кони бежали крупной рысью.

Рядом с театральным подъездом несколько десятков экипажей дожидались владельцев и седоков. Кучера и извозчики, обмотанные шарфами и тряпками, разложили костер и расхаживали вокруг него. Небо сделалось мутно, и мягкий легкий снег понемногу устилал площадь и крыши домов.

— Есть еще время, — сказал Ламб.

Елагин расстался с нами и нырнул внутрь, а мы остановились у трактира и пили вино, покуда мальчишка, подкупленный Ламбом, не донес, что актрисы живут у Кулона.

— Роскошно! — вскричал Ламб. — Неужто клопы еще не обглодали эти нежные создания? Бьюсь об заклад, что Елагин плохо смотрел.

Гостиница Кулона действительно славилась своим богатым фасадом и безжалостными насекомыми, с которыми постояльцам приходилось вести изнурительную войну. Сам Кулон участия в боевых действиях не принимал.

Тот же мальчишка был посажен наблюдать за передвижениями актрис, а к крыльцу трактира подогнали линейку. Когда запыхавшийся мальчишка дал знать, что представление окончилось, мы похватили шляпы и, немилосердно звеня шпорами, выскочили на улицу. Звонковский едва стоял на ногах — мы уложили его в линейку, расселись и во всю мочь жидких на вид кляч помчались к Кулону. В ногах у нас позвякивали бутылки с шампанским, брошенные кое-как. Наняв комнату для Звонковского и уложив его на подозрительный клеенчатый диван, мы отыскали полового и выяснили, что горничные наших барышень отсутствуют. Быть может, они сопровождали своих хозяек и также пребывали в театре. Тридцати рублей стоило отомкнуть один из нужных нам номеров. Половой сунул деньги в башмак и исчез, а мы ввалились в жилище весталок Мельпомены.

Две большие комнаты были полны дорожными сундуками и душным запахом лоделавана. Самые нескромные части женского туалета представляли нашим взорам в самых неожиданных местах, но в очень артистических положениях. Подмерзшие бутылки были откупорены и выставлены на ломберный столик — другого здесь не было. Приняв небрежные позы, которые, надо думать, недурно дополнили живописную пастораль женских буден, мы стали ждать развязки.

— Мечты сбываются, — заметил Ламб, разразившись хмельным хохотом, но не успели мы сделать и глотка, как в замке заворочался ключ, дверь распахнулась, и три белокурые знаменитости завизжали от испуга и изумления. Мы как ни в чем не бывало продолжали тянуть из бокалов. Невозмутимость наша поначалу сбила с толку эти очаровательные головки, однако через минуту среди них появилась напомаженная голова управляющего.

— *Pardon, mesdames*, — начал Ламб, сверкая обворожительной улыбкой, — но это само небо посылает нам подобных... — Он замялся, подыскивая слово.

— Небожительниц, — подсказал Донауров, довольный собой.

Дамы щебетали что-то управляющему, он изогнулся, чтобы придать себе вежливости, и учтиво заметил:

— Господа, этот номер некоторым образом занимают эти дамы...

— Некоторым образом, любезнейший, — холодно возразил Ламб, — этот номер занимает наш товарищ. Какого черта вам здесь надо?! Мы уплатили вперед.

Управляющий в недоумении отступил. Он знал наверное, что номер принадлежит француженкам, но решительность Ламба поставила его в тупик. Актрисы робко жались в коридоре, не решаясь переступить порог. Управляющий сделал два осторожных движения ловкими ногами и удалился. Вот до чего сильна у нас вера в мундир!

— *Mesdames*, — продолжил Ламб, — не угодно ли шампанского? Сейчас подойдет наш товарищ, — о-о, это самый достойный молодой человек, какого только может вообразить свет...

Ламб сопровождал свою речь нетрезвыми жестами. Между тем на шум собрались другие актрисы — товарки тех, что стали жертвами нашей выдумки. Ламб встал и направился к двери — женщины в ужасе попятись. Дело, в общем, оборачивалось не так, как хотелось бы Ламбу, тем более что показался квартальный пристав. Увидев гвардейских офицеров, он, как и управляющий, старался глядеть как можно приветливей.

— Господа, — произнес он вкрадчиво, — я прошу покинуть помещение. Я понимаю, — поспешно добавил он, встретив недоумевающий взгляд Ламба, — произошла ошибка. Мы осведомились — ваш товарищ занимает номер в втором этаже.

Это была чистая правда. В номере второго этажа бредил пьяный Звонковский.

— Не понимаю, — протянул Ламб.

Донауров дернул его за рукав.

— Пора идти, шутка не удалась, — шепнул он. Мы тоже понемногу приходили в себя и понимали, что лучше удалиться.

— Господа, — взмолился пристав, снимая фуражку и обтирая голый лоб, — очень вас прошу. Зачем доводить до начальства?

— Доводите до кого угодно, — резко возразил Ламб. Лицо его побагровело. — У меня есть одно начальство — командир полка.

В коридоре продолжали собираться любопытные.

— Закройте же дверь, наконец! — закричал Ламб.

Пристав убрал понимающую улыбку.

— Как знаете, — коротко сказал он и вышел вон.

Мы прикрыли двери и принялись горячо уговаривать Ламба опустить занавес. Он махнул рукой, и мы было двинулись к выходу, как вдруг дорогу нам преградила фигура, завернутая в военную шинель. Мы увидели, как грозно покачивался на шляпе белый султан. Фигура подняла голову и оказалась полицмейстером Кокошкиным. За ним показались уже известный нам квартальный со своим поручиком. Квартальный злобно посмотрел на нас из-за спины Кокошкина.

— Что, давно не навещали гауптвахту? — устало промолвил полицмейстер. — Выходите отсюда все.

— Кто-то метко сказал, что русские — это медведи, только шкуру носят мехом внутрь, — бросила нам вслед одна из дам.

— Знал бы мой *rara*, что в его сыне не видят француза, — грустно сказал Ламб. — И кто, кто не видит! Положительно, мир с ума сошел.

— *Rara* узнает, — обронил полицмейстер, зевая.

На улице уже полицмейстер пригрозил нам военным генерал-губернатором, великим князем Михаилом и собственным пальцем. На прощанье он высморкался в платок и сказал тем же усталым тоном:

— Не оригинально, господа, вы не мальчики, честное слово.

Мы молча проводили глазами его экипаж, сопровождаемый двумя казаками.

— Да, — сказал Донауров, когда экипаж свернул на канал, — как бы не доложил.

— Ничего, сойдет, — зевнул Ламб. — Вы заметили, ему нынче не до нас.

— Как сказать, завтра с утра с рапортом поедет. Ну, как будет не в духе?

— Черт с ним, — решил Ламб. Он заметно протрезвел, был хмур и недоволен. — Звонковский, верно, уж проспался. Пойдемте к нему. Вы бутылки забрали?

— Да, еще две и одна початая, — отвечал я.

Ламб вздохнул:

— Эконом.

29

Мы застали Звонковского наскоро очнувшимся. Он сидел на диване, чесался и тупо глядел мутными глазами. Мы вышли на воздух и зашагали по уже ночному городу к будке, где зимою грелись извозчики. Снег перестал, было тихо, тепло и скучно. Мы лепили снежки и вяло швыряли их в еще дымившиеся кое-где трубы. Но, очевидно, шалостям на этом не суждено было завершиться. Не помню, кому первому пришла в голову мысль подшутить над одиноким экипажем, однако последствия этот необдуманый шаг доставил нам самые роковые.

Затмение нашло на умы наши. Когда мы услышали грохот кареты, нас не остановил даже вид четверки лошадей, хотя из этого можно было заключить, конечно, что везет она чиновного седока. Ламб быстро скинул шинель и шляпу, и мы набили снег в полы и рукава, уложив все это на дороге таким образом, чтобы казалось, что здесь лежит человек. А вот зачем он здесь лежит, почему он здесь лежит, по какой причине лежит он здесь, а не в собственной постели на стопке перин, как кусок масла на стопке блинов, — все эти вопросы мы предложили еще неведомым жертвам нашего романтического замысла. Присыпав снегом свое произведение, мы прикинули к облезлой стене между догоревшими фонарями и стали гадать, что случится дальше.

Несмотря на темноту, кучер заметил на снегу очертания человеческой фигуры и остановил лошадей. Он беспокойно огляделся, прежде чем покинул облучок. Окна окрестных домов были темны, и мы оказались единственными пешеходами в этот поздний час. Кучер осторожно отворил дверцу кареты, и послышался разговор.

— Что там, Иван? — спрашивал недовольно сильный мужской голос.

Мы разочарованно переглянулись, ибо рассчитывали услышать голоса нежные и волнующие.

— Да вот, ваше превосходительство, будто лежит кто-то. Будто офицер.

— Ну, ступай посмотри, что с ним, — приказал мужчина, сидевший внутри.

— Боязно, ваше превосходительство, — ответил кучер, но перекрестился и приблизился к снежному чучелу, трогая его кнутовищем. Он долго не мог сообразить, в чем тут дело, — седок, видимо, устал ждать и вышел сам разузнать о причине задержки. Это был высокий человек, с внушительными баками и в генеральской шинели.

— Что за чертовщина, — проворчал он, пиная пустую шляпу и грозно взглядывая на бедного кучера. Тот молчал и недоуменно хлопал глазами.

Немая сцена произвела на нас должное впечатление, и мы не нашли сил сдерживаться долее. Генерал и кучер вздрогнули от неожиданности, услышав наш смех. Генерал, оправившись от первого испуга, шагнул к нам. Он свирепо оглядел раздетого Ламба, покосившись на початую бутылку, которую тот держал в озябших руках.

— Господа офицеры, что это значит? — прошипел он.

Мы не открывали рта, ибо это были уже не шутки. Вдруг генерал обратил взор на Неврева и воскликнул:

— Ба, Владимир Алексеич! Вот как! Так-то вы соблюдаете условия нашего соглашения!

Лицо Неврева перекосилось:

— Не свое ли письмо вы зовете соглашением? Если так, то я ни на что не соглашался.

— Это, позвольте полюбопытствовать, своего рода месть, не так ли?

Они хорошо понимали друг друга, и взгляд генерала, разгневанный и продолжительный, как канонада при Эйлау, дал знать о грядущих бедах. Генерал, не говоря ни слова и ни на кого более не глядя, зашагал к карете. Кучер, поглядывая на нас, занял свое место, лошади попятнулись, объезжая куклу, которая и правда была очень схожа с реальностью.

— Кто это был? — спросил я Неврева.

— Скверно. Это Сурнев, отец Елены. — Он посмотрел на меня озабоченно.

— Какой Елены? — спросил Донауров.

— Какая разница, господи, важно то, что он знает его, — с досадой сказал я.

Ламб послушал нас, поставил бутылку и начал вытряхивать свою амуницию.

30

Утром на разводе я поведал о происшествии Елагину, и мы с тревогой ожидали разноса. Его, однако, не последовало — жалоба прибыла в полк лишь на следующий день. После утреннего построения командир полка предложил нам явиться к нему на квартиру в сопровождении эскадронного начальника. На полковника Ворожеева было больно смотреть — так подкосила его эта история. После визита к полковому начальству весь остальной день прошел в томительных подозрениях, так как генерал сумел дать понять, что дело не закрыто и отнюдь не ограничивается этой неприятной беседой.

— Пустяки, обойдется, — бодро приговаривал Ламб, но было заметно, что сам он не слишком верит в такой исход.

Командир полка сообщил, что подробности доведены до великого князя Михаила Павловича, — это было ужасно. Неврев весь вечер просидел у меня и ушел за полночь. Ночью я был разбужен каким-то шумом внизу. Постучалась перепуганная хозяйка. Я как будто чувствовал близость развязки и не раздевался в эту ночь, гадая, сколько дней предстоит провести под арестом.

Незнакомый офицер, который встретил меня у крыльца, приложил руку к шляпе и сказал:

— Пожалуйста со мною в ордонансгауз. Вот приказ генерал-губернатора.

— Позвольте взять деньги, — попросил я.

— Да, конечно, — поспешно согласился он. — Взгляните на приказ.

— Что толку, пустая формальность. — Я силился придать голосу небрежность, но он взволнованно дребезжал, выдавая с головой мои страхи.

Я взлетел по лестнице, подскочил к столу, вынул из бюро деньги, нацепил саблю, сунул в карман трубку — она была полна черного пепла, я выбил ее об каблук и смахнул мусор под кровать. Потом я сообразил, что саблю придется тут же вручить офицеру, и снова отцепил ее. Несколько времени я лихорадочно осматривал комнату, придумывая, что бы еще захватить, но от волнения предметы плясали в глазах, и я, ничего больше не взяв, спустился в нижний этаж.

— Пожалуйста, — пригласил офицер учтиво, принимая мою саблю. Было видно, что ему не по душе та роль, которую возложило на него начальство, и поэтому он старался глядеть как можно приветливее.

Я забрался в кибитку, офицер уселся рядом, и мы тронулись. Пара сонных казаков загарцевали позади.

Первое лицо, которое я увидел, был Неврев, сидевший на скамье в заваленной бумагами канцелярии гауптвахты. Мой провожатый указал мне место рядом. Я повиновался.

— Больше никого, — сообщил Неврев, — я здесь уже с час.

Мы долго ждали неизвестно чего, один раз дверь приоткрылась, и какой-то человек в военном мундире внимательно оглядел нас с головы до ног. Дверь закрылась так же осторожно, как и отворилась. Время шло, а никого из наших товарищей не приводили. Лишь позже я случайно узнал, почему именно мы с Невревым оказались арестованы. Мне рассказали, что, когда Михаил Павлович доложил о наших шалостях государю, тот, просмотрев список виновных, сказал: «Этот Неврев не оправдал моих надежд, — и выразительно взглянул на Михаила. — Юнкер тоже пусть выслуживается в другом месте, сейчас видно, что не был в военной школе». Остальные были пощажены двумя неделями гауптвахты.

Наконец появился полковник, которого я также никогда прежде не видел, передал нам оружие и вывел во двор. Мы попросили объяснений.

— Увидите, господа, сами, — сморщился он.

Мы действительно увидели две почтовые тележки, на высоких, обитых истершейся кожей сиденьях которых восседали прямые, как истуканы, равнодушные фельдъегери. Не без удивления заняли мы места, что указал нам полковник, и возницы тронули вожжи. Лошади той тележки, в которой находился Неврев, фыркнули и попятнулись. Старый унтер, топтавшийся неподалеку, вздохнул и сказал тихо:

— Это, значит, так — обратная дорога не ляжет.

Неврев услышал эти слова и посмотрел на крестившегося унтера, а потом на меня.

— Пошел, — свирепо крикнул полковник, и лошади сразу рванулись в темноту.

Когда мы миновали городскую заставу и шлагбаум за моей спиной стукнул, как волшебные ворота в прошлую жизнь, я попробовал заговорить с фельдъегерем, но он даже не смотрел в мою сторону, смешно подпрыгивая на ухабах и не теряя при этом правильности посадки. Красной рукой сжимал он ремень кожаной сумки, что висела у него на груди. После нескольких неудачных попыток завязать разговор я умолк и вперил взгляд в лошадиный круп.

31

Под утро я был уже изможден почтовой скоростью, жесткостью сиденья, холодом, голодом и ветром. Когда засерел рассвет, тележка встала у станции. Пока меняли упряжку, я наслаждался покоем и на мгновение сомкнул глаза. Сквозь дрему донеслись обрывки фразы, сказанной фельдъегерем: «Нижегородский драгунский полк... Ставрополь...» Сон причудливо вплелся в реальность. «Кого это на Кавказ?» — лениво догадывался я, а когда догадался, то испугался открывать глаза. Сердце болезненно сжалось, когда я убедился воочию, что и худой фельдъегерь, и тележка, и большая дорога суть не химеры, а осязаемые признаки несчастья. Такого наказания я ни за что не ожидал и не мог даже предвидеть. Я готов был плакать, рыдать от обиды самым бесстыдным образом и, верно, так бы и поддался позывам недостойных чувств, если б не был настолько уставшим...

Что толку описывать дорогу — она была изнурительна и однообразна. Скажу лишь, что моя тележка шла после той, в которой трясся Неврев, они неслись почти одна подле другой, но за две недели не только не удалось мне как следует переговорить с ним, но и угрюмый конвоир мой не проронил ни слова. Москву мы объехали, едва задев, — стояли некоторое время у Дорогомилловской заставы, — и через три дня вокруг расстилалась уже бесконечная степь. Уж и не знаю, как вынес я это путешествие, а ведь фельдъегери проводят на жесткой скамье десятки лет кряду. Все же я кое-

как приспособился к тряске и к ветру. Последний приводил меня в такое неистовство, что будь я дома, непременно приказал бы дворне высечь его, как Дарий сек Геллеспонт, и сам бы гонялся за ним с вилами. Однако повелевать было некем, и я стал обдумывать свое положение. Еще пуще злой доли боялся я дядиного гнева и того позора, который я так некстати обрушил на его доброе имя. Зная дядю, я догадывался, что он сначала проклянет меня, затем, успокоившись, решит, что путешествие пойдет мне на пользу, и только после матушкиной мольбы задумается о том, чтобы выволить меня из этого приключения. Понемногу я успокоился, ибо попросту оступел, и воспоминания заворочались в голове.

Я увидел себя, затянутого в узкий студенческий сюртук, с беспокойным взглядом, нацеленным в будущее. Долгие вечера, освещенные куцом огарком, время, летевшее стремглав, съеденное без остатка жженкой и не имевшими конца спорами в крохотной комнатке нашего казеннокоштного товарища, которую меряли мы двумя с половиной шагами. Разум наш в те поры был так же мал, как эта комнатка, с тою лишь разницей, что в нем теснились непонятные нам самим мысли, искавшие выхода в мир, тогда как в комнатке если что и теснилось, так это были мы, тонущие в разговорах и мнениях, смысл которых оставался неясен даже в благословенные мгновения минутных озарений. О таком ли повороте судьбы мечтал я бывало!

Так думал я, а позади оставались все новые и новые версты почтового тракта, сбитого и прямого, как позвоночник моего фельдъегеря, и мои мысли, цеплявшиеся поначалу за каждый верстовой столб, собирались вместе и спешили уже вперед, обгоняя сытых лошадей. Молодость брала свое — не существовало такого несчастья, которое представлялось бы мне непоправимым. А когда выдался в конце концов солнечный денек, я и во все повеселел.

Воздух сделался прозрачен, в нем чувствовалось приближение юга. Непривычных очертаний деревья попадались на пути. Вдоль дороги караулили пирамидальные тополи, стройные и внушительные, словно гвардейские гренадеры, на которых любовался я в Петербурге. Наконец едва различимая, размытая голубоватая полоска протянулась по горизонту и увеличивалась с каждым часом пути. Я взглянул на фельдъегеря. Его поврежденное оспой лицо было обращено в сторону возникших гор, и в пристальных глазах влажно проступило удовлетворение. Так узнал я о том, что и камни способны чувствовать, и это была чистейшая правда, — иначе зачем им государева пенсия, ради которой они служат? Говоря короче, путешествие наше шло к завершению.

Часть вторая

1

Кавказ... Это слово поднялось вдруг передо мною во всем своем величии. Помнится, было мне годов пятнадцать, когда попался ко мне в руки номер «Московского телеграфа», где появился тогда «Аммалат-бек» Марлинского. Я стащил из столовой свечей и ночью жадно набросился на уже зачитанные кем-то страницы. Это было сильное ощущение. Прочитав раз, я тут же принялся во второй. Что всего более впечатляло меня, так это то, что история несчастного Аммалата и благородного Верховского имела место совсем недавно и произошла не в диких просторах новых континентов, а в двух неделях езды на почтовых от Москвы, города мирного и сонного и отнюдь не романтического, как это могло показаться некоторым французам в присной памяти двенадцатом году. Иногда мне приходилось наблюдать офицеров, щеголявших в черкесках и косматых папахах, ловко и грациозно носивших восточное оружие. Это были удачливые счастливцы. Были и другие, — те, покалеченные и отчаявшиеся, заканчивали жизнь по

своим именицам на руках у дряхлых ключниц или стариков родителей. Что ж, существовали и третьи, правильней было бы сказать — «уже не существовали». Эти уже никогда не увидят ни ключниц, ни стариков родителей, ни покойных кресел в теплом мезонине. Я подумал о том, что война на склонах древних гор взяла начало задолго до того, как я был рожден, а сколько еще продлится — бог весть, и вот я еду принять в ней участие. Неврев как-то сказал, что все мы выполняем особые задачи провидения. У одного они велики и всеми замечены, а иной хорош и тем, что губит мух у себя в гостиной. Все эти задачи, утверждал Неврев, разумны, и нет среди них невыполнимых. Тогда, осмелюсь продолжить, и не стоит стараться побороть судьбу, ибо, даже уложенная на спину, она оттого только выигрывает, обеспечивая собственным падением непонятный нам замысел.

2

Ставрополь встретил нас мокрым снегом и неистовым лаем собак, поджидавших тележки еще у заставы. На минуту колокольчик коренной захлебнулся среди шума, поднятого этими тощими, грязными животными. Они с интересом принюхивались и скоро успокоились, окружив нас и важно двигаясь рядом подобно почетному эскорту. Я вытянул шею и с любопытством разглядывал виды.

Ставрополь имел облик скорее не города, а большущего села. Выкрашенные в светлые тона, дома редко поднимались до трех этажей и были разбросаны в полном беспорядке вокруг возвышенности, на которой разместились казенные постройки. Видимо, летом дома утопали в пыльной зелени, а теперь были затянuty густой сетью обнаженных веток. Уныло поднимались вверх тут и там голые пирамидальные тополи с серо-зелеными стволами, виданные мной только на гравюрах в доме одного дядиногo знакогца. Низкое небо широко нависло над городком. Голые холмы не мешали взгляду — в стороне от центральной площади я заметил христианское кладбище, уставленное каменными крестами. С противоположной стороны площадь упиралась в довольно крутой овраг. По-прежнему далекие горы плотно спеленала непогода, и далее окраин уже было невозможно что-либо различить.

Жидкий снег составлял единственное покрытие по-степному широких улиц, людей было мало: только казаки на маленьких волосатых лошадках сновали мимо по улице да в непролазной ее грязи волю, запряженные попарно, топили две арбы, наполненные сеном. По щиколотку в жиже, вокруг них суетились, гортанно крича, три татарина в дырявых халатах.

Мы направились прямо к дому командующего Кавказской линией Севастьянова, самому внушительному на площади, но походящему более на провиантский склад. Так оно, впрочем, и оказалось — лишь несколько комнат в нем занимал сам Севастьянов и штаб, в остальных же помещениях хранились мука и сахар. Крыльцо охранял казак с пикой, в черкеске с газырями и в широчайшей бараньей папахе, космы которой падали ему на глаза. К тому же казак густо зарос черной бородой, и, таким образом, лица его было вовсе не видно. Свободной рукой казак тербил темляк от шашки, ножны которой покрывали затейливые узоры черненого серебра. Все это было диковинным для меня, и я не мог оторвать глаз от этого человека.

Фельдъегерь выбрался из тележки, переговорил с казаком и пригласил меня следовать за ним. Неврев со своим провожатым находился тут же. Не без робости переступил я порог и двинулся вслед за своими спутниками по грязной лестнице. В втором этаже несколько инвалидов в расстегнутых кителях курили трубки и с нескрываемым любопытством посмотрели на мою гвардейскую шинель. Очень может быть, что они принимали нас за важных столичных птиц, в то время как мы были всего лишь наказанными мальчишками. Офицеры в странной форме бегали по коридору, держа в руках какие-то бумаги. Юный прапорщик, сидевший на стуле перед обшарпанной дверью, при нашем появлении поднялся и исчез за ней на мгновение.

— Его превосходительство ждет вас, — громко объявил он, выходя из кабинета.

Мы взошли. Огромная комната была почти пуста, большие окна создавали много света. Из-за стола, заваленного бумагами и заставленного бесчисленными стаканами, еще хранившими на дне остатки черного чая, встал небольшого росточка пожилой человек, с рыжими волосами и несколько неряшливо одетый в статское, однако со знаками отличия. Человек внимательно посмотрел на нас с Невревым маленькими цепкими глазками и протянул руку, в которую фельдъегерь вложил пакет, где содержались наши аттестации. Генерал быстро пробежал их глазами и кивнул фельдъегерю. Тот исчез, и больше никогда я его не видел.

— Так-так, понятно, что у вас. — Генерал пробежал письмо по второму разу. — Сколько вы в службе? — спросил он у меня.

— Семь месяцев, ваше превосходительство.

— И что вам спокойно не сиделось! Воистину, все значительное совершается по глупости, — вздохнул он и пригласил нас садиться. — Ну-с, посмотрим, что с вами делать, молодые люди. Вы где остановились? Нигде? Это похвально — сначала служба, а уж потом... так сказать. Впрочем, поезжайте к Найтаки. Больше все равно некуда, — он улыбнулся, — это вам не Петербург. Ну, ступайте. Вечером представьтесь — я решу что-нибудь.

Мы повернулись налево кругом и вышли на улицу. Моей тележки уже не было, все мои вещи были со мной, а точнее сказать, на мне. Я осведомился у караульного казака, как пройти к гостинице, и, выслушав ответ, который он дал глубоким тягучим голосом, мы зашагали через площадь.

Гостиницу эту содержал Найтаки, грек по происхождению, и было видно, что он не жалеет о том выборе, который сделал двадцать лет назад. Мне, правда, она показалась немножко грязноватой, чуть-чуть неудобной и совсем уже безлюдной. Мальчишка-армянин проводил меня до комнаты с низким потолком, и я по столичной привычке полез в карман за монетой, которой так и не нашлось. Я наказал мальчишке разбудить меня в семь, и едва дверь закрылась за ним со страшным скрипом, я сбросил промокшую шинель и прямо свалился на кровать.

3

Разбудил меня через четыре часа уверенный стук. Я перевернулся на спину, и Неврев предстал передо мной во всей своей подавленности. Мы спросили чаю и стали обсуждать последние новости.

— Надобно, по крайней мере, хотя бы оглядеться, — утешал я и Неврева, а заодно и себя. — Да и то сказать, быть на военной службе и войны не увидеть.

— На кой черт она мне сдалась, война эта вместе с этой службой. Какие-то три недели — и я был бы уж в отставке.

В действительности мне ничто не угрожало: я знал, что, возможно, уже в эту самую минуту дядины письма летят по разным адресам, а он сам в своей английской коляске с удвоенной настойчивостью делает визиты. А вот Невреву надеяться было не на кого, если уж собственный опекун приложил руку к ссылке, когда представилась okazия избавиться от неугодного жениха.

— Мне не выбраться отсюда, — как-то вяло произнес Неврев, будто угадывая мои мысли.

— Посмотрим, посмотрим, — сощурил я глаза. — Хоть бы знать, что дальше.

— Я и так знаю, и это ужасно, — ответил он. — Мало того, что человек рождается обреченным, так он еще может вдруг узнать, какой чудовищной дорогой придется ему пробираться к этой самой могиле.

— Что-то уж очень мрачно.

Время приближалось к семи. Мы нахлобучили шляпы на самые глаза и отправились в штаб. На улице было давно уже темно, и в окнах мелькали слабые огоньки. Дом Севастьянова снаружи был ярко освещен плашками.

Юный прапорщик доложил о нас генералу, однако тот просил обождать. Мы присели на грубые крашенные стулья — единственное украшение коридора. Он был пуст и темен, инвалиды уже ушли, а на том месте, где они стояли, виднелись кучки прогорелого табака. Прапорщик сидел за столом и что-то писал, но было заметно, что ему очень хочется удовлетворить свое любопытство относительно наших особ. Он то и дело украдкой взглядывал на нас исподлобья, продолжая водить пером по бумаге.

— Позвольте представиться, господа, — не выдержал он наконец, — прапорщик Зверев, адъютант его превосходительства. Временно, — добавил он и чуть покраснел.

Мы также назвали себя, и прапорщик отложил свою писанину.

— Вы, простите, как здесь? — учтиво осведомился он.

Таить нам было нечего, и мы поведали ему о нашей выходке. Это было совсем недавно, но мне казалось, что уже по меньшей мере год сижу я в этом темном коридоре, смотрю на дверь начальника и разглядываю лицо его адъютанта.

— ...если в Тифлис, то ничего, а вот на линии худо, — донесся до меня его неокрепший голос, — скучно, господа, скука смертельная, да и постреливают. Зато отличиться есть возможность. Теперь ведь экспедиций до весны не будет. — Он посмотрел в окно, как бы призывая в свидетели зиму. — Да, впрочем, долго здесь не задержитесь. Если будете ранены, так выйдет прощение.

— А ежели убиты? — улыбнулся Неврев.

Прапорщик Зверев развел руками:

— Вот был у нас здесь один офицер, за дуэль, что ли, за какую-то был сюда направлен. Тоже из столицы, гвардеец, навез с собою добра две повозки, да еще и повара. А когда прибыл, тут уж его приказ о помиловании дожидается. Он поругался — и обратно на следующий день. Обойдется, господа, обойдется. У нас здесь очень много сосланных и разжалованных. За проступки-с, — как-то странно пояснил он. — А, однако, имеются и по государственным делам. В Пятигорске в линейном батальоне служит, кстати, множество поляков. Частью сразу после бунта присланы, частью из Сибири переведены. Да-с, — вздохнул он, — поляков у нас немало.

Я знал наверное, что кроме поляков, которые после 1831 года пополнили пехотные роты нашей теплой Сибири, здесь можно было встретить прикосновенных еще к делу четырнадцатого декабря. Мне чрезвычайно хотелось взглянуть на этих людей, которых, если говорить строго, в обществе почитали скорее за неудачников, чем держали за злодеев. Впоследствии я пристально вглядывался в солдат, пытаюсь угадать, которая шинель могла бы принадлежать участнику столь громких событий.

— Скажите, — обратился Неврев к нашему новому знакомому, — где нынче Марлинский?

— Не могу точно сказать, — улыбнулся Зверев застенчиво.

Тут дверь открылась, и сам Севастьянов запросто пригласил нас войти. Его стол был расчищен от папок и бумаг и покрыт строгой однотонной скатертью.

— Присаживайтесь, господа, — предложил он.

Мы робко присели, каждую секунду ожидая своего приговора. На столе тем временем появился скверно вычищенный самовар и стаканы с толстыми стенками, которые доставил солдат в расстегнутой шинели. Севастьянов, казалось, не обратил на это обстоятельство ни малейшего внимания.

— Который там час? — суетливо спросил он самого себя, полезая в карман своего гражданского сюртука и извлекая оттуда большие старин-

ные серебряные часы. — Так-так, в исходе седьмой. Василий Петрович! — крикнул он в коридор.

На пороге появился прапорщик Зверев.

— Что это никто нейдет? — спросил генерал.

— Ума не приложу, ваше превосходительство, — бойко отвечал тот и снова покраснел.

— Ну, хорошо, проси без доклада, как придут.

Зверев исчез.

— Господа, — обратился Севастьянов к нам, — мне предписано поступить с вами по своему усмотрению. — Он вопросительно посмотрел на нас.

Мы потупились.

— До весны нет смысла прикомандировывать, господа, — объявил он свое решение, — останетесь поэтому здесь до поры. Для поручений — вот так. А поручений у меня много.

Честно говоря, услышав такой приказ, мы толком не знали, печалиться следует нам или радоваться надлежит. Возможно, Севастьянов уловил в нас некоторое смущение и растерянность, потому что поспешно сказал:

— Успеете еще настреляться, уверяю вас. На тот свет никогда не поздно.

— Так точно, ваше превосходительство, — отвечали мы в один голос.

— Если в гостинице не по душе, поищите квартиру. Здесь многие сдают... А я уж отпишу Ивану Сергеевичу, чтобы не волновался.

— Ивану Сергеевичу, ваше превосходительство? — переспросил я. — Вы знаете дядю?

Легкая улыбка раздвинула его сухие губы. Он, видимо, остался очень доволен произведенным впечатлением.

— Я его знаю, но это ни к чему не ведет. Как это он вас просмотрел? Хотя он и сам в молодости любил подурить. Я имею в виду, был способен на поступок, — поправился он.

Севастьянов казался человеком редкого такта. Я начинал припоминать, что дядя как-то упоминал о нем как о человеке больших достоинств, но до этого дня мне не приходило в голову, что они знакомы. Впрочем, я скорее бы удивился, если б это было не так.

Мои размышления были прерваны появлением новых лиц. Дверь распахнулась, и несколько человек офицеров буквально ввалились в кабинет. Сапоги их были мокры и сплошь заляпаны бурой грязью.

— Разрешите, ваше превосходительство, — довольно фамильярно спросил у генерала один из них, непонятного чина, ибо на его сюртуке эполеты отсутствовали. Да он даже и не спрашивал, а произносил утвердительно.

— Пожалуйста, господа, — ответил Севастьянов не поведя и глазом. — Отчего так поздно?

— Все искал людей для okazji, — объяснил вошедший, усаживаясь. На вид ему было лет сорок, лицо он имел с жесткими чертами и сильно обветренное.

— А вы, Петр Петрович? — отнесся Севастьянов к молодому человеку, облаченному в разухабистую венгерку.

— А я, ваше превосходительство... — Владелец венгерки замешкался.

— Ясно, ясно, голубчик. А, здравствуйте, Семен Матвеевич, как вы поживаете?

Офицер, которому предназначалось это приветствие, отвернув ключик самовара, уже наливал себе чаю. На нем не заметил я даже шпаги, не говоря уж об эполетах. Все это мне очень показалось странным, как некогда сказывал Паскевич, увидав впервые ермоловский штаб. Однако чувствовалось, что новые гости были у начальника своего завсегда. Они уверенно расселись и без церемоний принялись за чай. Следом за ними вошел Зверев и преспокойно подсел к столу.

— Пейте чай, господа, — улыбнулся нам Севастьянов. И точно, мы чувствовали себя не совсем ловко.

Тут все присутствовавшие заметили наконец новых людей и обратили на нас свое внимание довольно откровенно.

— Прикомандированные, что ли? — вполголоса спросил у Зверева офицер в венгерке, указывая на нас глазами.

— Сосланные, — так же тихо отвечал адъютант.

— Господа, знакомьтесь, — возгласил Севастьянов, вставая. — Полковник Веревкин, — представил он офицера, появившегося первым. — Капитан Степанов, — указал он на Семена Матвеевича.

Венгерка оказалась поручиком Поскониным. Мы с Невревым представились в свою очередь. Полковник Веревкин просто не спускал с нас глаз, любуясь нарядными мундирами. Ощупывающие глаза были подернуты презрением. Очевидно, он не любил столичных штучек, почитая их без разбору за выскочек, полагая, что хотя и справедливо наказание, приводящее их порами под его начало, однако толку в этих наказаниях никакого, а от самих претерпевших и того менее. Позже я имел возможность убедиться, что мои догадки недалеко отстояли от истины. Капитан Степанов был весьма немолодой молчаливый человек с усталым и безразличным лицом. Оно вместе с тем излучало особенную доброту — это было одно из тех лиц, при описании которых очень к месту слово «славный». Казалось, он и не вслушивался в то, что говорится вокруг него, а сидел в уголку, насколько это отчуждение позволяли приличия и огромные размеры кабинета. Весь вид его свидетельствовал за то, что это был старый служака, прошедший на Кавказе немало беспокойных лет, приучивших его не вскакивать с постели после случайного выстрела.

Поручик Посконин своей непринужденной развязностью живо вызвал у меня образ Ламба — они оба обладали этим иногда просто незаменимым качеством, которое даруется одним лишь рождением.

Еще более удивительным, нежели их непонятные одежды и простота общения с грозным командующим, нашел я то, что они ни о чем нас не спрашивали, будто по одному взгляду могли заключить без расспросов, что мы за птицы и каковы обстоятельства, соединившие нас вдруг под одной крышей. Только Посконин разок обратился ко мне:

— Вы, господин юнкер, не из Москвы ли?

— Да, — обрадовался я, — как вы угадали?

— Да-с, Москва. Не правда ли? — вместо ответа на вопрос произнес он задумчиво.

Что он хотел этим выразить? Возможно, удовлетворение от того, что такой город существует на свете. Позже я узнал, что он сам родился в Москве.

— Совершенно справедливое суждение, — сказал я. Все, включая и самого Посконины, рассмеялись на эти слова.

— Что, что, господа, простите? — встрепнулся от громких звуков капитан Степанов и пососал погасшую трубку.

— Ничего особенного, Семен Матвеевич, — возразил с улыбкой Севастьянов, — мы все о том, для чего жить следует, но это для вас слишком скучная материя.

Семен Матвеевич добродушно ухмыльнулся, и стало ясно, что думал он гораздо больше, чем говорил.

— А что, простите, берут черкесы в плен? — осторожно спросил я.

— Берут! — вскричал Семен Матвеевич. — Да они живут этим.

— И какая же судьба пленных?

— Ужасная, натурально, — рассмеялся Посконин.

— Смотря по тому, к кому попадут, — в раздумье пояснил Семен Матвеевич. — Ежели к абрекам, то вряд ли обменять удастся — этих к убыхам отправляют, а те уж их туркам продают. А то есть такие, которых по аулам содержат. Таких меняем.

— А скажите, — не отставал я, — бывали ли случаи, когда и офицеров захватывали?

— Офицеров? — Семен Матвеевич откинулся на стуле. — Сколько угодно. — Он сощурил глаза. — Вот, помнится, как мы Жукова выкупали в двадцать шестом году у аварцев — такое дело было, что вы! Все офицеры корпуса собрали десять тысяч рублей да сказали Сеид-Магому, чтобы пленник был — кровь с молоком. Как корову торговали.

— Да вы не бойтесь, молодой человек, — обратился ко мне полковник Веревкин.

— Просто любопытно знать, — ответил я холодно.

— Ну-ну, господа, — вмешался Севастьянов, имея в виду более полковника.

— Так вы, господин капитан, стало быть, с Ермоловым служили? — спросил у Степанова Неврев.

— Точно так, довелось и с ним, — со вздохом сожаления отвечал старик.

— Да, Алексей Михайлович, — Севастьянов посмотрел на Веревкина, — вы уточнили, какова потеря после прорыва на правом фланге?

— Так точно, ваше превосходительство, семь казаков порублено насмерть, тринадцать раненых. Добычу отбили, сообщают. Нагнали уже за Кубанью.

— Так, так, — Севастьянов постучал костяшками пальцев по столу, — неважно.

Все притихли. Я еще раз оглядел наше собрание. Невольно напрашивалась мысль, что это не офицеры регулярной армии, а участники большого партизанского отряда — не хватало только Дениса Давыдова и графа Чернышева.

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, — заметил Веревкин, опустив глаза на свои грязные сапоги, — у них там на участке полка всего трое офицеров, не считая казачьих. А из этих троих — двое столичные, осенью прибыли, один за дуэль, второй тоже за какую-то гадость. Не с кем служить, ваше превосходительство. Им бы только паркетные стирать.

— Ну, это вы, Алексей Михайлович, очень решительно высказываетесь, — ответил Севастьянов. — Да и то сказать, — оживился он внезапно, весело посматривая на нас с Невревым, — вот какое пополнение.

Веревкин отвернулся и махнул рукой.

— Однако, господа, — промолвил Севастьянов, поднимаясь, — вы меня извините за прямоту, но я не понимаю... — Он заложил руки за спину и зашагал по комнате. Я не сразу сообразил, что он обращается к нам с Невревым. — Не понимаю... Я понимаю — из-за дамы, ну, — он сделал перерыв, — за мнения, это еще можно объяснить, но этого, честное слово, не понимаю. Поживали бы себе в столице, мазурки бы отплясывали. Ну, да у вас еще все впереди.

— Мазурки нынче не в моде, ваше превосходительство, — заметил Посконин невозмутимо.

Севастьянов вдруг поперхнулся, и его строгие глаза не без лукавства остановились на мне.

— Вас не дядюшка ли проказам научил? Ну-ну, и мы ведь были молоды, не так ли, Семен Матвейч? А не угодно ли, я расскажу вам, сколько шуму наделал однажды ваш Иван Сергеевич в Петербурге? Но не один, — прибавил генерал. — Вы не возражаете, господа? — Он обвел вопрошающим взглядом присутствующих.

Никто не возражал, все, напротив, тут же придвинулись ближе к столу, освещенному громоздким канделябром, и только Семен Матвеевич чуть переставил свой стул так, чтобы полнее погрузиться в полумрак, откуда временами вырывались клубы густого дыма его трубки, которую он вынимал для того лишь, чтобы отхлебнуть черного чаю.

— Ваше превосходительство, вы служили вместе с дядей? — спросил я.

— Нет, я вместе с ним не служил, но коротко знавал его во время оно. И, признаться, всегда ему завидовал — как это удавалось ему жизнь расцве-

тить, что за сказку сходила. Да, он умел не скучать. Могу только представить, как ему самому интересно бывало... Так позвольте начать, господа?

— Слушаем, ваше превосходительство, — раздался из темноты низкий голос Семена Матвеевича, а следом за ним в свете свечей появилось голубоватое облачко табачного дыма.

Генерал Севастьянов кашлянул несколько раз, ослабил ворот, глотнул чаю и начал так:

— История эта произошла в семнадцатом году, зимою. Я навсегда запомнил ту зиму по двум причинам: прежде всего именно потому, что провёл ее в Петербурге, куда прибыл в долгожданный отпуск, которого не мог получить длительное время, а во-вторых, из-за того, что выдалась эта зима необыкновенно морозной и снежной. Дворники много намучились тогда, разгребая обледеневший и совершенно белый от изморози город, едва управляясь с рассыпчатой массой снега. Ну что ж. Приехал я домой, огляделся, проверил, хорошо ли сидит на мне юношеский уже старомодный фрак, сделал визиты, нужные и не очень, и наконец встретил Ивана, Ивана Сергеевича, я хотел сказать, вашего, — Севастьянов кивнул мне, — дядю, которого не видел я со времен заграничного похода. Я ведь тоже, господа, сразился с Бонапартом, — удовлетворенно и задумчиво произнес он, — да-с... Так вот, встретились мы с Иваном Сергеевичем, ну, как водится, разглядывали друг друга со всяческим вниманием, порассказали все новости, до нас касавшиеся и касавшиеся отнюдь не до нас, освежили память винцом — хорошо тогда было цимлянское, — да ну и все в таком духе. «Ну что, любезный друг, — помнится, спрашиваю его, — не женился еще?» — «Нет», — отвечает и как-то странно на меня поглядывает, словно в первый раз видит.

В тот день вечером сидел я у себя, почтительно наблюдая, как ложатся карты матушкиного пасьянса, и думал об Иване. Все наши одноклассники давно обзавелись семьями, частью вышли из службы, да и затерялись по деревням. Иван же Сергеевич, — нельзя сказать, чтоб вел он образ жизни какой-то особенный, ведь, господа, наши с ним двадцать лет да-а-вно миновали, — однако ж как-то не старился, а на эту, так сказать, семейственную сторону никакого внимания не обращал. Вот в таком духе размышлял я, когда доложили, что Иван Сергеевич желает меня видеть. Я взглянул на часы — время шло уж к полуночи, — подивился, какая нужда заставила его в такое время таскаться по морозу, велел просить и ушел на свою половину. Проходит минута — появляется князь Иван. Хотя и был он буквально скован морозом, я сразу заметил, что он очень взволнован. Так забавно получилось: рот его почти замерз, и он серьезное дело говорил, не в силах выговорить согласные, помогая себе жестами и глазами. А глаза, как вам известно, имеет он крайне выразительные.

«Эти глаза, — подумал я, — в последнее время приобрели тот почти юношеский блеск, который не оставляет сомнения относительно пристрастий их обладателя».

Севастьянов продолжал так:

— «Друг мой, — обратился ко мне Иван так торжественно, что я почувствовал недоброе. — Чрезвычайно важное дело привело меня сюда к тебе в такой неудобный час. У меня есть к тебе большая просьба... Ты только... — Ваш дядя замялся, хотя он так замерз, что, вполне вероятно, ему тяжело было выговаривать слова. — Один раз... — говорил он, — ...ради всего святого... пустяки... очень долго... почти невозможное счастье».

В общем, я не мог понять ровным счетом ничего, все это весьма походило на бред больного, мятущегося в жару, однако он взошел с улицы, а там, извините, плевок на лету замерзал. Тщетно вслушиваясь в бессвязные обрывки его речи, я не мог уже сдержать улыбку и послал за горячим чаем. Лицо Ивана между тем выражало чрезвычайную озабоченность и мольбу. Когда в конце концов он обрел возможность выразиться свободно, я объявил ему, что нахожусь полностью к его услугам, но хотел бы знать, что требуется от меня. «Будь шафером на моей свадьбе, — промол-

вил он, — точнее, при моем венчании». — «Только-то?» — спросил я, но тут же понял, что это были неосторожные слова. «Вот тут-то и сложность, — пояснил он, — все дело в том, что венчание у меня не совсем обычное, я именно к тебе пришел, не хочу никого из... ну, ты поймешь меня, в общем, не желаю никого из них посвящать». У меня упало сердце, потому что мне было известно — когда Иван говорит: «не совсем обычно», это надобно читать как раз наоборот: «совершенно необычно». «Да что такое, объясни толком». Он закурил трубку и зашагал по комнате. «Знаешь Радовскую?» — спросил он. «Ту полячку, что приехала с отцом? Как же, знаю. Даже видел разок. Ничего особенного. погоди, погоди, ты на ней, что ли, собрался жениться?» — «Ну, брат, вижу я, что не в том ты расположении, когда важные дела решаются», — вдруг вспылал он, и мне больших трудов стоило его успокоить. Шутки и улыбки свои я отставил пока. «Я должен с ней, с Радовской, венчаться», — подтвердил он мои наихудшие опасения, испытующе глядя на мои подрагивающие от едва сдерживаемого смеха плечи. «За чем же дело стало, — говорю я, — я готов хоть сейчас». Он торопливо огляделся и выпалил одним духом: «Сейчас и надобно». Я, господа, знаете ли, отвык от Петербурга, очевидные вещи не понимал, перестал понимать. Очень я потому изумился, да так и замер в креслах. «Да или нет? — несколько торжественно спросил князь Иван. — Времени нет на раздумья». — «Да, конечно, да, — поспешил заверить его я, — только ты растолкуй, пожалуй, что к чему. — «Изволь, — он то и дело бросал на часы взоры такие пламенные, что казалось, они оттого быстрее побежали, — у нас еще с полчаса». Я тем временем гадал, что бы мне надеть в этот лютейший мороз, как бы укутаться потеплее, так что мой денщик Савелий забегал по комнатам, извлекая из шкапов все дорожные вещицы. «Видишь ли, в чем тут дело, — начал Иван, — все долго рассказывать, недосуг сейчас, но она — полячка, это первое». — «Значит, следует ей перекреститься, так, что ли?» — «Да, это нужно, но не это главное... — Он замолчал ненадолго, собираясь с духом. — Ее отец ни за что не согласен». — «А-а, вот что. — Только теперь я понял все до конца. — Как же мы намерены осуществить все это?» — «Стало быть, ты не отказываешься?» — взволнованно воскликнул Иван. «Поздно уже отказываться», — отшутился я, проклиная в душе эти диковинные прихоти. «Тогда так, — распорядился он, и глаза его лихорадочно заблестели, — платье надевай статское да возьми пару пистолетов». Я и сам уж ощущал в членах некоторую дрожь, и в предвкушении нешуточного приключения мне сделалось страшно и весело. Однако когда услышал я про пистолеты, то, конечно, возразил. «Помилуй, — говорю, — что ж ты задумал, до смертоубийства хочешь довести? Стоит ли того? Отец ее в своем праве». — «Ах, черт побери, — вскричал он, — это на всякий случай! Пойми, такое чудо раз в сто лет случается, да и то не с каждым». — «Знаю я твои случаи», — пробормотал я, но полез-таки за пистолетами. Иван был в мундире и при шпаге. Он заметно повеселел. «Мороз-то каков, — приговаривал он, — как бы лошадки не попадали».

Наконец я был готов, велел Савелию на вопросы матушки отвечать, что ушел к князю Ивану в карты играть, и мы вышли на улицу. Там, на углу Большой Морской и Гороховой, должны мы были встретить одного Иванова приятеля, посвященного в его замыслы и дожидавшегося с тройкой откормленных битюгов. Невольно мы бежали — так свирепо жег мороз. Закутав носы шарфами и увязая в сугробах, скоро добрались мы до Гороховой. Товарищ Ивана сразу заметил нас и подогнал свои сани. Клубы пара вырывались из обледеневших лошадиных ноздрей, удила были предусмотрительно обмотаны замшею. Кони необыкновенного роста горячились, переступая ногами и так согреваясь. Я разглядел седока. Это был молодой офицер, с дерзким взором и нагловатой улыбкой, которую он прятал в бровьный воротник. Отчего-то мне показалось, что дела, подобные нашему, не в диковинку этому молодому человеку. Несмотря на жуткий холод, одет он был щегольски — в легкую шинель, на голове красова-

лась шляпа с султаном. «Вовремя, — встретил он нас, пряча часы. — Поп уже ждет». Мы запрыгнули в сани, застоявшиеся лошади обрадованно фыркнули, кучер, съезжившийся на облучке, отложил бесполезный, утративший гибкость кнут и только тронул задубевшие вожжи — этого было довольно, — тройка подхватила дружно и весело.

— Пока мимо мелькали темные громады домов, я вспоминал, что было известно мне об этой Радовской. Для вас не секрет, господа, что приезжие, если они принадлежат к известному кругу, изучаются его представителями пристально и придирчиво, что, впрочем, — не без улыбки заметил наш рассказчик, — зачастую диктуется завистью. Появление в Петербурге старого графа с дочерью не осталось незамеченным: десятки лорнетов были направлены на молодую особу и ее отца, о которых ходили самые противоречивые слухи. Шила ведь не утаить в мешке, особенно в таком, как наш. Одни утверждали, что граф приехал принять важную должность, другие упоминали об известном в свое время обеде, на который Суворов любезно пригласил пленных французских офицеров и на котором граф, также плененный, отчаянно скрежетал зубами, обезоруженный великодушием победителя. Кто рассказывал, что, подобно многим своим знатым соотечественникам, в молодости граф поскитался по миру, служив одно время волонтером в английской армии, и провел в Индии около трех лет. Но более всего пытались угадать обстоятельства, заставившие человека, безвыездно просидевшего в своем гнезде лет двадцать, вдруг объявиться в самой столице России, к которой не питал никогда теплых чувств. Впрочем, некоторые поговаривали, что дочка его была незаконнорожденная, прижитая то ли от индийской княжны, то ли от пленной турчанки, а то ли бог его знает. Целью его неожиданного визита поэтому называли желание старика подать прошение в Сенат — тогда, вы знаете, господа, еще не существовало в Варшаве отделения Сената, оно появилось там только после восстания, — так вот, подать прошение и передать титул дочери, которую, однако, и без того им величали. Но толки и пересуды — это половина дела, а увидеть молодую графиню, по слухам — необыкновенную красавицу, оказалось делом весьма непростым. Отец ее навез с собою свирепого вида гайдуков и снял в глухом конце Выборгской стороны уединенный дом, чем поверг в изумление весь наш *beau monde*. Дом этот был окружен высоченной оградой и, видимо, этим и полюбился чудаку. Графский покой охранялся многочисленными слугами, так что несколько гвардейских шалунов отступили ни с чем, еще усилив интерес к этой загадочной паре своей шумной неудачей.

— Дело дошло до двора, государь узнал о причине, побудившей графа сняться с насиженных мест, и, разделяя всеобщее любопытство, сделал ему предложение, от которого трудно было отказаться, а именно — прислал через одного из своих флигель-адъютантов приглашение на бал во дворец. Я через отца был в числе приглашенных и мельком увидал и самого графа, и дочь его. Не скажу, чтобы нашел я ее замечательною красавицей, а было у ней в лице нечто такое, что, впрочем, не берусь я описать, но что, однако, не могло, по моему мнению, оставить равнодушным. Точно, восточные крови были налицо. Правда, наблюдал я за ней не более минуты — отец представлял меня одному влиятельному господину, и я был сильно занят тем, чтобы не дать затухнуть нашей бессмысленной беседе... А ведь и в Малороссии встречаются часто такие типы, — произнес в раздумье Севастьянов и продолжил так: — Хотя и давненько не был я дома, так вот, не угодно ли, — прямо и попал «с корабля на бал», даже имел возможность лицезреть своего рода чудо, справедливости ради сказать, сам того не желая. Но что всего удивительнее, так это то, что неумные гвардейцы, выставившие у графского дома настоящие караулы, заговорили как-то об офицере, каждый день проникавшем в дом. Это был едва ли не единственный счастливчик, которого — по заверениям оригиналов караульчиков — днем встречал дворецкий, а с наступлением ночи он и сам каким-то чудом находил лазейку, странным образом минуя посты, так

сказать, внешние и внутренние. Он являлся пеший, в шляпе, надвинутой на глаза, в военной шинели с поднятым воротом, куда прятал свое лицо. Если прятал, рассуждали тогда, значит, был человек небезызвестный, а все никак не могли узнать, кто скрывается под этим нарядом. Веселая военная молодежь разнесла эту новую загадку по гостиным, всегда жадно внимавшим любым новостям, и любопытство с свежей силой охватило процветающий Петербург, когда вдруг разрешилось не слишком хорошо, а говоря проще — безобразием.

Гвардейские весельчаки решились во что бы то ни стало открыть имя незнакомца. С этой целью у жида за баснословную цену был снят ветхий домик как раз напротив того, что занимали поляки, и шалуны в нем дневали и ночевали, постоянно сменяясь, чтобы ни на минуту не утратить свое наблюдение. Денщики носили им туда обеды и ужины и прочее; в общем, дело было поставлено на широкую ногу. А началось все вот как: одна светская красавица — не буду называть ее, ибо она жива и здравствует, — в присутствии целой стаи своих обожателей принялась однажды сетовать на судьбу, указывая как на пример истинного счастья и достойной внимания любви на Радовскую и незнакомца, вхожего в нелюдимый дом. Никто ведь и не сомневался, что среди бела дня на тихой улочке разворачивал благоуханные и сладостные свои страницы тщательно скрываемый роман. «Ах, — томно и с нескрываемым разочарованием в своих кавалерах, а заодно и в жизни самой роняла наша красавица, — какое, наверное, блаженство иметь подобного друга, не правда ли, господа? Неужели на этом несносном свете еще возможно что-нибудь подобное? — говорила она едва не плача, а также и прочий вздор в том же духе. — Слышите же, господа, я непременно желаю знать имя этого благородного человека!» — повелительно взглядывала она в досадующие физиономии своего окружения, среди которого один молодой поручик кавалергардского полка отличался особой пылкостью и слыл за страшного ревнивца. Недолго он терпел стоны своего предмета, пообещавшись к утру следующего же дня положить к ее ногам все нужные сведения о незнакомце, так некстати поразившем ее воображение. Сказано — сделано. Составилась довольно буйная компания известных сорвиголов и проказников, и, как я уже сообщил вам, компания эта устроилась в домишке у жида. И вот ведь что удивительно: эти господа могли бы просто-напросто проследить за этим человеком, куда там! — никто не хотел прослыть за полицейского. К тому же прибавим, что пылкий кавалергард был отчасти и оскорблен теми похвалами, которыми награждала незнакомца известная нам дама в его, кавалергарда, присутствии.

Было поэтому решено сыграть с незнакомым офицером обычную, но злую шутку. Притащили откуда-то большущую сеть, какие служили в те веселые годы для ловли очаровательных немок в «Красном кабачке», распределили роли и стали ждать ночи. Ожидание скрашивалось, как водится, стаканчиком-другим вина, и к полуночи все были уже изрядно пьяны.

Незнакомец появился в свое обычное время — через полчаса после полуночи — и уверенной походкой приближался к своей цели. В конце улицы, на углу, как и в прошлые дни, вылез он из саней, которые под утро появлялись вновь на том же месте. Участники предприятия приготовились заранее и зарылись в сугробы, рискуя замерзнуть. Только фигура, завернутая в шинель, поравнялась с засадой, гвардейцы бесшумно освободились от снега и ловко набросили свою сеть, в которой отчаянно забилося ловкое тело. Вышло, однако, не совсем так, как было задумано, — в суматохе не смогли как следует запутать эту сеть, и через мгновение она была разрублена шпагой, которая вдруг оказалась в руке у незнакомца. Охотники попытались вновь наброситься на незнакомца, но тот с чудовищной быстротой отскочил на дорогу и показал жестами, что имеет самые серьезные намерения. Когда же он увидел, что предупреждение его действия на разохотившихся юнцов не возымело никакого, пистолет, который сжимала другая его рука, нарушил тишину звуком выстрела и светом вспышки на

секунду разогнал темноту. Сам незнакомец стремглав бросился по улице вдогонку за своими санями, да и был таков. Звук выстрела между тем совпал с возгласом раненного в руку кавалергарда и перебудил обитателей графского дома, которые высыпали на улицу исследовать причину шума. Вскоре появилась и полиция, и дело получило огласку. Рана кавалергарда, по счастью, оказалась неопасной, даром что стреляли из седельного пистолета, а вам, господа, как никому, известно, что это сушая мортира: если в кость попадет — прощайся с конечностью. Граф подал жалобу, полицмейстер подтвердил ее, и шалуны были отправлены на Сенную гауптвахту до особого решения. А кто выступал в роли рыбки, опять осталось неизвестным.

— Вот что удалось припомнить мне, — продолжил Севастьянов, — к той минуте, когда тройка наша, переваливаясь на ухабах, ворвалась в нужную улицу. Нет нужды говорить, что я сразу догадался, кто был незнакомец, наделавший столько шума. Сейчас этот «незнакомец» сидел подле меня, обхватив обеими руками две шубы, способные согреть даже Снежную королеву из лапландских сказаний. Товарищ «незнакомца» не прекращал улыбаться ни на мгновение, но уши все-таки потирал. Лошадей остановили в недалеком расстоянии от заветного дома, в котором не заметил я и малейшего признака света — взволнованной свечи. «Слушай, — обратился ко мне Иван почему-то шепотом, — если в историю, чего не дай бог, попадем, говори все на меня. Такое, знаешь, дело». Я ничего на это не отвечал, однако внутри себя не мог не улыбнуться своему внезапному положению. Конечно, много всякого вокруг бывало, но как-то подобные дела обходили меня стороной. Я ханжой никогда не был, молодой еще человек, но уже и не прапорщик. Да, признаться, и не такого я склада. Испытывал я поэтому удивление непомерное. Вся эта история приличествовала более столетию прошедшему, изрядно походила на театр и поражала своей простотой. Еще и мороз тож... «Что ты дальше намерен делать?» — решил узнать я. «Дальше? — Иван упорно говорил шепотом, хотя лошади создавали куда больше шума. — А есть у меня деревенька в Тамбовской губернии, там думаю отсидеться, отставку попрошу, ну а потом можно и за границу... Глухая у меня деревенька, Муравлянка-то моя... Да что загадывать — так, наудалую...» — «Пора!» — отрывисто произнес Розен — так, кажется, звали Иванова товарища. Улыбка сползла с его лица, и оно вдруг приняло деятельное и сосредоточенное выражение. «С Богом!» — выдохнул вместе с паром князь Иван и пошел крадучись к ограде. Скоро мы едва различали его на неосвещенной улице и лишь по скрипу снега могли догадываться о его передвижениях. Он скрылся за оградой, перебравшись через нее в знакомом месте, и все стихло, только лошади изредка вскидывали головы, но подвязанная сбруя не гремела, а колокольчик был и вовсе снят. Высокое, чистое небо опрокинулось над нами, мы сидели не шевелясь. На облучке сгорбился кучер, поплотнее закутавшись в овчинный тулуп, обмотав нос платком. «Петруша, — как-то почти ласково позвал его Розен. Кучер не ответил, видимо задумавшись в звенящем морозе. — Петруша, — повторил Розен уже недовольно и пихнул его саблей в спину. Тот обернулся. — Как сядут, — снова добродушным голосом заговорил Розен, — так ты, дорогой, гони во всю мочь». — «Не извольте беспокоиться, ваше благородие, — густым задушевым басом ответил Петруша, — не впервой», — и замолк. Мы уж начинали томиться ожиданием. Дом был по-прежнему темен, тишина стояла вокруг, только лошади время от времени подвигали озябшими ногами да дрожал морозный воздух. Наконец издали послышалось частое поскрипывание, и два черных силуэта показались сбоку от саней. Розен порылся где-то в шубах и извлек полуштоф и четыре серебряных стаканчика. «Полно, — успел шепнуть ему я, — станет ли она водку пить?» — «А мы ее и не спросимся», — эдак задорно ответил он и плотнее придвинулся ко мне, давая место нашим беглецам. Женщина была закутана в платок, так что лица было не разобрать. «Не перепутали?» — весело спросил Розен. Князь Иван бросил на него убийственный

взгляд. Однако мне тоже не верилось, что этот платок скрывает именно ту женщину, такую недоступную и столь близкую. Едва они уселись, сани сильно дернули — полозья примерзли, — и лошади шибко помчались по пустынной улице. Иван перекрестился, неловко оглянулся, взял стаканчик из рук Розена, и острый запах пролитой водки бросился мне в нос. Женщина, на которую навалили приготовленные шубы, высвободила руку, отодвинула платок от губ и, зажмурившись, разом выпила свою чарочку. Я косил на нее взглядом — она утопала в наваленных на нее шубах. Никто не ронял ни слова. Так молча и даже зловеще неслись мы по окраине, и если бы что-нибудь попало на дороге, то было бы безжалостно смято — Петруша знал свое дело, а лошадки сильно замерзли и теперь разгоняли кровь. Не помню, сколько времени продолжалась чудовищная наша скачка, но наконец мы остановились около маленькой ямской церкви уже почти за городом. Никого не было вокруг. Мы быстро освободились от всего того, что было навалено на нас в дороге, и спрыгнули на снег. Иван помог Радовской выбраться из саней, и они, рука об руку, двинулись к паперти, за неровную ограду. Дверным кольцом Розен подал условный стук, но прошло около минуты, прежде чем тяжелые кованые врата, неуклюже поворачиваясь в несмазанных петлях, буквально распилили тишину своим душу вынимающим скрыпом. Нас встретил дородный, тучный священник, уже надевший епитрахиль. Лицо его было красно, щеки блестели и высоко поднимались под малюсенькие беспокойные глазки, которые не останавливались ни на мгновение, толчками блуждая по окружающему пространству, и если взглядывали на собеседника, так откуда-то снизу, торопливо, но, как мне показалось, чрезвычайно умно. «Этот и папу перекрестит, только дай», — подумал я, глядя, как поп поплыл к алтарю, мелко переступая ногами. Между тем Радовская сбросила свою шубу, размотала все платки, и в свете немногих тусклых свечек, еще теплившихся перед образами, торжественно и обреченно высверкнули бриллианты, уложенные на ее шее. Розен передал мне коробочку с кольцами и ушел ко входу. Я же, пользуясь случаем, украдкой разглядывал полячку, которую видел тогда второй, и последний, раз. Сложена она была великолепно, что и говорить. Но в лице ее, в глазах особенно, в темных этих глубоких и влажных глазах, плеснулась вдруг такая печаль, такая тоска, что, господи, я вздрогнул и бросил невольный взгляд на Ивана. Молчание людей и тишина заиндевелой окраины снова показались мне зловещими. Что-то случилось в мире теперь, вот в эту самую минуту, что-то нехорошее, жуткое, — отчетливо понял я.

— Радовская стояла прямо и спокойно, но во всей ее фигуре угадывалось скрытое нетерпение, шея была напряжена, грациозная голова венчала ее, а глаза были устремлены прямо и не глядели даже на Ивана. Он тоже видимо изменился и двигался будто во сне — плавно и мягко. «Странная пара, — мелькнуло в голове, — что-то принесет эта затея?» И еще подумал я, наблюдая сбоку за невестой, которая, крепко сложив губы, принимала миропомазание, что такую женщину надобно любить... как бы это выразить?.. — Генерал искал недостающих слов и, может быть, за этим устремил глаза в темноту, где уж пятую, верно, трубку пережигал Семен Матвеевич и откуда в ответ на этот взгляд послышалось непринужденное и одобряющее кряхтенье. — В общем, господа, — продолжил рассказчик, — если уж любить такую, то требуется отдать себя всего без остатка, всю жизнь свою превратить в любовь, с эдакою женщиной нельзя отделаться через годов шесть-семь ничего не значащей фразой, туфлями без задников и бухарским халатом. Все это — прочь. Это исключается с первого дня и до последнего. Такая, знаете, почудилась мне страсть в ней. А подобная страсть — страсть какая штука, и голову сложишь — не заметишь... Хорошо еще, что в зрелых годах остужается она умом. Да ведь и цель ее, правду сказать, — избежать всеми правдами этих самых зрелых лет, потому что знает человек, что настоящий костер горит лишь однажды, но, вспыхнув и набрав силу, он, увы, затухает, и ничего другого не остается

ся, как вспоминать, а другими словами, ворошить прутиком уголья, которые могут еще подарить толику тепла, но обсушить — уже никак. — Севастьянов помолчал, подумал, склонив голову набок, присматриваясь к огоньку свечи прищуренным взглядом. — Был молод, господа, думал, что это многократно. Ан нет — иной и жизнь проживет и ничего похожего не испытает. Вот и я пока... того... — невесело улыбнулся он. — Все у меня впереди. Однако я не туда что-то клоню. Итак, посочувствовал я, честно говоря, Ивану Сергеевичу, зная-то его нрав. Но в силу того, что никто не ведает, какой конец приобрела эта история, если вообще приобрела, то это и осталось одним только воспоминанием. Князь Иван сложил руки на груди и безумными глазами взирал на ту жертву, которая сейчас приносилась католичкой на алтарь любви, где православие — лишь подстава на долгой дороге, когда с надрывающей душу жалостью оставляют любимую и измученную упряжку. Розен неслышно приблизился ко мне сзади. «Ишь, длинноволосый, — зло прошептал он, — насилу уговорили, боялся он все... Кого он, хотел бы я знать, вообще может бояться с такой-то рожей? На тысяче рублей уступил». — «На тысяче!» — почти вскричал я и с новым интересом уставился на попа. Поп выступал с повседневной привычкой ремесленника, и серебряное распятие казалось перекрещенными хворостинками в его пухлых, мясистых руках. Долгонько они его упрашивали: за подобные ночные бдения Синод по головке не гладил, вмиг лишались прихода — и прощай битки в сметане. Но чего не делают деньги, однако просить такую сумму показалось мне верхом наглости и неприличия. Поп словно угадал мои мысли, потому что бросил на меня украдкой тревожный взгляд. Одним словом, таинство вдруг превратилось в чурку, из которой строгают егеря незатейливую игрушку для своих ребят.

Я ощутил холодный металл венца и, подняв его, думал только о том, чтобы руки не дрожали. Рядом стоял Розен с каменным лицом, и его венец даже не покачнулся. Батюшка задал вопрос. «*Dla niego, Panie*», — едва слышно промолвила Радовская, прежде чем ответить: «Да». Эти слова запомнились мне, и позже я выяснил их значение у знакомого поляка. «Ради него, Господи», — вот что она сказала, а что имела в виду — убей бог, не знаю. Когда обходили по второму кругу, снаружи слышался смутный шум, скрип полозьев, колокольчики, громкие голоса. Жених и невеста остановились. «А, черт», — сказал Розен. Батюшка застыл в нерешительности, поводя испуганными глазами. «Продолжайте же», — недовольно приказал Розен. Шествие двинулось, и, как только стало возможно, мы бросились к столу освободить руки. Розен был неосторожен, и венцы глухо соприкоснулись, завалив чашу. Все вздрогнули. Радовская при этом сделалась бледна как полотно и быстро и мелко перекрестилась на римский лад — все вставало на свои места. «Боже мой», — прошептал я в ужасе, глядя, как сочится кагор. «Вы верите в предзнаменования? — спросил Розен с усмешкой. — Ничего, хуже уже не будет», — сказал он и посмотрел на двери. Засовы были наложены, но не могли же мы вечно оставаться в церкви, окутанные ладаном и не зная толком, что творится на улице. Увы, прошли те времена, когда алтарь дарил спасение, — люди сделались цивилизованными, а кто бы уберег от мороза наших лошадей? За дверьми некоторое время слышалась тихая возня, и наконец железо загнуло от частых и сильных ударов. Минуту-другую стояли мы замерев в нерешительности, а когда стук стал более настойчивым, Иван взял свои пистолеты и взглянул на меня. Розен стоял уже с обнаженной шпагой, прислонившись к столбу, недобро ухмыляясь. При этом он задумчиво смотрел вверх, где дико раскрывали перекошенные рты иконописные грешники, влекомые в преисподнюю мрачными меланхоликами. Я тоже посмотрел на их обнаженную плоть и спросил себя: много ли здесь таких, чья вина заключалась лишь в том, что осмеливались они любить?

Стук перешел уже в таранный бой. Сомнений не было — эти люди знали, чего хотели. Радовская молча взяла у Ивана из рук сначала один

пистолет, потом другой и бросила их далеко в угол. Розен, увидя, как оружие, позвякивая, заплясало на каменных плитах пола, отошел от двери и намеренно громко вложил в ножны свой клинок. Князь нахмурился и, покусывая ус, принялся разглядывать тупые носки своих ботфорт. «Велите отворить», — глухо произнесла Радовская по-французски, ни на кого не глядя. «Не погубите, отцы мои», — запричитал вдруг поп. Он причитал не слезливо, ибо опасность казалась слишком велика. Розен оглянулся на него: «Не бойся, сказывай, что принуждали, стращали вот, — он похлопал себя по шпаге, — да говори, что до дела не дошло, что, мол, стоял крепко». Поп торопливо закивал и бросился уничтожать следы своих трудов. Когда все было кончено, князь Иван медленно пошел к двери. Нелегко, надо думать, далась ему эти десять шагов. Он взялся за стальную полосу засова и оглянулся. Они долго стояли не говоря ни слова, Иван отвел глаза, и створка туго поползла внутрь. В дверном проеме мы увидели жандармских офицеров в шинелях с поднятыми воротниками. Радовская направилась прямо к ним. Мы все не двигались в каком-то оцепенении. Нелепость происходящего сковала члены. Вдруг Розен подхватил шубу, в которой приехала графиня, и успел набросить ее на обнаженные плечи Радовской прежде, чем она переступила порог. Офицеры расступились, и из-за их спин появилась невысокая фигура самого старого графа. Он порывисто обнял дочь, словно избавил ее от общества гнусных разбойников, и заговорил с нею по-польски. Тяжелая графская карета стояла у церковной ограды, и вокруг нее высились в седлах несколько человек казаков. Еще две тройки виднелись в отдалении, и, приглядевшись, узнал я в одной из них экипаж полицмейстера. Граф проводил дочь до ступеней, и не успела еще дверца хлопнуться за нею, как дюжий гайдук птицей взлетел на запятки, и карета тронулась.

— Следующая очередь была наша. Я живо был выслан из столицы в армию и через двадцать четыре часа уже трясся с фельдъегерем. Князь Иван и его товарищ отправились на гауптвахту и, как я узнал из одного письма, через месяц с лишним вернулись к службе. Прошрое царствование, что ни говори, выгодно отличалось от нынешнего. И не такое с рук сходило. — Севастьянов замолчал и посмотрел поочередно на всех нас.

— Ваше превосходительство, — спросил я, — разве не этот случай послужил причиной дядиной отставки?

— Отчасти да, — отвечал он. — После этой истории князь Иван узнал, кто стоял во главе шайки, что так зло подшутила над ним. То обстоятельство, что кавалергард еще гордо носил повязку на правой руке, уничтожило последние сомнения. Князь был взбешен, ибо и раньше недолюбливал этого господина. Как-то на балу он попросту наступил ему на ногу, а вместо извинений прислал своего секунданта. Эту услугу оказал тот самый Розен. Противники сошлись на второй версте по дороге к Парголову. Кавалергард был серьезно ранен; когда его увозили, ваш дядя сказал ему: «Что ж, вы так любите получать раны в мирное время — для вас у меня кредит открыт всегда».

Эта фраза стала известной, о поединке поползли слухи, стали гадать об истинной его причине, так как всем тем, кто стал свидетелем этой ссоры, показалась она лишь предлогом. В общем, ваш дядя стал знаменит.

— А как же граф смог узнать, когда и где состоится венчание? — спросили сразу несколько голосов.

— В том-то и дело, господа, — улыбнулся Севастьянов, — что это, как ни странно, так и прошло неизвестным. Сперва грешили на священника, но он ведь и не догадывался, кого ему предстояло обвенчать. Да он едва ли знал это и во время венчания, потому что не видал Радовскую ни разу, а то и вовсе не слыхал, что на свете такая существует. Может быть, те офицеры, которые следили за домом, уведомили старика о побеге дочери, однако гнездо это разогнали гораздо раньше, но если что и видали, так, господа, станет ли дворянин заниматься подобными вещами. Даже из чувства противоречия.

— Вы хотите сказать, ваше превосходительство, — назло, из зависти? — спросил Посконин.

Севастьянов погрозил ему пальцем и продолжил так:

— Темное дело, говоря короче. Но все же, как я уж рассказал, полиция опоздала — дело было сделано. Вечером следующего дня граф, не дожидаясь погоды, вместе с дочерью покинул Петербург и, насколько я знаю, никогда уже там не бывал.

— Что же случилось с Радовской?..

— А вот это, господа, мне, увы, неизвестно. Увез ее отец — и все тут.

Мы помолчали, наблюдая, как осторожный прусак переползает комнату.

— Говори после такого, что европеец отличается от азиатца, — вздохнул наконец Веревкин. — Разве что калым не платит.

— Тоже платит, только на свой манер, — ответил на это генерал. — Однако, самовар уже холодный, не угодно ли еще чаю?

— Наверное нет, — возразил Веревкин, поглядывая на часы.

— Итак, господа, — поднявшись из-за стола, обратился Севастьянов к нам с Невревым, — я жду вас завтра к девяти. Как говорится, дружба дружбой... — Он криво улыбнулся.

Только сейчас бросилось мне в глаза, как болезненно он выглядит и как тяжело двигается. Казалось, каждое движение причиняет ему невыразимое страдание, лицо его налилось и припухло, маленькие быстрые глаза спрятались в тяжелых веках, и в них плеснулась боль.

— Ежели станете теперь писать к Ивану Сергеичу, кланяйтесь ему от меня, — добавил он. — Очень давно не доводилось встречаться, да, может быть, и не свидимся уже.

— Непременно, ваше превосходительство, — отвечал я поспешно, тронутый чувством, с которым была высказана эта просьба.

У Найтаки Посконин спросил бутылочку вина, и мы долго еще беседовали, расположившись у озорно потрескивающего камина. Уже поздно ночью я раздобыл чернил и перо и набросал два письма, одно из которых предназначал матушке, другое же — дяде, на котором, не зная наверное, возвернулся ли он из своей Варшавы, указал я все же петербургский адрес. Оба письма были полны раскаяния и смирения, в письме к дяде я вкрадчиво поведал ему о генерале, а в матушкином совсем уже небольшое место заняли осторожные намеки на необходимость некоторой денежной помощи. С первой же почтой я отправил их эстафетой.

Так не без приятности началась моя служба на новом месте.

4

Потянулись дни, которые доставили мне множество самых разных впечатлений. Я изъездил линию верхом и на перекладных во всех направлениях, обедал молоком и яйцами, ночевал у казаков, с которыми выпивал иногда рюмку-другую водки, поглядывал на казачек, которые здесь точно очень хороши, не раз промокал до нитки, и вода, лившаяся с сумрачного неба и считавшаяся снегом, не щадила мои пакеты с донесениями и рапортами, спрятанные на груди и оставлявшие порой на моей рубашке отвратительные фиолетовые пятна. Я привык жить без человека и прекрасно научился без него обходиться. Денег доставало. Недели через две после того, как я появился в Ставрополе, из дому прислали мне пятьсот рублей, а почистить лошадь готов был любой солдат, требуя за это низкую плату. Матушка в письме своем горько упрекала меня в легкомыслии и все в таком духе, однако ж и по первым строкам я понял, что кредит мой не слишком упал. Очевидно, дядя сумел убедить ее, что приложит все усилия к моему скорейшему возвращению, и по тону письма чувствовалось, что первый гнев ее, удивление и тревога уже позади. От дяди пока не получил я ничего — видимо, он не

хотел писать просто так и поджидал, когда обстановка прояснится, чтобы сообщить мне сразу результаты своих трудов.

Между тем я огляделся, и мало-помалу мне начала нравиться эта новая жизнь. Очень скоро я избавился от бессонницы, так мучившей меня в Петербурге, я уставал уже не так, как уставал в столице, не той ужасной тягостной усталостью, которая чувствуется не столько в членах, сколько в голове, а так, что был рад охапке сена, кислым щам да полену в беленой, обмазанной глиной и рубленой соломой печке, на которой нежил косточки какой-нибудь станичный ветеран, молча наблюдавший, как развешиваю я мокрую свою одежду. Мыслей в голове поубавилось, и я тотчас оценил это важное приобретение. Я полюбил выражаться запросто, при разговоре намеренно понижал голос, прислушивался к рассказам старожилов, мотал на ус, которого не имел, и вообще чувствовал себя отлично. Я пристально вглядывался в мутную пелену, затянувшую унылые степи, подолгу смотрел в сторону гор и очень скоро дал себе слово увидеть эти места в сочной весенней зелени под бездонным южным небом. А когда выкупался я в Кубани и потом заедал водку моченым луком, сидя в станице в обществе пожилого казака Дорофея Калинина и его дочери, девушки семнадцати лет, с такой свежестью в лице, с такой упругостью в походке и магнетирующей дерзостью в быстрых глазах, что решил предупредить дядюшкино письмо. Вернувшись в Ставрополь, я тут же исполнил свой замысел. «Дорогой дядюшка, — писал я, в частности, — не беспокойтесь обо мне ничуть и отнюдь ничего не предпринимайте. Я состою при штабе линии по-прежнему, службою доволен, черкеса, oprичь мирных, еще ни одного не встречал — чего же мне еще». В тот же день с эстафетой письмо мое отправилось в Петербург.

Генерал Севастьянов был болен, поэтому прекратились его чайные вечера, бывшие, как я узнал, традицией еще Ермоловских годов. Мы с Невревым стояли пока у Найтаки, поглощали за баснословно высокие цены его дрянные обеды и, когда случалось нам в одно время находиться в гостинице, посвящали долгие, сырые и ветреные вечера самовару у камина, который не угасал ни на час в небольшой зале первого этажа. Неврев, казалось, успокоился, и все реже его отчаянные жалобы докучали нашим беседам. Ему, как и мне, некогда было скучать — он тоже был в разъездах, доставляя распоряжения на левый фланг, в Георгиевск и Грозную. Только однажды, когда заспанный и помятый, непонятной национальности слуга подал ему куверт и Неврев различил, что письмо писано рукой его сестры, он впал в мрачную меланхолию.

— Вот, пишет, что нашла место компаньонки у старой княгини Хостатовой, — сообщил он, резким движением заталкивая серую осьмушку обратно в пакет. — По весне переберется в Пензенскую губернию. Барская барыня в семнадцать лет, — добавил он. — А я ничего не способен сделать, ничего.

— Невесело это, что и говорить, но нет ведь худа без добра, — как мог, утешал я его, сам пугаясь собственных слов и еще более того, что они обозначают, — по крайней мере, о пропитании думать не придется. А там, глядишь, может быть, и...

— Что?

— Ну... замуж выйдет за хорошего человека.

Он ничего не отвечал, покачивая головой.

— Тяжело на Руси без имения, — произнес наконец он.

Мне было стыдно, неловко говорить обо всем этом, неловко сидеть перед Невревым, небрежно развалясь на диване, — мои тылы виднелись из-за моей спины, однако ж и они были для меня родом богатства на необитаемом острове, а другими словами — ешь сколько влезет, да только сам не ходи на базар. Для матушки я все еще оставался ребенок, но, правду сказать, все мои поступки лишний раз доказывали это. Так или иначе, покуривал я свою трубочку, покруче набивая ее Жуковым, щурился на солнце, которое зачастило на небе, и думал: «Кривая вывезет».

5

В тот день вечером я был послан в Пятигорск с пакетом. В кромешной темноте трясся я в кибитке, впереди и назади которой едва угадывались очертания сопровождавших меня казаков. Погода стояла отличная, чувствовалось уж приближение ранней в этих краях весны, жидкий снег быстро таял и уходил в открывшуюся местами черную, мягкую, податливую землю, и она обдавала меня волнующими запахами. К утру кавалькада наша вплотную придвинулась к плотной массе гор, в вершинах которых далеко впереди ходили рассеянные тучи. Сам город оживал лишь летом, а сейчас на строго проложенных его улицах не было видно никакого движения. Исполнив мое поручение, я вспомнил, что хотел купить себе бумаги, и, заметив на бульваре вывеску: «Депо разных галантерейных, косметических и восточных товаров. Никита Челахов», толкнул опрятную дверь. Хозяин заведения, молодой армянин, разговаривавший с высоким стариком в солдатской шинели, оторвался и вежливо меня приветствовал. Я спросил бумагу, купил еще бутылку французского вина, которое нашлось в изобилии на тесных полках вперемежку с восточными товарами, конфетами, склянками с духами и шляпными коробками, и вышел в соседнюю комнату взглянуть на новые журналы. Дверь ее оставалась открытой, и странный старик был мне хорошо виден. Еще не совсем поседевшие волосы аккуратно лежали на его небольшой голове, в осанке его чувствовалась военная выправка, однако шинель рядового как-то не вязалась с его внимательными, глубоко посаженными, умными глазами и усами длинными и тонкими, живо напомнившими мне старую Польшу. Взяв первый попавшийся номер «Собеседника», я рассеянно листал его уже разрезанные страницы и невольно прислушивался к тому, что говорил старик хозяину.

— Страшно загадывать, — доносился до моих ушей его голос, полный западнорусскими нотками, — но слышал, что через месяц должно мне выйти производство и прощение.

— Дай-то Бог, господин Квисницкий, — почтительно отвечал солдату армянин. — Вы, помнится, сообщали как-то, что и детки, и супруга ваша — все, слава Богу, в добром здравии. Могу представить, какая ждет их радость. Сколько же лет не виделись вы? Впрочем, и самому несложно сосчитать — седьмой год пошел-с. Не так ли?

— Шесть лет, восемь месяцев и двадцать семь дней, — отвечал тот.

— Вы, однако, как точно знаете.

— В мои лета поневоле каждый денек сочтешь. — Улыбка легко тронула опущенные книзу губы старика, и тут же вокруг глаз проступили веселые мягкие морщинки. — Ну, я пойду, — попрощался он, — всего хорошего. Семь рублей за мной остается.

Армянин согласно наклонил голову, и старик вышел на улицу. Я между тем вернулся в главную залу.

— Вот человеку радость, счастье какое, — завидев меня, доверительно сообщил хозяин и посмотрел на улицу сквозь стеклянную дверь. — Знаете его, конечно?

— Не знаю, кто это? — в свою очередь осведомился я.

Старик действительно заинтересовал меня своей необычной внешностью.

— О, помилуйте, как это можно! — взмолился армянин, поведя черными и жесткими усами. — Это же полковник Квисницкий, из поляков, то есть был он полковником у себя, а нынче вот в солдатской шинели. Но будет прощен, я думаю. Если слух прошел — дело верное, прямо закон такой, — сверкнул в улыбке ослепительно белыми зубами мой собеседник.

— Да чем он знаменит, этот старик?

— Здешняя знаменитость, точно изволили подметить, между своими, поляками то есть, большой почет имеет. Они, знаете, сторонкой держатся.

— Что же, много их?

— В линейном батальоне есть. Сейчас некоторых перевели, а то было очень много. — Армянин Никита Челахов говорил по-русски быстро и почти без акцента.

— А этот что ж?

— Золотое сердце у человека, — только и отвечал Челахов.

На что мне золотые сердца, когда у меня золотом были набиты карманы. Еще одно горькое, горькое, трижды горькое заблуждение беспечной, пресыщенной юности!

Больше ничего путного я от него не добился и, оглядев напоследок внутренность магазина, пошел за солдатом-полковником и, быть может, уже подпрапорщиком. Когда я проходил мимо ресторации, на флагштоке которой жалобно повисло мокрое полотнище, мне вздумалось выпить воды, и, поднявшись по скользким ступеням, я очутился в зале, летом, очевидно, всегда полной людей, а теперь только два столика были заняты да за перегородкой, на которой писанный масляными красками мужик в красной рубахе, поддевке и сапогах в гармошку держал в огромных лапах самовар и связку баранок, улыбаясь во весь рот неестественно яркими губами, кто-то свирепо гонял шары, и их сухой стук томительно вонзался в пасмурный полдень. Две дамы, видимо мать и дочь, молча пили воду из источника в уголке. За другим столом обедали два офицера линейного батальона в мешковатых мундирах, а в третьем, их товарище, узнал я неуставную венгерку поручика Посконины. Это он и был.

— Как вы здесь очутились? — спросил я его.

— Да вот на недельку отпросился. Сами знаете, в Ставрополе скука смертная, — довольно ухмыльнулся он. — Здесь, правда, тоже не слишком весело. — Он почему-то покосился на дам. — Но смена мест дает себя знать — я уже вкусил цивилизации. А вы, наверное, пакет возили? Когда обратно?

— Думаю, назавтра. — Я опустился на свободный стул и спросил воды.

Соседи Посконины откушали и откланялись, мы остались вдвоем. Посконин, судя по всему, никуда не торопился и был не прочь перебраться со мной словцом.

— Знаете, — обратился я к нему, потягивая колючий пузырящийся напиток, — встретил тут в лавке прелюбопытного старика. Поляк...

— Тише, — вдруг наклонился он ко мне через стол, — он здесь. Я понял, о ком вы.

— Да где? — оглянулся я.

— В бильярд играет, слышите?

— О да.

Тоскливое шелканье шаров как нельзя более подходило к расстроившейся опять погоде. Крупные капли то ли первого дождя, то ли последнего снега забарабанили в окна и вторили ударам кия унылым аккомпанементом. Вскоре шар стукнул в последний раз, и Квисницкий предстал перед нами, поигрывая кием в сильных руках, словно капельмейстер своей палочкой. Посконин нас познакомил, старик подсел и спросил обед. Я последовал его примеру и вступил в борьбу с тощим, жилистым и холодным цыпленком, которого подали с чрезвычайной церемонностью.

— Ну-с, что вы нам скажете? — Посконин откинулся на стуле и с улыбкой смотрел на поляка.

— Что сказать еще — я и говорить боюсь, — с волнением в голосе отвечал он.

— Да все говорите, — рассмеялся Посконин.

— Дожил до седых волос, а так, видно, и не научился помалкивать. — Квисницкий трижды поплевал налево.

— Завидую вам, честное слово, — не переставал улыбаться Посконин. — Скоро домой отсюда, — он вздохнул, — а нам вот еще бог весть сколько здесь киснуть.

— Ну, — возразил старик, — мне по годам более подходит. А у вас, правду сказать, жизнь только начинается.

— Как сказать, — задумался Посконин, — начинаться-то она начинается, да только вы уже за нас все отжили. Так ведь, кажется, Севастьянов говорил, — повернулся он ко мне.

— Любопытно, — вставил я, — но мой товарищ Неврев такого же точно мнения.

— Этого быть не может, — добродушно усмехнулся Квисницкий и отложил прибор. — Поживете — увидите сами. Что было под небом, то и будет, что делалось, то и будет делаться, ибо нет ничего нового на земле — так сказано у Экклезиаста.

— Легко вам говорить! — снова рассмеялся Посконин. — У вас-то уже все позади. Кстати, вот и повод. — Он подозвал полового: — Шампанского!

— Не сглазьте.

— Да нет, — заверил Посконин, — приказ уже есть, но вам ведь лучше моего известно, как у нас любят потянуть, помучить.

Квисницкий согласно кивнул и снова сплюнул.

— А я как подумаю, какая скука впереди... — продолжил Посконин, — б-р-р-р... Погода дрянь, зимой холодно, летом жарко, женщины утомительны, жить не хочется...

— Ну, — я посмотрел на его венгерку, — по вам не скажешь.

— Это здесь, — махнул он рукой. — Еще не хватало, чтобы здесь фрунтом ходили. А там? Тоска, да и только.

— Выходите из службы, — посоветовал Квисницкий.

— Еще хуже — только спать и останется. Попрошусь в отряд. По крайней мере стреляют.

Поставили бутылку. Мы помолчали, пока половой осторожно наполнял бокалы.

— Рассказали бы что-нибудь, право, — попросил Посконин Квисницкого. — Скучно.

Тот ухмыльнулся в усы и взял бокал.

— Нет, в самом деле. Ведь ваша милая Польша — прямо средоточие всякой загадочности. Ну и бунтов непременно, крамол и татьбы, так сказать.

— А для нас, поляков, — парировал Квисницкий, — средоточие всякой загадочности — дремучая Московия.

— Вот так. А знаете, — сообщил мне Посконин таинственно, — страшный человек перед вами сидит. С Наполеоном в Россию ходил. Вот попались бы мы его уланам на Березине, так затоптали б в спешке.

Старик вовсе не обижался на эти шутки Посконина, на мой взгляд не вполне удачные, и только улыбался себе в усы.

— Это вы у Понятовского служили? — осведомился я.

— Так точно. Два раза ранен, а теперь видите, как пришлось. Подпрапорщик русской армии в шестьдесят четыре года. Словно Жомини, с той лишь разницей, что он отдался в генералы, а меня отдали в солдаты.

— Вы не боитесь при нас такие вещи говорить? — удивился я.

— Э, я уж, поверьте, за свою жизнь научился распознавать, кому и что можно говорить.

— Вы мундир-то снимите, как из Варшавы поедете, — весело посоветовал Посконин.

— Что, есть у вас семейство, позвольте полюбопытствовать? — спросил я.

— Как же-с, жена, дочь и сын... его во время штурма Праги покалечило. Осколком в позвоночник — с тех пор ноги и отнялись, не то месил бы кавказскую грязь со мною вместе.

— Простите, — смутился я.

Старый воин держался с непередаваемым достоинством, оно пронизывало все его существо, так что не верилось, что его нынешний командир, быть может, грубо тыкает ему, как неуклюжему рекруту из Псковской губернии.

Тут к нашему столу подошел незнакомый мне капитан в мундире нижегородских драгун и как хороший знакомый приветствовался с Посконинным и Квисницким.

— Слышал, слышал, — приветливо улыбнулся он последнему, — душевно рад. Ого, шампанское! Еще бутылку — на мой счет, — приказал он половому и присоединился к нам. — Погода какая скверная, опять все затянуло, — вздохнул он. — Только в карты играть и остается. Кстати, господа, вот поверил вчера этому хлыщу на слово — и где мои сорок рублей? Верно, уже мчатся в Тифлис.

— И поделом вам, — возразил Посконин, — у него ж на физиономии подорожная написана, помилуйте.

— Да, да, — еще раз вздохнул драгун. — Сыграем, господа? — Он вопрошающе оглядел нас.

— По маленькой, — Посконин отставил бокал, — что ж, пожалуй. Скучно.

Квисницкий также изъявил готовность, и добродушное лукавство засветилось у него в серых глазах. Очередь была за мной, играл я из рук вон, но решил все же составить партию с моими собеседниками — время у меня было, на улице и вправду казалось что-то уж слишком неудобно, к тому же мне интересно было провести в обществе замечательного поляка несколько лишних минут. Мы перешли к ломберному столу в бильярдную. Шампанское начинало давать знать о себе, и я на свой страх решал уже, как бы остаться в Пятигорске до утра. Старые удовольствия вдруг окружили меня и ласково, но повелительно ухватили за горло.

— Скучно, все одно скучно, — приговаривал Посконин, забирая свои карты.

— Что вам скучно, молодой человек? — не выдержал наконец Квисницкий. — Отчего скучно? Можно подумать, вы уж сто жизней пережили. Что, вы уже уцелели после Бородина? Понянчили дитя? Страсть выжгла вас, превратив в пустышку? Вы уже Рим посмотрели?

— Ну, вы неисправимый католик.

— Да где же вы видели поляка и не католика? — рассмеялся старик. — А с другой стороны, я думаю, что вас понимаю. Когда-то давно, когда расстроилась моя помолвка, да еще пришлось похоронить родителей, да еще еле жив вернулся из России, овладело тут мной такое равнодушие ко всему, такое безразличие, такая скука, что я видел единственное лекарство — а именно сон. Иные пьют, а мне и это тяжело было. На будущее взирал я очень мрачно — что впереди? Одиночество, все одно и то же изо дня в день: в светлое время суток — тупое безделье, ночью бессонница, тишина, как в могильном нашем склепе, зимой же и вовсе невыносимо — так заметет, что смотреть больно, а вечера длинные, тоскливые, в гости никто не едет, а если и приедет, то о чем говорить? — все давно переговорено. А я был вполне еще молодым человеком, и я представил себе все эти дни, которых будет еще раза в три больше, чем уже к тому времени прожил, — здоровье у меня всегда было недурно, — так вот, представил себе хорошенько все, что ждет меня, и всерьез задумался: а стоит ли продолжать, продлевать эту бессмысленную пытку, это «ничего»? — Квисницкий задумался. — Ума и страху хватило, Иезус-Мария, — закончил он не без иронии, — и вот, посмотрите, как я заблуждался.

— Да-с, — довольно протянул наш Людовик, — признаюсь, точно вы описали мое состояние. Все ждешь чего-то, ждешь чего-нибудь, знаете ли, эдакого. Чуда какого-то, что ли. Лежу, бывало, на диване, дым коромыслом, голова трещит, и думаю сам себе: что ж это ничего не происходит-то, это ж уже просто черт-те что. Жаль, купить нельзя, чудо это. Вот что чудесно.

— Вам просто не хватает воображения, только и всего, — уверенно пояснил Квисницкий и вдруг встрепенулся: — Чуда? — Он пригубил вина. — Мне кажется, многие ожидают его всю жизнь, и впустую. Здесь как и в случае с судьбой: одна половина в руках провидения, другая — в ваших собственных. Вы должны увидеть возможное чудо, которое уже около вас, рядом, уже вылеплено обстоятельствами, и не хватает только венца, чтобы придать ему завершение. Оглянитесь вокруг — все остальное зависит уже от вас самих, поверьте.

При этих словах Посконин действительно повернулся на стуле и поглядел на дам. Старшая — видимо, мать — ответила нам гневным взглядом. Я прыснул:

— Какой вы, однако, способный ученик!

— Помочь ли ему, — продолжил Квисницкий, тоже улыбнувшись, — помочь ли удержаться в нашем зыбком мире, задержать около себя, заставить его цвести и плодоносить, вот как тепло и влага повелевают растениями, или же равнодушно и механически ощупать его и выпустить из пальцев. Так что решайте, какую жизнь вы выбираете.

— Или какая выбирает вас, — невесело возразил Посконин. — Нет-нет, все верно, но только на то оно и чудо, чтобы и ждать его, и восхищаться его непосредственностью, и чувствовать, как оно повелевает тобой. А что до растений, то времена года ими также повелевают.

— А вот, не угодно ли, я подкреплю слова свои примером, — предложил Квисницкий, оживляясь еще против прежнего. — Бóюсь только, что не будет он краток, — добавил он и выжидательно нас оглядел. — Одна история, при коей случилось находиться свидетелем.

— Нет, вы уж скажите, пожалуйста, — оживились и мы, — право, скажите.

Нижегородский драгун бросил карты на зеленое сукно.

— Три рубля и семь копеек, — пробормотал он и уперся щекой в ладонь.

Мы последовали его примеру, мокрой тряпкой очистили руки от мела и приготовились услышать нечто интересное.

— Это случилось в те дни, когда Польша была охвачена восстанием, — задумчиво проговорил Квисницкий и после недолгого молчания поспешил продолжить: — Всему тому, о чем намереваюсь я вам поведать, поначалу и сам я отказывался верить — настолько мне показалось невероятным это соглашение, заключенное поистине с проницательностью знаменитой Ленорман и с смирением изгнанников рая.

— Что за соглашение? — перебил Посконин.

— Имейте терпение, обо всем по порядку, — весело пожевал губами чуть захмелевший рассказчик. — Не буду останавливаться на подробностях нашей с вами борьбы, скажу лишь, что после падения Варшавы восьмого сентября 1831 года польская армия собралась в округе Плоцка. В строю, однако, оставалось не более десяти тысяч человек, так как многие ушли с Раморино в австрийскую Галицию и в Краков с Росицким. Я сражался под знаменами Рыбинского и, к сожалению, слишком поздно понял, для чего повел он свои двадцать тысяч при девятистах двух орудиях через границу в Пруссию. Когда пронесся первый слух о капитуляции, сперва я попросту отмахивался и не хотел верить, но очень скоро некоторые обстоятельства, на которых нет нужды здесь задерживаться, побудили меня стать внимательнее, и в одну из ночей я собрал своих людей, и мы, неслышно оседлав лошадей и обмотав копыта тряпками, покинули лагерь, начавший уже безобразно разлагаться от неудач и недостатка припасов, и двинулись на юг, в сторону Кракова, с намерением присоединиться там к Раморино. Краков после пятнадцатого года имел свою конституцию, считался республикой и поэтому не был занят неприятелем.

— Стучилось так, что в моем отряде оказалось совсем мало бывалых людей — все больше деревенских простаков, почти мальчишек к тому же. К рассвету нас стало меньше, чем накануне, к вечеру людей еще поубавилось — они просто-напросто отставали, пережидали в кустарнике, пока мы не скроемся из глаз, а затем поворачивали коней в сторону своих деревень. В результате со мной оставалось не более десятка, и по иронии судьбы именно тогда наткнулись мы на казаков. О сопротивлении в таком числе нечего было и помышлять — умчаться бы, и то хорошо. Двоих наших все же подстрелили, одного достали пикой, остальные рассеялись, и вот я уже один на все лады заклинал измученную лошадь, во что бы то ни стало стремясь добраться до Млавского леса. Казачий свинец сорвал кивер

с моей головы, и я почел это за благой знак, ибо пуля не бьет дважды в одно место. Через некоторое время я почувствовал, что казаки отстают, лошадка, вняв моим немым мольбам, сделала последнее усилие, и я отвоёвал еще один круп, потом еще один и наконец скрылся от преследователей моих за вековыми деревьями, уже тронутыми первыми, так сказать, штрихами осени. Когда я оправился от этой гонки и дал отдых едва переступавшей лошади, которой несомненно был обязан жизнью, заметил вдруг, что одна пуля все же догнала меня — рукав камзола потемнел и набух от крови. Я наспех перемотал рану и со всяческими предосторожностями пустился в дальнейший путь. Дороги и селения были полны казаками, и жандармы уже делали первые обыски, вылавливая краковских эмиссаров. При мне, как назло, находился пакет для Раморино, где содержались некоторые небезынтересные для Паскевича сведения, попади он ему в руки, поэтому я решил пробираться по ночам, светлое время посвящая отдыху в укромных лощинах. Я был голоден, крови вышло из меня немало, да вдобавок проклятые казаки загнали меня так далеко, что я внезапно перестал узнавать места. Наверное, они так упорно меня преследовали, потому что приметили на мне неплохое оружие, — эти разбойники готовы поле боя покинуть, лишь бы чем-нибудь поживиться. Я чувствовал предательскую слабость во всем теле, головокружение и тошноту. Я забирал на юг, а оказалось, что тащился на север, и как такое произошло со мной — не пойму до сего дня. Знаете, на прусской границе нетрудно заблудиться: дремучие места, редко проглянет полянка — все леса да леса, да еще болота. Там раньше неохотно селились из-за соседства с орденом, край был то и дело охвачен беспощадной войной, и крестоносные пожары были таким же обычным делом, как гроза в июле. Все больше мелкая шляхта обитала в этих тенистых урочищах, шляхетские гнезда были мрачны и неприветливы, скрыты от неосторожных взоров, крестьяне крайне бедны и забиты. Определив в конце концов, куда забрел, я припомнил, что в этих самых местах проживал старик Радовский. — На этом месте наш рассказчик поперхнулся и промочил горло, я же невольно вздрогнул и превратился в слух. — Радовский, — продолжил Квисницкий, откашлявшись, — достопримечательность своего повета. Аристократ, граф — редкость необычайная в тех краях. Один из его предков, страдая томительной меланхолией и наводившими ужас на крестьян и соседей ночными бдениями и прогулками в чащобах, лет за сто до того купил там старый дом, перестроил его и навсегда покинул Варшаву. С тех пор его потомки словно прикованы, приворожены к этой невеселой обители. Нынешний Радовский, служивший одно время у Костюшко вместе с моим отцом, был уже четвертый в роду после мрачного меланхолика, кто навсегда заперся в болотной глуши. Мой отец говорил мне как-то, что некогда человек этот держал меня, тогда ребенка, на руках. У него-то я и рассчитывал найти приют, залечить рану, скрыться от царских ищеек и обдумать свое положение. Я окончательно ослаб, в одном крестьянском дворе мне пришлось чуть не оружием добыть себе хлеба — до такой степени жители были напуганы нашим поражением. Однажды утром я повстречал крестьянина, скирдовавшего сено, и, расспросив его, обнаружил, что нахожусь совсем недалеко от графского жилища. Я ожидал встретить тем более теплый прием, что Радовский слыл за патриота и доказал это мнение не один раз, участвуя во многих свободолюбивых начинаниях.

— Как бы то ни было, к закату, промокший до нитки, заросший нехорошей щетиной, грязный и шатающийся от усталости, я, напрягая остаток сил и принуждая к тому же свою бедную лошадь, добрался до замка, а когда назвал свое имя, то был встречен как нельзя лучше. Долго мне не верилось, что я наконец-то в безопасности, сижу в доме у друзей, долго еще мерещились мне казачьи разъезды с чубатыми сотниками во главе — я становился уже не тот, молодость ушла без следа, я попросту старел и делал это уже давно, хотя заметил страшную свою усталость только после того похода. — Старик повздыхал немного, и все мы подумали, как не

идут эти сетования к его осанистой фигуре и живым глазам. — У графа была дочь, — продолжил он, — недурна собой, умница, что называется, — прищелкнул он языком на азиатский манер. — Но что это я — в то время, когда я видел ее, это была уже взрослая женщина, с какой-то невысказанной тоской в удивительных карих глазах, с совершенно обезоруживающей и неизменно грустной улыбкой, большей частью молчаливая и погруженная в самое себя. Впрочем, она преображалась, когда ласкала ребенка...

— Ребенка? — невольно вырвалось у меня, и Квисницкий повторил:

— Ну да, сына. Очаровательный мальчуган был настоящим бесенком — ни минуты не сидел на месте, при этом, однако, неплохо успевал у своего учителя, некоего Троссера, француза, много уже лет состоявшего при графе. Сам старый граф редко спускался к общему столу, просиживал дни и ночи в темном своем кабинете, куда не был вхож никто, исключая камердинера и местного священника, — а что он делал там, чем занимался — одному богу известно. Разок удостоил он и меня своим вниманием, расспросил о семье, некоторых представителей которой он знал весьма коротко, закашлялся, да и тут же ушел к себе. Я глядел ему вслед, вслед этому существу в халате, протертом кое-где до дыр, из-под которого выглядывала ночная сорочка, с нечесаными, жидкими, седыми волосами, мутными, белесыми, ничего не выражавшими глазами, с трудом передвигавшему ноги в совершенно раздавленных и растрепанных туфлях, столько переживших, очевидно, на своем веку, и думал: «Матерь Божья, что делает с человеком всесильное время!» Вид этого человека, когда-то легендарного, был столь жалок, что ничуть не искупался даже этой самой легендарностью. Казалось, что жизнь не то чтобы ушла из него, но просто застыла, как студень, ожидая той минуты, когда будет растоплена смертным лучом, чтобы тонкой неровной струйкой вытечь из опустевших глазниц. Несмотря на это челядь боялась одного его шарканья в гулких коридорах пустынного дворца. Я знал, что некогда была у него жена, — впрочем, супругой она ему не была — он вывез ее из колоний образом очень романтическим и не очень приличным. Из-за нее вступил он в дразги с церковью, переросшие позже в настоящую войну. Она ведь была мусульманкой, да таковой и оставалась до самой своей нечаянной гибели. Может быть, старость, как это часто случается, оживила воспоминания старика до боли, и именно это заставляло его бежать общения. Он тихо угасал, и мне показалось, что избегал даже своей дочери. Я вообще ощутил, что вместе с ссохшейся фигуркой старого графа и прочими обитателями по огромному пустому дому бродила некая упругая напряженность, какая-то упрямая невысказанность. Все всегда бывало очень тихо, неторопливо, словно в костеле, и в то же время многозначительными казались мне взгляды и некоторые замечания управляющего Троссера, жилистого сухого человечка, разменявшего уже шестой десяток, и графского духовника отца Анджея, с которым мы частенько сходились в крепс за бутылочкой старого порту, на английский лад.

Так вот, мертвенную тишину нашей меланхоличной обители нарушали только шумы, производимые проказами маленького Александра, для которого не существовало времени суток. Мальчик был резов, как косули, что в большом числе заполняли леса вокруг Мышинца и на которых охотились тогда казаки, обложившие всю окрестность.

— При дневном свете я не выходил из дома и довольствовался прохладными и свежими ночами, которые проводил в заросшем парке, примыкавшем прямо к строениям. Дворне, да и всем, кто так или иначе видел меня, было строго наказано забыть о моем существовании, а на случай появления неприятеля на чердаке, за потайной дверью, устроили для меня убежище, которое пришлось делить мне с голубями, — усмехнулся поляк, — а это соседство не из приятных. В округе было беспокойно; однажды к нам заехал уланский офицер, спешивший поскорее сбросить мундир в своем поместье. Он поведал о том, что творится за стенами и этого дома,

и за стенами лесов, окружавших его со всех сторон. Армии нашей более не существовало — она рассеялась, растаяла после падения Варшавы. Рыбинский сложил-таки оружие уже в прусских землях, жандармы повсюду искали эмиссаров, обшаривали каждый подозрительный им дом, многие поляки оставили тогда семьи и исчезли из страны. Один Краков еще держался, но и ему оставалось уже недолго.

— Пакет, что хранил я со всем тщанием, как будто потерял уже свое значение, но я не мог вскрыть его, не зная ничего толком, несмотря на обилие самых мрачных и противоречивых слухов, которые как-то проникали сквозь толщу замковых стен и наглухо занавешенные окна. Рука моя стала лучше, однако не настолько, чтобы я мог ею распоряжаться вполне. Мне оставалось лишь гадать о содержимом донесения, спрятанного у меня на груди, да заодно и о том, жив ли вообще славный Раморино, побочный сын Ланна, стоивший всех законных сыновей всех остальных маршалов. Речь ведь и пойдет о незаконных детях, господа, простите за отступление, — улыбнулся Квисницкий. — Как вы уже успели понять, дочь старик Радовский имел незаконнорожденную, ибо в церковном браке никогда не состоял. Конечно же, никто и не смел подать вид, что графиня вовсе не графиня; ее величали отцовским титулом, и сложно было представить, чтобы кто-либо отнесся к ней без должного почтения. Достоинства, с которым она держала себя, хватило бы и на трех графинь и еще на ганноверскую курфюрстину впридачу. Она казалась замечательной женщиной — меня крайне занимало, каким образом удавалось ей сочетать свою постоянную, чуть-чуть, пожалуй, вялую грусть, отрешенность и жизненную неукротимую силу, которые сосуществовали в совершенно равных долях. Но вот о чем подумал я, господа: не это ли дитя непонятого происхождения поселило такую томящую скуку в обители графа, не его ли безобидный смех заставлял вздрагивать, переглядываться и чувствовать себя неловко взрослых, слышавших его? Кто был ему отец, что с ним случилось, да и была ли вообще замужем хозяйка лесного приюта? Один раз я задал эти, или похожие, вопросы Троссеру, право, больше от скуки, чем из любопытства, — лукаво улыбнулся нам рассказчик, — и, поверите ли, не получил никакого ответа. Он лишь взглянул на меня недоуменно и не проронил ни словечка. В самом деле, получилось так, что я под этим взглядом будто и сам ощутил нелепость и самую невозможность такого вопроса. Все-таки, дня через два, секрет перестал быть секретом, и вот послушайте, как неожиданно для меня это произошло.

Как я уже сказал, обитатели графского дома не выказывали расположения к внуку его хозяина. Иногда мне бросалось в глаза, как брезгливо улыбался священник, будто желая сказать: «Вот видите, господа, в моем приходе поселился чертенок», и как досадливо морщился сам старик, когда рядом раздавался по-детски бесцеремонный топот Александра. Ему шел тринадцатый год. Я не мог не заметить, что ребенок хотя и не скучает, но больше проводит время с самим собою или в обществе своего воспитателя. Троссер, казалось, был привязан к своему подопечному, но никак не проявлял этого чувства, более того, производил он впечатление человека, который знает кое-что, но не только не подает виду, а как будто даже молчаливо отстраняется от своего знания. Мне неизвестно, что его связывало со стариком и каким образом француз очутился в этом дремучем польском уголке, только думаю, что за многие годы службы он взял себе за правило никак не выходить за ее пределы. Еще представлялось мне удивительным, что, несмотря на некоторое недоброжелательство к юному созданию, никто не препятствовал ни его незатейливым желаниям, ни его шумным затеям, так что вел он себя вполне по-хозяйски, и его принимали за члена этой странной семьи. Мне сразу понравился этот мальчик, и мало-помалу он почувствовал мою к нему приязнь. Иногда он приходил ко мне в комнату и расспрашивал о войне, которая я и сам не знал тогда, кончилась или нет, и скучными дождливыми днями я повествовал ему о всех своих приключениях, неизменно начиная с описания Наполеона, которого видел

не один раз и с которым один раз даже разговаривал. Мальчик внимал моим сказкам затаив дыхание, а в вопросах, какие он делал мне, проглядывала мятежная душа и поражавшая меня сообразительность. Наша дружба не укрылась от внимательных глаз его матери. Порами она подолгу слушала наши беседы и улыбалась украдкой, сидя в углу с пальцами и с отрезом шелка. Однажды вечером, когда мой неутомимый юный слушатель отправился наконец спать, надо сказать, весьма неохотно, его мать просила меня не уходить несколько времени и вышла уложить сына. В некотором недоумении я остался сидеть в креслах, гадая, что намеревается она мне сообщить. Примерно через полчаса в дверь раздался тихий стук, и графиня, выглянув в коридор, затворила ее за собой.

— Прошу вас, выслушайте меня, — взволнованным голосом начала она, — не правда ли, я могу на вас положиться?

— Отчего же нет, графиня? — отвечал я, сбитый с толку таким серьезным вступлением.

— Тогда слушайте внимательно, и вы поймете, что я хочу сказать теми словами, которые могут показаться вам лишними, — произнесла она, усаживаясь напротив. Такой бледной, растерянной и вместе с тем решительной мне еще не доводилось ее видеть. — Поймите меня правильно, — пояснила она, — мне не к кому, кроме вас, обратиться, не к кому отнестись со своими мыслями и тревогами, вы — единственный здесь, кому могла бы я довериться, вы друг нашего семейства, вы один ласково смотрите на моего сына — поверьте, для матери это очень много. Выслушайте же меня и подайте мне совет и помощь — в ваши лета, с вашим опытом это будет несложно исполнить.

После этих слов она ненадолго замолчала, отвернув лицо в сторону, а когда оно опять оказалось передо мной, ни тени растерянности уже не было заметно на нем. Голос ее, несколько раз до этого срывавшийся и переходивший в спазматический визг, снова обрел свою чарующую глубину. Она испытующе взглянула на меня, еще раз проверяя, не ошиблась ли в выборе, — правду сказать, и выбирать-то было не из кого, — и вот что я услышал.

— Мой сын не поляк. Точнее, поляк только наполовину. В его жилах течет кровь тех самых людей, которые, быть может, завтра отправят нас в изгнание. — Она отошла к окну, приподняла край шторы и некоторое время вглядывалась в темное пасмурное небо, нависшее над домом, над Польшей...

— Есть ли смысл описывать, что я пережила? У меня не достанет на это слов, да это вам и не надо знать — хватит и того, что сказано. Добавлю лишь, что фамилия моего тайного супруга звучит в России не менее громко, чем за ее пределами. Этот человек порядочен безупречно. — Она закашлялась.

— То, что я жду ребенка, нельзя было скрывать долее известного срока, и когда тайное стало явным, ничего, кроме горьких упреков отца, я не услышала в давящей тишине нашего огромного безжизненного жилища. Отец выговаривал мне, что я опозорила честь семьи, опозорила Польшу и предала его. Все это было правдой, но не производило на меня никакого впечатления. Колкие ответы вертелись у меня на языке, но я молчала. В моем случае история семьи как будто повторилась — ведь мою мать отец, попросту говоря, умыкнул, а теперь его дочь, пусть незаконнорожденную, обстоятельства поставили в похожую ситуацию. Поистине, провидение не забывает забрать у нас ровно столько, сколько было некогда дано.

— Как сказать, — заметил я, — многим незнакомо это вычитание.

— Почему же так, — спросила она, — одним знакомо, а другим нет?

— Я мог только пожать плечами, ибо на такие вопросы, кажется мне, не сразу найдется ответить и сам архангел Гавриил, — произнес Квисницкий. — Между тем графиня продолжила:

— Я родила здоровое дитя, и страсти улеглись во мне. Дома меня уже ни в чем не ограничивали, я нянчила ребенка и гнала прочь мысли о будущем. Отец сделался чрезвычайно холоден ко мне, на Александра не

взглянул ни разу в течение всего первого года его жизни, все реже выходил из кабинета. Я по-прежнему не хотела довериться Анджею, и была права. Скоро некоторые обстоятельства заставили меня подозревать его в нечистоплотности по отношению к имущественным делам отца. Несколько раз я пыталась поговорить с отцом откровенно, как бывало прежде, но поняла безнадежность таких попыток. Я будто уже и не существовала для него, зато пан Анджей с каждым новым днем, а точнее, с каждой прошедшей ночью приобретал небывалый вес. Наконец не выдержал и Троссер: отец окончательно удалился в мир призраков, а Анджей вмешивался в дела совсем бесцеремонно.

Ему уже снилось, что отцовым имуществом распоряжается коллегия иезуитов, а я, сведенная до уровня приживалки, зарабатываю свой хлеб рукоделием в крохотной келье.

Потом, и дитя... Я не желала, чтобы он, как я, оказался человеком без имени, без средств и поэтому без права на жизнь.

Тут я начала понимать и долгие задумчивые взгляды отца, которые он устремлял на меня озабоченными глазами, да и то, отчего вдруг наши крестьяне не косили более на Бежицком лугу, и почему им, как и многим другим, теперь распоряжались какие-то тощие монахи, и по какой причине хмурится рассудительный Троссер. Троссер был человеком безусловно честным и как-то сообщил мне, что от одного стряпчего ему стало известно, что отец готовит завещание; а когда Анджей стал намекать, что неплохо было бы отдать Александра на воспитание иезуитам, я прозрела окончательно. Дошло до того, что я стала бояться яда, отравы, но эти страхи, слава Богу, оказались пустыми. Троссер, который знал меня с рождения, казался мне единственным, кому могла бы я доверять, но он не много мог. Я пользовалась полной свободой, а распорядиться ею как должно не имела права. До тех пор, пока я находилась при отце, я являлась для Анджея грозным напоминанием, но если бы я уехала в Петербург, он убедил бы отца предать меня проклятию и лишит даже той малости, на которую мы с сыном могли бы еще рассчитывать. Когда началось восстание, я поняла, что тянуть дальше нельзя и следует открыться отцу. Я написала в столицу, прося князя раздобыть церковную запись и приехать немедленно.

— Ваш муж, то есть этот русский князь, едет сейчас сюда? — удивленно переспросил я.

— Так есть! — отвечала взволнованная Радовская. — С его помощью я намереваюсь очистить дом от этого фанатика и оградить от подозрений. Имя князя — лучшая порука безопасности в нынешнее время. Но как быть вам — не знаю. Оставаться здесь опасно, куда-то ехать — еще опаснее. Едва ли Анджей осмелится оскорбить отца доносом, но кто и в чем может быть уверен в такое страшное время. Троссер одобрил мой план и сегодня утром отправился встретить мужа. Он ездил и третьего дня, но вернулся один. Я начала беспокоиться и решила рассказать вам все.

— Действительно, — сказал Квисницкий, — я припомнил, что уже несколько дней не вижу Троссера. Радовская вдруг зашла кашлем. Подозревая самое страшное, я отвел ее руку, судорожно сжимавшую платок, — так и есть, платок окрасился кровью. Я подался к двери, чтобы позвать кого-нибудь, и чья-то тень шарахнулась в темном коридоре. Я бросился за водой и каплями и поначалу не обратил внимания на это обстоятельство. Когда я доставил все необходимое, приступ ослаб.

— Вы видите теперь, — слабым голосом сказала женщина, — что мною движет отнюдь не жадность. Чахотка не терпит богатства, переносит его бесстрастно, но и безропотно. Времени у нас мало — запомните одно: не дайте погибнуть Александру, если...

— Что — если? — переспросил я.

— Если что-то будет не так, как хотелось бы и как должно быть. Они его погубят, упрячут в какую-нибудь... — Новый приступ кашля прервал ее речь.

Я, как умел, ухаживал за ней, а потом она позвонила, и пришла девушка. Пообещав, что в случае каких-либо непредвиденных причин стану заботиться о ее сыне, как если б это был мой собственный, я предоставил большую вниманию горничной. В коридоре мне повстречался Анджей. Он был бледнее обычного и чем-то озабочен. Я приписал это общей суматохе, а напрасно — развязка близилась. Давая клятвы, мне следовало задуматься о том, на что я был способен в своем нынешнем положении. Каждую минуту я мог ожидать ареста и почитал бы себя в безопасности только за пределами несчастной родины. Светало. Я заглянул к себе на чердак, где на всякий случай была заготовлена одежда простолюдина и находилось мое оружие. Зарядив пистолеты, я призадумался обо всем том, что услышал. Конечно, никогда б не решился Анджей донести на меня, не рискуя при этом навсегда утратить расположение старика, но он мог совершить это вполне секретно. Но и в этом случае, казалось, никаких выгод ждать ему не приходилось — казна ненасытна, и кто, в самом деле, стал бы считаться с каким-то завещанием, с этой жалкой бумажкой, когда можно было поступить по неумолимому праву войны. Все же тревога не отпускала меня. Я вспомнил тень, метнувшуюся от двери моей комнаты, и беспокойство усилилось. В конюшне для меня круглые сутки держали лошадь под седлом — на случай внезапного бегства. Поразмыслив, я не захотел подвергать свою судьбу злой воле, а решил вверить ее случаю — так мне казалось и честнее по отношению к моим хозяевам. Я быстро переоделся, проверил, на месте ли пакет Раморино, захватил оружие и отправился в буфет, чтобы запастись в дорогу провизией. Какие-то необычные шумы смутили меня. Сначала я подумал, не случилось ли чего с графиней, но тут же различил до боли знакомое звяканье армейской амуниции, грубый топот сапог и стук прикладов. Словно в лихорадке бросился я обратно и спрятал пистолеты — теперь надо было играть другую роль и в них не было нужды. Потом я сообразил, что если пришли на зов ксендза, то обыщут весь дом, и чердак меня не спасет — с него-то и начнут. Я стал осторожно спускаться вниз, в втором этаже проскользнул в боковую комнату и выглянул в окно — во дворе гарцевали казаки. Тогда я перешел на другую половину — благо рассвет еще не осветил угрюмый коридор. Отсюда окна выходили прямо на конюшню, я выставил раму, спрыгнул и потихоньку к ней крался. Двор был полон перепуганной челяди, повозок и солдат, но у ворот конюшни уже топтался часовой. В этот миг офицер, которого я не заметил сразу, преградил мне дорогу, и я горько пожалел, что так легкомысленно остался безоружным. Я принял самый глупый вид, на какой был способен, но этот неуклюжий обман мне не удался — породу не скроешь. Тут же я оказался в руках солдат, мне завязали руки, но, когда меня присоединили к нескольким тоже связанным крестьянам, надежда у меня проснулась опять. Мне показалось, что русские нагрянули случайно и необходимо стоять на своем. Из дома донеслись совершенно дикие крики — жандармы приступили к обыску. Через несколько минут принялись за нас, и я похолодел от ужаса, когда опытная ладонь жандарма скользнула мне на грудь. Проклятый пакет выдал меня с головой, и отпираться стало просто смешно. До сих пор я не уверен, приложил ли здесь Анджей свою руку, или же войска нагрянули без всякого повода, но то, что узнал я дальше, гораздо более развлекло мои мысли. Я назвал себя, и со мной перестали обращаться неуважительно. Жандармский полковник, который задавал мне вопросы, тут же углубился в изучение моего пакета и — странное дело — вдруг захохотал. Я спросил его о причине смеха, столь неуместного при чтении важных бумаг, — вместо ответа он протянул мне лист. Я бегло перечел его и даже не знал, плакать ли мне, смеяться ли. Дело там было в том, что Рыбинский умолял Раморино ничего не говорить пани Бжезинской, которую тот непременно должен был повстречать в Кракове, о его мимолетном увлечении пани Рогульской — одной из варшавских див. Уверял и в том, что именно первую рассматривает как солнце своей ночи, и намекал, что ревность ее способна разрушить даже самое прочное счастье.

— И больше ничего? — Я повертел в руках лист.

— Ничего, — со смехом отвечал полковник.

Таким образом, судьба одного полководца всецело была во власти его соратника. «Что ж, это часто бывает, — подумал я, — особенно на войне». Да-а, умеют все-таки воевать поляки! И все это буквально под неприятельскими ядрами, когда мир безнадежно теряет все свои основания.

— Так или иначе, проклятый пакет сделал свое дело. Я был посажен на повозку и под конвоем отправился в мышинецкую управу. Большая часть отряда осталась в усадьбе. А после недолгого следствия меня лишили всех прав состояния, дворянства, превратили в солдата, потащили на юг, — глубоко вздохнул Квисницкий, — и сдали батальонному командиру, так что я пребываю в полном неведении относительно, так сказать, судеб прочих участников этой невеселой истории. Ничего не могу сказать и об этом русском князе, жив ли он или... — снова последовал тяжкий вздох, — или находится уже в ином мире, который справедливее этого.

— Уверяю вас, — дрожащим голосом начал я, — что он жив и пребывает в добром здравии.

То ли Квисницкий не расслышал этих слов, то ли просто не придавал им должного значения, но только он ничего не отвечал и продолжил так:

— Единственное, господа, что мучает меня неотступно, не позволяет спокойно спать, — так это завещание Радовской. Почему завещание? Да потому, что с такой чахоткой долго не живут. Иногда мне снится маленький Александр, и я снова рассказываю ему о Наполеоне. Но он слушает уже без всякого интереса, и в руках у него трепник. Почему так?.. Я буду его искать, но кого я способен из него изваять? Разве что храброго польского улана, ну и, конечно, бунтовщика.

— Надеюсь, — сказал Посконин, — что нам не придется скрестить с ним оружие. Уж больно вы хороший учитель. Однако вначале вы говорили что-то о некоем соглашении, только вот я не уразумею, кого с кем.

— Ах да, — засмеялся старик, — это о любви. Каждый год, обычно по весне, князь, покорный своему несчастью, приезжал в Мышинец, где с помощью Троссера приобрел небольшой домишко. Ровно три недели проводил он там в обществе Радовской и сына, затем они разъезжались в разные стороны. Она сама говорила мне, что это бывало хоть и мучительно, но прекрасно. Новизна первой встречи, свежесть первого поцелуя навсегда оставались с ними, и поэтому чувства, так часто непрочные в обычном браке, никогда не успевали ни разгореться, ни затухнуть окончательно. Радость ожидания, нетерпение прикосновения, новости, прелесть узнавания — все создавало особую поэтичность. Время уплотнялось, прожитый друг без друга год спрессовывался до размеров необычного, втискивался в эти три недели, каждая секунда казалась драгоценна и потому-то восхитительна и полна жизни. А что это было — мука или блаженство, судите сами. Впрочем, одно без другого не бывает.

— Как это вы сказали? Спрессовывался, — усмехнулся Посконин. — Полноте, есть другое хорошее слово — сваляться. Вроде бы одно и то же, а чувствуете разницу?

— Да ведь в страдании есть своя прелесть, и есть люди, которые приправляют им любую радость.

— Вы рассуждаете как искушенный сластолюбец, — заметил Посконин.

— Ну, я не русский, чтобы упиваться собственными несчастьями, — возразил поляк.

— Да-с, — подал голос драгунский капитан, — оригиналы эти ваши знакомые. Так послушаешь, скажешь сам себе — этого быть не бывает, а поди-ка поспорь. Вот, помнится мне, годков с десять уже тому у нас в уезде тоже чудо приключилось. Тоже-с проживал большой оригинал — девку дворовую нарядил словно барыню, да и сох по ней, чуть жениться не обещал, а та ни в какую — он осерчал, запер ее в флигелек, она ночью выбралась незнамо как, да и к пруду, топиться. Уж как горевал, а уморил девку — и больше ничего.

Мы все помолчали.

— Вот какая любовь неземная, извольте видеть, — прибавил он, ловко потрещал колодой и зевнул.

Не знаю почему, но я надумал возвращаться в Ставрополь тотчас, не глядя на ужасную погоду. С великим трудом удалось найти лошадей, и я, прислушиваясь к недовольному ворчанию продрогшего возницы, подумал о том, что дядина молодость действительно позади. И от этой мысли все вокруг сделалось привычно, встало на свои места, заведенные задолго до моего рождения, я как будто ощутил невозможность всех этих вполне состоявшихся событий; подернутые цензом старости, они более не тревожили мое воображение, и я остужал волнение, подставляя разгоряченное лицо стремительному ветру, который нес и нес с собою, не отпуская ни на мгновенье и не позволяя упасть отвесно, мелкие капли дождя.

6

Весною Ставрополь оживал. Деревья одевались первой листвою, а люди разоблачались, сбрасывали тяжелые полушубки и шинели, вспоминали крещенские гадания и ждали им подтверждений. В городе появились дамы, с грациозным томлением ожидавшие okazji для поездок на воды, тарантасы с офицерами заполнили улицы, множество казаков в самых немислимых уборах сновали туда-сюда. Из центральной России прибыли два свежих маршевых батальона, все чистили оружие и торговали лошадьми, приуговляясь к скорым экспедициям. Начальники флангов, обложенные конвоем, также навестили свою столицу. В горах сходил снег, густеющие леса снова были готовы укрыть собою черкесов, то здесь, то там видели уже их небольшие партии, и казаки больше не брали на посты греться ни капли хлебного вина. В общем, весна, как и обычно, на всех и вся действовала возбуждающе. Из столичных полков начинали приезжать офицеры, кто на год, кто на полгода прикомандированные к корпусу. Какова же была наша с Невревым радость, когда в сделавшейся вдруг чрезвычайно шумной и дымной гостинице Найтаки в один прекрасный день увидели мы не кого иного, как славного Ламба, с обыкновением старожила восседающего за огромным скобленным обеденным столом. Мы бросились к нему.

— Что за чудеса! — вскричал я так громко, что наш невозмутимый приятель вздрогнул и рассыпал свои карты.

— Ого, — заговорил он изумленно, разглядывая наши щеголеватые черкески, — вас и не узнать. Эй, Елагин, иди сюда скорее.

— Что, и он здесь? — обрадовался я.

— И он, и еще кое-кто, — сообщил Ламб и назвал несколько фамилий. — Пора и послужить, черт побери, хватит глаза заливать, не правда ли? — обнял он подошедшего Елагина.

— Ты посмотри только на этих чертей — каково!

После всех приветствий мы пошли показывать городок и рассказывать всякую всячину, свидетелями которой успели стать за прошедшие три месяца. Впрочем, от меня не ускользнуло, как холодно поздоровались Неврев и Елагин, так что говорил больше я, а мои спутники с интересом поглядывали по сторонам.

— На годик сюда, в Нижегородский драгунский, — пояснил Ламб, — и если будем живы, то обратно уже в новом чине. А может, и того больше. — Он рассмеялся.

— Да как сказать... — осмелился я поделиться собственными наблюдениями. — Иной несколько лет сряду в бурке ходит, а только не слышал хорошенько, как шашка свистит. Зато уж к представлению первый.

— А, что говорить, — махнул рукой Ламб, — все знакомо. Ну да бывал ли ты в Кара-Агаче, где полк наш стоит?

— Не доводилось, — скромно отвечал я. — Это нужно через Дарьял ехать. Говорят, виды там необыкновенные.

— Я здесь первый день, — задумчиво произнес Ламб, — а уже хочется обратно. Такие виды не по мне. — Он ткнул пальцем в молоденького солдата, очевидно недавнего рекрута, тащившегося по грязи в мешковатой шинели, так что неестественно длинные ее полы, которые забыл он подобрать большими и красными своими руками, волочились по лужам подобно шлейфу бального платья.

7

Вечером того же дня стены у Найтаки буквально стонали от шума, производимого собравшимися там офицерами, частью ожидавшими назначений, а больше заглянувшими постучать на бильярде или спустить черво-нец-другой.

Расположившись в уголку и опорожня не помню уже какую по счету бутылку мадеры, ящик которой наши путешественники благоразумно захватили из Петербурга, мы жадно внимали столичным новостям. Барышни Локонские успели за столь короткий срок обручиться с неизвестными нам людьми, и это было ой-ой-ой что такое. Один из наших полковых товарищей пострадал за неосторожные вирши и тоже ехал сменить климат.

— Очевидно, еще не добрался, — заметил Елагин.

— Мадера?! — раздался над нашими головами знакомый хриплый голос. — Это пахнет гвардейскими казармами.

— Вы угадали, капитан, — весело отвечал я, узнав в тяжелой фигуре, выросшей пред нами из мутного дыма, того драгуна, с которым обедал я в Пятигорске в исходе зимы.

— Вы позволите, господа? — спросил он и, не дожидаясь ответа, грузно сполз на свободный стул. — Духота-то какая, — пожаловался он, расстегивая ворот мундира. — Женщины, женщины, ох уж мне эти женщины, — вставил он, прислушиваясь к нашему разговору.

— Вам-то чем они не угодили? — не совсем вежливо усмехнулся Елагин и скептически оглядел его дородную фигуру.

— Куда им, — протянул тот, не уловив иронии. — Сколько, однако, они места полезного занимают, хоть бы и за нашим столом. С них все разговоры начинаются — ими и заканчиваются.

— Так уж мир устроен, — возразил я, — ничего тут не поделаешь.

— Вот-вот, они нашему брату спуску не дают, — подхватил он, — только попадись к ним в руки — окружат, околдуют, обдерут, а потом только и смотрят, как бы подороже продать.

— Было бы что, — отвернулся Ламб. Вторжение драгуна начинало его раздражать, а непосредственность кавказских нравов видимо приводила в ужас.

— Что — что? — не понял тот.

— Что продавать, я имею в виду, — пояснил Ламб.

— Найдется что, — решительно отвечал капитан. — Разве кривая какая — той, конечно, нечем торговать. А все одно жизнь испортит. — Он помолчал, раскуривая трубку.

— Вы, стало быть, полагаете, что женщины терзают нас? — заговорил Ламб, принимая из рук собеседника жаровню с углями. Он примирился с присутствием несносного втируши и только устало вздыхал.

— Да разве же не так? — восторженно воскликнул капитан, и клубы дыма, извиваясь причудливо и завораживающе, повисли над столом. — Можно ли верить женщине? Нет и нет. С уродом жить готовы, лишь бы тысяча душ да звезда на шее.

— Вы и матери своей не верите? — усмехнулся Ламб.

— Это-с другое. — Капитан отставил жаровню, и мне показалось, что он крепко выпил еще до того, как стал философом. Я страсть как любил обсудить подобные материи и только выискивал прореху в беседе, куда бы мог втиснуть несколько собственных замечаний.

— Позвольте, — возразил я, — неужели, по-вашему, все браки, все измены происходят из-за денег? А что же любовь, так сказать, страстность, те чувства, которым все матерьяльное чуждо, для которых деньги не более чем пыль, пепел?

— Э-э, — протянул драгун, — где ж вы видали такие-то чувства? Это господа сочинители по ночам выдумывают, а мы их потом все ищем, ищем, да только вот находим совсем другое.

— Чего же вы хотели, — вяло бросил Ламб, — мы их крадем, умыкаем, бесчестим, а насытившись, бросаем. Надо и за ними оставить какие-то права.

— Не знаю, — обиделся драгун. — Я лично никого не бесчещу.

— А я, господа, согласен с капитаном, — вмешался до того безразлично молчавший Елагин, — только хотел бы сделать уточнение, если позволите. — При этом он как-то странно посмотрел на Неврева. — Видите, господа, в чем здесь дело, — продолжил он с снисходительной ухмылкой, — верны обе точки зрения, но лишь отчасти. Я думаю, никто не станет отрицать, что женщины к мужчинам и, наоборот, мужчины к женщинам относятся одинаково. А то, о чем вы спорите, — это взято из разных сфер. Женщины продаются за деньги — мужчины ищут удовольствий. Таким образом, все дело в побуждении, в исходных причинах. И те и другие хороши в своих областях. Вы понимаете, что я хочу выразить? — Здесь Елагин снова посмотрел на Неврева пристально и нагло. Тот заметил взгляд и встретил его. — Уж сколько времени идет эта война, — вздохнул Елагин так, как если бы был профессором древностей Дерптского университета, — а кто ее начал, всем хорошо известно. Вот посмотрите, — продолжил он, — мы говорим — женщины обманывают мужчин. Каких мужчин? Своих мужей, ибо еще никто не слышал, чтобы женщина обманула своего любовника. Далее, мы утверждаем — мужчины бросают женщин. Каких женщин? Конечно же тех, с которыми не стояли под венцом. Довольно простая арифметика... Девушка читает романы, вот как вы изволили заметить, — учтиво отнесся Елагин к капитану, на лице которого отразилось довольное непонимание и некоторая растерянность, — читает она романы, заводит себе возлюбленного в соответствии с модой, шлет ему надушенные письма, роняет цветок из окна, томится, вздыхает, любит его — конечно, но ничего при этом не чувствует. Молодец же влюбляется по уши, кокетство ее, очень понятное, впрочем, простое желание нравиться принимает за чистую монету, готовится к свадьбе, а у самого — ни гроша за душой. — При этих словах Елагин опять устремил на Неврева насмешливый взгляд. — Но жизнь-то все расставит на места. Появляется строгий *рара*, знающий твердую цену и любви, и деньгам, и толстым эполетам, да и выдает ее за чиновного старичка. Что, не нравится за старичка? Ничего, *рара* знает, что наслаждение от новой шляпки часто превосходит все прочие, так сказать, наслаждения. Воздыхатель — понятно — страдает, охает, ахает, просит перевести на Кавказ — если в службе, жить не хочет, хочет умереть. Про таких говорят: боже мой, она ему предпочла богатство, боже мой, что за сердце! А говоря строго, в чем ее вина? Поводы давала? Но, господа, ежели дурак, так и запах духов почитать станет за признание. Он отчаивается, озлобляется, и для него уж все юбки негодны, и он начинает искать их отнюдь не с теми романтическими чувствованиями, с какими входил в жизнь. Она же мыкается с своим старичком, находит, наконец, что и безгрешный *рара* может ошибаться, что шляпки надоели до одури, затем влюбляется уже нешуточно в проезжего офицера или музыканта — и оказывается уже сама брошена. А стоит ли удивляться? Ведь этот музыкант, образно выражаясь, ей самой и воспитан. Офицерик потешится, поиграется — теперь его черед играть, — а там, глядишь, и след его простыл. — Елагин опустил голову. — Это, конечно, зарисовки. Кстати, Жорж, — обратился он к Ламбу, но в который раз поднимая лицо на Неврева, — совсем свежая история. Дочка того генерала, ну, того самого, из-за которого вышел весь сыр-бор... — кивнул он мне.

— Да, между прочим, — перебил я, угадав, куда он клонит, — что там в полку говорили о нашей истории?

— Дай договорить, в самом деле, — недовольно бросил он. — Так вот, с нее можно мои догадки живописать. Что она, что *rara* — вылитые. Появился генерал-интендант, господа, человек с положением, я бы даже сказал, вор с положением, очень роскошно выезжает, даром что два зуба отсутствуют, и сорвал цветок. Жаль, я не литератор.

— Зато уж музыкант какой, — зевнул Ламб.

Неврев подобрался, побледнел и застегнул крючок.

— Прошу вас замолчать, — тихо сказал он, не глядя на Елагина.

— Вот первое признание моего литературного дарования, — рассмеялся тот.

— Удержитесь, пока не поздно, — повторил Неврев.

— Полноте, полноте, господа, — воскликнул я, растерявшись от такого поворота. — Поговоримте о другом.

— Что, милостивый государь, вы обижаетесь? Еще, чего доброго, удовлетворения попросите? — не обращая на меня внимания, продолжал Елагин. — А права вы имеете на это?

— Ну ладно, брось говорить глупости, — миролюбиво улыбнулся сонный Ламб. — Ты пьян...

— Я не пьян, — в свою очередь прервал его Елагин, — и сейчас докажу этому господину, что не позволю в таком тоне ко мне относиться. Я привык говорить то и тогда, что считаю нужным и когда считаю. Вы понимаете мою мысль? — прошипел он Невреву. — Если вам это не по душе, то я вам дам удовлетворение. Здесь же. В трех шагах.

— Хватит балагана, — вскричал взбешенный Неврев, вскочив и опрокинув кое-какую посуду.

Шум привлек внимание многих соседей. Наступила тишина. Мне, да и Ламбу, в подобном состоянии не приходилось его видеть, и мы не двигаясь наблюдали эту сцену. На поясе у Неврева болтался кинжал с кубачинской чеканкой — так, кавказская безделка, но чтобы убить человека, требуются иногда просто крепкие руки. Неврев извлек светлый клинок и, прежде чем мы успели его остановить, уперся лезвием в подбородок Елагина. Мы оцепенели, ибо нервничать было уже поздно. Елагин сидел не шевелясь.

— Тварь, — проговорил наконец Неврев и отнял сталь.

— Так говорят женщинам, — облизнул сухие губы Елагин.

Вздых облегчения пронесся по зале, и казалось, будто вздохнули самые стены. Неврев сверкнул бешеными глазами, схватил со стола фуражку и вышел вон.

— Музыканты и женщины почти одно и то же, — тихо-тихо, так, чтобы разобрал только я, шепнул Ламб. — Они немые.

Сон его оставил. Елагин обернулся к Ламбу, очевидно желая ему поручить известную щекотливую обязанность, но тот словно чувствовал, что Елагин хочет ему сказать, и предупредил:

— Извини, я в этой глупости участвовать не намерен.

Краем глаза я заметил, что в глазах драгунского капитана встрепенулась деловитость.

— Не окажете ли вы мне эту услугу? — вежливо и ласково попросил Елагин.

— Почту за честь, — отвечал драгун, видимо польщенный таким предложением.

Что бы ответил я, обратись он ко мне с этой просьбой? Так или иначе, ко мне он почему-то не обратился.

— Неумно, брось свою затею, — уговаривал Елагина Ламб, но тот только недоумевающе смотрел на него из-под поднятых бровей.

— Ну, как знаешь, — не выдержал Ламб и встал из-за стола. — Какая гадость — стрелять в товарища, — бросил на прощанье он.

Я залпом прикончил свой стакан и тут же налил еще. Настроение было испорчено, радость встречи поругана.

— До завтра, — попрощался я с Елагиным, ибо не сомневался, что именно мне предстоит выступить на стороне Неврева. В то же время я ни на мгновение не допускал мысли, что примирение возможно, хотя сразу предпринял вместе с Ламбом настойчивые к тому попытки.

8

— Подлец, подлец, а-а, какой подлец, — приговаривал Неврев, шагая из угла в угол в своей комнате. — Что ему надо от меня? Ты ведь понял, на что он намекал? Ты ведь понял?

— Чего же там непонятного, — отвечал я, — он не намекал даже, а так прямо и сказал.

— Последний раз прошу: извинись, ради бога, — умолял Ламб.

— Это невозможно, не вмешивайся, — был ответ. — Барьер на шести шагах, — заметил мне Неврев.

Ламб зло огляделся и скоро оставил нас вдвоем. В полночь явился драгунский капитан. Мы вышли с ним ко мне в номер, и там он раскрыл коробки с пистолетами. Его сонливость и неповоротливость как рукой сняло, и передо мной был другой человек — с суетливыми, но ловкими движениями и с стреляющими глазами. Было заметно, что происходящее доставляет ему огромное удовольствие. Жизнь так и забила в нем булькающим фонтанчиком.

— Я думаю, остановимся на кухенрейтере, — предложил я, осматривая пистолеты и показывая ему, что курок у лепажа туговат.

— Хорошо, как угодно, — ответил он, принимая оружие.

— Пули сами будем лить?

— Непременно сами. Так вернее, — пояснил он.

— Что доктор?

Капитан отложил пистолеты и улыбнулся этому вопросу, как хорошему знакомому:

— Я был у двоих — боятся.

— Как же быть?

— Нужно дать достаточно, только и всего. Впрочем, мне сдается, что доктор нам не понадобится, — прибавил он.

— Есть надежда уладить полюбовно? — обрадовался было я.

— Как раз напротив, — возразил драгун, — мне показалось, что этого не будет. Они же говорили о вещах одним им понятных, не так ли?

— Да, — несколько обескураженно произнес я.

Он заметно поумнел.

— Вот видите. Здесь дело не в поводе, а в том, что повод нашелся. Что же, будем лекаря звать?

— Сколько же он просит?

— Триста, сволочь, — ответил он. — Наполовину?

Я вытащил деньги и отсчитал сто пятьдесят рублей.

— Ну, теперь небось не откажут, — удовлетворенно помял он в пальцах ассигнации. — Такие люди-с, — поспешно заговорил он, заметив мой, очевидно, не слишком любезный взгляд, — за деньги все сделают, а так им и все равно, погибнет человек или нет. Проклятье! — Он выронил одну бумажку. — Вот был у меня один случай. В Тамбове дело было. Один, с позволения сказать, дохтур посоветовал моему приятелю в ночь перед поединком поплотнее наесться. Ну что за глупость! Чему их учат там, помилуйте. Наесться перед дуэлью — вы слышали? Да на полный желудок, пади туда пуля, чего доброго, она же там и останется. Да-с. А ведь от кого только гонораров не получал.

— Значит, условия прежние? — прервал я его.

— Точно так-с, — весело ответил он.

Примерно через час мы завершили все приготовления.

— Так в шесть часов, — уточнил драгун, зевнул и исчез.

Я было прилег, но в дверь раздался осторожный стук. Вошел Неврев с двумя письмами. Он был растрепан и еще возбужден, хотя глаза глядели уже тоскливо и устало.

— Володя... — начал было я.

— Оставь, ты сам знаешь, что нет. Давно пора этому случиться. Но зачем на Кавказ ехать — в Петербурге времени было сколько угодно, — через силу улыбнулся он. — Я сюда положу.

В темноте я услышал, как в крышке бюро повернулся ключ.

— Меня разбудят, иди спи спокойно, не опоздаем, — с досадой произнес я.

Дверь за Невревым затворилась. Сколько ни старался, уснуть я не мог. Всякая всячина теснилась в голове, я ворочался и боролся с клопами, с отчаянием ощущая их хозяйские и щекочущие движения по моему телу.

9

Ослепительное, пронзительно прохладное утро взбудрило не хуже стакана крепкого чая. Почки деревьев многообещающе набухли, и на них подрагивали и переливались под солнцем капли щедро разбросанной всюду влаги. Небо густо голубело, и хотелось, чтобы так было всегда. Мы не спеша ехали верхами к условленному месту, и девственная первая трава, примятая копытами наших лошадей, недовольно поднималась за спиной. Неврев выглядел помятым и безразличным, и я не знаю, спал ли он вообще. Время от времени мы перебрасывались отрывистыми фразами.

— Эх, не хотел я этого, видит Бог, — молвил он. — Нелепость какая-то, глупость. Но у меня такое ощущение, что иначе и нельзя было. Будто не я сам, а что-то за меня. Точно говорят — от судьбы не уйдешь. — Он покачал головой, и его гнедой сделал то же самое. Неврев грустно улыбнулся: — Видишь, лошадка и та со мной согласна. Дуэль. — Он фыркнул. — Что за изощренность! Столичная мода дурацкая. Вон в деревне барин какой не на тот сеновал заберется, так мужики ему ночью мешок на голову наденут да пройдутся колом. И никаких дуэлей, а помогает лучше Сибири. Так и я взял бы его за шиворот и мордой об стенку — то-то было бы смеху. — Он прищурился и посмотрел на меня. — Мне ведь его убить нынче надо.

— Ну что ты говоришь, в самом деле, — ужаснулся я, — помирись еще сто раз. К тому же есть известные понятия о чести и...

— Да где же ты видел честь у таких людишек? — воскликнул он. — Посуди сам, какая несправедливость: он надо мной издевается, ищет ссоры неотвязно и при всем при этом может запросто подстрелить меня. Чья вина? Где же правда-то? А не стреляться нельзя.

— Ты, брат, сам себе противуречишь. — Я почесал нос. — Только что было можно.

— Ламбу вот можно, а мне не можно. Понимаешь ли? — Он снова сощурился. — Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. — Он тронул повисшие поводья, дал шпоры, и мы пустились быстрее.

Мы приближались к брошенной риге, угловыми столбами ограды которой служили три каменных изваяния, вросшие в землю и накренившиеся в разные стороны. Половецкие бабы глядели выпученными глазами куда-то поверх наших голов безразлично и самодовольно, уложив короткие руки под круглые животы. Неврев указал на них плеткой:

— Ах, посмеялись бы над нашими дуэлями эти люди, что поставили истуканов.

— Как сказать! — Я почувствовал себя на минуту студентом. — Ритуал — наследие древних эпох.

Наши противники оказались на месте раньше и поджидали нас, прохаживаясь вдоль обрушившейся и сгнившей ограды. Невдалеке стояли

дрожки, из которых высилась третья фигура, в статском. Это был доктор, добытый капитаном. Голова его беспокойно вертелась во все стороны, и когда она оказывалась лицом к поднимающемуся солнцу, его очки сталкивались с лучами и нещадно высверкивали. Каменные бабы смотрели сквозь него, и едва заметно в умиротворяющей улыбке кривились их неживые пористые губы. Они были спокойны, знали, что хотят увидеть в степном мареве, и не боялись властей и начальства, которых перевидали на своем веку видимо-невидимо. Доктор чувствовал это и оттого вертелся еще тревожнее.

— Знаешь, как отказался от дуэли один человек? — обратился я к Невреву, пока нас еще никто не мог слышать. — Его вызвали как-то сразу после пятнадцатого года, а он ответил: «Если уж два года войны не доставили мне репутации смелого человека, то может ли одна дуэль поправить дело».

— Недурно, — усмехнулся Неврев. — Кто сказал?

— Да Чаадаев.

— *Quod licet Jovi, non licet bovi*¹, еще раз повторяю. — Неврев почему-то оглянулся назад.

Мы подъехали к риге и соскочили с лошадей. Секундант Елагина при виде нас заметно оживился и повеселел. Все происходящее необычайно забавляло его. В его движениях проступила некая суетливость, а глаза сделались масляными и как будто обращенными вовнутрь его драгунского естества.

— Условия прежние, не так ли, господа? — спросил он, приближаясь ко мне.

— Вы сразу об условиях, нет чтобы попытаться еще раз...

— Препрежние, не беспокойтесь, — равнодушным тоном прервал меня Неврев.

— Что ж, отлично, — крикнул капитан и поспешил к Елагину, который стоял в отдалении вполоборота к нам, сложив руки на груди и устремив неподвижный взгляд в ослепительную белую даль, где небо дрожащим, неясным, неверным штрихом смыкалось с землей. О чем он думал? Я посмотрел на него с надеждой, но он не заметил моего порыва.

— Начнемте же, господа, в таком случае, — сказал драгун и принялся отмерять шаги. Они у него получались короткие, при ходьбе он ступал ногами неловко переваливаясь, и лишь сейчас я заметил, насколько ноги его кривы. Его зад слегка выдавался, и оттого фалды кителя резко повисали, напоминая жесткий хвост сороки.

Решимость отчаяния овладела мной. Я вытащил саблю и глубоко загнал ее в землю. Елагин подошел к ней и повесил на эфес фуражку. Их поставили. Капитан выжидающе замер с платком в опущенной руке. Доктор перестал вертеться, снял свои стекла и яростно тер их бархатной тряпичей, близоруко и коротко поглядывая из-под рыжих бровей. Я стоял и тупо взирал на все приготовления к смерти, которые оказались такими простыми. Ничего значительного не было в моей душе, и мне представлялось, что мы расстилаем на зеленой траве крахмальную скатерть для дружеской пирушки.

«Ожидание невыносимо, — мелькнуло в голове, — быстрее бы уж кончали».

Капитан в последний раз перевел глаза с Неврева на Елагина, словно в нем был больше уверен, и, наслаждаясь своей ролью, которая доставила ему возможность приятно оттянуть начало представления, взмахнул рукой. Противники начали сходитьсь.

Неврев держал пистолет дулом вниз и по сигналу драгуна быстро приблизился к барьеру, не отрывая взгляда от Елагина, шедшего немного боком и державшего пистолет наизготовку. Елагин выстрелил первым, и пуля, просвистав вершка на три от уха Неврева, погнула медную оковку

¹ Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).

эполета на левом плече. Неврев вздрогнул, сильно побледнел и, тут же оправившись, сделал свой выстрел. Несколько мгновений противник его стоял покачиваясь и вдруг опустился на одно колено, схватившись рукой за бок. Мы бросились к нему. Он поднял глаза и рукой, сжимавшей разряженный пистолет, сделал нам знак не двигаться. Драгун победно посмотрел на меня, я отвернулся. Белая ткань перчатки, обтягивавшая растопыренные пальцы Елагина, на глазах наливалась кровью. Он отбросил пистолет и стал шарить по траве в поисках второго.

— Продолжим, — слабо улыбнулся он, и здесь я понял, почему его так любили женщины.

Он попытался встать на обе ноги, и это ему удалось. Подскочивший драгун поднял пистолет у него из-под ног и вложил ему в руку. Неврев стоял прямо перед ним и смотрел в сторону. Какое-то время дуло дрожало, направленное в грудь Невреву. Я зажмурился, и сердце у меня съежилось до размеров сушеной груши. Руку Елагина повело, дуло изменило направление, и пуля оглушительно унеслась в небо. Ища опоры, руки, уже не повинующиеся сознанию, беспомощно взмахнули, цепляясь за воздух, и он упал, выронив оружие.

— Доктор, — крикнул я и услышал, как звякнули инструменты в его саквояже.

— Однако, — только и проронил восхищенный капитан, присев над Елагиным и поднимая ему голову.

Неврев не подходил. Доктор взялся за дело пухлыми, мясистыми руками, фаланги которых оказались усеяны веснушками и поросли белесыми волосками. Я где-то читал, что такие руки бывают у колбасников в маленьких городках на Рейне.

— Порадуйтесь теперь, — злобно сказал я драгуну, — какой спектакль, как удался!

— Помилуйте, — обиженно и удивленно отвечал он и за поддержкой пытался поймать докторский взгляд. — Это просто оскорбительно, как вы можете.

— Могу. — Я отошел и искал трубку, потом вспомнил, что отдал ее Невреву, услышал хрип Елагина и вернулся. Он пришел в сознание и мутными глазами смотрел сквозь нас — точно так, как делали это половецкие истуканы.

Лошади фыркали, переступали ногами. Позвякивала сбруя. Утро наполнялось звуками. «Кто их производит?» — подумал я и огляделся. Вокруг залегла степь — на много верст во все стороны. Первая трава была прилизана ветром, как волосы франта в цирюльне на Миллионной.

— Дело плохо, — сообщил доктор, отводя в сторону меня и капитана.

Мы уложили Елагина на шинель и подняли в дормез. Он снова впал в забытие.

— Поезжай шагом, — скомандовал драгун сам себе и взял на руки его голову.

— Все было согласно правил, не правда ли? — отнесся я к драгуну.

— Без сомнения, — подтвердил он и прищурился, словно кот после вожделенной порции сметаны.

Я сел в седло и обернулся. Кровь, оставшаяся на траве, казалась белой под солнцем. Неврев стоял рядом с тем местом и носком ботфорта ковырял рыхлую черную землю. Наконец и он взялся за повод. Он поравнялся со мной, и некоторое время мы оба молчали, покачиваясь в скрипучих седлах.

— Ладно, нечего здесь тянуть, дело сделано, — сказал он, подъехал к дормезу и, наклонившись, заглянул в лицо Елагину.

Через минуту Неврев уже умещался на ладони. Драгун посмотрел ему вслед и заметил:

— Недурна лошадка, разве что зад тяжеловат.

Я ничего не отвечал и поехал назад, разглядывая следы невревского Мерлина, оставленные на сырой земле.

10

У Найтаки меня ожидал Ламб. Он курил сигары и отчаянно зевал.

— Поехал в штаб, — сообщил он про Неврева. — Идиоты.

Кого он назвал этим словом, я не вполне уяснил. Немного погодя мы тоже отправились в здание, похожее на склад. Зверев был на своем месте. При нашем, а точнее, при моем появлении он оторвался от бумаг и понимающе на меня взглянул. Как же, как же, дело чести — говорили его несколько испуганные глаза. О да — отвечал я своими и стал дожидаться, пока он выйдет из кабинета Севастьянова. Ламб ногой придвинул к себе крашенный стул и уселся. Ждали мы совсем недолго.

— Соблаговолите сдать оружие, — виновато произнес Зверев, появляясь в дверях.

Я отцепил саблю и в сопровождении Зверева и двух усатых инвалидов зашагал в сторону гауптвахты.

Это была огромная изба, обмазанная глиной, из-под которой кое-где торчала дранка, с пристроенной каланчой и с немилосердно вытоптаным бугристым двориком, забранным глухой оградой. Несколько бревен у входа образовывали нечто вроде арки. Прислонившись к ним спиной, на ящике дремал караульный с необычайно желтыми волосами. Два кота брезгливо шурились на мир с высоты верхней поперечины. Из соседнего двора осторожно выходили гуси. Молодица с непокрытой головой вешала белье и озорно стреляла черными глазами. День начинался. Я смотрел, как неистово перекатываются груди у ней под распушенной рубахой, и думал: «Черт побери, что за нужда была ехать на Кавказ, чтобы стреляться? Воздух, что ли, здесь другой?» Ответа я не находил, но мне казалось присутствие чего-то могучего и неизбежного, до чего было не дотянуться, как до луны, и что — по величию своей природы — было очень вправе не слышать мои вопросы.

Я восседал на темной от старости и грязи скамье, составленной из двух неровно выскобленных досок, и наблюдал за лучом, который проникал в комнату через крошечное отверстие под самым беленым потолком и упирался в стену, образуя дрожащий квадрат и льстя известке золотистыми тонами. Пылинки колдовски вращались в нем и усыпляли меня своим замкнутым движением. Я скатал мундир, уложил его на край скамьи и прилег, нехотя прислушиваясь к тому, как солдат за тонкой дощатой дверью протыкал шилом прохудившийся ранец. Звуки эти иногда прекращались, и тогда солдат тихо говорил: «Чтоб тебя».

Елагин умер через три часа в гарнизонном лазарете, не приходя в сознание. Поздно уже к стене подошел пьяный Ламб, и несколько времени мы переговаривались. Неврев сидел в соседней половине. В Тифлис был отправлен офицер доложить о случившемся. Второй секундонт также был арестован и ожидал своей участи.

Следующий день выдался пасмурным, хмурым. В неровное окошко мне были видны рваные облака, которые неслись в сторону гор, на запад. Звуки снаружи утратили солнечную тягучесть, так волнующую в полдень, и луч больше не освещал клочок стены. Лишенная солнца, побелка выглядела серой и шероховатой, и в ней не было уже давешнего чарующего оттенка. Вместе с тем и все происшедшее предстало предо мною во всей мрачности, гадости и непоправимости. Никаких ореолов не осталось и помину, венки из лавра разлетелись по ветру, а пальмовые ветви вернулись на родину — к берегам теплых морей. Я все размышлял о поединке. «Какая несправедливость!» — не раз хотелось зарычать мне. Но кто бы внял этим восклицаниям? Впрочем, это чувство очень сложно описать.

11

Я провел в заточении чуть больше месяца. Нам с драгунским капитаном никакого наказания по суду отнюдь не вышло, зато Невреву не посчастливилось. Он был предан церковному покаянию, а в приказе

командующего Кавказским корпусом значилось: «...без права выслуги». «Бедняк, бедняк», — сокрушенно качал я головой, узнав от Ламба эту зловещую новость. «Он не хотел, — повторял я, — его вынудили», — но это были слова, неслышные даже мне самому. Есть ли вообще что-нибудь, что было бы в нашей власти безраздельно? — задавался я вопросом, жуя кашу и черствый сухарь. Ламб уехал к полку, и единственным моим собеседником остался караульный солдат. Заодно он был и сотрапезником, ибо я посылал его в лавку за снедью и половину из приносимого отдавал ему, он истово благодарил, и мы ели, разделенные не только шаткой дверью, но и всей той пропастью, которая пролегает между сословиями у нас. Это был добродушный парень из Рязанской губернии, с веснушчатым лицом и простодушным взглядом, и от скуки мы вели с ним неторопливые разговоры. Он рассказывал о своей деревеньке, о том, что братья его уходят в извоз и полгода не бывают дома, о том, что староста невзлюбил его отца и поэтому в обход очереди отдал его в солдаты. «Так и забрали меня-то», — вздыхал он, и я вместе с ним вспоминал детство, давно забытые его картинки: скошенные луга в подмосковной, сонная речка, полная кувшинок и полукругом охватывающая холм, на котором, немного завалясь, легко и прочно высился наш дом, с бельведером и колоннадой, где летом всегда стоял огромный обеденный стол, излучая пряную свежесть утреннего кофея. И, как это часто случается в несчастье, я видел это мучительно правдоподобно, как будто и впрямь очутился дома, и мне хотелось уже сбросить мундир, уехать в деревню и сидеть на террасе, наблюдая, какие узоры выбивает июльская гроза на песчаной дорожке... Из дому известий не было, я томился неопределенностью, и мне больше не хотелось погонь и переправ. Я снова попал в историю и гадал, что-то скажет на это дядя. «Ну ее к лешему, эту службу», — но теперь уж не мог не служить. Так шел день за днем, и наконец я был выпущен в лето.

Город еще изменился. На просохших улицах топтались гадалыщицы в пестрых халатах и с лицами не менее пестрыми от различных видов грязи, сновали в облаках пыли плосколицые калмыки, ногайцы в диковинных даже для Прикубанья косматых папахах; уличный эфир наполнился гортанным выговором горцев, сошедших торговать, попадались крашенные бороды персидских купцов, однажды я столкнулся с грузином, за которым на поводу важно выступал верблюды, хитровато и весело поглядывавший на людей. Короче говоря, город сделался вдруг почти целиком азиатским, и я смотрел на эту невидаль во все глаза. Солнце разошлось и немилосердно высушивало все мысли, чувства и желания, кроме одного, которое проступало на почерневшем лбу солеными каплями пота.

Первым делом я навестил Посконию.

— Куда Неврева дели? — был первый мой вопрос.

— Он теперь на правом фланге, в Прочном Окопе, в линейном батальоне, — сообщил он. — Да-с, ну уж вы и наделали шуму.

Правым флангом командовал генерал Засс, немец на русской службе. Поговаривали о некоторых его странностях, в частности о той, что у себя в кабинете, в сундуке, хранил он головы закубанцев — черкесов и прочих. Рядом с своей квартирой велел он врыть колья и тешился тем, что устрашал азиатцев, выставляя свои экспонаты на всеобщее обозрение, чем снискал себе всеобщую ненависть и отвращение. Я прибыл под его начало и был прикомандирован к отряду генерала Галафеева. Здесь должна была начаться для меня настоящая служба, полная трудов и тревог, и я надеялся на производство.

12

Я проверил пистолеты и пересел из кибитки в седло. Грезы юности как будто начинали сбываться. Мы вместе с десятком казаков ехали мимо постов. Стояла ясная звездная ночь, и трепещущие постовые огни были хорошо нам видны. Я разговорился с казачьим сотником, везшим из Став-

рополя почту. К моему удивлению, сотник оказался премилым собеседником и таким же казаком, как я кабардинцем. Он поведал мне немало интересного, но всего интереснее было то, что узнал я о нем самом. Сотник к своим тридцати трем трижды бывал разжалован и возрождался, как птица Феникс, тоже трижды, на этот раз в казачьем обличье. Не упомню, в чем была причина его первой неудачи, во второй же раз он избил на пятигорском бульваре какого-то статского советника, ну а в третий, играя в карты, ударил кинжалом плутовавшего партнера. Тот, к счастью и самого сотника, остался жив. «Скорость — мечта правосудия», — подумал я, припоминая черкесский убор сотника и его веселые добрые глаза.

Мы добрались без приключений, хотя под утро услышали несколько выстрелов где-то уже позади себя. Я тут же отправился представиться генералу Зассу и был принят очень быстро. Генерал завтракал и просил меня присоединиться. Не без робости взирал я на этого легендарного человека, не забывая ни на минуту, что слава бывает как добрая, так и дурная. Внешность его произвела на меня неприятное впечатление: скошенный лоб, неровные залысины и беспокойные глаза. За столом, кроме него, сидели еще несколько человек офицеров. Прислуживал молодой татарин в красной канаусовой рубашке. Засс неудачно шутил, но все с готовностью встречали его убогие остроты. Я с нетерпением ожидал своего назначения, но разговор никак не выходил на службу. Наконец, когда завтрак подходил к концу и подали инжир, генерал весьма развязно обратился ко мне:

— Вечерком мы собираемся пообедать у меня, ты тоже приходи, там поговорим.

Подобное хамство показалось мне нестерпимым и заслуживающим возмездия. Хотя я и не носил дядиной фамилии, в которой как будто каждая согласная звенела вместе со славой древнего рода, но хорошо знал ее на память. История сотника тоже придала мне смелости, и я ответил:

— К тебе — когда угодно.

За столом воцарилась мертвенная тишина. Засс налился кровью мгновенно, как комар, присосавшийся к телу. Краснел он с отвисшего загривка, а уже оттуда краска во всей своей многозначительности устремлялась неровными кляксами на лоснившиеся щеки. Думаю, что такой ответ очень бы полюбился дяде. Один из офицеров от изумления уронил вилку, и она отвратительно зазвенела, подпрыгнув на полу несколько раз.

— Что ж, господа, до вечера, — промолвил наконец Засс, вытирая салфеткой рот и поднимаясь с своего места. Все последовали его примеру. Я тоже не задержался и вышел на улицу, направившись искать ночлега.

Мне встретился мой попутчик сотник, и я в двух словах передал ему утреннее происшествие. Он сначала ужасно хохотал, а потом задумался.

— Вам ведь выслужиться надобно, не так ли? Теперь это будет непросто. Он не станет вас в экспедиции определять, а это скверно, честное слово. — Он опять рассмеялся и ушел, дружески хлопнув меня по плечу.

Как он говорил, так оно и вышло. Меня потребовали в штаб, где адъютант со змеиной улыбкой сообщил мне, что я «до поры», пока не прибудет из Петербурга через Тифлис мое назначение, буду прикомандирован к роте Тенгинского пехотного полка, которая расквартирована в крепости Белой, неподалеку от станицы того же названия. Мне предлагалось не мешкая выехать к месту.

13

Крепостица оказалась действительно не столичным местечком. Через четыре с лишним часа езды на правом берегу Кубани увидел я тростниковые крыши построек, стиснутых земляной насыпью с частоколом. За оградой лениво гребли куры, два казака стояли в воротах, за которыми выглядывала ржавая пушка, а еще один неотрывно смотрел на другой берег реки с невысокой вышки, расположившейся тут же. Станицы не было видно — она лежала верстах в двух в низине и отстояла от воды.

Я передал свои бумаги коменданту, смертельно усталому майору Иванову-девятому, который едва взглянул на них и бросил на стол. Он смотрел раздраженно и выступал как будто крайне неохотно.

— Вы водку кушаете? — поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, поставил передо мной мутный стакан с чрезвычайно толстыми стенками.

Такое начало пришлось мне по душе, тем более что я чувствовал, что надолго застряну здесь в его обществе. Не разумнее ли было сразу начать с того, к чему все равно придешь непременно? Мы выпили мерзкого напитка и закусили соленым чесноком. Майора Иванова звали Петром Африкановичем, он считал пятьдесят с небольшим лет, из которых шесть провел в Белой. Говорил он мало, но одиночества, по-видимому, не любил.

— Спокойно ли у вас? — осведомился я.

— Неделю назад не дали переправиться.

— И большая была партия?

— Сабель сто — сто пятьдесят. — Он досадливо махнул рукой, давая понять, что не это главное.

Я поморщился, но все же выпил второй раз. Мы помолчали друг напротив друга еще некоторое время, а затем урядник проводил меня на мою новую квартиру. Она состояла из комнатенки в мазанке. Два кривых маленьких окошка служили для ее освещения и выходили на пыльную улицу. Но то ли окошки низко располагались, то ли плетень был таким высоким, так что виден мне был он один, и, бывало, скучая на кровати, я совершенно изучил все хитросплетения гибких его хворостин.

А скука, и правду сказать, была смертельная. Я обретался в ужасной тоске и когда был свободен от дежурства, или молчал в обществе майора Иванова, или бродил как тень между строений вместе со всякой живностью. Выезжать за ворота в одиночку было опасно, и меня не раз предупреждали об этом. Иногда я забирался на караульную вышку и заодно с казаком глядел за Кубань, где лиловела в величественных закатах неровная кайма гор, откуда приходили на наш берег тучи и бритоголовые джигиты. При свете дня ни одна червоточина не нарушала ровную зелень закубанских лугов, но это была война, не прекращавшаяся ни на минуту, и по ночам на линии то тут, то там звучали выстрелы. Кучи хвороста, лежавшие у казачьих постов, поджигались при первом появлении неприятеля, и этот древний сигнал давал возможность казакам собираться в большом числе и, переправляясь через реку, отрезать разбойникам путь, а крестьянам — прятать скот по балкам. Я жил ожиданием дела, но больше томился. Редко когда выпадал случай проехать до Прочного Окопа, и тогда я присоединялся к уряднику, возившему в Ставрополь почту. Я стремился увидеть Неврева, но как-то и желал и боялся этой встречи, поэтому, когда дважды во время моих наездов его рота бывала в деле, я неизменно чувствовал подозрительное облегчение.

Однажды, когда, помахивая плеткой, я въехал в Прочный Окоп, мое внимание привлек невысокий солдат, достававший воду из колодца. Он стоял ко мне спиной и, закинув голову, жадно пил из ведра, вода плескалась и заливала ему сапоги. Что-то очень знакомое показалось мне в его фигуре, и точно — он повернулся, и я узнал Неврева. Боже мой, что делает с человеком солдатская шинель! Он узнал меня, однако не подал и виду. А впрочем, взгляд его печальных глаз был настолько погружен в себя, что он запросто мог не разглядеть меня и с двух сажений. Те два месяца, что мы не видались, доставили его облику примечательные изменения: лицо, шея и руки почернели и погрубели, весь он как-то осел и превратился в совершенного мужика. Он было собирался уйти, но я лошадью перегородил ему дорогу.

— Володя, здравствуй, — сказал я и спрыгнул на землю.

Вместо приветствия он криво улыбнулся и сконфуженно потрогал растрепаннные волосы. Я не знал, что сказать дальше, и мычал что-то невня-

ное. Он переминался, и тяжелый запах сапог достигал моего носа. Вид чужого несчастья — как часто портит он нам настроение! Мы бежим его, желая наблюдать обратное. Вот и я уже пожалел за эти недолгие мгновенья, что решился увидеть его без всякой полезной мысли, без слова утешения. Мне не приходило в голову, что, верно, одно мое появление — уже утешение, и я боялся, что наша встреча только усугубит его страдания, напомнив лучшие дни. Однако истина всегда о двух концах, не правда ли?

— Что я могу сделать для тебя? — спросил я и ответил про себя: да ничего.

— Дай табаку, — попросил он и извлек мою вишневую трубку.

Я передал ему кисет, и он принялся машинально набивать трубку. Он давно уже не помнил, что это за вещица и как она попала к нему. Я счел бессовестным даже внимание на это обратить.

— Не нужно ли тебе денег? — продолжил я и с готовностью расстегнул на груди медную пуговицу. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что кое-что я все-таки могу. Каким, наверное, великодушием дышали в ту секунду мои черты, но увы! — любовался я этим достойнейшим из чувств один. Подавленность Неврева подбросила ему и безразличия.

— Зачем они мне? — пробормотал он. — Теперь...

— Ну, ну, — грубовато возразил я, — рано на себе еще крест ставить...

— Это уж точно, — зло промолвил он. — Скоро полумесяц поставят.

— Государь милостив, небось выйдет прощение, надобно лишь отличиться, — продолжил я, чтоб только не молчать.

У казармы труба пропела сбор. Послышались вялые команды, приглушенные полуденным зноем.

— Ладно, надо идти, — сказал он и выбил трубку каким-то новым, незнакомым мне движением. Он взглянул на меня глазами Абадонны, ловко подхватил свое ружье и бегом бросился на построение.

«Эге, — подумал я, — здесь еще не все потеряно».

Я проводил его взглядом и, не дожидаясь урядника с казаками, выехал за станицу.

Было жарко, горячий воздух дрожал, я распустил поводья и снял фуражку. Лошадь, разморенная солнцем, брела не спеша, и так же неповоротливо, в такт ее прерывистому шагу, в моей взмокшей голове сменяли одна другую невеселые мысли. Между ними оказалась и та несменяемая, что и я виноват в том, что случилось. Она то вспыхивала, то потухала, как последнее пламя утреннего костра, доставляя мне ноющую боль. Тогда я морщился, и в ушах возникали слова драгунского капитана: «Помилуйте, как это было возможно их помирить. Нет-с, нет-с, это просто безнадежно». Слова эти служили мне чем-то вроде ольхового прутика, которым небрежно отгоняют назойливых мух. Другое дело, что прутик этот так мне полюбился, что стал неразлучным моим спутником. «От судьбы не уйдешь», — вторил капитану голос самого Неврева. «А если... — пришла мне вдруг такая мысль, — если судьба уйдет от тебя, что тогда?» Тогда не будет у тебя вообще никакой судьбы.

Я приехал в крепость с этой вздорной мыслью и с твердым намерением написать дяде отчаянное письмо. Дядя не откажет мне, он будет ходатайствовать за моего друга, дядя поймет меня — он-то знает цену дружеству. Не успел я поставить лошадь, как майор Иванов набросился на меня:

— Вы сумасшедший, как же вы это один ездите? Что, неужели такая охота поглядеть, что творится за Кубанью?

— Да, да, — пробовал отшутиться я, — как там все устроено.

— Да я не шучу, молодой человек, — вскричал рассерженный Иванов. — Ну что за безрассудство! Упаси вас боже в одиночку ездить, пусть на сто шагов. Я когда служил на левом фланге в Старом Юрте, лет семь тому назад, тоже вот так-то вот выехали с приятелем верхами. Куда там! Никакой оказии не захотели ждать. Так вы спросите, где ж мой приятель?

— Где же? — спросил я простодушно.

— Где-где, нет его больше с нами, — проворчал майор. — С полверсты всего-то и отъехали, тут и выстрелы... ему пуля в бок попала, помучался часа два и умер в палатке. Так-то, — прибавил он уже помягче. — А что касается вашего интереса, то пойдите выпитесь — сейчас получены указания, от нас завтра рота выступает.

В самом деле, была заметна в крепости большая деятельность, но только мало было слышно об имеющихся в виду военных действиях. Майор Иванов ничего больше мне не сказал, а прочие оказались не в состоянии объяснить что-либо толком.

Я давно мечтал попробовать себя в настоящем деле, и всеобщее возбуждение, царившее среди крепостного населения, передалось мне очень скоро. Я опрометью бросился в свою мазанку, отписал дяде, проверил, легко ли выходит сабля из ножен, причем сделал это раз десять сряду, по сидел на кровати, а потом завернулся в бурку, которую успел уже купить в воскресный день на базаре в Прочном Окопе у немого шапсуга, и заснул молодецким сном.

14

Глубокой уже ночью меня разбудил казак. Ночь стояла ясная, в мои окошки загадочно мерцали близкие звезды. Я поспешно экипировался, вывел лошадь и подскакал к домишку, что занимал мой майор. Он стоял на крыльце и раскуривал трубку в окружении гарцевавших всадников. Казачьи сотники досадливо натягивали поводья, кони волновались и косили глазом на низкую луну. Барабан лупил тревогу, солдаты бежали к месту сбора, держа в руках бурдюки для переправы.

— Вы остаетесь за меня, — приказал мне Иванов, — с караульным взводом.

Я был сильно разочарован таким поворотом, но делать было нечего. С противоположного берега Кубани доносилась частая ружейная пальба. Иванову подвели коня, и он не спеша выехал из крепости. За ее воротами сонная земля дрожала под ударами копыт множества лошадей. Я остался один и огляделся: по переулку несколько солдат тащили пушки, у одной из них подломилась ось, и в темноте раздавался чей-то надрывный матерный крик. Темные фигуры метались с факелами по вытоптанной земле, усеянной соломой. Я подозвал фельдфебеля, а сам забрался на вышку к казаку. Он молча посторонился, едва взглянув на меня. Перед собой увидел я блестящую под луной ленту Кубани, а далеко впереди налево мелькали вспышки выстрелов и занималась узкая полоса пожара.

— Что здесь? — спросил я наконец караульного.

Он снова коротко посмотрел на меня, помолчал и ответил:

— Известно что — Джембулатку ловят.

— Какого Джембулатку?

— Да князька кабардинского.

Я рассмотрел в конце концов своего собеседника. Это был пожилой уже казак, заросший окладистой черной бородой, расчесанной и уложенной не без изящества. Одну его щеку вниз к подбородку пересекал ужасный рубец, видимо, след от удара шашкой. Веко было стянуто этим шрамом, и оттого левый глаз его выступал больше правого и, собирая лунный свет, зловеще блистал.

— Прознали, что Джембулат переправляться надумал, — заговорил вдруг он, не отрывая глаз от Кубани, — только места не знали. Ну, да теперь узнали. — Он показал рукой вверх по течению, где верстах в трех от нас дымила на холме сигнальная бочка.

— Весь фланг всполошил, стервец, — усмехнувшись, заключил он.

Мы простояли с ним на площадке около трех часов, а потом его сменил другой казак. Я тоже спустился. Светало. Выстрелы звучали теперь

поодиночке откуда-то издалека. Мимо крепостного вала в станицу на рысях прошла полусотня. Иванов появился уже тогда, когда солнце вовсю сушило землю. Он казался доволен и весел.

— Славное дело, — приговаривал он, шагая по горнице и не находя себе места от неулегшегося возбуждения. Он налил себе мутной водки из пыльного штофа, чей пост располагался в не менее пыльном шкапу, и принялся пояснять мне подробности ушедшей ночи.

Джембулат Айтеков, один из шапсугских князей, известный своими набегами на линию, с большим числом своих людей прибыл в абадзехские селения и стал собирать абреков для переправы на нашу сторону. Многие наездники и из мирных аулов, находившихся у самых предгорий, примкнули к нему, позабыв клятвы и обещания. Не сосчитать в горах кунаков Джембулата, но ведь даже у Господа Бога, как это хорошо известно, есть свои недоброжелатели. Один из уорков, то ли из желания отомстить за обещенную сестру, то ли по другой какой причине, как-то ночью ушел на нашу сторону, переплыл Кубань, одной рукой держась за гриву своего скакуна, а другой поддерживая сестру свою, которую выкрал из-под самого носа обидчика. Он вышел на берег у Французской могилы и упредил генерала Засса о скором налете хищников, указав и самое место переправы. Поначалу ему не желали верить; Джембулат, однако, был у всех на слуху и давно уж не давал покоя своим буйством, то здесь, то там угоняя в горы скот и работающих в поле крестьян. По этой причине к словам перебежчика вынуждены были прислушаться, а после того, как пластуны побывали за Кубанью и привезли с собой черкеса, по крепостям и станицам объявлена была тревога. Наши решились не допустить налета, и с этой целью был составлен отряд пехоты и казаков при шести пушках, скрытно перешедший реку. На эту-то засаду и наткнулся Джембулат сегодняшней ночью.

— Самого-то захватили? — спросил я.

— Куда там, — Иванов махнул рукой, — опять ушел. — Он прожевал огурец и пояснил: — Раненько из пушек ударили. Сам-то назад ехал, так и успел удрать.

Картель произвела среди черкесов паническое действие. Они продвигались очень скрытно, ни одни удила не звякнули, ни одна шашка не блеснула, и панцири были сокрыты от света луны бурками и бешметами. Их разведчики прошли через самые наши посты, и внезапно в темноте раздался рев орудий, пославших заряды прямо в гущу неприятеля. Несколько удалцов бросились на вспышки, ударили в шашки, надеясь изрубить прислугу, но были отбиты. Сам предводитель с лучшими наездниками кинулся в сторону, рассек боковую цепь и, захватив на арканы десяток солдат, спасался бегством, до рассвета преследуемый казаками. Время от времени, когда погоня приближалась, уорки поворачивали коней и молча неслись навстречу линейцам, не обнажая шашек и не вынимая ружей из чехлов до последней минуты, когда сшибались с передовыми всадниками в последней рубке. Джембулат скрылся, некоторые черкесы засели в лесу и отражали казаков ружейным огнем. Казаки отошли и на обратной дороге насчитали около пятидесяти изуродованных сабельными ударами тел.

— Много ли мы потеряли? — спросил я.

— Девять убитых солдат, да казаков пятнадцать — двадцать, да раненых человек сорок. Точно пока не знаю. Вот солдатиков злодей похватал, — добавил он.

— Наши солдаты?

— Да нет, из Прочного Окопа, третьего линейного, — ответил Иванов мрачно.

Усталость взяла в нем наконец верх, и он отчаянно зевал. Кликнув денщика, он распрощался со мной. Я тоже отправился спать...

15

Пробудился я внезапно, от страшной мысли, которая застучала в голове вместе с кровью в висках. Я вышел в сени, где на лавке помещалась кадка с водой, окунул туда голову, наскоро вытер волосы, оделся, взнуздal лошадь и выехал за ворота под недоуменные междометия часового. Ворота закрылись за мной с жалобным скрипом, пророча беду. Недолго ехал я шагом и перевел дух только тогда, когда взмыленная лошадь буквально ворвалась в Прочный Окоп. Солнце заходило. Нарядные казачки выплывали из дворов. На завалинках у плетней сидели старики, провожая меня долгими взглядами. Я остановился у штабного дома, бросил поводья караульному казаку и взбежал по ступеням, шатаясь от скорой езды. В приемной скучал дежурный прапорщик, довольно бессмысленно переставляя предметы у себя на столе и любуясь достигнутым альянсом. Он удивленно уставился на меня, но от своего занятия не отвлекся. Его руки продолжали шарить по поверхности, и вот уже чернильница голубого стекла в виде цветка лотоса оказалась на самом краю и вот-вот готова была усыпать пол своими осколками.

— Что случилось, сударь? — недоуменно спросил адъютант.

— Есть ли у вас списки плененных нижних чинов? — ответил я вопросом на вопрос.

— Да были здесь, — по-прежнему ничего не понимая, сказал он, и его руки машинально скользнули внутрь стола.

Я в нетерпении выхватил у него бумагу и пробежал глазами списки. Фамилии и звания шли по алфавиту, и имя Неврева стояло четвертым по счету. Я читал еще и еще, вникая в смысл того, что произошло.

— Точно ли здесь указано? — спросил я прапорщика, возвращая ему лист. Он взглянул на него, потом на меня, потом снова в список.

— Что вам, собственно, нужно знать?

— Неврев, из разжалованных... — начал я. Мне было страшно произносить эти слова.

— Неврев? Из разжалованных? Да, — подтвердил прапорщик, — и он. Списки уже отправлены в Ставрополь. — Он помолчал. — Вы, кажется, вместе с ним в гвардии служили?

Я кивнул.

— Жаль, искренне ему сочувствую. Но на войне как на войне. А впрочем, у нас есть тела после вчерашнего дела, их будут менять, так что, может быть... — Он не договорил и сделал рукою воздушный жест.

Я поблагодарил его и побрел на улицу. Первой мыслью моей было прорваться к Зассу и внушить ему сострадание. Но он выполнял свой долг, и обязанности службы заменяли ему это чувство. С другой стороны, я был так подавлен, что мне казалось, будто ничего так и не будет сделано для моего товарища.

16

Усилия, однако, прилагали, но результатов они не принесли. На следующий же день несколько офицеров ездили на ту сторону к одному мирному князю; тот потчевал, прикладывал к сердцу обе руки, буза лилась рекой, подносили водку и чихирь, но ничего путного о судьбе пленных сказать он не мог, а может быть, и не хотел. Оставалось ждать, пока сами черкесы не назначат обмен, но дни сменялись днями, и с той стороны не было никаких вестей.

Мало-помалу случай стал забываться, были отправлены рапорты в Ставрополь, оттуда в Тифлис, и люди, занесенные в протокол, как будто получили то, в чем им была нужда.

Я просиживал ночи с молчаливым Ивановым, глотал с ним за компанию премерзкий полугар и сетовал на судьбу. Однажды сам Иванов поступался в мою мазанку.

— Можно кое-что сделать, — с порога сообщил он.

— А что же такое? — Я приподнялся с кровати и пригладил волосы.

Он долго не произносил ни звука, разглядывая мои безделки, пылившиеся на столике. Я следил за ним с напряженным ожиданием.

— Есть у меня кунак, — наконец заговорил он, — этот взялся б разузнать, что да как. Птица он вольная — сегодня здесь, завтра, глядишь, и след простыл. С год не бывал в наших местах. Сейчас видел его — конь новый, бешмет новый, где взял — бог его знает. Да только здесь его за руку не ловили. Верно, за Терек похаживает. Ну да ладно. Я скажу — он сделает. — Иванов опять замолчал. — Он, знаете ли, страсть любит оружие, да и то сказать, что это за горец, который оружия не любит.

Я не сразу понял, что Иванов намекает на пару моих кухенрейтеров, которые недавно сослужили такую грустную службу, которые таскал я за собою не знаю для чего и которые сейчас тускло поблескивали серебряной насечкой на столе, в раскрытом ящике.

— Помилуйте, — сообразил я, — но ведь это игрушка.

— Ничего, что игрушка, — усмехнулся мой начальник. — Он и есть дитя дитем. Горцы, видите, детьми рождаются — ими и помирают.

— Что ж, — я закрыл ящик, сдул пыль с крышки и передал Иванову, — лишь бы разузнал. А то, может, и того...

— Э, не извольте беспокоиться, — подмигнул он мне, — неделю пролежит в камнях, а утащит.

Был уже поздний вечер. Иванов отправился вывести из крепости своего знакомого, а я в чрезвычайном возбуждении мерял шагами свою комнату. Казалось, задумка обещала успех. Я вышел на улицу вслед за Ивановым и подошел к воротам. С противоположной стороны увидал я майора и рядом с ним статного черкеса, за которым на поводу шагала седланый конь. Незнакомец выглядел лет на сорок. Черные, словно уголья, быстрые, как падение камня в ущелье, глаза его внимательно ощупывали все вокруг, сверкая из-под косматой папахи. Он мягко ступал в своих чебеках, положив правую руку на пояс, за которым торчали уже мои пистолеты. Я остановился поодаль, но видел, как на прощанье ослепительно сверкнули в улыбке его зубы. Он молнией взлетел в седло, конь бешено завертелся на пяточке у ворот, едва удерживаемый сильной рукой. Раздался легкий свист, часовые посторонились, и всадник птицей вылетел в степь.

— К Францужоной могиле поскакал, — заметил Иванов, глядя в темноту, где еще смутно белел конский круп.

— Это что ж, место такое? — спросил я.

— Да, место, — отвечал Иванов, — брод там.

— А отчего зовется так?

Иванов, по своему обыкновению, долго ничего не отвечал.

— Да уж так, — заметил он. — Француз там похоронен. Отсюда и название.

— Француз? — удивился я. — Да что же он здесь делал?

Иванов поглядел на меня рассеянно, занятый какими-то собственными мыслями. Мы постояли еще несколько времени и вернулись в крепость.

— Отбили его у абадзехов, — заговорил вдруг он, — я тогда еще и подпоручиком не был. Давно это было, сколько уже лет тому? — припомнил он. — В осьмнадцатом году приключилось.

— Как же это случилось? — осторожно спросил я, опасаясь, что Иванов опять уйдет в себя.

— Да как, сударь мой? — пустился Иванов вопреки ожиданиям. — Пошли раз за Кубань, казачий полк Маркова, ну и от нашего две роты. Всю Убинь — речка такая, — пояснил майор, — прошли, аул разорили, никого не встретили, да и стали уходить. А шли из гор другой дорогой — тут и шапсуги появились. То там, то сям на холмах маячат, а не приближаются. Вдруг в авангарде стрельба, шум. Смотрим — тропа в завалах, зна-

чительное число их засело там в этих завалах. Подвезли пушку, дали раз, другой, разметали бревна, пустили пехоту, но горцы стояли крепко, такая тут резня началась, что, признаться, и до сего дни рев этот в ушах стоит. Я, знаете, много всякого повидал, но тогда было совершенно особенное-с. Наши в штыки, те в шашки, визжат, рычат, едва зубами не кусают. Такое ожесточение-с. С чего бы? «Видно, аул неподалеку», — говорит наш полковник. Послал казаков обойти гору — точно, нашли аул. Это они нас от селения в сторону уводили, — пояснил Иванов. — Заметили шапсуги казаков и бросились все к аулу — отстаивать. Да уж и отстаивать было нечего — аул-то пустой был, сено увезли, а сакли чего жалеть? Лесу много, камней много, а за хворост голову сложить — сами понимаете. Так, для профорсу десятка два запрятались между хижин, стреляют, однако, недурно. Что ни заряд, то с нашей стороны непременно кто-нибудь валится. Что тут делать прикажете? Подтянули снова пушку. Они не стали дожидаться, повскакивали на лошадей и убрались. Наши казаки — кто за ними, кто в аул — поискать, не бросили ли чего. Там, надо сказать, еще несколько оставались, уж самых отпетых. Тех порубили, аул зажгли и пошли дальше. Никто больше нас уже не тревожил. С версту отъехали — гляжу, у казаков гвалт какой-то стоит. То ли захватили чего — делят, то ли еще что. Уж не черкешенку ли поймали, думаю. Подъезжаю — человек двадцать донцов спешили, стоят в кружок, а в кругу фигура — черкес не черкес, старик не старик, не понять. Плечо разрублено — кто-то, видно, успел полоснуть. «Ваше благородие, француза нашли», — говорит мне один урядник. «Что ты, братец, — говорю, — откуда здесь французу взяться?» — «Ваше благородие, — обижается урядник, — точно так и есть. Я с Иловайским до самого до Парижа дошел, уж сколько ихнего брата насмотрелся в недавнюю войну, мне ли не знать». — «Да почему же ты знаешь?» — удивляюсь я. «Как же не узнать, ежели он по-французски лопочет, ваше благородие! — уверяет урядник. — Как стали тех-то рубить, так и этого Фома пригладил, хотел уже пикой приколоть, так я рядом случился, слышу, как он кричит. Врешь, думаю, что-то здесь не так. Да и вид имеет не черкесский», — так говорил урядник. А был у нас в отряде один офицер, как фамилия его-то... эх, сразу и не вспомнишь, — вздохнул капитан, — немецкая какая-то... Розен, что ли? Ну да, — обрадованно вскричал Иванов, хлопнув себя по колену, — Розен! Тот по-французски изрядно умел выражаться. Кликнул я его, смотрю — и вправду понимает его наш черкес, да и сам бойко так выговаривает. Что за диво, скажите пожалуйста? Черкесы по-французски заговорили. Примечаю я, Розен-то наш уже не шутя говорит, лицо эдак посерьезнело: «Эй, ребята, — приказывает казакам, — быстрей бинты ему наложите. Кто взял-то его? — спрашивает урядника. — Ты, братец? Я скажу, червонец тебе дадут. На вот пока рубль, больше с собой не имею». Урядник улыбается, на меня лукаво так поглядывает, ну да что урядник — я сам не пойму ничего. Розен, думаю, птица столичная, в диковинку ему с черкесом покуначиться... А вышло и не так... Долгая эта история, — вздохнул Иванов, видимо утомившийся от такого количества произнесенных слов. — Не угодно ли чаю?

«Почему не водки?» — улыбнулся я про себя.

— Благодарствуйте.

Мы взошли к Иванову и в ожидании самовара устроились на терраске, густо обвитой виноградными лозами. Небо совсем потемнело, и направо едва уловимая глазом бирюзовая полоска указывала, откуда через несколько часов вынырнет из-за вершины обрубленный месяц. На синем небо-склоне кое-где робко проступили голубоватые звезды. Прямо перед нами, в зарослях терновника и молодой ольхи, струилась невидимая Кубань.

— Ах, что за прелесть эта ночь! — невольно воскликнул я, всей грудью вдыхая пряную ее свежесть. Майор согласно кивнул и продолжил так:

— Уложили мы раненого на арбу да тронулись себе дальше. Розен поехал рядом с повозкой и нет-нет да и обмолвится с ним словцом. «Это

природный француз, — говорит он мне. — В плену уже двадцать лет прожил, а все не рад, что отбили». — «Отчего же не рад?» — спрашиваю. Розен пожал плечами. «Говорит, что хотел бы уйти обратно, если возможно». — «Да почему, спросите-ка». Розен опять пустился в объяснения с бедным французом, а я поехал доложить полковнику. Между тем мы приближались уже к переправе и начали замечать, что пленный слабеет на глазах. Что же-с хотите? Ключица перерублена, крови вышло стакана четыре. Уже и не чаяли, довезем ли до лекаря. Однако довезли. Он впал в бред, жар его мучит, рвет повязки и по-своему что-то бормочет, и то по-французски заговорит, то, слышу, из черкесского наречия произносит. Пугал слова. Пришел полковник на него поглядеть, Розен тоже тут стоит, прислушивается, что он бормочет, да мудрено было понять... — Иванов помолчал. — Так он через часа три и умер у нас на руках. «Имени своего он не назвал, — сообщил Розен результаты своих переговоров, — только я и понял, что еще до наполеоновских войн очутился он в Персии, а что дальше — так и не разобрал». Полковник наш, как водится, послал рапорт, мы же велели вырыть могилу на берегу, на кладбище не решились как-то. Он у черкесов жил, мало ли что. Да и кто таков? Ничего же не знаем. Но, видите ли, если француз — значит, крещеная душа. Крест все же поставили. Был в моей роте такой рядовой Анисимов, по камням мастер. Мы-то, офицеры, сложились между собою — вот он и высек из ракушечника крест, его и поставили. Год кончины начертали, а когда родился — кто это может знать? На взгляд, сорок пять лет дать можно было смело. Ни одной вещички от него не осталось — хоть бы что, хоть бы крестик нательный какой. Как был в драном бешмете, так и зарыли.

— А что в рапорте написали? — спросил я.

— Да что же в рапортах пишут? Доложили, что, мол, подданный французской короны взят из плена такого-то числа такого-то месяца, а в Тифлисе им видней, как этими новостями распорядиться. Но об этом ничего я не знаю, а вот послушайте, чем закончилось, — оживился Иванов. — Вы, чай, про французские бунты слыхали?

— Это вы о революции?

— Точно так-с, о революции, — подтвердил он.

— Да приходилось, — отвечал я с улыбкой.

— А дело все в том, — заговорщицки продолжил Иванов, — что в те же самые годы в горах пошла подобная смута. Чудно-с, а так. Задумали шапсуги повыгонять своих князей да дворян — по-ихнему уорки, — сказал капитан, — и пошла резня. Видите, и в горах монтаньяры имеются, — усмехнулся он. — Даже и пашу анапского замешали в свои раздоры, зато уж на линии тогда было покойно, как никогда. И если б по кровным каким делам — это у них в обычае, — нет-нет, вот именно революция. Не пойму, что за время было такое, в самом деле, сразу столько бед на свете. Солнце, что ли, по-особенному светило? И государь Павел тогда же *преставлялся*, — вздохнул Иванов. — И здесь французы руку приложили.

— Французы ни при чем, — заметил я, — а говорят, английский посланник замешан.

— Все одно-с, — покачал головой Иванов. — А прелюбопытный оказался француз... Жил в горах у шапсугов князь один, бей-Султан его звали, молод был, а славен был изрядно. Такой был молодец. У ногайцев ли табун угнать, на линию ли наскочить — тут он первый заводила. И в Дагестан ходил, и где только не разбойничал. От Анапы до Дербента знали в горах его карабагского жеребца. Однажды собрал он своих узденей и отъехал в Кабарду. Месяца два не было от него ни слуху ни духу, как вдруг увидели из аула, что несколько всадников неторопливо едут по дороге. Заметили в ауле, что лошади измучены и нагружены добычей, а в переднем наезднике узнали своего князя, закутанного в белую убыхскую бурку. Задорно поглядывали молодые уздени на хорошеньких черкешенок, как будто намекали, что на этот раз совершили они уже нечто совсем необычное и чуть ли не анапского самого пашу ограбили. Бей-Султан вел в поводу

лошадь, поперек которой покачивалось притороченное тело. Уже собрались женщины взвить и расцарапать лица, потому что думали, что привезли тело убитого джигита, однако увидели живого человека, видно пленника. Мальчишки их, знаете, уж и рады покуражиться — так наскочили, стали разглядывать, щипать, камнями швырять, но бей-Султан поднял плеть и разогнал негодных. Все радовались возвращению князя, и он сам радовался, в особенности тогда, когда устремлял свои взоры в сторону невзрачной сакли, где жил Нотаук. Да сакля эта только снаружи казалась убогой — в глиняных стенах своих таила она сокровище почище какого-нибудь отреза шелка. Там жила дочь Нотаука Заниб, а ее глаза чего-то да стоили, если лучшие джигиты заглядывались на нее. Уж и бей-Султан перед тем, как отправиться в набег, выпустил заряд из своей турецкой кремневки перед ее нежным личиком. Видите, имеют черкесы такой, как бы это сказать, обряд ли, обычай: если надумал жениться, так стрелять из ружья перед лицом своего предмета. Получается что-то вроде нашей помолвки. Правду сказать, не один бей-Султан имел в горах доброе ружье. Был у него кунак, из простых, но тоже молодец хоть куда, да уж больно беден. Ходил и он добыть калым, но сюда, за Кубань, а не улыбнулась ему удача — еле жив ушел от ногайцев. Ну, как тут быть — охота пуще неволи. Кому сама эта Заниб из двух отдавала предпочтение, не умею точно сказать, да только думаю, что ей было все равно. То есть не то чтобы все равно, а так, знаете, я вам скажу — кто этих женщин разберет. Черкешенка ли она, наша ли, а все сердце-то одно-с. Может быть, князь был ей мил нарядным убором, а может, Айтек — такое имя носил его кунак — заставлял выше подниматься ее грудь огненными своими взглядами, кто уж теперь скажет? Отец ее, однако, был простого, так сказать, сословия и знатных не слишком жаловал. Черкесы так и живут: вроде и вместе, вроде бы что князь, что простой — одна притча, а все ж таки князь есть князь.

— Эк вы драматизируете, — заметил я Иванову.

— Да уж что я, государь мой, — жизнь, она сама за нас все понапридумывает, что твой Гамлет, — объявил майор и продолжил: — И раньше живали черкесы не в большом ладу с своими князьями, да ведь в горах законы свои — никто себя зря в обиду не даст, все решат промеж собою, а ежели чего забудут, так уж кинжал или пуля ночью договорятся. Не то что у нас, сударь, полиция, правила, — у них свои правила-с, природные. А что ж, — прибавил Иванов, — пожалуй, оно и честней, только уж крови больно льется. Так вот, не хотел Нотаук родниться с князьями, поэтому, когда бей-Султан выстрелил из своего ружья, Нотаук пошел зарядить свое. А тоже обычай: если выстрелил, то жди уже беды — украдет жених невесту. Знает об этом и Айтек и хмурится, и думы его одолевают, и тоска гнетет. Только тянулось время, а ничего подобного и не происходит. Да и сам бей-Султан как будто забыл, для чего джигит живет на свете. Приезжали из Кабарды звать в набег — не поехал князь, собралась партия за скотом в Карачай — отмахнулся. Прошло уже три месяца с возвращения князя, и видят люди, что привез он пленника необычного. Никогда такого человека не видали в горах. Урусов бородатых видали, турки — свой брат, хотя одно словечко, а все будет понятно, а этот — просто невидаль такая. «Зачем держишь гяура, — спрашивали люди князя, — если не даешь ему работы? Старики недовольны, говорят, шайтана ты привез в горы. Безумен его взгляд, разве не видишь ты? Из каких краев добыл ты его, уж не из джехеннема ли? Убей его или продай в Анапу». Хмурился бей-Султан, слыша такие речи, но ничего не отвечал. Раз зашел Айтек навестить своего кунака, и видит он странное: чужеземец сидит в сакле и пачкает белые свитки черной сажей, а бей-Султан смотрит на это без гнева и ужаса. «Опомнись, брат, — вскричал Айтек, — ради чего проводишь ты время с рабом как с другом?! Отчего не положишь конец нечестивым его занятиям, разве не известно тебе, что можешь прогневить Аллаха, разве желаешь ты, чтобы его немилость пала на нас?» — «Послушай, что скажу тебе, Айтек, — возразил князь. — Это уже не раб мой, а гость, а как в горах

принимают гостей, тебе известно не хуже моего». Покачал головой Айтек, услышав такое, а между тем обрадовался. В тот же день поскакал он по ущелью в соседнее селение, где была у них мечеть, и бросился к эффендию. Нельзя сказать, чтобы часто расстилал Айтек килим для намаза, а попросту задумал нечистое дело.

Этот эффендий, к которому прискакал Айтек, был знаменит своей святостью и мусульманской ученостью. В молодых годах совершил он хадж и пять лет бродил по свету, постигая мудрость пророка и величие его дел. Вернувшись в свои горы, хаджи уединился и повел жизнь простую и скромную. Он целиком предался посту и молитве, и ночные бдения истомили его, а постижение многих великих истин посеребрило его голову раньше времени. «Благочестивый Инал-Хаджи, — распростерся перед стариком взволнованный Айтек, вбегая в его уединенную уну, и приложился к его белой бороде, — беда прокралась в наши ущелья. Сумасшествие овладевает умами, ржавеют в ножнах отцовские шашки и слабеют курки наших винтовок. Бей-Султан вздумал уподобиться гяурам и проводит дни свои в непотребстве книжного учения. Что колдует он там, под кровлей своего нечистого жилища? Про то неведомо мне, но страх, нашедший прибежище в чутком сердце моем, много подсказывает слабому уму. Мало того, что князья и уорки не дают свободно вздохнуть простому народу, — они уже принялись осквернять чистоту источников и святость роц начертаниями знаков из чужого языка. Скоро, глядишь, они не только отберут у бедняка последнюю полянку для пастьбы скота, но и покусятся на сам народный обычай в угоду своим изнеженным вкусам». — «Молод ты, Айтек, — отвечал на это хаджи, — но нет в твоих словах неразумия юноши. Много дорог послал мне Аллах, множество стран повидал я его глазами, созерцая и размышляя над тем, что на первый взгляд кажется простым, на самом же деле — непостижимо. Я обращал внимательные взоры и к небу, следя полет вольных птиц, и в клокочущем потоке искал я истины, и в тени извилистых деревьев, чьи узловатые ветви — словно натруженные руки старика, и в причудливых разломах ущелий, но, главное, пристально заглядывал в самые отдаленные уголки собственной души. Одну великую мысль подарил мне Всевышний. Мрак морщин не падет на ясное чело народа, доколе не заключил он своих поколений в высокоминаретенных городах, а мыслей и чувств, и песней, и сказаний своих — в многолистных книгах. Есть на земле одна книга — это книга книг, и довольно. Иди и собери народ, чтобы мог я донести до людей эту весть». Так сказал Инал-Хаджи и погрузился в молитву.

Быстрее ветра полетел обрадованный Айтек исполнять приказание благочестивого старца, он неумоимо объезжал пастбища и дальние аулы, приглашая на съезд и шапсугов, и натухайцев, бережно хранящих независимость своего нрава, и бжедугов, неодолимых в единоборстве, и убыхов, что так славны своими косматыми бурками, и абадзехов, которые известны упорством в брани. Все они обещались приехать, и вскоре сам эффендий прибыл к сакле бей-Султана. «Что ты задумал, бей-Султан? — спросил он. — Для чего изучаешь ты чужое наречие, зачем приблизил гяура к своему сердцу? Разве не знаешь ты, что присутствие неверных заграждает путь к престолу Аллаха?» — «Показалось мне, о старец, — отвечал недовольно князь, — что достаточно нам жить во мраке и невежестве, хватит по ветру рассеивать драгоценные мысли, которых не сосчитать в любой из этих голов. — Он обвел рукой притихшее собрание. — Я слышал, ты завел медресе? Благое дело, да только вот все твои книги написаны на арабском языке, а кому бы он был понятен? Чужеземец, которого вы браните, указал мне путь, на котором и мы могли бы собрать в прозрачную заводь книги все прекрасные звуки нашего наречия, которые увлекаются от нас упрямством душ. Так мутный туман делает воздух и горы непроницаемыми для взоров». — «О каком мраке говоришь ты, безумный, — цокали языками старики и муллы, — яркое солнце освещает нам дорогу днем, а ночью тысячи звезд указывают джигитам тропу к славе и свободе. Ясные

очи возлюбленной дарят свой блаженный свет нашему сердцу, а слово пророка украшает нашу душу неугасимым месяцем восторга. Недаром в земле нашей не встретишь каменных построек, ибо неподобаает свободному искать защиты в крепостных стенах. Так и вольному слову нет нужды прятаться от людей в бранных свитках. Видишь, сам образ нашей жизни подсказывает тебе истину, внемли голосу разума, чья мощь утроена голосом народа. Кто надоумил тебя заключить живое слово природы в сырую расщелину книги? Слово в книге — что женщина в гареме». — «Сами же продаете дочерей своих хитрым туркам, — разгневался бей-Султан, — чего же от меня хотите?» — «Да, продаем, — выступил вперед Нотаук, — а где же еще взять нам монет, чтобы платить тебе ежегодный налим, как еще добыть себе оружия, чтобы защитить свое добро, если твоим уоркам вздумается истоптать своими скакунами наши потом политые поля? Молчишь? Нечего сказать?» — «Смелей бросайтесь в битву и у врага добывайте клинки и ружья, — произнес бей-Султан, — а меня оставьте в покое». — «Не тебе расточать такие слова, бей-Султан, ибо давно уж не видели тебя в седле, предающимся делу, достойному мужчины. Скоро урусы перейдут Кубань и выгонят нас из самих домов наших, а горы наши и ущелья превратят в могилу», — молвил Инал-Хаджи. «Где тебе, жалкий старик, не слышавший, как визжит пуля у головы, упрекать меня!» — воскликнул гордый князь. «Лучше б ты ударил плеткой моего коня, чем награждать меня такими речами! — вскричал старец. — Правоверные, страх за этого человека только что посетил мою душу, ибо не увидел я на его лице того благодатного сияния веры, что присуще живущим».

— Что тут началось, — продолжил майор, — не описать словами. Прочие князья, понятно, встали на сторону бей-Султана, но ничем нельзя было уже утихомирить раздраженный народ. Принялись свистать, полетели камни, и едва не блеснули шашки и кинжалы, как взял слово Айтек. Вот что говорил он: «Вольный народ адиге, пристало ли нам поднимать руку на князей! Помните ведь поговорку: за князя и сам Бог мститель. Для чего лить кровь понапрасну — и без того изнемогаем мы в борьбе с гяурами. Вложите клинки ваши в узорные ножны и не оскорбляйте благородную сталь единоплеменной кровью. Разве способен удар шашки разрубить наше родство?! Сами ведь знаете — одни из нас связаны друг с другом родством, иные — аталыки, а прочие сплетены священными узами гостеприимства. Не следует поэтому вносить смуту в горы, ибо за каждого из нас есть кому отомстить. Но и не кабардинцы мы, не турки, чтобы поддаваться прихотям князей и пашей, не ногайцы, чтобы трепетать перед жадными ханами. Не привыкли мы к тому, чтобы владельцы заставляли нас жить по-своему, мы — вольный народ, а поэтому пусть бей-Султан забирает своего гяура и уходит из наших ущелий туда, где его примут. А не то мы сами лишим жизни неверного». Слова эти встретили у народа полное согласие. Ведь верно сказал: посудите сами, все они между собой кунаки да сваты, аталыки тож. Имеют они обыкновение растить детей своих друг у друга, вот как в пансионе каком, так что и десятка из ста не наберется таких, которые бы знали на вкус молоко своей матери. Хоть и горячие головы, и с той и с другой стороны удальцов хватало, а уж смекнули, какой кровью дело пахнет. Так и порешили. Делать нечего. Обещаний у них на ветер не бросают, так и пришлось бей-Султану убираться. Напрасно пенял он Айтеку, поминал ту схватку, когда он прикрыл его дырявый бешмет своим блестящим панцирем от тяжелого турецкого ятагана, — дело было сделано, и Айтек, хотя и жалко было терять друга, а торжествовал. Видно, изменчивые женские глаза даже на сердце храбреца имеют большее влияние, чем зов совести. Однако ж, — покрутил Иванов ус, — все это в порядке вещей, как я себе понимаю. Всю ночь и остаток дня и много еще дней сторожил Айтек саклю старого Нотаука, чтоб не умыкнул его соперник эту девушку. Тот, правда, отчего-то и не пробовал, а ведь мог вполне. Что ж, в тот же злосчастный день собрался бей-Султан и в окружении своих узденей и уорков, сверкающих шлемами и кольчуга-

ми, играющих статными конями, мрачно потянулся в горы. Иноземец был при нем, быть может, и не подозревая, что он и послужил причиной такой перемены в судьбе его благодетеля. Вот так вот-с, — заключил рассудительный майор.

— Куда же он поехал? — спросил я.

— Да направился к абадзехам, горы большие, — сказал Иванов. — А скоро всех прочих князей шапсуги повыгоняли, и начались лютые ненависти. Право, революция-с. И француз налицо. Бабой началось — французом закончилось. Экая басня.

— И какая была его судьба?

— А бог его знает какая, — зевнул мой майор, — какая-нибудь была, надо думать. А впрочем, все это так-с, легенда. Француз вот — тот да. Да что говорить — на моей памяти в двадцать девятом году из Петербурга иноземцев навезли Эльборус изучать. Ну долго ли до греха? Удивительно, конечно, но и только...

— Как, однако, вы подробно знаете, — заметил я.

Петр Африканыч посмотрел на меня устало и ответил:

— Здесь все про всех всё знают, а если чего не знают, так того и знать не надобно. Понимаете?

Я понимал.

17

Потянулось время ожидания. Я уже не находил себе места, то и дело донимая расспросами Иванова, который сам знал не более моего, когда как-то вечером шапсуги, пригонявшие в станицу баранов на продажу, шепнули майору, что видели Салма-хана — так прозывался наш разведчик — не далее как вчера в ауле Чорчок. Аул был мирной. Ночью мы оседлали лошадей и без конвоя отправились на встречу. Миновали последние посты и вышли к Кубани.

— Вот эта разлюбезная могила, — плеткой указал Иванов в темноту направо.

Я напряг зрение и впрямь увидел завалившийся массивный крест, врытый в невысокий холмик. При себе имели мы бурдюки для переправы. Мы закрепили их и минут через десять уже сушились на другом берегу. Ночью вода оказалась не слишком холодна, лошади тихонько отфыркивались, ударяя нас по физиогномиям прядями мокрой гривы. Признаюсь, на чужой земле я испытал легкое волнение, и порох временами сыпался на землю с полки моего ружья, которое держал я наготове. Петр Африканыч, напротив, был спокойней штиля и тихонько разгонял плеткой назойливых комаров. Часа через два езды в кромешной темноте где-то сбоку послышался собачий лай, тропа круто повернула, и из кустов появилась фигура всадника в бурке. Раздался гортанный говор, Иванов отвечал довольно бойко. Незнакомец повернул коня, и мы уже скорее пустились за ним, увертываясь от веток сухого карагача, во многих местах перегородивших путь. Наконец мы увидели перед собой сакли, тесно лепившиеся к склону горы. Собаки нас учуяли и отчаянно заливались. Иванов сделал мне знак, и я спрятал ружье в чехол. Мы спешили вслед за проводником у крайнего строения, миновали низенькую дверцу в невысокой глухой стене, прошли узкий дворик и очутились в кунацкой — комнате с низким потолком, очагом, дымившим по-черному, и лежанками, покрытыми двумя-тремя пестрыми коврами. На стенах в отменном порядке развешано было самое разное оружие — от кинжалов до ружей. Некоторые образцы показались мне очень дорогими и старинными. У очага, устроенного из прокопченных необитых камней, возлежал на войлоке тот самый джигит, который приезжал в крепость прошлым месяцем. Бритая его голова заметно отличалась белизною от дочерна смуглого лица, на котором по-прежнему хищно блистали два огненных глаза. При виде нас он приподнялся, мы приветствовались и уселись вокруг огня на указанные нам места. Салма-хан и

Иванов повели неспешную беседу, из которой не понимал я ни слова; проводник наш извлек из ножен свою шашку и гладил ее об камень, раскачиваясь корпусом в такт едва слышной мелодии, которую напевал горлом, с плотно сомкнутыми губами. Я с любопытством озирался, однако не слишком открыто, жуя кусок отлично прожаренной баранины и жадно вдыхая незнакомые запахи азиатского жилища. Салма-хан то и дело подкладывал на огонь сухих веток, они жарко вспыхивали, трещали, снедаемые пламенем, которое бросало на лица собеседников багровые мазки. Российские виды остались в уме почти неосязаемым воспоминанием, и я, прислушиваясь к треску огня и волнующим звукам чужого наречия, ощутил, как осторожно ворошилась мысль в голове.

Когда был я ребенком, то думал, конечно, повидать мир; я разглядывал с гувернером гравюры в французских книгах и ожидал, что когда-нибудь и увижу то, что они изображали. Но вот сижу я в предгорьях седых вершин, в одном из диких углов нашего мира, в обществе непонятных мне людей, не знающих, что такое почтовая карета и гальванизм, и с которыми веду я войну в соответствии с непреложным велением неведомого мне исторического закона. Мне казалось, что я если не сплю, то по крайней мере грежу наяву. Откуда-то из обманчивого далека окликал меня наш сложный мир, усовершенствованный мелочными страстями, мучительными условностями и тротуарами для пешеходов. В шорохе же этого огня, возмущаемого лишь неуловимым ветерком из туманного ущелья, который принял меня на минуту под свое покровительство, не было суеты — он был прост, и велик, и мудр в своей простоте, как был тысячу лет назад и каким быть ему до тех пор, пока рота-другая солдат не затопчет его животворящие языки подошвами своих сапог, произведенных на мануфактуре близ блестящего Петербурга.

Мы распрощались под утро, когда черная кайма гор упрямо оттолкнулась от светлеющего неба. Версты две давешний наездник нас сопровождал, далее мы уже сами находили направление. Я с нетерпением ожидал, когда Иванов передаст мне плоды своего разговора с Салма-ханом. Иванов выглядел угрюмым и мрачным.

— Нечем, увы, мне порадовать вас, — наконец объявил он. — Салма-хан таскался аж через хребет к побережью, кое-что узнал, но на след так и не напал. Говорит, пленные достались дальней шайке, которая тогда к Джембулату случайно примкнула. А черт знает сколько их шляется по горам. Он думает, что продали их убыхам. Эти приторговывают людьми. Вряд ли иначе, я и сам так думаю. Слишком уж далеко.

— Кому же продают они их?

— Туркам, кому же. Турки иногда подходят на галерах к побережью, ну и забирают, так сказать, товар.

— Там же наши корабли, — возразил я.

— Кораблей-то — две шхуны в Геленджике, а эскадра вся в Крыму. Мало ли на берегу пустынных мест?

Всю оставшуюся дорогу терзал я моего спутника расспросами — надежда не умирала во мне, тем более что Иванов сказал, что пленных могли поменять в одном из прибрежных укреплений. Мрачнее мрачного взошел я в свою мазанку, обругал ни за что стоявшего тогда при мне за денщика линейного казака и заснул злой и голодный. Вечером ко мне заглянул Иванов.

— А помните давешнюю историю? — начал он, усмехаясь. — Ведь все так и было, — довольно сообщил он. — Салма-хан кое-где меня поправил. Вот что получается: и точно бей-Султан тогда анапского пашу ограбил. И француза захватил. А у этого француза была якобы такая книга старинная, где будто все события и происшествия в мире указаны — и те, что были, и те, что только еще имеют случиться. Каково, сударь мой? Уж такая книга волшебная. Паша послал в горы, стал требовать книгу назад, бей-Султан не схотел отдать. Паша рассердился и перестал черкесов в город пускать торговать, сам аманатов задержал, а если не отдали бы эту книгу, то

грозил шапсугам не шутя разорить их аулы. Что за книга такая, не возьму в толк? — вздохнул Петр Африканыч.

— Зачем обратно нужна была книга этому глупому паше? — заметил я. — Если он ею владел, то уж мог бы там прочесть самое для себя интересное.

— Да что же? — спросил он.

— А то, что в 1828 году он перестанет быть анапским пашой.

— Ах, верно, — подумав, рассмеялся майор. — Старшины подступили к бей-Султану, чтобы он вернул книгу, но уж, видно, и впрямь книга была дороже дорогого, потому что не послушал князь своих и тайно ушел к абадзехам в Лагонаки. Что за дьявол, — развел руками Иванов. — Что так, что эдак — сплошные небылицы. Вот вас смею спросить, вы-то человек не без образования, как рассудите? Может ли быть этакая чудесная книга?

Расстроенный нашим неудачным предприятием, я слушал Иванова не слишком прилежно.

— Помилуйте, Петр Африканыч, — раздраженно отвечал я, — ведь это сказки.

18

Прошел, я бы сказал, прополз, еще месяц. О Невреве никаких известий не поступало. Я то и дело ездил в Прочный Окоп, в Екатериноград, где пытался выведать чего-нибудь через знакомых адъютантов, но они только разводили руками. Зато однажды урядник, возивший почту, вручил мне письмо. Я вскрыл его — оно оказалось из дому. Это было долгожданное послание, но когда вник я в первые строки, в глазах у меня помутилось. Вот что стояло там:

«Дядя твой скончался от холеры в Маноске, близ Марсея, во Франции. Тело поместили в свинцовый гроб и доставили в Москву. Положили на Новодевичьем кладбище рядом с твоим отцом. В завещании отписано все на тебя...» — и прочая, и прочая.

Я оплакал эту утрату, просил отпуск, однако не получил его, через три месяца был наконец переведен в Грузию, в Нижегородский драгунский полк, и, обогащая вдову Клико, снова пил шампанское в компании некоторых знакомых мне лиц.

Часть третья

1

Ранней весной 184... года по московскому тракту на подъездах к Воронежу шибко бежала легкая кибитка. Упряжка выглядела сытой, молодой ямщик в распахнутом нанковом кафтане смотрел весело и то и дело покрикивал на лошадей. Комья черной и мокрой грязи летели из-под копыт в разные стороны, колеса бороздили влажную дорогу. В самой кибитке, закутавшись в шинель, сидел молодой офицер. Усы — привилегия легкой кавалерии. Офицер покусывал ус, подаваясь вперед с своего сиденья и нетерпеливо вглядываясь в горизонт. Это был я. Я спешил домой и больше не мечтал о бобровом гвардейском воротнике. Прощение об отставке было принято благосклонно — отставка была дана следующим чином. Ротмистрский мундир оказался мне к лицу, но на пятом году службы я решил перестать обманывать себя. Я смертельно наскучил мычать, вместо того чтобы говорить, дремать настороже, вместо того чтобы спать, и прислушиваться к выстрелам, вместо того чтобы наслаждаться нежным сопрано итальянских скрипок. Я спешил домой, облокотившись на два дорожных баула, в которых вез на память всякую кавказскую рухлядь.

Уже когда показалась впереди городская застава, у нас подломилась ось. Ямщик долго чертыхался и, вероятно, ожидая, что целая вот-вот сва-

лится с неба, никак не слезал с облучка. Наконец он, проклиная все, что есть на этом свете, а заодно и то, чего никогда не бывало, спрыгнул в грязь и решительно зашагал на постоянный двор. Становилось прохладно, низкое, серое вечернее небо еще ближе спускалось к земле. Я плотнее завернулся в шинель и приготовился ждать. Вид вокруг был невеселый: редкие черные деревья нелепо топорщились в небо голыми ветвями, унылые поля тянулись, докуда достигал взгляд. Чуть сбоку у обочины лепились друг к дружке покосившиеся ветхие избенки покинутой деревеньки, робко выглядывая в мир подслеповатыми окошками. На прохудившихся их крышах важно расхаживали грачи и заглядывали в темные прорехи. Я сошел вниз и принялся бродить рядом с кибиткой, поглядывая в ту сторону, куда удалился мой возница. Темнело на глазах. Расположение моего духа изменилось непонятным мне образом. Было тихо, и только рассохшийся журавль у колодца жалобно поскрипывал под неторопливым ветром.

Мне вспомнилось прошлое, как пять лет назад мчал меня угрюмый рябой фельдъегерь к новой жизни. Новой, однако, она оставалась совсем недолго, и уже давно не улавливал я в ее дыхании таинственного размера. Я снял ногу с приступки колодца, медленно пошел вперед и встал на перекрестке. Две черные ленты разлетелись в разные стороны горизонта. Я вспомнил Неврева, мне сделалось грустно... Воображение нарисовало грубый непокрытый стол, заставленный посудой. Неосторожная кошка гибким хвостом задевает маленькую склянку, она летит с полки, увлекая за собой прочие предметы, те опрокидывают следующие. Так случается лавина в горах. Кувшины, чашки, блюда и туесы упадают на пол, звеня и подпрыгивая, и если один сосуд опытная рука кухарки подымает и водворяет на место, то другой разбивается вдребезги, а жидкость, которой он был полон, неторопливой струей сочится в щели между половиц, и где высыхает последняя капля — бог весть.

Я еще раз хмуро огляделся. Показался ямщик, волочивший новую ось. Прошло еще с полчаса, пока она была установлена. Наконец я уселся и спрятал было лицо в ворот.

— Трещим, — сказал я громко, вдруг заметив, что левый рукав отстаёт от плеча, — трещим по швам.

— Чего, ваше благородие? — обернулся ямщик, перепачканный грязью.

— Да нет, братец, это я так. Трогай.

Щелкнул кнут. Я бросил прощальный взгляд в сумрачное поле, где уже всюю хозяйничал ветер. Наверное, наши огромные пространства сосредоточиваются в нас, и шальные мысли наши носятся по их голым просторам, не имея пристанища. Я почему-то подумал об отце, которого вообще помнил неважно. Так и он свел свою недолгую жизнь к вопросу: убьет ли бубновый валет девятку в рексе, на третьем круге? Лошади побежали быстрее. Было грустно до сладости, как бывает только тогда, когда мы можем позволить себе порцию тоски вместо пива.

2

Одно из величайших счастья мужчины — вернуться домой из действующей армии. Я словно родился заново, перетрогал все вещи в московском доме, часами просиживал с матушкой на веранде и засыпал где попало под любопытные взгляды возбужденной дворни.

Настало время побывать и в Петербурге. С каким неопишуемым чувством вошел я в пустой дядин дом, который был уже моим собственным. Дом содержался в отменном порядке, все люди, по завещанию, оставались на своих местах, но горе дарило меня впечатлением, что холодный ветер гуляет здесь, хлопает растворенными окнами и гоняет по потускневшему паркету обрывки обоев. Федор сильно постарел, стал плохо видеть и все плакал, норовя обнять меня морщинистыми красными руками. Я и сам порою ронял слезу в его объятьях.

Я облачился в тот самый сюртук, что, бывало, мозолил глаза бедному дяде, и поживал себе, наслаждаясь покоем и новизной. На следующий же день после моего прибытия снизу донеслись голоса, необычайно громкие для дядиного дома. Им вторил бойкий стук торопливых шагов. Я вышел на шум и в следующую секунду увидел перед собой Николеньку Лихачева. Мы расцеловались и предались общению. Впрочем, это был еще Лихачев, но уже не Николенька. Из восторженного юноши Николенька необратимо превратился в изрядно располневшего надворного советника, с строгим взглядом и Анной на шее. Мы говорили и все не могли наговориться. Я с жадностью расспрашивал про знакомых, многие из которых успели претерпеть не менее броские метаморфозы, что и сам рассказчик. Из столовой мы перебрались в диванную, а там к камину, где крепкие сосновые поленья разгоняли весеннюю промозглость. Вот что между прочим поведал мне мой друг:

— А помнишь ли ты Элен Сурневу, с которой был короток этот твой приятель... как бишь его?

— Неврев.

— Именно. Всех не упомнишь.

— Ну, еще бы, — слегка трунил я, — в департаменте, верно, пропасть дел.

Он вздохнул.

— Жаль беднягу. Ну да ладно. Я о Сурневой расскажу тебе. Это *à propos* история. — Он взмахнул руками и повернулся в креслах. — Она была за неким Постниковым. Он полный генерал, по квартирмейстерской части. Откуда выплыл — не знаю. В сущности, это молодящаяся развалина, подточенная пороками. — Николенька захихикал. — Были, конечно, перекуды вокруг этой пары — слишком уж рельефно, так сказать, выступало нижнее белье. Я бы даже сказал, кальсоны жениха из-под форменных панталон. Однако, — протянул Николенька, надувая губы, — за ним чуть не тысяча душ, да и прочий доход. Хм-хм. Да-с. Так вот, — мой приятель весь подался вперед, налегая на подлокотники, — во время последней кампании Постников делал провиантскую поставку. Вообрази, — Николенька загадочно растягивал слова, — генерал, назначенный лично государем, уличается в таких недоимках, в таком немыслимом лиходействе, что командиры полков, которые готовы уже были дать, лишь бы получить, сообщают по команде. Назначается следствие, министр Киселев, который выступал на свадьбе шафером со стороны жениха, является в свете еле жив, бледный, как то полотно, что так Постникову понравилось. Одним словом, скандал вышел — скандалище! Постников был вызван к государю, после чего отставлен от службы и сослан в ту деревеньку, которая одна у него осталась. Прочее забрали в казну. Ну, *mon ami*, ты можешь себе представить состояние родни! — Николенька то и дело нервически оглядывался и прыскал в пухлый кулачок. — Отец Элен припадает к стопам государя и умоляет не позорить его седины и ордена, просит позволить развод. Мать о том же молит императрицу. Все связи были пущены в ход. Но они и не надобны были — государь был так разгневан, что тут же выходит Синоду указ и — пф-ф... любовь снова возвращается на исходные позиции. Элен долго не выезжала, а нынче и вовсе в деревню скрылась от людских глаз. Отец ее хотя и слезно благодарил государя за оказанное благодеяние, а все не вынес старик унижения — отошел прошлый год на Пасху. Ага?! — Николенька победно взглянул на меня и откинулся на спинку. — Проворовался, по-русски это называется.

— Да, однако... это... того, — только и вымолвил я, уставившись в его мальчишески озорные глаза.

— То-то и оно, — ответил он. — Все обомлели. Ай-ай-ай, — он прищурился и погрозил мне пальцем, униженным перстнями, — Фемида, или как ее... Немезида... ха-ха-ха, просыпается иногда старая кляча — вот что я хочу сказать.

Я молчал. Воспоминания встали передо мной и весьма отчетливо проговорили свои имена. «Бедняк, бедняк, — думал я о Невреве, — как славно, что никогда ты не узнаешь об этом».

Николенька ушел со светом.

3

Много перевидал я знакомых, пил пунш в обществе университетских приятелей, часть из которых успели обзавестись семьями, чинами и заботами; иные же, напротив, встретили в жизни более жестокого соперника, а кое-кого уже и вовсе не было на этом свете. Вечера я проводил в ярко освещенных гостиных. Поначалу я не мог нарадоваться на эту статскую привольную новизну собственного существования, но мало-помалу светские развлечения наскучили мне. Я стал тяготиться бессмысленными партикулярными беседами с иными красавицами, которые ничего не дают ни сердцу, ни уму. Мне вдруг показалось, что и с друзьями все давным-давно переговорено. Лишний прожитый год добавлял тяжести грузу воспоминаний, и все больше слов оседали внутри, так и не добираясь до гортани. Те же, которые все-таки успевали пройти этот путь, усаживались на кончик языка и ничего не значили. Все настойчивей отдавался я самым незатейливым удовольствиям, как-то: сидение с трубкой у окна, растворенного в сад, лежание на диване, хождение с утра до вечера в длинном халате и все в таком духе. Я наслаждался покоем, но подыскивал себе занятие, достойное моего прекрасного халата и замечательной трубки.

Я выехал из опустевшего Петербурга в Москву. Но и там оказалось немногим занятней. Однажды, когда безделье уже совсем нагло напомнило о себе, я принял оригинальное решение — отправиться в деревню, навестить нашу подмосковную, места моего детства, которые не видел я уж добрых семь лет. Матушка этим летом не выезжала из Москвы, и мысль моя пришлась ей по душе. Очень кстати требовалось отдать кое-какие распоряжения по хозяйству. Сборы мои были недолги, а их результаты уместились в небольшом дорожном сундучке. Кроме книг, я не вез с собой почти ничего. Я представлял себе прелести деревенской жизни, выгоды лета, куст сирени, влезающий в самое окно, и в ожидании дня отъезда засыпал во власти сих очаровательных фантомов. Свободен я был вполне и не думал, когда быть обратно. Деревенской скуки, которой запугивал меня Николенька, я не страшился — к ней прибегал я как к целительному средству от скуки городской, а поэтому ничуть не подвергал себя риску превратиться в одного из тех несчастных, о которых сказано хотя и обидно, но не зло:

Зимой играл в картишки
В уездном городишке,
А летом жил на воле:
Травил зайчишек груды,
И умер пьяный в поле
От водки и простуды.

День настал — я отправился в дядиной коляске. Есть люди, думал я, весь смысл жизни для которых составляет сокрытие его. Право, как змея, которая кусает за хвост сама себя.

4

Подмосковная наша — не совсем подмосковная, или подмосковная не в прямом смысле. Отстоит она от Москвы на значительное расстояние и находится уже в Калужской губернии. Две деревеньки, сельцо, в нем церковь, господский дом, обсаженный липами, — а впрочем, имение, каких тысячи по средней России, ничего значительного вообще, только в частности.

Я добирался весь день с остановками, ночевать на постоялом дворе не остался — лошади отдохнули, и мы пустились дальше. Уже перед рассветом я стал узнавать места: вот на повороте дуб, разбитый молнией, за ним — яблочные сады и шалаш сторожей у дороги, вот старая порубка, поросшая молодняком, а вот уже слышится и собачий лай, огней не видеть и пахнет деревней. А вот в конце концов и аллея разросшихся лип. Коляска встала у крыльца — я вышел и огляделся. В темных окнах замелькала свечка, несколько времени за дверьми происходила понятная возня, потом они раскрылись широко, и на пороге увидел я управляющего Трофима. Старик был замотан в цветастую шаль, долго на меня шурился, не узнавая, а когда признал, бросился целовать руку, засуетился, запричитал и выкрикнул петушиным стариковским фальцетом в глубину дома:

— Барин, барин молодой приехали!

Поднялся переполох, который создавал главным образом сам Трофим, кухарка Анфиса да две сенные девушки, думавшие, что приехала мамаша. Лошадей увели, коляску поставили, я вслед за Трофимом шагнул в темноту, то и дело упираясь в его согбенную спину.

— Сейчас, сейчас, покушать с дороги, — приговаривал он и кричал не оборачиваясь Анфисе: — Покушать, покушать барину!

Принесли свечей. Я бродил за стариком по комнатам, вдыхая нежилой их запах.

— Все в полном порядке содержится, извольте взглянуть.

— Да полноте, верю, — с улыбкой отвечал я. — Ты мне укажи, где спать, а там видно будет. Что, жив ли Силантий?

Силантий был бобыль-охотник, с которым в компании провел я немало часов в засадах у силков. Он вырезывал мне свистульки из орешника, которые затем отбирал у меня с негодованием гувернер Брольи, не без любопытства поднося их к самому своему птичьему носу.

— Силантий, слава Богу, жив, — перекрестился старик. — Только вот хворал больно прошлым годом на масленицу. Застудился, должно.

Перекрестился и я. Когда вошли мы наконец в комнату, служившую некогда детской, постель была постлана и переложена душистыми травами.

— Быстро, — удивился я.

Старику понравилось мое замечание. Он улыбнулся лукаво и украдкой:

— Как же по-другому, батюшка. Уж в кои-то веки...

— Да-да, — заговорил я. — Иди скажи, чтобы не готовили, есть я не буду, а квасу пускай принесут.

— Тотчас, — взметнулся старик. — Мятного.

Через несколько минут я лежал в кровати, напряженно вслушиваясь в звуки нового места. Белье дышало прохладой и свежестью, подушки горою высились в изголовье — я обложился ими с усмешкой и скоро уснул.

5

Проснувшись, не вдруг сообразил я, где нахожусь. Солнце высоко стояло уже в небе, наполняя комнату шаловливыми бликами. Я с наслаждением осматривал желтые выцветшие обои, чей узор с самого детства навсегда врезался мне в память. Потом напился кофею со сливками и отправился осматривать свои владения. Сделав несколько шагов по тенистой аллее, я оглянулся на дом.

Дом сильно пострадал в двенадцатом году — в нем пережидал стужу отряд итальянской кавалерии. Солдаты разжигали огонь прямо на паркете, который за два десятилетия перед тем выкладывали их соотечественники, выписанные покойным дедом из Милана. Сторы и занавеси шли на плащи храбрым кавалеристам, золоченые картинные рамы — на растопку, заодно с самими полотнами, посуда была разграблена, а диваны и кресла испорчены — солдаты искали клад. Клада они не нашли, зато снискали себе

ненависть наших крестьян, которыми и были частью перебиты, частью же перемерзли в заснеженном лесу без провианта и огня. Рассказывали, что по весне крестьянские девушки наткнулись на десяток смерзшихся трупов. Мужики оттащили их баграми и хотели было сбросить в речку, но наш священник отец Серафим прознал про то, и крестьяне под страхом анафемы вырыли на окраине села большую яму, куда и сложили без разбору чернявых неаполитанских рыбаков, не в добрый час променявших весла на сабли, а баркасы — на андалузских жеребцов. Впечатлительный старик священник сам взялся за лопату и собственноручно выравнивал березовый крест, на котором впоследствии по просьбе моих родителей Брольи надписал следующую эпитафию: «Пришли, увидели, но никому не рассказали».

Целый день бродил я в усадьбе и вокруг нее, а вечером пил чай из самовара, начищенного так, что больно было смотреть. Так и началось мое деревенское существование. Дни отчаянно и незаметно убегали в прошлое, а между тем я ничего не делал. Я хочу сказать, что ничего не читал, не таскался с ружьем и ягдташем по окрестным полям, не погружался с головою в земледельческую премудрость и не пил пунша с соседями, хотя и сделал визиты некоторым из них в строгом соответствии с древним обычаем. Они взирали на меня разом и с уважением и с жалостью: с уважением — потому что я был столичный житель, с жалостью — по той же причине, ибо простодушные эти люди полагали, что моя врожденная бледность есть прямое следствие неумеренного чтения газет. Поначалу это изумило и развеселило меня, а потом я задумался: кто знает, может быть, они и правы, эти ревнивцы псовой охоты и располневших дочек. Как-то раз я сидел у себя, когда в дверь постучали. Явился Трофим.

— Что тебе? — спросил я через плечо.

Он мялся и не отвечал. Я повернулся удивленно:

— Что же ты молчишь?

— Я, батюшка, по поводу тяжбы... Какие изволите дать распоряжения? Мужички волнуются...

— Ах да, — вспомнил я. — Матушка говорила мне что-то.

У нас в то время производилась тяжба из-за большого луга, который составлял для моих крестьян значительное подспорье при покосе.

— Как фамилия... ну, того, с кем мы судимся? — спросил я.

— Сурнева Алексея Ильича покойного вдова, батюшка, — назвал Трофим.

— Сурнева вдова? — переспросил я ошеломленно.

— Его, батюшка, — поклонился Трофим, — того, что из Сурневки, за Парамошкиным лесом.

— Хорошо, я разберусь, — пообещал я и сделал ему знак. — Да! — закричал я ему вослед. — Сами хозяева дома ли?

— Проживают, батюшка, проживают, — сообщил, вернувшись, Трофим. — И прошлым летом видели их, и нынешним.

— Кого — их?

— Старую барыню с дочкой.

— Вот как, — сказал я, — она тоже нынче здесь...

Мне тут же пришел на память рассказ Николеньки Лихачева. Точно, он говорил, что они перебрались в деревню. Эти открытия привели меня в некоторое возбуждение — я велел закладывать. Я собрался тотчас съездить в уезд, узнать подробности нашего дела.

6

Вернулся я уже в темноте, так ничего толком и не уяснив. В правлении я застал одного только пьяного коллежского регистратора, воевавшего с тараканами. «Бедные твари, — приговаривал он, всхлипывая, и хлопал их папкой для бумаг, — разве ж виноваты они, что тараканами вот родились?» Он смахивал рукавом пьяные слезы, тяжело вздыхал и снова прини-

мался давить насекомых со словами: «Ну, да и я не виноват, что человеком уродился». Червонца стоило мне добиться от него внимания, но он едва слышал о моей тяжбе: мол, крестьяне наши и сурневские уже года два как по ночам переставляют метки, отчего на меже иногда происходят кровавые драки, так что исправник то и дело мотается к Сурневым наводить порядок. В общем, дело было темное.

Между тем присутствие в столь недалеком расстоянии особы, записки которой, помнится, довелось мне подержать в руках, чрезвычайно расшевелило мое любопытство. Мне страсть хотелось взглянуть на нее, но вместе с тем ее имя напоминало мне несчастного Неврева, которого образ время понемногу успело исторгнуть из моей памяти. Недолго думая следующим же утром я натянул новые лайковые перчатки, подвязал галстух, вооружился щегольской тросточкой и сел в коляску. Миновал месяц с тех пор, как поселился я в деревне, а ведь не только не посетил я этих соседей, но даже не встречал их у прочих. Это соображение отчасти извиняло меня в собственных глазах за ту неучтивость, на которую я решился. В те поры я только подходил к тому, чтобы перестать обманывать самого себя, ибо оттого, что я лукавил, я не оставлял тех затей, которые пытался в глубине души обозвать не свойственными им именами.

Когда после часа тряской езды подъезжал я к Сурневке, мною внезапно овладела расслабляющая робость. По дороге я заметил, как неопрятно и оборванно были одеты сурневские мужики, ходившие как-то с оглядкой и не ломавшие шапки. Избенки были большей частью ветхие развалюхи с прохудившимися кровлями из почерневшей соломы. Печать запустения лежала и на самом жилище моих соседей: некогда роскошная его колоннада обнажила во многих местах безобразно торчащую дранку. Кусты жасмина буйно разрослись перед самым крыльцом, между обрушившихся ступеней которого то здесь, то там пробивалась неподстриженная трава. «Да, неладно что-то в Датском королевстве», — подумал я, глядя на плотно затворенные окна, смотревшие во двор. Никто, однако, не вышел встретить меня и принять лошадей — это мне показалось странно. Несколько минут я простоял у коляски, а потом сделал два-три несмелых шага ко входу. Тут наконец меня заметили — дворовая девка в красном платке и с задраным подолом шмыгнула мимо с охапкой мокрого белья.

— Дома ли господа? — крикнул я ей.

Она ничего не отвечала, лишь бросила на меня дерзкий взгляд синих, как небо в горах, глаз и исчезла за некрашеной дверью, ведущей, по всей видимости, в людскую. Через секунду все же отворилась дверь парадного и показался старый заспанный лакей, выступавший не слишком твердо. Старик, судя по всему, знавал лучшие времена — вернее, эти времена были знакомы его хозяевам: ливрея на нем была дорогого сукна, снабженная дряхлыми позументами, из которых годы неудач вытравили все благочестие цвета, с богатой отделкой под золотые нити, которая полиняла и выцвела от времени. Я назвал себя.

— Поди спроси, угодно ли барыне принять меня, — велел я лакею строго и вошел за ним следом в полутемную залу, потолок и лестница которой покоились на толстых мраморных колоннах. Мебели не было и помину, все мне показалось довольно пусто. На удивление скоро лакей вернулся и, указав мне на лестницу, проговорил хриплым голосом:

— Пожалуйста, просят.

Я вошел по ступеням, сопровождаемый стариком, от которого исходил упрямый запах вчерашнего хмеля. Он широко распахнул передо мной одну из дверей, выкрашенных когда-то белой краской, и встал за створкой. Просторная комната представилась мне. Высокие окна были занавешены, кресла стояли под чехлами. С одного из них из дальнего угла поднялась мне навстречу невысокая старушка в черном платье, что были в такой моде в окружении Марии Федоровны, и в черном же капоте. Маленькие цепкие ее ручки комкали тоже черный батистовый платок. Я

остановился и склонил голову, после чего подошел к ручке. Старушка умильно на меня взирала влажными глазами.

— Рады, очень рады, — заговорила она высоким голосом. — Я знавала вашего дядюшку. Да-да, — сказала она и поспешно вытерла непрошеную слезу. — Все мы смертны, что делать.

Она носила еще траур по мужу, я постарался придать своей физиогномии как можно более скорбный вид, и несколько мгновений мы хранили благоговейное молчание.

— Итак, мы теперь соседи с вами, — слабо улыбнулась Ольга Дмитриевна. — Надолго ли к нам?.. Да уж не отвечайте, не отвечайте, знаем мы эту молодежь — в глуши и месяца не выдерживают, скучно, конечно, здесь, что правда, то правда. Зато уж воздух... Простите, мой друг. Эй, Парашка, — возвысила она свой голосок, — чаю принеси нам!

Позади меня чья-то тень быстро пересекла солнечное пятно на полу. Я едва заметно улыбнулся на слова хозяйки и проследовал вместе с ней к круглому столику, за которым предстояло нам чаевничать. Завязалась неторопливая беседа. Потолковали о столичных знакомых, о родне, о всякой прочей чепухе. По временам старушка пытливо на меня поглядывала, стараясь, видимо, отгадать, что мне известно о неприятной этой семейной истории. Подали чай. Его поставила та самая девушка, что попалась мне на глаза у парадного. О тяжбе не было произнесено ни слова.

— Вы уж, пожалуйста, без церемоний, — сказала старушка, подвигая мне чашку. Я было принял ее, но у ней оказалась отбита ручка. Чай был еще горяч, и я не знал, как к нему подступиться. Моя хозяйка подметила это и вызвала Парашку, молча указав ей на чашку. Та зыркнула недовольно, посмотрела на меня с легкой улыбкой и медленно вышла, унося чашку и покачивая бедрами. Я кашлянул несколько раз сряду.

— У нас гости редки, — сообщила мне Ольга Дмитриевна как бы между прочим, — никто не ездит, да и мы поживаем, правду сказать, затворниками. Что ж поделывать, — вздохнула она, — видно, отжили свое.

— Да-с, — отвечал я не без смущения, зато уж и без всякого такта.

Чашка была заменена, так переговаривались мы, и новую успел я уже опорожнить раз пять, снова и снова наполняя ее дурно приготовленным напитком.

— У нас сад преинтересный, — нашла Ольга Дмитриевна, когда лагуны в нашем разговоре стали пугающе однозначны. — Покойник муж сам приглядывал, когда разбивали. Садовник из Англии приезжал, да вот, мошенник, — хихикнула вдруг она, подвигаясь ко мне и переходя на шепот, — и вовсе не англичанин оказался, а немец.

— Вот оно что, — отвечал я, украдкой озираясь в надежде на то, что ее дочь присоединится к нам. — А что, смею спросить, — начал я осторожно сворачивать на нужную тропинку, — вы одни изволите здесь проживать?

— С дочкой, сударь, с дочкой, — поспешно закивала головой хозяйка. — Одной-то скучно даже в мои лета.

— Что же дочка, не имею чести... — намекнул было я, как старушка прервала меня, замахала ручками и вторично кликнула Парашку.

— Ступай позови Елену Алексеевну, — велела она. — Скажи, новый сосед приехали.

Мы помолчали еще в ожидании дочки. Я уставился на дверь, откуда должна была появиться младшая Сурнева. Вместо нее, однако, развязной походкой вошла Парашка и объявила:

— Занемогли-с, не могут выйти.

— Ну, ладно, ладно, иди, боже ты мой, — с досадой приказала вдова.

— Всегда вот так, — пожаловалась она мне. — Когда-то еще порядочный человек пожалует... ну, да ладно. Не угодно ли сад осмотреть? — спохватилась она. — Сейчас, погодите, я провожу вас.

Я с готовностью поднялся. Мы спустились в запущенный сад. Мне то и дело приходилось умерять шаги, поджидая мою хозяйку. Было очевидно, что кончина супруга и скандальная история с дочерью сильно надломили

ее, и у ней не доставало более сил противостоять превратностям судьбы. Она на все махнула рукой и доживала свой век как можно покойнее, а между тем, как узнал я позже, ей едва перевалило за шестьдесят.

Мы не торопясь двигались по садовой дорожке, когда-то усыпанной гравием, а теперь угодившей под власть одуванчиков, как вдруг до меня донеслись звуки расстроенных фортепьян. Исполнялась печальная соната Скарлатти. Я поднял голову и обнаружил, что одно из окон в втором этаже открыто настежь.

— Кто это музицирует? — спросил я.

— О, да это Елена, кому же еще? Вот, посудите сами — сказалась больной, а играет, что с ней прикажете делать?

Я остановился и не отрываясь смотрел в окно. Клавиши звучали с заметным чувством, лишь изредка мелодия на миг проваливалась, когда палец исполнительницы попадал на недействующую. Но вот последнее *crescendo* достигло финального аккорда, и все стихло. За кисейным занавесом розовым пятном промелькнула женская фигура. Мне почудилось, что исполнительница грустных сонат за нами наблюдает, и я отвернул голову. Пора, однако ж, было откланяться — дело шло уж к вечеру, а отужинать мне не предложили, зато Ольга Дмитриевна просила на прощанье:

— Вы уж, будьте любезны, заезжайте к нам, не стесняйтесь, навещайте нас, в самом деле. *Allez nous voir, quand vous voulez. Il n'y a rien de mal après tout*².

Это был еще один осколок времени, ушедшего прочь.

7

Через неделю я возвращался из уезда и остановил кучера на знакомом уже повороте. Дорога уходила за молодые елки. «Не заехать ли?» — подумал я и приказал править в Сурневку.

К моему удивлению, мне опять были рады. Все было, впрочем, как в прошлый раз, и потому немного скучнее: снова мне подали чашку с отколотым краем, опять виляла бедрами бедовая Параша и фальшивые фортепьяна обдавали меня издалека крепко настоящими страстями. Но, главное, я был оставлен ужинать и увидал наконец Елену Сурневу. Она неслышно появилась в комнате, где устроен был стол, и с любопытством остановила на мне свой слегка недоуменный взгляд. Она не показалась мне отменно красива, но в ее чертах, в походке ее, в движениях сразу угадывалось то, что поэт Лермонтов в своем известном романе обозвал породю. Была она не слишком высока, изящно сложена, волосы имела с рыжеватым оттенком... Мне, право, неловко, что приходится описывать женщину словно английскую кобылу, но и не вижу нужды охать и ахать. Эти возгласы все равно никому ничего не пояснят. Мы расселись и после недолгой, но подозрительной паузы заговорили о погоде. Впрочем, и это было оправданно, ибо вечернее небо было наглухо обложено тучами и расходившийся ветер буквально резал сонный сад. Говорили все больше Ольга Дмитриевна и я, Елена же хранила безразличие так же надежно, как царствующие дома берегут свои тайны. Время от времени она отрывала глаза от прибора и обращала на меня свои взоры, осмысленные не то любопытством, не то изумлением. Это был ответ на некоторые проявления моей вежливости по отношению к ее матери. После ужина случился замечательный эпизод. Речь коснулась до музыки, и я, набравшись смелости, похвалил ее манеру.

— Да-да, Лена любит музицировать, — спохватилась Ольга Дмитриевна. — Леночка, дружок, сыграй нам что-нибудь... ну, к примеру... — Она растерялась и вздохнула: — Только инструмент у нас расстроен.

«Не один он», — подумал я и предложил неожиданно для самого себя:

— Не угодно ли, я привезу настройщика из Калуги?

² Заезжайте к нам, когда захотите. В этом, право, нет ничего дурного (франц.).

— Ну что вы, что вы, голубчик, не стоит труда, — нерешительно произнесла Ольга Дмитриевна и вопросительно взглянула на дочь.

— Отчего же не стоит? — насмешливо отвечала та.

«Ого, — отметил я. — Для начала неплохо».

8

На следующий же день настройщик был доставлен. Елена закусила губу и следила за его работой с недоумевающей улыбкой.

— Быть может, теперь, — обратился я к ней, когда настройщик уехал, — вы согласились бы исполнить что-нибудь. В благодарность за труды, — добавил я с поклоном. Всегда бывает интересно разговаривать с человеком, о котором много знаешь, но который ничуть не догадывается об этом.

— Выпьемте лучше чаю, — предложила она.

— Извольте.

Принесли чай.

— Матушка мне сказывала, — спросила вдруг она, — что вы служили в гвардии?

— Да, в лейб-гусарах, — отвечал я с возрастающим любопытством.

— Вы, верно, знали Вольдемара Неврева?

— Д-да, — слегка запнулся я, — как будто припоминаю.

— Это товарищ моего детства, — поспешно сказала она и покосилась на мать. — Мы росли вместе.

— Вот как?!

— Да, Вольдемар — сирота, и покойный батюшка опекал его. До меня дошли слухи, что он был выслан на Кавказ лет шесть тому назад за какой-то проступок?

— Пять, — возразил я. — Но ему не суждено было вернуться. За одну несчастную дуэль он был разжалован, переведен в рядовые и в одном злощастном деле угодил в плен к горцам.

— О боже, — невозмутимым голосом произнесла она. — *Матап*, вы слышите, Вольдемар Неврев в плену.

Старушка встрепенулась и перекрестилась. «И только? — подумалось мне. — Бедняк, бедняк, он не удостоился даже вздоха сожаления».

— Ах, — молвил я, — он любил, любил безответно... Эта любовь погубила его.

Елена пристально посмотрела на меня:

— Вам известно, кого он любил?

— Нет, я не знаю... Но хотел бы взглянуть на ту, которая оказалась недостойной подобного чувства.

Ничто не изменилось у ней в лице после этих слов.

— Какой вздор вы говорите, — заметила она. — Почти все мужчины рассуждают так — если он кого-то любит, то считает это уже непременною причиной, чтобы и его тут же полюбили. Вы ведь знаете, как говорят: сердцу не прикажешь. Да и нужно ли это делать?

— Может быть, вы и правы, — вздохнул я, — теперь ему уж все равно.

— Все равно?

— Именно. Жив ли он вообще? Кто знает...

— Может быть, и жив, — задумчиво проговорила она. — Тем людям, у которых судьба отнимает все, обычно она дарует долгую жизнь.

— Сомнительное благо, — усмехнулся я, — когда жизнь пуста.

— Только жизнь и ты, — продолжила она задумчивым своим голосом. — Не правда ли, пленительное сочетание?

— Не берусь судить, — почти зло откликнулся я.

9

Спустя дней десять я снова был в Сурневке. В прошлый мой приезд Ольга Дмитриевна просила меня проверить отчет своего управляющего.

— Уж такой разбойник, — сообщила она печально.

— Помилуйте, да зачем же вы держите такого? — возмутился я.

— При покойном муже все бывало строго, — сказала она вместо ответа. Я покачал головой, но обещал разобраться. Между тем о нашей тяжбе — молчок.

Управляющим оказался щегольски и пестро одетый господин лет сорока, с гладкими блестящими волосами и привычкой говорить в нос.

— Со всем моим почтением, — шнырял он хитрыми своими глазками, на какие так падки непритязательные купеческие дочери.

Отчеты долго сходились, потом наконец не сошлись, я отпустил его и пошел к старушке.

— Его вон надобно гнать, — сообщил я ей свое мнение.

— Как это, однако, решительно, то, что вы говорите, — испугалась та.

— Ну, как угодно, *madame*.

Я понял, что здесь мне не добиться толку, и отправился к Елене.

— Видите ли... — я отвел ее в сторонку, но не знал, как начать, спотыкаясь об ее недоуменно-насмешливый взгляд, — коль скоро матушка ваша... так сказать, просила моего содействия... так я не пойму, право...

Наконец я собрался и как можно мягче изложил суть дела:

— Елена Алексеевна, для вас не секрет, конечно, что Ольге Дмитриевне тяжело управляться с делами, в ее-то годах, но вы-то могли бы, наверное... негодяй обкрадывает вас безбожно.

— А-а, — протянула она и отошла к окну, — вот вы о чем... А можно я вас спрошу? — повернулась она.

— Что за вопрос.

В ее голосе я не уловил подвоха.

— Отчего вы не боитесь бывать у нас? — без тени улыбки проговорила она. — Нас чураются, словно прокаженных, и вы, вероятно, знаете причину. В столичных салонах длинные языки, не так ли?

— Я вас, простите, не вполне понимаю. — Я изобразил полнейшую растерянность. — Ежели я нарушил... если смел нарушить ваше спокойствие...

— Да нет, — прервала она меня с усмешкой.

«Боже мой, — бранил я себя с досадой, — какой дурак. Зачем надо было лезть».

— Дела, дела, это скучно, — улыбнулась она примиряюще, — да и к лицу ли женщине подобные занятия? — Она помолчала. — Любовь — вот наше призвание, — закончила она со смехом.

— Вы жрица любви? — вновь осмелел я.

— И ни разу притом не изменила своему божеству. — Она прошлась по комнате.

Я удивленно поднял брови.

— Я хочу сказать — я ни разу не любила.

Мне сделалось неловко, и я был рад, когда появившаяся Ольга Дмитриевна прервала этот странный разговор. Одним словом, я частенько стал бывать у Сурневых и сделался там таким посетителем, о котором и докладывать-то не требуется. Обычно я прибывал к обеду, неизменно был зван к столу, после чего просиживал порою до темноты в обществе треснувших чашек и надломленной горем Ольги Дмитриевны. Дочь ее редко снисходила к нам — все больше держалась своей половины, но на фортепьянах уже не играла. Быть может, мое присутствие смущало ее. Как бы то ни было, меня это трогало весьма мало. Зачем же я ездил к ним? Я тоже задавался этим вопросом.

Иногда, впрочем, Елена нарушала обыкновенное свое уединение и подсаживалась к матери, прислушиваясь к нашим хозяйственным материям, но в беседе участия не брала. Лишь однажды, ненастным вечером, ког-

да Ольга Дмитриевна, мучимая мигренями, рано удалилась и я взялся было за шляпу, младшая Сурнева неожиданно попросила меня задержаться еще. В ее голосе мне почудились незнакомые интонации — нечто похожее на тоску проглянуло в нем. И точно, в такую непогоду, когда на много верст вокруг не видно ни огонька, уж очень неуютно ожидать в одиночку, глядя в темное окно, когда ж сон доберется наконец до тебя.

Я остался.

— Верите ли вы в предопределение? — спросила она, отворачиваясь от мокрого стекла.

— Для чего вы спрашиваете? — несколько удивился я.

— Для того, что любопытно знать суждение.

— Ну, как вам сказать, — заложил я ногу за ногу, скрестил руки и задумался. — И да, и нет. Позвольте, я поясню. Ведь если точно есть предопределение во всех наших помыслах, поступках... говоря короче, во всех проявлениях нашей жизнедеятельности, то зачем тогда даны нам воля, рассудок?

— Затем, чтобы сочетаться с судьбой, — сказала она.

— Может, оно и так, — согласился я, — только все равно мы не способны определить это сочетание.

— Зато способны почувствовать.

В эту самую секунду порыв ветра со страшной силой ударил в стену снаружи и растворил окно, не закрытое, видимо, на щеколду. Рама задрожала, зазвенело разбитое стекло, свечи погасли. Елена испустила слабый крик. На шум вбежали люди с огнем. На мгновение он высветил ее лицо, и от меня не укрылось, как бледно было оно. Несколько времени она стояла неподвижно, скованная какой-то страшной ей мыслью, потом бросилась ко мне, ухватила меня за руку и жарко зашептала на ухо:

— Уйдемте, уйдемте отсюда, я умоляю вас, скорее, скорее, умоляю вас.

С этими словами она увлекла меня из гостиной в соседнюю комнату.

— Принесите сюда свечей, — истерически закричала она прислуге.

Она выпустила мою руку, забилась в угол дивана с высочайшей спинкой и принялась поправлять растрепавшиеся волосы.

— Простите меня, ради бога, — через силу улыбнулась она, — мне стало страшно.

— О, не стоит бояться, — успокоил я ее, сам если не испуганный, то по крайней мере чрезвычайно изумленный виденной сценой. Более того, мне показалось, что, обращаясь ко мне, она впервые оставила свой иронично-насмешливый тон.

— Чего же вы испугались? — развязно спросил я.

— Вы не станете смеяться?..

— Как можно.

— Этот ветер... Как будто ответ на те мои слова... Ну вот, что же вы улыбаетесь?

— О нет, нет.

— Скажите откровенно, вам никогда не делалось страшно жить?

— Страшно жить? — хмыкнул я. — Но ведь страх бывает разный...

— Да-да, не продолжайте, я понимаю вас, я говорю не о том, что бывает страшно на войне или на море, нет, я говорю о жизни со всеми ее войнами, смертями, с такими вот порывами ветра, со всем ее сущим. О жизни... — Она умолкла.

— Я слушаю вас.

— Да, вообразите, мне жутко, страшно жить. Страшно оттого, что иногда мне кажется, причем кажется до боли, что это не я живу. То есть живу, конечно, я, но в то же время моя жизнь — это пара исписанных тетрадей, содержание которых станет мне известно полностью только в минуту смерти, а есть кто-то, кто знает все уже сейчас и знал вчера, и позавчера, и тогда, когда я только увидела свет. Знает, потому что сам и сочинял, сам заполнял эти листы. О, это действительно страшно, у вас бывало такое? Бывало? Почему вы молчите?

— Вас слушаю.

— Ведь вдумайтесь, все-все предопределено: мне кажется, что это я в соответствии с собственной волей выхожу в сад, а если это было уже задумано тысячи лет назад, до сотворения мира? Если так? Кому же мы служим беспомощными игрушками? Неужели вам не страшно от этого?

Я пожал плечами:

— В конце концов, как говорит Лафатер, конечная цель любого бытия — оно само.

— Я не знаю, кто это — Лафатер. Однако не слишком ли это просто?

— Помилуйте, не проще, чем Бог.

— Куда же подевались дерзкие гигантомахи, где могучие богоборцы? Как поскучнел мир! Человек проиграл эту схватку с самим собой.

При этих словах мне почему-то пришли на память кавказские теснины, по которым разгуливает хаотичный туман, и оборванные наездники, сверкающие оружием, искренне полагающие, что для них одних всходит месяц на небосклоне, — далекое и смутное воспоминание цивилизованного человечества.

— Где же наш выбор? — продолжила Елена. — Нам некуда деться, решительно некуда — ни здесь, при жизни, ни там. Здесь тешишь себя мыслью о смерти, а что дает она? Судилище и опять существование. Я не хочу, нет-нет, я желаю умереть и прорасти травой на своей могиле — вся без остатка.

Я вспомнил, что уже слышал нечто похожее от Неврева. «Как странно, — подумал я, — что такие родственные души не поняли друг друга». В подтверждение моих мыслей она продолжила так:

— Мы даже не вправе выбрать и то, из чего эта жизнь состоит. А между тем как мало у ней составляющих! Сон, да еда, да любовь, да война, стремление к власти...

— Пороки и страсти, — со смехом закончил я. — Боятся те, у кого имеется на это причина. Что за причина у вас? Вы рассуждаете, как закоренелая грешница, — заметил я.

Она ответила мне забавной гримасой. Я расхохотался, и она тоже сделалась повеселей. Было уже поздно, и я остался на ночь, тем более что за окнами стояла стена дождя. Мы говорили еще с час, пока она не успокоилась вполне, после чего Параша проводила меня в приготовленную мне комнату. Я шел за ней в нижний этаж, она то и дело оборачивалась ко мне на секунду и едва заметно улыбалась. Один раз она остановилась внезапно, выронила свечу и нагнулась нащупать ее на полу. От неожиданности я натолкнулся на нее... Не знаю, нарочно ли она сделала это или вправду споткнулась, но только когда я поутру вышел из комнаты, она бодро прибиралась в людской. Едва я показался в дверях, она подняла на меня румяное лицо — оно было свежо, как будто и не бывало для нее бессонной ночи, а глаза ее смотрели так же дерзко и неукротимо, как и в первый мой приезд.

Я уехал не простившись. Погода успокоилась — было солнечно. Множество дождевых червей растянулись на дороге, блестя огромными лужами. Минувший день и прошедшая ночь дали мне знать о рождении какого-то непонятного, неуловимого чувства; они, как озноб перед горячкой, если не объявили прямо о его существовании, то по крайней мере послужили предтечей его.

Целый день я просидел у себя в кабинете не снимая халата, затем выпил вина и к вечеру отправился к одному из своих соседей — отставному поручику Хруцкому, у которого не было ни одной дочери, зато на дворе резвились десятка два борзых.

11

Хруцкий был пожилой уже вдовец, страстный охотник и еще больший охотник выпить. Два его сына служили где-то в армии. Он жил один в невысоком доме с мезонином, к которому флигелями были пристроены ко-

нюшня и псарня. Хозяин вышел встретить меня на крыльцо, но до тех пор, пока не показал всех своих собак, в дом мы не попали. Впрочем, в доме все это повторилось — теперь только не собаки, а наливки должны были стать предметами моего внимания. Я нахваливал и разглядывал убранство залы, где мы помещались на древнем диване. Внимание мое привлекли прекрасные картины, украшавшие простые стены. Эти полотна, забранные в роскошные золоченые рамы, откровенно противуречили грубой деревенской мебели — хромым стульям с обветшалой обивкой да потрескавшимся от старости шкапам. Особенно приковал мой взгляд один портрет, изображавший женщину замечательной красоты. Неведомый живописец расположил женщину в креслах, на колени ей посадил ребенка — мальчика лет десяти, в кружевной сорочке и атласных панталончиках. Я подошел поближе к портрету: темные волосы и восточные глаза, легкая смуглость лица неизвестной давали понятие о свежей красоте Азии. Вместе с тем в лице мальчика почувствовал я нечто до боли знакомое.

— Откуда у вас этот портрет? — спросил я своего хозяина.

— Портрет? — Он оторвал губы от стопки. — Портрет, хе-хе... Все эти картины — суть трофеи отставного поручика Н-ого полка Хруцкого, добытые непосильными трудами на полях сражений.

Хруцкий, видя мое недоумение, довольно посмеивался.

— В польскую кампанию, — пояснил он, — случилось мне быть в действующей армии, вот я и воспользовался выгодами, какие нам доставляет война.

— Но позвольте, не в обозе же все это возили?

— Эх вы, молодежь! — обиделся вдруг он. — Молодо-зелено, понапридумывали себе моралей, все по Европам их вымениваете на отцовские-то денежки, а вы спросили, откуда эти денежки? То-то...

— Да помилуйте, — опешил я, — и в мыслях не было...

— Зачем, батюшка, добру пропадать? — не дал он мне договорить. — Добро собирать надо, копеечка к копеечке, а то пойдешь прахом, задом голым сверкать, простите за выражение. А вот, погодите, что вам еще покажу... Да-с... это вещица не простая, с секретом вещь, хе-хе... — Хруцкий порылся в шкаф и извлек оттуда шкатулку.

Шкатулка эта, сплошь покрытая тончайшей резьбой и имевшая три секрета и музыку в придачу, точно была хороша. Я повертел ее в руках и поставил на стол.

— Однако, Иван Иваныч, скажите, пожалуйста, как очутились у вас эти картины?

— Что, нравятся картины? Не картины — полотна-с, — удовлетворился Хруцкий. — Да что о них толковать, давайте я вам лучше щеночков покажу от Белки.

— Обязательно, но сперва про картины расскажите.

Было видно, что ему страх не хочется говорить ни о чем, что не касалось бы до его собак, но я проявил настойчивость, и он скрепя сердце начал так:

— Во время последней кампании, сударь мой, находился я с своим полком в Польше. И в сражениях участвовал, всякое бывало. За это имею Станислава четвертой степени, да-с... Ну да вам про картины эти знать приспичило — извольте. Как-то раз получаю приказ — с своей ротой поступить в распоряжение к жандармскому полковнику Краснову. Я, знаете, не люблю жандармов, ну а поляков еще больше. Что ж, и они люди, служба у них такая, потому как кому-то же надо... так сказать... Так вот, полковник отправлялся в имение какого-то графа, у которого, как стало известно, укрывались некоторые бунтовщики. Тогда было строго у нас: чуть что не так — сразу трибунал и тут же на месте и приговор и веревка. Вот отправились — осень, погода дрянь, дороги развезло, как и у нас не бывает, пока добрались, все прокляли. Ну, заходим в дом с Красновым. Он — так и так. Встречает нас хозяйка, красивая такая паночка. Никого, говорит, паны офицеры, у нас нет и быть не может, и все в таком духе. А то признается? Ну, мы солдат позвали и давай везде искать. Она смотрит

злобно — сразу видим, что не зря стараемся. Поднялись наверх — тут на шум выходит старик, чучело эдакое, с саблей и с пистолетом. Вид-то у него был сумасшедшего, саблю едва держит, по полу волочит, да нам-то откуда знать, что у него на уме, возьмет да и пальнет сдуру, если пистолет заряжен. Паночка эта, как его увидела, руки заломила. Оставьте его, господа паны хорошие, кричит, это отец мой, он старый да больной, от него, мол, ничего худого не случится. Краснов ей говорит: так-то так, мадам, но оружие отнять у него надо. Какой там! Началась возня. Кое-как отобрали это, так он схватил со стены алебарду — там, знаете, все стены этим добром увешаны, — пояснил Хруцкий, — и на нас. Ну-с, тут уж пришлось взять меры самые строгие. Пока мы с ним канителились, снизу прибегает фельдфебель. Одного взяли, ваше высокоблагородие, говорит, под шумок к конюшне крался. Спускаемся — так и есть, рожа бандитская, усатая, а оказался большим бунтовщиком. Пошли опять к старому графу. Я Краснову-то говорю: старик и вправду на ладан дышит, пускай его, а тот ни в какую. Если укрывал, говорит, повезем его с собой и дочку с собой. А уже казаки лошадей принялись из конюшни выводить во двор. Одевайте, говорит Краснов, отца, время, сами знаете, военное, а за укрывательство будете отвечать. Тут она возьми да и скажи: вы не имеете права, полковник, ничего со мною сделать, потому как я веры православной и замужем за русским князем... вот фамилию не припомню, но известная, — поморщился Хруцкий. — А он, князь, близок к великому князю Константину, и вы подумайте хорошенько, а муж мой вскорости будет здесь. Гляжу, полковник мой и впрямь призадумался. Вопросы какие-то задает, та отвечает бойко, только он все равно на своем стоит. Вы, говорит, оставайтесь, а отец ваш поедет с нами...

Хруцкий хватил стопочку, облизал варенье с ложечки и вздохнул:

— Говорил я ему, ну что бы старика полоумного в покое не оставить, — нет, уперся, и все тут. В общем, умер граф в своих кабинетах. Мы все спорим, а он уж с полчаса как Богу душу отдал. Дверь открыли — сидит за столом. Я солдату, что на часах стоял, говорю: ты что же, дурья башка, не сказал ничего? А ему что — только глазами хлопает. Как паночка это увидела, так что с ней сделалось, не могу описать... Но вы пейте, батюшка, наливку, ей-богу, хороша... А картины-то я из огня уже вытащил, вместе с солдатами, да еще кой-что. Что успели. — Хруцкий вздохнул.

— Из огня? — переспросил я.

— Из него, — согласно кивнул он. — Сгорел весь дом. Да и дом-то был — то ли дворец, то ли замок, у нас-то этак не строят. Вот, извольте видеть, когда все это случилось, гляжу, проходит в кабинет ксендз, отмыкает стол и достает какие-то бумаги. Я обязан был осмотреть, ну и доложил Краснову. А Краснов-то с ксендзом с этим приветствуется как с знакомым. Я, оно и понятно, удивился и стал прислушиваться, о чем они говорят. Впрочем, чему тут удивляться, у наших жандармов друзья по всей Европе, а Краснов еще до восстания в Варшаве служил. Говорили-то они по-французски, а я, знаете ли, только и помню что «*ce cheval n'a jamais été monte*»³ да «*messieurs, la vodka est charmant*»⁴.

Ну да любопытно было, я уж поднапрягся, тогда помоложе был, кое-что уразумел. Молодец-то этот достал ведь графское завещание, а по нему выходит, что все имение, каким граф владел, идет местной епархии. Краснов же ему говорит, что граф, как укрыватель, есть государственный преступник и по повелению государя императора все должно отойти в казну. Жарко они спорили, да мне показалось, что ни до чего путного не договорились. Вскоре после этого и занялось.

— Кто же поджег? — спросил я.

— Темное дело, батюшка, темное... — задумался Хруцкий. — Вроде как ксендз этот с досады, что добро от него уходит. Страшно вымол-

³ Недурна лошадка (франц.).

⁴ Господа, водка — прелесть (франц.).

вить, — Хруцкий скорчил прескорбную мину, — а ведь сволочь, сволочь, сударь. Я-то сам не видал, ну а двоих казаки поймали. Те на попа и кивнули, что, мол, он велел. Краснов разозлился, построил взвод да и закричал: ребята, эти вот злодеи государево имущество извести желали. Тут же их поставили да и дали залп.

— Что вы такое говорите? — возмутился я.

— Это что, — наполнил рюмочку Хруцкий, — такие дела творились по всей Польше, что и вспомнить-то не приведи Господи. — Он торопливо перекрестился и продолжил: — Однако ж еще кое-что было. Что успели, повытаскивали из огня, я коляску доверху набил. Все равно крестьяне бы растащили, а у меня, посудите сами, жалованья кот заплакал. Уж собрались было трогаться — пальба. Что еще такое? Оглянулся — мальчишка стреляет с седла. Вот ведь какой народ! Сопляк сопляком, а туда же. Наших он никого не задел — ружье-то, видно, тяжеловато-ему было. Но на лошади хорошо держался — казаки пустились за ним, а он в чашу, да и был таков. И то сказать, конь какой под ним был. Казачки наши чуть не плакали с досады. Хе-хе... Самый воровской народ, батюшка, так и норовит исподтишка в тебя пулю всадить, да только без царя в голове. Между собой ужиться не могут, а туда же — бунтова-ать...

— А скажите, — перебил я в нетерпении Хруцкого, — не эти ли люди здесь изображены?

— Не знаю, сударь, — после некоторого раздумья отвечал тот. — Может быть, и они. Тот-то парень постарше был... да, постарше...

— Что с того? Портрет мог быть ранее написан, не правда ли?

— Ах, не помню я, вам-то что за дело?

— Да какое уж тут дело — так, любопытство одно, — отговорился я. — Ну а что с графией случилось? Не сгорела ли она?

— Никак нет-с, мы с женщинами не воевали, вытащили ее, как только загорелось. Люди ее и вытащили, — удовлетворенно крякнул он.

— А что, Иван Иваныч, — решил я наконец, — не продадите ли мне этот портрет?

— Этот портрет? — выпучил он глаза. — Да помилуйте, на что он вам дался. Вам, сами изволили сказать, баловство, а для меня воспоминание... Впрочем, извольте, за двести рублей уступлю... Да и что за народ, посудите сами, — хохлы не хохлы, наш брат славяне, а туда же, за Европой тянутся, кости ловят, объедки подбирают... Ох уж эта мне Европа... вся зараза оттуда идет... — бормотал он, пересчитывая ассигнации.

— Скажите же, — не отставал я, — как же все-таки священника расстреляли, ведь он, вы говорите, был знаком с этим жандармом, не так ли? Не было ли личных каких причин?

Хруцкий снова выпучил глаза и тупо на меня уставился.

— Были — не были, я в эти дела не вникал. Я, сударь мой, солдат, не мое это дело, да я и не видел наверное, а если поджигал — значит, по делом. Вы поляков не знаете — такой уж народ. Всего ждать можно-с. Думают, что из золота сделаны, а сами... Однако пойдете щеночков смотреть, а то уж ужинать пора...

12

Наливки моего соседа оказались удивительной крепости, так что я возвращался пьяный и злой. Хозяин был отличный человек, но имел буквально обо всех предметах столь странное и однозначное суждение, выражавшееся глупым хохотом и протяжными междометиями, что я с ужасом представил себе утро в его благодушном обществе и не поддался на уговоры остаться. Тяжелый хмель душил меня, ночь едва успела остудить давешнюю жару, и я злился, потому что подозревал присутствие чего-то такого, что охватывает безвозвратно, дурманит, берет в плен, лишает разом

воли и рассудка и беззастенчиво повелевает тобой. Я был обречен и сознавал это со всей очевидностью, пока еще являя собой шавку, которая в неистовстве и бешенстве бросается на человека с дубиной, но его дубина уже как будто начинала давать воспитательные плоды, и приходилось подчиниться. Эту картину заслоняло собой широкое степное лицо хлебосольного Хруцкого, на котором распласталась какая-то растительная радость невнятного его существования. «Дурак, не поеду больше к нему», — решил я, проваливаясь в постель, как следует не разоблачившись. «Но все-таки, — припомнилось мне, — конечная цель любого бытия...»

Возвращение в мир тревог оказалось тернистым — я был мокрый как мышь, голова не отрывалась от подушки. Я спросил рассолу и провалялся до обеда, проклиная белый свет и его составляющие — почти как Елена Сурнева. Однако всемогущее чувство было тут как тут и помешало мне явиться к столу растрепанным и в халате. Я хмурился, поглядывал исподлобья на прислугу, топил ложку в густом борще, но стоило на секунду забыть, как я буквально растворялся в легких и захватывающих мечтаниях. «О, подлец, — сетовал я на себя, — осквернитель дружества, почти Эдип». Но эти оскорбления только добавляли веселья. К вечеру я попытался сбежать от себя в наш уездный Н., однако влюбленный *alter ego* не отставал ни на шаг и вместе со мною таращился на кокетливые шляпки в магазине *madame* Пичугиной, в котором не было вовсе покупателей, зато было много мух, бродил по немощеному бульвару под взглядами маменек и дочек — взглядами стремительными, неудержимыми, как атака кавалергардов при Аустерлице. Потянулись дни, отмеченные борьбой, а также тайным моим стремлением потерпеть поражение. По утрам я взбирался на стены своей крепости, при дневном свете казавшейся мне неприступной, и лил с высот на неприятеля потоки кипящей смолы и брани, ночью же украдкой выносил в собственном плаще землю из подкопа, через который и намеревался перебежать к врагу, зовущему меня неведомым зовом.

Однажды ночью я вполне отдался обуревавшему меня чувству. «Неужели — да», — признался я, и вдруг эти слова радостно и беззаботно застучали в потоке крови, толчками идущей в висках. Я с удовольствием подумал, что каретный сарай так и останется с незаделанной крышей до следующего лета, а флигель не будет пристроен. Этими занятиями я от скуки руководил лично, но пришла любовь, и мне стало не до них. К тому же сухой стук топоров будил во мне худшие чувства. Я с упоением готовился к поездке в Сурневку и, подыскав вскоре незначительный повод, отправился знакомой дорогой.

13

На этот раз меня встретили несколько настороже. Как будто флюиды чувства, носителем которого я являлся, беззастенчиво и красноречиво обосновались в воздухе этого дома задолго до того, как я уселся в коляску. Мне казалось, что я в самом нескромном виде предстал взорам дам, которые отнюдь не отгораживались от этого зрелища батистовыми платочками и не вдыхали нервически нюхательной соли, а смотрели прямо и насмешливо. Но я ведь прибыл сдать, на что же было пенять? С пленными не церемонятся. Старушка была что-то уж слишком неразговорчива и поглядывала на меня с опаской и неудовольствием, а Елена то и дело заставляла меня глядеть себе под ноги. В довершение всему проклятая дворня зашла за дверьми и нагло перешептывалась. В напряженной тишине я даже слышал, как падала на паркет шелуха от семечек, и ушей моих достигли приглушенные девичьи смешки. Я было отчаялся, но вовремя вспомнил, что и сами пленные обычно обретаются в непотребном виде, — я в свою очередь решил не церемониться. Вальяжно развалившись в креслах, я дерзко и улыбочиво поглядывал вокруг и делал изумленной Елене самые нелепые и неудобные вопросы. Я спрашивал, к примеру, есть ли в доме клопы, интересовался, во что стало надетое на ней платье и где сейчас находится персидская кошка, которую замечал я ранее.

— Чем вы так взволнованы? — осведомлялась моя хозяйка, а я, помогая себе жестами, никак не делающими чести племяннику моего покойного дяди, продолжал в том же духе. Впрочем, это забавляло Елену, и вскоре мы, к обоюдному удовольствию, стали похохатывать. В этот момент в дверях показалась Ольга Дмитриевна, бросила укоризненный взгляд уже дочери, а мне улыбнулась. «Черт знает что», — подумал я.

Ледяные нотки вновь зазвучали в оттаявшем было голосе младшей Сурневой. «На сколько же лет она старше меня?» — пробовал я подсчитать в уме, но вместо этого сделал это вслух. Я боялся себя, боялся ее, вспоминал Неврева, нервничал и старался сделать ей больно. Я нападавал все язвительнее, выдавая себя вполне, и оттого расхохотался еще больше и начинал испытывать к ней уже нечто вроде ненависти.

— Однако, хватит, — со стуком захлопнула она крышку фортепьян, — это переходит уже известные границы.

— Ну что ж, — тяжеловесно парировал я, — я добился того, чего хотел.

— Этого ли вы хотели?

Мы простились очень холодно, и в крайней досаде на свою глупость я ехал домой, проклиная ее, себя, все вокруг. В последнее время я взял манеру проклинать чересчур часто, и это открытие также не обошлось без проклятия. Будучи раздражен до последнего предела, я даже легкое почесывание от ворсинки одежды принял за укус насекомого. «Неужто я клопов на себе притащил?» — ужаснулся я, поднял своих людей, и до света мы искали несуществующих клопов, бегая со свечами по всем комнатам, перетрясая тряпки и ворочая мебели. Клопов я боялся до смерти, а смерти — еще больше.

14

Всю следующую неделю я провел с гадким чувством. Невезение казалось мне почти итогом всей дурацкой жизни. С досады я принялся было читать, но именно по этой причине чтение не шло, и я слонялся по дому, злобно и презрительно взирая на ежедневную суету своих владений. На глаза мне попался старый шкаф, оклеенный изнутри разноцветной бумагой. Шкап помещался в темном чулане, куда залез я от скуки. Я с детства помнил этот неуклюжий, покрытый темным лаком и буйной резьбой шкаф, испокон веков стоявший в чулане, где много лет назад я частенько проводил долгие, но загадочные часы, скрываясь от мсье Брольи. Тот поднимал в доме переполох, все бросались на мои поиски, и всегда меня кто-нибудь обнаруживал. Я выглядывал из пыльной темноты умоляющими глазами, которые по тесноте чулана заменяли мне отчаянные жесты, и просил не выдавать моего убежища. Меня искали дальше, а я удобно устраивался на старых матрасах и, замороженный, впивался взглядом в полоски света, проникавшие из солнечного коридора через кривые дверные щели. Дверь почти наглухо отгораживала солнце, и всего две светлые полоски, упруго застыв у порожка, вторгались в царство тьмы. «Вот в чем дело, — размышлял я, опершись спиной о черный шкаф, — все дело в том, чтобы не закрывать дверь, — тогда свет будет переходить в темноту плавно и постепенно, незаметно и неторопливо».

Шкап всегда стоял под замком, и что таил он в своих неведомых недрах — про то знал один мой покойный отец. С грустной улыбкой ласкал я глазами эти остатки своего детства, пытаюсь хоть на секунду зацепиться за него, за какой-нибудь его остро и неосторожно выступающий уголок, распластав душу в воспоминаниях... Я вызвал Трофима и велел принести ключи от старого шкапа. Трофим зашаркал за ключами, но ключей не нашлось, и мы сломали замок железной палкой. Дверцы словно приросли к основанию — дерево скрипело, обсыпая меня какой-то шелухой, отставшими кусочками лака, травяной пылью, трухой и черт знает чем еще. Я распахнул их широко и заглянул вовнутрь. Шкап был почти пуст — в углу на боковой стенке висел иссохшийся березовый веник, на дне белели об-

рывки материи, а на верхней полке я обнаружил несколько старых книг. Я обтер их и прочитал названия. Одна была французская и называлась «Любовь до гроба», другие были на родном языке, но носили не менее захватывающие заголовки. Впрочем, одна оказалась «Философией» Шервуда — ее я поставил на место.

«Какая прелесть», — благоговейно шептал я, чувствуя в руке несколько фунтов увесистой любви, не ощущая, однако, тяжести гроба. Я жадно набросился на свое приобретение. Я читал, как готовая на все (во имя любви) девица де Труа, возвращенная в душном от одеколонов покое с видом на бескрайние провансальские виноградники, мечтала о принце, который вывел бы на свет божий ее истосковавшуюся по воле душу, в то время как ее суровый отец гонялся за алжирскими пиратами близ Сеуты, следя, однако, как бы самому не угодить в лапы испанцев... Принцем оказался худощавый юноша, весь сентябрь таскавший корзины с виноградом под самым окошком томной, но самоотверженной девушки. Едва она взглянула на него черными горячими глазами, ей сразу стало ясно, что парень — не простолюдин, а урожденный дворянин, родителей которого давным-давно поглотил мерзкий дракон на самом краю христианского мира. Ведь только так можно было объяснить, почему незнакомец имел такие чудные маленькие руки и не стриг роскошных льняных волос... Впрочем, я не стану пересказывать концовку этого поучительного романа — вы все увидите сами.

15

Все свершилось на удивление быстро: я прибыл в Сурневку незадолго до заката, уж и не могу сказать — намеренно ль, нет ли. Ольга Дмитриевна снова удалилась хворать. Елена обрадовалась мне! Вот чего я не ожидал. Она неподдельно улыбнулась и облегченно произнесла:

— Ну вот, нельзя же так, право. — Она взяла меня за руку, но, смутившись, тут же отдернула свою.

Было поздно, когда, наговорившись, мы замолкли на мгновение; она подошла к окну, я неслышно приблизился сзади, поражаясь своей храбрости. За моей спиной догоревшая свеча делала последние попытки рассеять лиловый мрак, жидкая желтая луна стояла низко над черной полоской леса и клала свой неземной свет на пол через раму окна причудливым узором. Одна полосочка попадала на обнаженную Еленину шею — до этого кусочка кожи я и дотронулся губами. Она как будто ждала этого — порывисто обернулась и, съжившись, очутилась в моих объятиях. Я себя не помнил и никак не мог оторваться от холодных ее губ.

— Я принесу тебе несчастье, — прошептала вдруг она, еще теснее прижимаясь ко мне. Я почувствовал, как теплая слеза прокатилась у меня между пальцев.

Елена смотрела в окно. Огромная луна во всем своем непознанном могуществе, словно олицетворение судьбы, еще ближе придвинулась к дому и обливала нас своими мягкими серебряными лучами. Это зрелище показалось мне многообещающим и зловещим. Я усмехнулся.

16

Нас венчали воскресным днем в первую неделю бабьего лета, на Рождество Пресвятыя Богородицы, у нас, в Никольском. Гостей почти никого не было — так, два-три местных помещика. Матушку я вызвал заранее, и сейчас Хруцкий в куцем фраке ублажал ее своим обществом, при разговоре почти касаясь матушкиной щеки своим красным носом. Она вежливо отодвигалась. Хруцкий хохотал. Поначалу матушка сильно противилась моему выбору, но я был непреклонен, и она скрепя сердце уступила. Изрядно уже навеселе, меня тронул за рукав Хруцкий.

— А ведь я лгун настоящий, — весело подмигнул он мне. — Ведь я вам налгал давеча, а прямодушие есть мое неизменное правило. — Он глядел на меня, счастливо хлопая веками.

— Полноте, о чем вы? — не понял я.

— Ведь солдат мой зажег невзначай.

— Что зажег? Какой еще солдат?

— Да дом-с, замок-с.

— Что за дом?

— Да графский же дом. Ну, тот, откуда картины эти происходят. Вспомнил я вчера. Что-то пошел я щеночков своих проведать и припомнил. Дом-то когда обыскивали, так один солдат попал в комнаты и увидел там странность: ничего, извольте видеть, в той комнате нет, одни стены, а в самой середине на полу в большущей такой железной миске огонь горит. Не то чтобы камин — нет-с, заклятие какое-то. Вокруг дрова наложены грудями и все, заметьте, от коры очищены, разве что с мылом не мыты. Погода-то была неважная, дрянь была погода. Ну, шинель-то и намокла. Он, болван, и завалил миску полою. Оттого и занялось. Я, знаете... не то чтобы... а порядок в роте всегда имел отменный. Но что же делать прикажете, если дурень такой попался. Ничего-с не поделаешь... От свечки, говорят, Москва сгорела, — захихикал Хруцкий. — Я никому и не говорил, потому что, может, и поп поджег, а у меня, так сказать, карьер. А вам сейчас говорю, потому что вижу, что вы человек с понятием и благородный.

Сразу после свадьбы мы с Еленой намеревались выехать за границу, а в ожидании необходимых документов поселиться в Петербурге, в доме покойного дяди.

— Я не представляю себе, как мы вступим в осень. Здесь, среди этих унылых холмов, — говорила мне Елена, ежась на солнце, как будто уже продуваемая осенним ветром. — Ты только представь себе, — твердила она, — только представь: деревья станут голыми палками, их все до нитки вылижет мокрый ветер, бр-р-р, грязь, слякоть, дождь день за днем, а главное — темнота, темнота, о боже, это невыносимо. Поедем в Италию, быть может, там будет сухо и светло. Но твоя *татап*... не могу понять, ненавидит она меня или презирает?

— Она грустит, — улыбнулся я, — всего лишь грустит.

17

В дядюшкином доме все было строго и пусто. Люди сновали по нему неслышно и незаметно, как тени. Мебель не меняли, все оставалось на своих местах. Среди дядюшкиных вещей, мне переданных, я отметил лаковую табакерку, на крышке которой увидел миниатюрный портретик женщины и мальчика. Я приложил табакерку к портрету Хруцкого и увидел без труда, что между этими изображениями существует очевидная связь. Табакерка, кроме того, приглянулась мне и с другой стороны — я собирался использовать ее для ношения табака. Старые вещи скрепляют, сплетают наше непрерывное существование подобно узору восточного ковра. Одно обнимает другое, какой-нибудь древний гобелен намертво зацепляется за новейший монокль, а мы барахтаемся в этой необычной корзине. Вещь, на мой взгляд, тогда лишь умирает, когда теряет способность служить по своему изначальному предназначению. Впрочем, и здесь встречаются исключения. Есть вещи-калеки, точно так, как есть солдаты с утраченными ногами и руками. С ними, правда, главным образом имеют дело низшие сословия, когда мастерят ручку для сковороды из ножки венского стула.

Обедали в той самой столовой, где много-много тому назад дядя томил нас с Невревым печальной своею историей. Елена села на тот самый стул, где сидел тогда Владимир. Некий сдавленный звук вырвался у меня из гортани. «Бедный друг, — подумал я, — прости меня, если можешь, тебя

нет больше с нами, а жизнь продолжается, и у меня не нашлось сил противостоят властной ее поступи».

С отъездом нашим откладывать не предполагалось. Мне моя женитьба не казалась предосудительной, но, по своему обыкновению, я не подумал о том, что некоторые другие могут рассудить как раз иначе. Елена справедливо считала за лучшее не привлекать к себе внимания, полагая, что общество — буде в нем надобность — за сроком давности встретит нас без косых взглядов. Но то, что не удавалось ей, легко получилось у Николеньки Лихачева. Я живо представил, как воровато он спросил швейцара: «Одни?» — и, оглядываясь, заспешил наверх, наступая носками на самый краешек лестничных ступеней. Елена встретила его как доброго знакомого:

— Ах, *Nicolas*, вы единственный, кто осмелился посетить несчастных вольнодумцев, — проворковала она, протягивая к нему обе обнаженные руки.

— Помилуйте, — в таком же духе отвечал он, отвешивая византийские поклоны, — правду говорят, что деревня навевает тоску. Откуда такой *decadance*?

Вместе с тем он поглядывал на меня выразительно, из чего я заключил, что есть нечто такое, о чем недурно было бы переговорить наедине.

— Собрались в Европу, я слышал? — продолжал он. — Чудно. Россия, *entre nous*, скучновата. Если не служишь, — рассмеялся он собственной шутке. — Как я. Да, надо служить, а так ведь хочется куда-нибудь поехать. В Швейцарию. Увидеть горы. Ах, горы.

— Поезжай на Кавказ, там много гор, — заметил я с улыбкой.

— Ах, никуда, никуда я не поеду, — запричитал он, но метнул в меня уничтожающий взгляд. — Так много работы в департаменте, просто ужас. Я ведь за всех, за всех. Но господь с ними, послушаю вас.

Когда Елена удалилась к себе, я спросил:

— Что скажешь?

— Что сказать? — деланно удивился он и зашелся неживым смехом. — Ну, что здесь скажешь — ты слишком смело поступил. Езжайте, езжайте, это самое лучшее. Поживете годик в Париже, а то у наших сплетниц длинные языки. Нам ведь неприятностей никаких не надо — ни больших, ни маленьких.

— Стало быть, ты не одобряешь моего поступка? — спросил я напрямик.

Николенька испуганно оглянулся:

— Видишь ли, здесь особый случай, так сказать, и все же дело не в частностях, позволь тебе заметить. Вообще женитьба — грустное для меня дело, а уж женитьба друга — тем более. Ты же себя просто губишь. Семейное счастье — разве это счастье для человека дела, для мужчины? Это же отрицание всего: умственной жизни, стремлений, карьеры, наконец. Ты бы не сделал подобной нелепости, если б служил. Удивляюсь, как твоя матушка позволила.

— Ничего, — возразил я, — некоторые звездоносцы только своим женам и обязаны.

Николенька сделал жест рукой, который должен был означать, что моя жена — не самая подходящая для этого жена.

— Ты безумец, — проговорил он недовольно, — куда ты спешишь? У тебя же все есть... все было, — поправился он, — а теперь ты залез в болото.. Зачем ты вышел из службы? Перевелся бы опять в гвардию, поближе ко двору...

— Коля, — ответил я, — я уже удовлетворил свое любопытство в полной мере, поверь. Мне это неинтересно, вот тебе крест святой. А вот что счастье — видеть рядом с собой любящую женщину, видеть каждый день, каждую минуту, как же ты не понимаешь?

— Да кто ж тебе мешал — это никому не запрещено, — улыбнулся он и понизил голос: — Сам государь... — Он снова оглянулся и подался ко

мне: — Погоди, я тебе сейчас расскажу. Был я тут у Сесиль Новодворской, она мне, кстати, и сказала про ваш отъезд, так вот... — Тут Николенька рассказал мне неприличный анекдот про Николая Павловича.

— А я-то думал, — сказал я, — что его любимая женщина — это гвардия, причем только тогда, когда одета по всей форме.

— Ты умрешь на дыбе, — фыркнул Николенька, но рассмеялся. — Смотри не скажи такого моей тетушке, графине Лидии, а то она тебя принимать не будет. Но все же, что ты намерен делать теперь? Ну, поездишь, посмотришь, а дальше что?..

— Да видишь ли, — задумался я, — что и всегда — ничего. Ты со мной так говоришь, будто я до этого что-то делал.

— Мой тебе совет — приезжай, а мы тебе подыщем что-нибудь... что-нибудь эдакое, а?

— Просиживать штаны в канцеляриях до смерти? Увольте. Да, кстати, где нынче Ламб? Я слышал, он вышел из службы?

— Так, так, — закивал Николенька, — тетка у него преставилась во Франции, открылось наследство, он поехал. Отец, правда, остался и его не пускал, но что же было делать — надо было ехать. С тех пор нет известий.

Николенька ушел недовольный.

18

Петербург погрузился в пучину дождей. Все было мокро — крыши, стекла, козырьки модных магазинов. Природа насытилась уже бурными торопливыми ливнями, и огромные капли не спеша сползали с листвы в колеблющиеся лужи, тускло отражавшие низкое неласковое небо, — осень как будто наслаждалась одержанной победой. Время было и нам отправляться в путь. Но один пасмурный день сменял другой, а мы не двигались с места, хотя не выезжали и принимали только своих близких. Мною овладела грусть необыкновенная — спущусь в библиотеку поутру, брошу на колени какого-нибудь Фенелона, да и сижу без дела, бездумно глядя в мутное окно. Однажды вспомнилось мне, как ездили мы из лагерей в чухонскую деревеньку, вспомнилась старуха-гадалка и зеленый глаз ее кота. Вот и пришло то время, которое тогда пытались угадать... И вдруг расхотелось мне куда-то ехать, а захотелось зиму снежную, белоснежную, чтоб так намело, чтобы тройка в сугробах вязла, напиться водки с блинами да с молодцами где-нибудь в избе за непокрытым столом, завернуться в этот снег, как в шубу, да и заснуть до весны под звон хмельной гитары. Ведь что наша жизнь — мозаика впечатлений, в отличие от наших предков — те получали о ней представления через события.

— Ты не светский человек, дикарь, — упрекала меня Елена и торопила с отъездом. — Все-то тебя тянет в твою сонную Москву.

— Если б туда, — замечал я и ничего не говорил определенно.

Впрочем, осень любое счастье почернит. И еще одна смутная страстишка ворочалась во мне. Танцевал ли я экосез у княгини Ф., пил ли чай у Н. Н. или просто ехал в карете, — все мне казалось, что нужно для жизни еще что-то, что-то такое важное, обязательное, для чего все остальное служит лишь оправой. А между тем я имел почти все, что может пожелать человек. Николенька тож подлил масла в огонь, сам являя собой пример, противоположный моему образу жизни. Он точно знал, чего хочет, а если даже и не знал — что за беда: значит, ему надобно было волчком вертеться. То и дело получал я известия о старых знакомых: один сделался генералом без малого в тридцать лет, другой — уж флигель-адъютант, третий — важное лицо при посольстве нашем в Вене, такой-то — профессор при университете, а я что ж такое: встаю да кушаю свой кофей часа полтора, приедет кто-нибудь, посидишь, поговоришь, а там и обедать пора, потом чай непременно, и так до ужина. В театр ездить разве не лень, а вот газет даже не читаю, сижу с трубкой в креслах — вот и все занятия. Конечно, все это не без удовольствия, и тысячи прочих так же жи-

вут, а то и хуже. Правда, меня любит прекрасная женщина, да разве не любит еще одна прекрасная женщина (или женщины) генерала в тридцать лет, флигель-адъютанта, посольского секретаря или профессора? Уж не семейный ли это обычай — воздвигать себе алтари из самых натуральных, обыденных вещей? Опыт дяди, упокой Господи его душу, как будто указывал на это. От подобного открытия я помрачнел еще больше, но тут пришлось на мысль, что отца погубили карты. Мне сделалось спокойнее — пусть хоть карты, какое-никакое, а все ж дело.

19

Стояла уже глухая осень, когда мы наконец наняли каюту на последнем пароходе, отплывавшем в Гавр. Николенька провожал нас до Кронштадта. Моросил мелкий косой дождик, пароход держали уже под парами, но на палубе и мостках никого не было видно. Одиноким экипаж мок на валу — вскоре и он уехал. Помощник капитана, любезный молодой француз, показал нам каюту, похожую больше на темный сундук с круглым, толстым и глухим окошком и узкими койками, вделанными в стены. Непогода еще усилила волнение, связанное обычно с отъездом. Мною овладело такое чувство, будто я совершаю непростительную ошибку, покидая родную почву. Глупое, глупое чувство — тяжело уезжать в ненастье. Мой брегет прозвонил полдень, и сразу корабль вздрогнул. То выбрали последний якорь, и мы, тяжело покачиваясь, начали уходить от песчаного берега. Гудок, пронзительный даже сквозь шум дождя, надорвал мне сердце. Елена ушла в каюту, а я долго смотрел на одинокую круглую фигурку Николеньки в широком боливаре — мне почудилось, что он шлет нам вдогонку крестное знамение. Очень скоро и берег, и мрачные бастионы, и Николенька на валу исчезли из виду совершенно, и осталась только серая клубящаяся каша. Быть может, именно так выглядел божественный эфир в день творения. Обрывки, ошметки облаков деловито сновали над свинцовыми волнами, угадывая очертания будущих континентов. Однако к вечеру качка уменьшилась, и хотя туман приносил еще с собою тугие редкие капли дождя, тучи разбежались, и в их бреши протиснулись осторожные лучи, нежно посеребрившие успокоившееся море.

В полной темноте прошли мы Борнгольм, просигналивший ярким маяком, а через пять дней бросили якорь в Зунде, против Эльсинора. Один из немногих пассажиров, возвращавшийся из России француз, пожелал съехать на берег, и мы, не без опаски забравшись в шлюпку, последовали его примеру. Погода стояла престранная: солнца не было, не было и пасмурно, а было светло, прозрачно — пусто. Средневековый замок, который имели мы целью осмотреть, мрачно и настороженно следил за нами узкими проемами окон. Невзрачные домики — невольные свидетели бессмертной старины — тесно и беспорядочно жались вокруг него, как будто напуганные нашим вторжением. Они точно были не рады, что один известный англичанин открыл всему миру угрюмую правду древних их обитателей. Но англичанин ушел неотмщенным, а мы были здесь — новейшие Мельмоты — и шагали надменно между коров, попирающих следы Гамлета. Какую пищу находили животные на этом скудном берегу, я не разглядел. Да, наглые грязные чайки, коровы, глаженные чепцы, пароход — и все это на том месте, где бродил между соленых брызг, задумчив и угрюм, мятежный принц. Равнодушные волны глухо пинали отшлифованные валуны в такт неожиданным мыслям, а из залива выводили свои лодки то ли рыбаки, то ли контрабандисты.

— Вот она, усталость веков. — Елена пробудила меня от раздумья. — Так и мы устанем любить, увянем и превратимся в такой вот Эльсинор, а внуки, пожалуй, и посмеются...

— Не посмеют, — ответил я, — ведь мы будем для них очаровательной стариной.

— Вот она, твоя старина, — кивнула она головой, — чего в ней очаровательного? Да и что этот Гамлет, как не дикарь — навроде наших мужиков... Всю жизнь прожил в этой деревне, считал своих коров да детей, грабил соседей и купцов, обрюзг и, оттого что имел три отреза шелка и серебряный крест, считал себя повелителем мира, — это смешно.

— Гамлет умер. — Я удивленно повернулся к ней.

— Да? — безразлично сказала Елена. — Что ж, хорошо сделал.

— Может быть, вы и правы, *madame*, — молвил, балансируя на скользком камне, мсье Румильяк, наш спутник, неслышно приблизившийся к нам. — Ничто, скорее всего, не изменилось с тех пор, разве что флаги развевались над крепостью, и домов поменьше, и публика потемнее. Эльсинор значит — коровья деревня.

— При чем здесь это! — с досадой возразил я. — Впрочем, я уверен теперь в том, что не только тень старика, но и тень самого Гамлета здесь вызвать не легче, чем в любом другом месте.

— О да, в кабинете проще, — откликнулся с улыбкой мсье, довольный тем, что я угадал его мысль.

Мы, судя по всему, испытывали здесь сходные чувства, с ними и направились к шлюпке, где поджидали нас матросы. Зеленые волны все ворочались между камней, меланхолично перебирая холодными пальцами водоросли, как Офелия свои бледные цветы.

Мсье Румильяк, проведенный в России около года по торговым делам, сделался нашим развлечением в дороге. Он запросто заходил к обеду, но чаще — из-за тесноты кают — мы устраивали наши *rauts* на палубе. Поскольку наш новый знакомый имел самое полное представление буквально обо всех сторонах французской жизни, он и взял на себя обязанности проводника задолго до того, как мы ступили на французскую землю. О России он тоже имел представление, как было сказано, не понаслышке.

— Нет-нет, — мотал головой Румильяк, — всему свое время. Буря еще только собирается, и чем дальше вы будете тянуть с освобождением крестьян, тем страшнее она прозвучит.

— Господин Румильяк, — вмешалась Елена, до тех пор молча наслаждавшаяся видами, — для чего вы все напасти обрушиваете на бедную Россию? Что же Северная Америка? Там, кажется, целые плантации живут рабским трудом, не так ли?

— Сударыня, — вежливо отвечал Румильяк, — вы судите по внешнему признаку. Рабство в России напоминает отрока, растущего в родительских покоях. Он не играет с другими детьми, не развивается, поэтому я и утверждаю, что когда придет для него время жить, то жить он не сумеет, ничему не наученный в срок. Америка же подобна взрослому уже человеку, которого постигла хотя и позорная в его положении, но излечимая, а главное, кратковременная болезнь.

— Не пройдет же она сама собой?

— О нет, не думаю, скорее всего, тоже используют порох вместо порошка, но раны быстро зарастут, — с неизменной улыбкой заключил наш иноплеменный пророк.

— Тогда наша тесная дружба с Американскими штатами есть одно из знамений времени, — заметил я.

— Быть может, и так, — кивнул головой негоциант, — быть может, не в очень далеком будущем свет увидит две исполинские демократии: Россию на Востоке, Америку на Западе, — перед ними смолкнет земля.

— Что же вы оставляете вашей любезной Франции? — удивились мы.

— Сударыня, — с легким поклоном молвил Румильяк, — я не сказал, что могущество и величие непременно прекрасны. Так что Франции я оставляю все то же — хорошеть!

За этот изящный ответ следовало выпить. Мы достали бутылку клико из тех запасов, какие захватили в дорогу благодаря предусмотрительности жены, и остаток дня провели тем более весело, что цель нашего странствования была почти достигнута. На следующий день мы уже видели Гавр,

наплывающий из вечернего марева. Сердечно простившись с нашим спутником, которого еще надолго задерживали дела в порту, мы заняли два места в дилижансе, который и доставил нас в Париж. Мы привязались к мсье Румильяку, а он обещался непременно навестить нас, когда доберется до столицы.

20

По совету мсье Румильяка на набережной Целестин мы отыскали и наняли небольшую, прекрасно меблированную квартирку. Квартирка имела старинный камин, и его основательный вид и гулкая утроба приятно не вязались с прочей легкомысленной обстановкой. Окна квартиры выходили на набережную Сены, где в любую погоду раскрывали свои переносные лавки сутулые букинисты. Мне нравилось поутру придвигаться поближе к окну и, потягивая свой кофей, любоваться этим маленьким базаром, а чтобы еще глубже проникнуть в парижские тайны, я даже принялся читать все подряд газеты и похаживал в фехтовальную залу Гризье. Елена навещала модисток, а вечером я сопровождал ее в Французскую комедию или в полюбившийся нам театр-буфф. Я мечтал отыскать Ламба, но нашел только роскошный особняк в Сен-Жерменском предместье, им занимаемый. Там я узнал, что Ламб уже с месяц как в провинции и когда будет обратно — неизвестно. Дом этот показался мне что-то уж слишком хорош. Впрочем, мне была памятна эта маленькая его слабость. Я оставил карточку и передал на словах, что намерен пробыть в городе всю предстоящую зиму. Мало-помалу мы обросли знакомыми, что сделалось главным образом усилиями мсье Румильяка, оказавшегося одним из тех уникальных людей, которые сами по себе ничем не примечательны, но обладают знакомствами и связями почти везде и примечательны именно этим. Той зимой в Париже проживало много русских, многие из которых были нам известны если не коротко, то по крайней мере достаточно для того, чтобы свести знакомство поближе. А к одной даме, Вере Николаевне У., имел я даже письмо, переданное мне через мать Чаадаевым.

Вера Николаевна была вдова, после смерти мужа перешедшая в католичество, и уже лет десять — двенадцать жила в Париже, исправно получая доходы с трех своих имений на родине и содержа — другого слова не подберешь — салон, один из известных в французской столице. Вера Николаевна, как говорили об ней, была капризна, но не проста, веру изменила по глубокому убеждению, в мистику не впадала, хотя и слыла за глубокий ум, а потому считала свою копейку и точно так же кормила обещаниями теперь уже материальных жертв воистину стада католических иерархов, бродивших за ней, как и они угощали ее вечным блаженством, соблазнами исключительной благодати и — о, святая простота! — возбуждали в ней надежды на святость. Русских католиков, кроме Чаадаева, я еще не встречал, и потому было сильно любопытно, но что касается до этого письма, то за всеми заботами семейного счастья я не сразу об нем вспомнил. Как это было невежливо, и это было действительно так. Матушка и покойный дядя считались с Верой Николаевной родством, с другой стороны, письмо было отдано мне в руки, и, верно, корреспондент имел свои причины не доверяться почте, так что я не видел решительно ни одной возможности к тому, чтобы послать пресловутое письмо с кем-либо, тем самым малодушно избегая вполне заслуженного наказания.

Не без трепета перед скорой расплатой за свою забывчивость, что, замечу, в моем положении очень извинительно, переступил я порог изысканного жилища своего «палача», комкая в досаде надушенный куверт. Расплата не замедлила явиться: Вера Николаевна слегка пожурила, немного попеняла, чересчур посмеялась и перешла наконец к самой казни — три часа кряду я, напрягая свою память, припоминая все обрывки разговоров, слышанных мной мимоходом в петербургских и московских гостиных, набрасывал самыми широкими мазками полную свадеб, разводов, рожде-

ний, смертей, дуэлей, ссылок, скандалов и производств величественную картину отечественной действительности. К ужину я несколько утомился и заговорил *moderato*.

— Не правда ли, что этот... ну, вы знаете, господин... Дорохов. Правда ли, что он опять кого-то зарезал? — следовал вопрос. — И его снова заставили надеть солдатскую шинель?

— Истинная правда, *madame*, — доверительно подтверждал я, всей своей позой изображая живейшее сочувствие, вот только не знаю до сих пор — кому: то ли зарезанному, то ли г-ну Дорохову.

— А как могли они, не правда ли, — Вера Николаевна выражалась восторженно во всех обстоятельствах, а ее духовные опекуны, к слову сказать, принимали эту восторженность за готовность содержать пузатую братию и были здесь неправы, — как могли они обойти Кобылину и сделать фрейлиной эту выскочку Фитенгоф, не правда ли, выскочку?

— Ах, это так, — сокрушался я, хотя и не знал ни одну, ни другую.

— Но Несвицкая, Несвицкая какова, — раздражалась вдруг смехом Вера Николаевна, — какую сумела сделать блестящую партию! Ручаюсь, что тут не обошлось без графини Анастасии.

— О, — отвечал я как бы в раздумье, — это очень может быть.

Таким образом, ни красноречия, ни времени я не жалел, на оттенки не скупился, был найден милым ребенком — хм... — и гильотина была великодушно заменена званием пожизненного — весьма двусмысленное слово — гостя, то есть правом, а скорее, самой строгой обязанностью бывать когда угодно, то есть всегда. В итоге мы с женой были приглашены — к чему откладывать? — на небольшой вечер уже в самом недалеком будущем.

— Уж вы покажите, покажите мне свое сокровище, — грозила мне пальцем Вера Николаевна, но сразу взяла строгий тон: — Отчего же, я помню Сурневых, очень помню генерала самого, супругу его хуже... Признаться, я слышала кое-что об этой истории — да, мой мальчик, свет зол, зол, однако здесь у нас курортные правила, условности снимаются легко... Чувство — это, конечно, главное, я тоже была молода, тоже любила, ах, как это мне знакомо... И отчего так повелось, не пойму, что не бывает совсем легкой любви? Наверное, потому, что это высшее блаженство, и оно никому не дается даром. Это немалая смелость — любить. Ибо в любое мгновение можно потерять это дорогое.

— Да? — несколько глуповато спросил я.

— О, — отвечала она то ли грустно, то ли лукаво и теми же самыми словами, какими несколько минут назад я сам глумился над ней, — это очень может быть. Вот и я, — продолжила Вера Николаевна, — сижу здесь, в этой чужой стране, в этом черном платье, в окружении этих, — она повела плечом, как будто поежилась от холода, — господ, ха-ха-ха, овечек Христовых, словно ворона. Кстати, так им и говорю: и без меня не пропадете, а то все дай да дай. Хитры они, каналы, вот хоть картезианцы — эти придумали из каких-то горных трав делать настойку, и ведь нельзя сказать, чтобы была плоха. Теперь под именем «*Chartreuse*» везде подают. Прибыли имеют баснословные, а вот же поди — сколько их из Гренобля у меня перебивало. Ну да я не *madame Svetchine*, плутишек различаю. Но боже мой, как тут все шагнуло вперед по сравнению с нами, и в смысле торговли, и в смысле промышленности вообще, — покачала она головой. — Ах, к чему я это вам говорю! Вы сами все разглядите.

При этих словах она задумчиво посмотрела на стену налево от меня, и мне почему-то показалось, что это не связано с бедными картезианцами. Я перехватил этот взгляд и осторожно его сопровождал. На столике я заметил маленькую акварель — портрет молодого офицера в русском мундире. Изображен был дядя, и эта картина была точной копией той, что хранилась у нас в библиотеке. Я не мог сдержать изумления, невольно поднялся, что называется, машинально, с намерением подойти к столу, смутился и виновато встал. Вера Николаевна смотрела на меня с грустью и неж-

ностью. «Да, да», — будто бы говорили ее все еще прекрасные глаза. Также молча она перевела взгляд на акварельку и утерла слезу.

— Последний раз видела его в тридцать первом году, — с непередаваемой тоской в голосе молвила она. — Какая выдалась в тот год ненастная осень... Я ехала во Францию, мы встретились на пути. Погода ужасная, холера, поляки бунтуют, направление на Вильну забито войсками, поэтому пришлось свернуть и давать крюк через Витебск. Светопреставление! Там я его и застала. Он казался чем-то озабочен, спешил, тоже поворотил с Виленского тракта, но лошадей было не достать ни за какие деньги — в Витебске ведь умирал от холеры Константин. Князь Иван узнал об этом и был у него, хотя доктора не советовали ходить. Когда Константин его увидел, то едва не плакал от воспоминаний — они же, вы знаете, были дружны, делали вместе италийский поход с Суворовым, и князь Иван состоял при великом князе ординарцем. «Вот и смотрите, — сказал тогда Константин своему лейб-медику, — все меня бросили, все боятся — кто холеры, кто моих братьев, а кто и меня, ха-ха-ха. Перед вами человек, который ничего не боится», — указал он на князя. «Ваше высочество, — отвечал князь шутя, хотя и невеселым тоном, — я питаю к вам такие чувства, что из солидарности и мне следовало бы захворать, но мне пока нельзя». Это разве веселило Константина, и он немного воспрянул. Он уже знал, что надежды нет, но еще боролся. «Куда ты едешь? Дать тебе лошадей?» — спросил Константин. Князь Иван тоже слышал от медиков, что Константин обречен. Он помолчал, а потом тихо произнес: «Уже никуда». — Вера Николаевна притихла. — На этой упряжке уехала я. Князь остался при Константине и еще три дня неотлучно сидел у его постели, до самой его смерти. «Это судьба», — сказал он мне на прощанье, когда пришел подарить тех лошадей. «Что вы хотите сказать этим?» — удивилась я. Он ответил: «Просто я очень спешу». Никогда мне не забыть этой вселенской горечи в его голосе и его глаз — они глядели сквозь меня...

(Окончание следует.)



ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА



ГРИБОЕДОВ

Три отрывка из поэмы

I

Задумчиво глядит с портретов порыжелых.
Он не был ни богат, ни слишком знаменит.
И все как сирота в отеческих пределах.
Он в Персии убит, а в Грузии зарыт.

Двухолмный Арарат. Быть пристальным не дали.
Все книги в чемоданах, разрыть их недосуг.
На воле, на коврах закуску поедали.
Кебабы на лучинах. Какой, однако, дух!

Двухолмный Арарат. Окошки слюдяные.
Калейдоскопы в дар. Фарсийский разговор.
Сарбазы эти бестии такие продувные,
Любой из них отменно способный балансер.

Он время здесь имел на все лорнет уставить.
Дома снаружи дики, внутри — испещрены.
Увесисты подсвечники, чай с кардамоном ставят,
И сласти Шахразад на блюдах внесены.

И вот Тейран настал. Три залпа фальконетов,
Да шалевые платья чиновников, да тень
По улкам. Да стихи, да вопли с минаретов,
Да синь, да эта варварская музыка весь день!

Но как бесплоден вид окрестностей Тейрана!
Тьма черных черепах, фисташки под дождем.
Походный декламатор устал, улегся рано.
Моим героем за полночь был Томас Мур прочтен.

И все лежал без сна, не задувая света.
Как бедственна страна и сир и наг народ.
А нынче утром шах любимому поэту
За оду положил горсть бриллиантов в рот...

II

Довольно жалких слов, беспочвенных мечтаний! —
Он не был ни богат, ни слишком знаменит, —
Бесцельных упований, безмерных притязаний:
Он в Персии убит, а в Грузии зарыт.

«Меня противувольное движение в коляске, —
Он пишет, — повредит когда-нибудь в уме,
Как этот вечный зной, и бешеные краски,
И крики „Ва Гуссейн!“ и вопли „О! Фатме!“».

«Одушевлять Восток — любой души не хватит.
Здесь не людской потребен, а Прометеев труд.
Спишь на полу, в чаду, в пребезобразной хате.
У, ястреба! гляди, шинели раскляют.

Я все-таки рожден для поприщ чрезвычайных.
В простые времена навряд ли я гожусь:
Душа моя черства от глупостей печальных,
Про нравственность свою и говорить боюсь.

Поход на Эривань! Казак линейский шашкой
Умеет, как чечен, рубить кусты огня.
Умеет предсказать — как странно! — без промашки,
Под всадником каким убьют в бою коня».

Он лошадь потерял. Снабженье провиантом
Исправно, но с жарой прибавилось больных.
Угрюмые глаза гвардейцев, маркитантов:
Лазутчик персиян снял головы с двоих.

Здесь в сентябре уже все вяло, желто, чёрно.
Дурацкая война. Вошли в Нахичевань.
Вокруг Аббас-Абада вели бои упорно,
Решили взять Тавриз, и взяли Эривань.

III

Дождливый серый день. Июль. Размыты дали.
Ужасно надымили, но вот толпа сошла.
Последние друзья героя провожали
Из Петербурга и — до Царского Села!

И в Царском ни один не проронил ни слова,
Вплоть до того, как сел в коляску тяжело,
Не недоступный, нет, подавленно-суровый, —
Любимое бургонское ему не помогло!

«...Секретно. На границе — чума. Иль величаться
Мне в Персии, иль в Турции мне сулемой дышать?
Чума по карантинам заставит задержаться
Гораздо дольше, чем могу предполагать.

Что делать мне теперь с редчайшим средоточьем
Умов? Какие деньги мне им ассигновать?
Здесь юный дипломат ориентальный тотчас
Как сонная вода берется зацветать».

«Удастся ль преклонить к уплате контрибуций?»
«Ищу — по Туркманчаю! — здесь пленных наших след!»
И всё перебирала слова его, как бусы,
Жена его, беременна в шестнадцать нежных лет.

...Известка на губах, изрезанное платье.
Во мгле живого сердца еще проходит дрожь...
Как тот кривой кинжал со снежной рукоятью
Напомнил мне теперь трофеей — афганский нож!

И мертвого его держали в карантинах —
По случаю чумы... Он не был знаменит.
Был вечный сирота в российских палестинах.
Был в Персии убит, а в Грузии зарыт...



ВАДИМ СТЕПАНЦОВ



ВЛАДИМИР

Замела, запорóшила вьюга по граду старинному,
кисеей из снежинок златые укрыв купола.
Я иду сквозь метель осторожно, как по полю минному,
по проспекту, где раньше творил я лихие дела.

Здесь я, помню, на санках катался с артисткой Земфировой,
здесь с цыганкой Маняшей в трактирах я месяц кутил,
здесь я продал жиду скромный матушкин перстень сапфировый,
а потом дрался с ваньками и околоточных бил.

Пил шампанское ведрами и монопольную царскую,
губернатор был брат, полицмейстер — родимый отец.
Было время! Являл я Владимиру удаль гусарскую.
Но всему, как известно, приходит на свете конец.

Полюбил я мещанку, сиротку-подростка, Аринушку,
голубые глазенки, худая, что твой стебелек.
Тетка, старая сводня, спроворила мне сиротинушку —
устоять не сумел я, нечистый, зная, в сети завлек.

Патрикеевна, тетка, точь-в-точь на лисицу похожая,
отвела меня в спальню, где девочка слезы лила.
И всю ночь как котенка Аринушку тискал на ложе я...
А на завтра придя, я узнал, что она умерла.

Что причиной? Мой пыл иль здоровье ее деликатное?
Разбирать не хотелось. Полицию я задарил,
сунул доктору «катю», словцо произнес непечатное,
Патрикеевне в рыло — и в Питер тотчас укатил.

Танцевал я на балах, в салоны ходил и гостиные,
сбрил усы, брильянтином прилизывать стал волоса.
Но в столичном чаду не укрылся от глазок Арины я:
все являлась ночами и кротко смотрела в глаза.

Запил мертвую я и стихи стал писать декадентские
про аптеку, фонарь и про пляски живых мертвецов,
начал в моду входить, и курсистки, и барышни светские
воскликали, завидя меня: «Степанцов! Степанцов!»

Брюсов звал меня сыном, Бальмонт мне устраивал оргии,
девки, залы, журналы, банкеты, авто, поезда;
только больше, чем славу, любил полуночничать в морге я,
потому что Аришу не мог я забыть никогда.

Как увижу девчущку-подростка, так тянет покаяться, положу ей ладонь на головку и скорбно стою, а медички, что в морг проводили, молчат, сокрушаются, что не могут понять декадентскую душу мою.

А на западе вдруг загремели грома орудийные, Франц-Иосиф с Вильгельмом пошли на Россию войной. Я поперся на фронт, и какие-то немцы дебилные мчались прочь от меня, ну а после гонялись за мной.

Я очнулся в семнадцатом, раненный, с грудью простреленной, и в тылу, в лазарете, вступил в РСДРП(б). Тут и грянул Октябрь. И вчера, в своей мощи уверенный, я вернулся, Владимир, старинный мой город, к тебе.

Мне мандат Чрезвычайки подписан товарищем Лениным, в Губчека Степанцов громовержец, Юпитер еси. Всю-то ночь размышлял я: кому надо быть здесь расстрелянным? Много всяческой дряни скопилось у нас на Руси.

Вот, к примеру, жирует тут контра — вдова Патрикеевна, домик ладный, удобный, и золото, видимо, есть. Удивляет одно: почему до сих пор не расстреляна та, что здесь продавала господчикам девичью честь?

Я иду по Владимиру мягкой кошачьей походкою сквозь пургу, за невидимым блоковским красным Христом, под кожанкой трясется бутылка с конфискованной водкою, ликвидирую сводню — и водочки выпью потом.

Сводня не открывает. Ей дверь вышибают прикладами латыши мои верные. Золото, а не народ! «Долго будем мы тут церемониться с мелкими гадами?» — это я восклицаю — и сводит контузией рот.

Входим в комнаты мы, Патрикеевна в ноги кидается. «Не губи, милостивец!» — рыдает. А я ей в ответ: «Помнишь, старая гнида, как ты погубила племянницу? А того барчука? Вспоминаешь, зараза, иль нет?»

Нынче мстит вам, старухам, замученный вами Раскольников, с пробудившейся Соней сметет он вас с Русской земли. А за ним — миллионы острожных российских невольников, что с великой идеей мозги вышибать вам пришли.

«Где деньжонки, каналья?!» — вскричал я — и вся она пятнами изошла, но когда я ко лбу ей приставил наган — окочурилась старая ведьма. И стало понятно мне: не Раскольников я, а лишь пушкинский пошлый Германн.

Эпилог

Минул век. Разогнула Россия могучую спинушку, на железных конях поскакала в другие века. А Владимир все тот же, все так же поют в нем «Дубинушку», и на камне надгробном моем чья-то злая рука год за годом выводит: «Убивший сиротку Аринушку декадент Степанцов, председатель губернской Чека».

ВИЛЬЯМ ОЗОЛИН



КОРОЛЬ ЛИР, ПРИНЦ ГАМЛЕТ И ПЕЧНИК ЗВЕРЕВ

Рассказ

1

Однажды, коротая в одиночестве сумеречный зимний вечер, я снял с полки увесистый томик Уильяма Шекспира и, устроившись на своем старом продавленном диване, медленно погрузился в сырой, холодный туман средневековой Европы. Книга в тисненном переплете приятно отягивала ладонь, я неторопливо перелистывал страницы и, словно бы прогуливаясь по знакомому лесу, отыскивал памятные чуть ли не наизусть сцены и монологи. В тишине и полумраке комнаты передо мной, как арктические сполохи, возникая и исчезая, шевелились великие тени короля Лира, леди Макбет, принца Гамлета и Офелии.

Когда я наконец прикрыл книгу, было уже далеко за полночь. За окном металась пурга.

Вдруг — будто кто на свидание вызывает — швырнула декабрьская поземка колючим снегом в стекло. Шумно так скрежетнула. И — словно знамение какое — замигала электрическая лампочка, как свеча на ветру. И выплыл я из средневекового тумана в наш грешный мир.

Господи! — подумал я, глядя в ночное окно. Неужели только короли и принцы заслуживают взволнованного дыхания и возвышенных слез? Неужели только им было свойственно так глубоко и поучительно страдать? А маленький, простой человек — разве на его муравьиную жизнь не обрушиваются настоящие трагедии?.. Да возьмите вы того же короля Лира и отбросьте в сторону его королевский титул, дворцовое окружение и прочие исторические декорации... Ну и что нам останется? А то, что король — всего-то навсего обыкновенный несчастный старик, обманутый дочерьми! Седой, неприкаянный бедолага. Только сеточки с пустыми бутылками не хватает... Да в любом соседнем подъезде, уверяю вас, найдете вы такого же неудачника, который, задумай он поделить свою квартиру между домочадцами, может оказаться в точно таком же положении. Что вы думаете, ухватистые дочки перевелись?.. А принц Датский Гамлет? При чем тут его происхождение? Просто, на беду свою, оказался он не ко времени умен и честен! И оттого вся его жизнь превратилась в сплошные страдания. Разве что могильщики, кладбищенские забулдыги, смогли посочувствовать благородному молодому человеку...

Конечно, ночью мы думаем гораздо красивее, чем говорим, но именно в ту ночь открылся мне неожиданный чудесный свет, и я вдруг вспомнил о своем давнем соседе, печнике Тихоне Звереве. Он был простым человеком, то есть совсем простолюдином, но ведь и его жизнь произошла не в безвоздушном пространстве. Эпоха, в которой, словно пылинка в луче света, промелькнула его короткая жизнь, звалась Великой Отечественной войной. А с королем и принцем его роднит то обстоятельство, что он — и жил, и страдал, и был так же несчастен.

2

С печником Тихоном Зверевым я познакомился в детстве, во время той самой эпохи-войны. Жили мы с ним в «одном дворе», как мы называли тогда два наших деревянных дома, соединенных между собой одними воротами и калиткой. Тихону было лет под сорок, а мне — десять, и могу предположить, что он даже и не замечал меня среди одинаково серой, бледной, как картофельные ростки, дворовой ребятни. А я его очень хорошо запомнил. И сегодня ночью, глядя в антрацитное-черное окно, как в старинное зеркало, видел я в нем множество всяких фигур из прошлого, разных по своей колоритности, величию или ничтожности, и все же подолгу останавливал взгляд только на Тихоне.

Нет, не был он ни великаном, не обладал зычным голосом и злодейства никакого не совершал. Как раз наоборот: роста был небольшого и всего-то в нем было в обрез — и кожи, и костей, — только, значит, чтобы ходить и работать. Всю эту телесную недостаточность усугубляла еще к тому же и хроническая пустота внутри тела, которую, будь она неладна, приходилось ежедневно чем-то заполнять. Имелись у него, правда, некоторые телесные излишества, но совсем не те, которым можно было бы радоваться: росли у него на голове розовые шишки, и торчали они из-под редких волос, как грузди из-под хвои.

«И чего это они на голове-то повывлаживали? — смиренно думал Тихон. — Нет бы на каком другом, более нужном месте...»

Лицо он имел землистое, видимо от печной работы. Издалека Тихон смахивал на пацана-беспризорника. Пиджачишко на нем висел как на щетке, а из-под пиджака торчали тонкие ножки. Или, может быть, это только казалось так, оттого что голенища у сапог очень уж широкими были.

Нрава печник был тихого, имя свое полностью оправдывал. В душе-то он, конечно, как все нормальные мужики, и бушевал, и буянил — как без этого? Но по причине своей молчаливости он в минуты своего внутриутробного буйства, бывало, только сплюнет наискось и резко рукой махнет. Из ругательств от него только и слышали: «И-и-ех! Ёшь твою в двадцать!» А вот выпившим Тихон бывал почти всегда, и все от той же печной работы: по установившемуся обычаю, положено ему было после окончания дела поверх оговоренной заранее платы еще и граненый стакан водки от хозяев, как говорилось, «на дымок».

Ну а теперь о семейном положении. Была у него жена Нюра, которая звала его не иначе как изверг. Но не за нрав, однако, а за то, что, когда он возвращался домой после очередного «дымка», на неизменный вопрос: «где деньги?» — он также неизменно долго шарил по карманам, демонстративно выворачивал их, а потом туго скручивал фигу и, ничего не говоря, печально разводил руками. После чего Нюра кричала на весь двор, чтобы все слышали: «Изверг ты-ы! Заел мою жизнь, ребятишек бы хоть пожалел!» Но соседи знали, что Тихон не такой уж и изверг и семью свою все же как-никак, а кормит, а Нюра просто душу свою опоражнивает от тяжелой нужды. Детей у них было пятеро, прокорми-ка да обуи такую ораву.

С Нюрой Тихон познакомился незадолго до войны, но не той — эпохальной, а более скоротечной, финской. Клубов в ту пору не было, а просто собирались девчата у какой-нибудь подружки и приглашали парней. Ходил и Тихон к девкам поиграть на балалайке с гитарой при тусклом свете единственной под потолком лампочки. И видать, так задушевно тревожил он копченым ногтем тонкие струночки, что однажды Нюра осталась с ним ночевать. А ровно через девять месяцев, как и положено от природы, родила ему первую дочь, Катьку. Потом она аккуратно, через год-два, с перерывом, правда, на финскую войну, на которую уходил Тихон, рожала ему Верку, потом Кольку, потом Настю и Ваську. Или сначала Ваську, а потом Настю. Разве упомнишь?..

С белофиннами Тихон воевал в составе сибирской лыжно-стрелковой дивизии, брал штурмом знаменитую «линию барона Маннергейма». И в одной из атак был тяжело ранен в грудь. Долго лежал он на снегу в беспомощности, пока санитары не вытащили его с передовой в медсанбат, прихватившая бойца за бараний вес. Из госпиталя Тихон выписался не годным к дальнейшей военной службе. После ранения и долгого лежания на снегу у него развился «беркулез легких», как он сам называл свою болезнь.

Таким и застала его новая, более грозная война, с треском разорвавшая безоблачное июньское небо тысяча девятьсот сорок первого года.

3

Опустел, притих наш двор. В первый же месяц войны в двух домах из мужского пола остались только мы, пацаны, да старики: кузнец Кузьма Швиденко, пожилой доктор-гинеколог Кодлер и Тихон. Молодых и здоровых — всех подмела война. На призывные пункты уходили тихо, без шумных и пьяных проводов, без гармошки. Приносили и Тихону повестку из военкомата. Да как только предстал рядовой запаса Зверев перед медкомиссией в своем естественном виде, прикрывая срам жилистыми ладонями, так стали врачи склоняться друг к другу головами, перешептываться и бумажками шуршать. Вышла из-за стола немолодая, востроносая, в очках врачиха и стала осматривать Тихона, как дятел гнилую ветку. Простучала сверху донизу Тихоновы мощи, больно давила пальцем в багровый шрам на ребрах и, ничего не сказав, вернулась на место. Пока Тихон топтался босыми ногами на холодном полу, она заполняла какой-то бланк, потом сделала ему знак и вручила бумагу: «От призыва в армию вы пока освобождаетесь. Вам необходимо встать на учет в туберкулезном диспансере». Так что получил рядовой Зверев, считай, «белый билет».

Прошел первый год войны.

Стали возвращаться в наш двор фронтовики, только не живыми, а страшными листками-похоронками. Заголосили бабы — хором, как бывало в застолье, многоголосьем. Никогда еще с таким надрывом не пели.

Одного только солдата отпустила война живьем — Пашку Чугунова, да и того полностью изуродованного, слепого, с вывороченными веками. Привела его к дому военная санитарка и оставила у калитки. Может, на вокзал торопилась к эшелону, а скорее всего устала на чужое горе смотреть. Пашкина мать, сухонькая старушка, бережно увела сыночка в свою комнатку, и долго оттуда ничего слышно не было. А бабы опять заголосили свою надрывную песню, запричитали...

Больше месяца просидел Пашка Чугунов на своей кровати в душевной материнской комнатке, неустанно раскачиваясь из стороны в сторону. А потом упросил мать увезти его в дом слепых инвалидов, чтобы там, среди таких же, как он, несчастных, забыться за работой по набивке матрасов. Изделия эти отправляли оттуда тоже не в радостные места — в военные госпитали, которых в городе становилось все больше и больше.

Уступила мать, увезла Пашку, а потом каждое воскресенье ездила к нему с гостинцами. Уводила в сторонку, долго гладила его синюю от пороховых отметин худую руку. Пашка, уставившись багровыми веками в потолок, отчужденно молчал, словно бы это она, мать, была виновата в том, что лишился он своих ясных глаз и что родила она его на этот свет, который он теперь не видит и столько уже в нем перенес.

Зимой сорок третьего жить стало совсем худо. Картошка не уродилась. За карточной пайкой хлеба надо было всю ночь приплясывать на снегу в очереди возле магазина, иначе потом перед самым носом хлеба могло не достаться. Дров и угля тоже не стало. Печной работы Тихону становилось все меньше, и он вынужден был уходить по ближайшим деревням на заработки, промышляя плотницким и жестяным делом. Платили обычно кар-

тошкой, кормовой свеклой, а если посчастливится, то салом и махоркой. Теперь уж редко появлялся он домой подвыпившим, не стало ему «дымка». Теперь уж только если когда к кузнецу Швиденко забежит табачком поделиться, а тот ему в ответ денатуратишки синенького плеснет. Этот зло-вредный продукт всегда водился у кузнеца для технических надобностей.

Кузьма Швиденко был мужиком рослым, черным, мосластым. Вид у него был такой, будто ему человека зарезать — что курице шею свернуть. В молодости, поговаривали, он из-за того самого и в Сибирь-матушку попал. Ребятня его побаивалась, в кузницу без дела не совалась. На тщедушного Тихона кузнец поглядывал из-под мохнатых бровей сурово и, казалось, без всякого интереса. Но это только так казалось. На самом деле Кузьма любил печника, помогал ему, чем мог. Да и Тихон не отставал, если что надо было. Я так думаю, они даже и не знали, что дружат, а просто у Кузьмы при виде Тихона возникало в груди острое желание отведать крестьянского табачку-самосаду, а у Тихона, как у подопытной павловской собаки, из внутренних оболочек щек начинала обильно выделяться слюна в предчувствии ядерного технического напитка. В теплые летние вечера Тихон частенько заныривал в кузницу к Кузьме, и тогда наковальня умолкала, и что-то там начинало тенькать и звякать, и слышно было только негромкое покашливание, и сладкий махорочный дымок выплывал наружу.

В ту зиму, о которой идет речь, Кузьма Панасович сильно простудился и слег. Приходила врач из «полуклиники», выписала лекарств. Воспаление оказалось крупозным. В больницу его не повезли — некуда было, все забито ранеными с фронта. Кузьма лежал на постели в нательной рубаше, в кальсонах, натужно кашлял, отплевывая кровавую мокроту. Рядом с постелью, на табуретке, стояла кружка с водой и жестяная банка под окурки.

Заглянул Тихон. Сел на гнупом венском стуле напротив больного.

— Ты мне заверни сигарку, — попросил Кузьма. — Руки совсем не слушаются, пока закручу, половину просыплю...

Тихон оторвал газетки, свернул кузнецу, а потом и себе. Покурили молча. Тихон поерзал на стуле, вытащил из телогрейки тряпицу. Развернул.

— Я тут, понимаешь, окна стеклил в аптечном складе. Дык вот отвалили мне, понимаешь, рыбьего жиру. Его, значит, при нездоровых легких пить надо. Полезно... Его, конечно, селедкой бы надо закусить, да где ее нонче поймашь?..

— При чахотке барсучий тоже пьют, с медом... Тебе бы его...

— Это-то я знаю. А ты вот рыбьего выпей. Аптекарьша сказала — пить его по столовой ложке. До аппетита... — Тихон опять пошарил в телогрейке. — Раньше-то, понимаешь, больным конфетки таскали, а нонче-то где их взять, ёшь твою в двадцать?.. Так что я тебе вот вместо селедки закусточку принес... — сказал Тихон, хитро улыбаясь, и выставил на табурет чашку с мутной жидкостью. — Это я в деревне в прошлый заход спроворил...

Тихон принес со стола два стакана и столовую ложку, разлил самогон на две равные части. Когда наполнял ложку, Кузьма скривился.

— Выпей, выпей жирку-то!.. Полезная штука... А вот тебе и закусточка!.. Чем, как говорят, богаты, тем и рады... За выздоровленьице! Ёшь твою в двадцать!..

Выпили не чокаясь.

В горницу вошла жена Кузьмы, Швиденчиха, покачала головой:

— Ничё вас не уймет, окаянных!..

А сама-то довольна заботливому гостю.

Умер Кузьма Панасович в Рождество Христово, 7 января.

По хлопанью дверей, по встревоженному отрывистому шепоту догадался Тихон о печальном событии.

Завертелась привычно похоронная шарманка. Дело это не новое, и среди соседей давно уже было распределено, кому гроб ехать заказывать, кому на кладбище могилку копать, кому по дому хозяйничать.

Хоронили на третий день, как положено. Вынесли во двор две табуретки, установили гроб с покойным, чтобы еще раз проститься, чтобы Кузьма еще хоть немного полежал у родного порога.

Швиденчиха, в черном платке, до того вроде бы уже и смирившаяся с потерей, вдруг пала на гроб, зашлась в крике. Лошадь, стоявшая рядом, стала испуганно косить глазом, переступать ногами, а как только гроб поставили на телегу, рванула с места и вылетела из ворот, разметав реденькую толпу провожающих. Возчик повис на вожжах, свирепо выматерился, с трудом осадил лошадь. Соседи подвели Швиденчиху, усадили рядом с гробом, и процессия быстрым шагом направилась в сторону кладбища.

Над городом, над улицей, по которой кузнец Кузьма Швиденко отправился в свой последний земной путь, неожиданно закружил снег. Старушки, черной кучкой оставшиеся у ворот, стали креститься, зашамкали впереводку: «Божий человек Кузьма Панасич, царствие ему небесное! Ишь как ему Бог дорожку чисто стелет...»

Тихон некоторое время, еле поспевая, семенил за телегой. И вдруг ему приспичило справить малую нужду, да так сильно, что вот еще несколько шагов — и обмочит он свои ветхие портки. Надо же, беда какая, да в такую-то минуту! Тихон отстал, торопливо сунулся в голые кусты акации, приник к забору, но замерзшие пальцы никак не могли справиться с пуговицами. Он возился и возился, а моча уже судорожно, самотеком истекала по худым ляжкам. От мокрых штанин пошел едкий парок.

Когда сгорбленный Тихон вышел на дорогу, траурная процессия уже скрылась за поворотом, догонять ее было бесполезно. Тихон искоса плюнул, махнул рукой и повернул к дому.

— Пьянчуга ты бессовестная! Тьфу! Человека без сраму похоронить не смог! — стала костерить его Нюра при старухах и, чего еще хуже, при ребяташках.

Тихон молча снес оскорбления. Он и сам понимал, что опозорился перед соседями, да разве ж объяснишь кому, что у него в последнее время вообще что-то с почками неладит: очень уж часто мочиться стал. Застудил их, видно, напрочь с такой одежкой. Просто напасть какая-то!

Когда провожающие вернулись с кладбища, у двери в квартиру Швиденко, на крыльчке, в ожидании поминок стояли соседки. Всех пригласили за стол. Тихон держался в сторонке, переживая свой позор.

— Да ладно тебе! — приободрила одна из соседок. — Иди, с кем не бывает! — И подтолкнула Тихона к двери.

В горнице было душно, пахло свечной гарью. По обе стороны стола на длинных самодельных скамьях люди сидели так плотно, что Тихон, подняв плечи до ушей, еле-еле втиснулся между двумя толстыми женщинами и застрял там, как в квашне. Никакой закуски перед ним не оказалось, а только граненая стопка, которую он потом исправно выдвигал, когда поминающих обносили самогоном. «Хороший был человек, земля ему пухом», — приговаривали поминающие, опрокидывая стопки, тыча вилками в винегрет.

Поначалу у Тихона от жалостных слов слезливо щекотало в носу, а потом он отмяк от хмельного, и к нему пришла полная уверенность, что Кузьме Швиденко сейчас намного лучше, чем ему, Тихону: «Лежит там себе спокойно и в ус не дует!.. Ёшь твою в двадцать!»

Простимся и мы с кузнецом Кузьмой Швиденко. Вечная ему память.

4

Теперь уж таких трескучих морозов не бывает, обеззубели сибирские зимы. Раньше, бывало, идет ли, крадется ли человек ночью по улице, шаги его за версту слышать. Хруст — как по битому стеклу. Рано утром

воздух прозрачный, звезды колючие перемигиваются в морозном пространстве, вокруг луны золотистый нимб клубится.

В такую-то ночь и выскользнул Тихон из-под одеяла лоскутного на ледяной пол. Чтобы не разбудить никого, оделся в темноте, нашарил приготовленные еще с вечера две вареные картофелины, зажевал их, напился воды из ковшика.

Постоял посреди комнаты, подумал: не забыл ли чего?.. Вспомнил, что обещал младшенькому, Васятке, ножичек перочинный оставить. Подошел к спящим вповалку ребятишкам, нащупал Васькину головушку, сунул под подушку обещанное — пусть завтра перед пацанами похвастается, постреленок... Ну, все, кажется?.. Надел телогрейку, шапчонку туго натянул, перекинул через плечо инструмент. Осторожно, чтобы не скрипнуло, закрыл за собой обитую старым одеялом дверь и выскользнул на улицу.

Через некоторое время от мерзлой, заиндевелой громады города, в полной еще темноте, отторглась маленькая черная точка и стала упорно удаляться в сторону бескрайней заснеженной степи.

Действие это осталось никем не замеченным, город тревожно спал в ожидании новой заводской смены.

А еще через час, когда морозное утро неохотно разлепило смерзшиеся веки, на окраине города, в чахлой осиновой роще, густо увешанной гнездами — пустыми и неопрятными, — произошло еще одно, также малозначительное, событие: под напором жгучего ветра из гнезда вывалилась галка. Порыв ветра задрал ей крыло, и она, пронзительно вскрикнув, камнем свалилась вниз. У самой земли птица отчаянно затрепыхалась и каким-то чудом снова взмыла к вершинкам деревьев. В гнездо она не вернулась, а ныряя во встречные потоки ветра, предприняла попытку направиться в сторону мясокомбинатской свалки, куда она обычно летала по утрам на кормежку. Галка стреляла крыльями, металась то выше, то ниже, но ветер опрокидывал ее, и она, прекратив сопротивление, откинулась в противоположную сторону — в степь. Там, километрах в пяти, за полосой пушистых березовых колков, у нее тоже был кормовой пункт — совхозная животноводческая ферма. Туда она и направилась.

...Тщедушный человечек — не поймешь — то ли шел, то ли бежал по заледенелой пустыне. Погоняемый попутным ветром, он механически выбрасывал перед собой ноги, обутые в старые кирзовые сапоги, выбивая по дороге глухую каменную дробь. Длиннополая, не по росту, телогрейка болталась на его острых плечах, на голове топорщилась самодельная шапка-ушанка, сшитая не иначе как из старого женского пальто и не отороченная даже каким-нибудь дохлым кошачьим мехом. Через плечо у мужичка висел фанерный ящичек, в каких мастеровые обычно носят свой инструмент.

Снежная поземка, тешась угрюмой силой, толкала мужичка в спину, взвихривала вокруг него облачка морозной пыли и неслась дальше, переметая дорогу снежными языками, затягивая грязноватой мглой и без того еле видимый горизонт. И если кому-нибудь в ту минуту вздумалось бы взглянуть на эту картину со стороны, то он пришел бы к выводу, что решительно никакого значения не имеет, в какую сторону сейчас идет или бежит наш мужичок: на север или на юг, на запад или восток... Да беги ты, родимый, в какую хочешь сторону, все равно тебе от мороза да от Сибири не убежать!

А еще — хоть зубами скрежещи — не было никакой разницы и в том, из города в деревню двигался наш путник или наоборот. Не было в этом никакого различия, потому что была война и голод мучил людей везде одинаково, с той только разницей, что в городе думали, будто в деревне хоть мерзлой картошки можно наесться досыта, а в деревне с завистью рассказывали про хлебные карточки, по которым хоть и помалу, а все же

каждый день хлеба можно отоварить. И еще бытовало представление, что с фабрики или с завода хоть что-нибудь украсть можно.

«Хлебушек, ёшь твою в двадцать!.. — горько усмехнулся Тихон, бацая окаменевшими кирзухами по дороге. — Когда бы буханочку враз умять — вот это хлебушек! А то — сунешь кусочек за щеку и сосешь, пока не истает...» И про воровство с фабрик-заводов знал Тихон, и чем это пахнет, знал... За одну гайку такой срок могут навинтить — потом лет десять отвинчивать будешь. Неделю назад отдали под суд соседку Федориху за то, что пыталась вынести с мыловаренного завода два куска хозяйственного мыла. Упрятала она две эти проклятые печатки в непотребном месте в ватных брюках, где их и обнаружили охранники и откуда с грубостью вытаскивали на проходной при всем народе. И сидела солдатская жена Федориха, детей своих вознамерившаяся обстирать и обмыть, голой задницей на заледенелом полу и выла волчицей от стыда и горя.

Вот и решайте теперь, куда и откуда лучше бежать, когда война.

Накатанная санями дорога то и дело исчезала под завалами снега. Тихон, не замедляя хода, перелезал через скрипучие сугробы. Порой казалось, что это и не человек, а жукорашка какая-то в муке барахтается. Тогда-то и нагнала его галка из осинової роци. Изо всех сил работая крыльями, она все же успевала вертеть головой, высматривая под собой хоть что-нибудь годное в пищу. Заметив одинокий черный предмет, проступивший сквозь снежную пелену, она резко спикировала вниз, но тут же отпрянула в испуге.

А мороз давно уже прошел Тихонову телогрейку насквозь, и ему чудилось, что кто-то вбил ему между лопаток большой плотницкий гвоздь. Тихон ворочал плечами, надувался, кукожился, изгоняя из тела ломящую боль, однако гвоздь так и оставался торчать в спине.

«Ни в жись не дойду! — приговаривал Тихон, переваливаясь через сугробы. — Обязательно замерзну! Вон еще сколько черпать — километра четыре, не меньше. Вернуться, что ли?» Тихон оглянулся, но уже и грязных заводских дымов над городом видать не было. Поздно назад поворачивать, да еще и против ветра... Вон — только оглянулся, а уж и щетина дыбом встала и кожа задубела.

«И туда — крышка, и назад ходу нет! Пропал, пропал, ёшь твою!» И не было в его словах-мыслях ни страха, ни печали особой, а только то, что было на самом деле.

Беги, Тихон, от костлявой, пока еще хоть какие-то силенки остались. Замерзал же ты, раненный, на финском снегу, а ведь пронесло тогда, и, считай, еще легко отделался. Может, и сейчас пронесет? А вдруг откуда ни возмись попутная лошаденка появится или еще какое чудо свершится?..

Только откуда ей, лошаденке, взяться в такую погоду? Откуда чуду возникнуть в такое время, когда и не чуда-то нигде нет? Так что беги, Тихон, убегай от погибели. Одна теперь тебе надежда — на самого себя.

5

И все же Тихон сошел с дороги.

Проваливаясь в сугробы, он добрался до телеграфного столба и прислонился к нему с подветренной стороны. Однако толку от этого было мало, ветер, казалось, насквозь пронизывал и древесную плоть. Тихон опустился на снег, поджал ноги. «Ну вот и конец, — тихо пробормотал он. — Отбегался, ёшь твою в двадцать...» Он хотел еще что-то добавить, но губы перестали ему повиноваться, холод окончательно омертвил кожу.

Вдруг не то скрип какой, не то колоколец донесся со стороны дороги. И точно — в снежной пелене замаячила лохматая лошаденка. Энергично размахивая головой, она тащила за собой в сторону города сани с плетеным коробом. В коробе, тесно прижавшись друг к другу, сидели мужик и баба. В огромных белых овчинных тулупах, с высоко поднятыми воротни-

ками, укутанные платками до глаз, они походили на два сросшихся гриба-боровика.

— Чёй-то там под столбом, глянь-ка? — сказал мужик, указывая кнутом в сторону Тихона, и притормозил лошадь. — То ли собака какая, то ли замерзат кто?

— Похоже, мужичонко какой-то, — сказала баба, отворачивая воротник. — Может, бродяга какой, а может, и пьяный. Да ну его!..

— Не шевелится, поди уж, окочурился. Посмотреть бы надоть...

— Поехали, чего там смотреть?! Подбери его, а потом по милициям за-таскают. Давай поезжай! Ну! Чего сказала, погоняй! — Баба вырвала у мужика вожжи и дернула что есть силы: — Но-о! Пошла-а!..

— Дура ты! Человек ведь!.. — Но баба все дергала и дергала вожжи. — Ну и сука же ты... тьфу!.. Наказал Бог!..

Лошаденка набрала ход, замотала башкой. И уж только снежный смерч в дьявольской пляске кружился там, где только что стояла повозка.

Тихон видел проезжавших, но ни крикнуть, ни пошевелинуться уже не мог.

«И то... чего им со мной возиться? Может, торопятся по какому делу... Никому сейчас ни до кого дела нет... Самим бы выжить...» Тихон со стоном разогнул окоченевшую руку, полез за пазуху и достал свой неизменный четок. Зубами отковырнул пробку, сплюнул в снег. Сделал несколько затяжных глотков. Мозги его, и без того одурманенные холодом, затуманились еще более, но через какое-то время в груди стало теплеть, по всему телу от желудка стала разливаться приятная усталость. Только вот ноги уже ничего не чувствовали, остались сами по себе.

«Ну что, Кузьма? Недолго я тебя пережил... сегодня девять дён тебе, вот и помянемся вместе... Жаль, не поговорили мы с тобой как следоват, все некогда было, все бегом, все, как кони, работали... Теперь уж наговоримся, в куцах-то...»

Тихон подтянул ящик под голову, приложился удобнее. Лежа на боку, он ткнул четушку к ледяным губам, медленно высосал остатки. Рука его откинулась, бутылочка откатилась, а ладонь со скрюченными пальцами так и осталась на снегу.

«Прощай, Аня... Как ты теперь одна с ребятишками будешь? Младшенького, Васяньку, жалко. Хорошо, хоть ножичек оставил, память будет... Со всеми попрощался?.. Ах, соседи еще... и вы прощайте... Не помните лихом, простите, если что не так...»

И уже не было для Тихона ни мороза, ни ветра. Голубые волны закачали его, понесли в желанный сон.

Полевая мышь, беленькая, величиной с одуванчик, прикатилась откуда-то из степи и юркнула в скрюченную Тихонову ладонь. Отгородившись от ветра, она, видимо, еще улавливала тепло остывавшего тела, согрелась и, быстро перебирая черными лапками, тараща бусинками глаз, стала домашнему обыденно чистить мордочку.

А пурга все мела и мела, набирая силу. Протяжно гудели провода за столбом, словно кто-то переключал регистры от самого низкого баса-профундо до пронзительного фальцета. Грохотал ветер, проносясь над Тихоном и маленькой мышкой, нашедших себе в степи последнее прибежище.

И все это, сливаясь воедино, было великой музыкой жизни и смерти, это был Реквием, созданный самой природой во славу сибирского чудобогатыря, русского печника Тихона Зверева.

А Реквием, как известно, — произведение торжественное, траурное, а в нашем случае — еще и заупокойное.



ГЕОРГИЙ БАЛЛ



ТРИ КОРОТКИХ РАССКАЗА

НОВАЯ ЖИЗНЬ

ШШШ ум на задах, в огороде. Я выскочила из постели. Вышла из сеней на порог. В темноте — слабый-слабый огонек. Покойный муж говорил: «Запалили фютюлек». А тут я вижу: едва-едва мигает фютюлек. Подошла ближе, а это у самой мусорной канавы уперся в грядки старый трактор ДТ-54 с одной разбитой фарой. И эта фара фютюльком в темноте попыхивает. А я в резиновых сапогах на босу ногу и в бараньем полушубке, прямо на рубашку надела. Стою и не знаю, чего мне делать.

И как-то мне сразу в голову не припекло: чего это у него один фютюлек? Смотрит он на меня жалостливо, и защемило мое ржавое вдовье сердце.

— Тебе чего, одноглазый?

Я к чужому горю жадная.

— Ну хоть фыркни, — это я ему-то. И откуда только слово взялось. — Фыркни, Вася.

Слышу, заурчал. Чего делать — не пойму. Не станешь же его щами кормить. Щи у меня, правда, наваристые, вчерашние.

Наутро солярки нашла и бутылку с соляркой в угол поставила. Конечно, он старый, давно списанный, а тоже ведь бутылка ему может согдаться.

Ночью затаилась. Слышу, в сенях кто-то бестолково застучал. А я уж поняла, откинула крюк с двери и пустила.

— Заходи, списанный, повечеряем.

Когда он бутылку солярки шарахнул, у него глаз запылал. И к кровати лезет.

— Ты чего, очумел?

А сама вся дрожу. Давно мне бабьей радости не выпадало.

— Ты, старик, только стулья не ломай.

А он лавку опрокинул, неловкий, не к тому привыкший. На нем ведь всю жизнь пахали да пахали — совсем могли изломать.

— Вася, — шепчу, — ты давай полегче. Чего ты так своими железками дрожишь? Я ведь не такая фыркалка, как в городе, я ведь тоже жаром и холодом пропеченная. Ну ложись, так пока полежим, попривыкнем.

Через неделю сеструхе написала, какая наша новая пошла в деревне жизнь.

«Галинька ты моя родная!

Жизнь у нас в деревне сейчас не так чтоб плохая. В магазинах все купить возможно. И все заморское, бананов много, а сапог резиновых,

Георгий Александрович Балл родился в 1927 году. Живет в Москве. Автор более двадцати книг, вышедших в издательствах «Советский писатель», «Детская литература» и др. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», альманахе «Апрель».

как и раньше, не привозят. Ну да у меня теперь помощник сыскался. Не знаю, как тебе все это описать. Что ж делать? В хозяйстве мужик всегда к месту. Ну вот и ко мне прислонился списанный ДТ-54. Он хоть и трактор, а я его Васей окрестила.

Правда, фара у него одна подбита и он уже списанный, но еще в силе. А нынче дело весеннее. Огород мы с ним под картошку вспахали. Плуг тоже старый нашла. И когда земля стала отваливаться, такая радость в нас с ним заиграла. Землица с глиною, завидно отваливалась. Мне бы одной никак не осилить. Я от радости и себя и его этой первой земляницей окрестила. Он, конечно, не смеялся, не след старику так уж радоваться, а я хохочу, не могу унять. Ну, старик, ну, одноглазый.

Галинька, узнай в городе, можно ли на него пенсию оформить. Она бы нам сильно не помешала. Солярка уж больно дорогая.

Вот такая моя новая жизнь. Картошка у нас своя будет, а бананы нам без надобности. Привет тебе от меня и Васи. Остаюсь твоя любящая сеструха Верка».

НЕ НАДО ГРУСТИТЬ, ПРОШУ ВАС

Ашот убивал носом, Гурген его подстраховывал. Два черных ангела, два брата.

Крючковатые носы и длинные крылья — все в братьях напоминало бутафорию, оперетку или старую картинку в книге... Сейчас, когда гремят выстрелы не в далекой Армении, а за углом любого дома в каком-нибудь заштатном городке неустроенной России, где жизнь человека стоит не больше килограмма помидоров, Боже мой, зачем они, ангелы смерти? Может быть, пока писал, я вспомнил своего покойного друга Тодика Бархударяна.

Но храмы стоят на высоких холмах. И на кануне горят свечи об упокоении рабов твоих, Господи.

Братья прилетели к большому городу, где умирала Ира от рассеянного склероза. Ей было всего семнадцать лет.

Она лежала в маленькой комнате, рядом с большой столовой, а внизу, на коврик, положив на лапу голову, как изваяние, как уже памятник на могиле, — серая овчарка.

Я вошел в комнату. Высокий лоб, светлые волосы — в полнейшей тишине. Ни шума ручья с горы, ни уход солнца — чистое белесое небо. Ни единого облачка.

Ни после, ни теперь — никогда ничего прекраснее я не видел на земле. Долго я глядел.

Молча я перекрестил Иру. И вышел в большую комнату.

Вдруг дверь отворилась, вошла овчарка, ткнулась мне в колени и лизнула руку. Потом опять ушла.

И в это время подлетел Ашот. Но ударил не в сердце девочки, а в свое собственное сердце. Божья, ангельская кровь напоила умирающую.

Гурген вскрикнул. Я быстро открыл дверь. Овчарка подняла голову, завывала.

Черный ангел неподвижно лежал на постели. А белый ангел Ирочка в эту секунду родилась.

Овчарка замолчала, и мы смотрели, как в углу плакал Гурген.

Но вот исчезла комната. Душу переполнила радость. Белесое небо надо мной становилось все прекраснее, все беспредельнее.

Вечером я пошел в армянский храм и глубоко поклонился иконе Божией Матери. Это совсем рядом с Ваганьковским кладбищем, где упокоена моя семья — жена и сын...

В православном храме Ваганьковского кладбища я поставил на канун одну большую свечу. И огонь свечи слился с вечностью.

СУДЬБА

Коля Кирюхин по всяким там узорам, морщинкам на своем довольно молодом лице угадал себя деревом в будущей жизни. Конечно, природу уничтожают, вымарывают пестицидами и всякой дрянью, и невольно приходит на ум: выскочишь лет через триста — пятьсот зеленым, полным сил ростком, а кругом — пустыня. Особенно обидно Коле, что в этой теперешней жизни его тоже пустынно оценили. Притесняли прирожденной незеленостью, неуспешностью.

В подмосковном лесу Коля потрогал шершавый ствол сосны. И ствол как бы прошел через сердце Коли.

Вот его единственный друг по школе, Витька Хургин, не на равных дружил, сразу в стемель пошел, а Коля как-то все туда-сюда, не успевал и даже потом, перевалив кое-как институт, не укрепился должным образом, будто был он непрочно заклепанный и заклепки отскакивали в самую неподходящую минуту, так что и подбирать их было постыдно.

Денег у него, конечно, было в самый обрез, что мешало сблизиться с Соней Миллиграмм. А когда она все-таки начала к нему приближаться, родители ее рванули в Израиль.

Между прочим, она его звала, пару писем написала, но какой из него еврей, ведь что ни говори, а здесь, на родной почве, где и говна и песочка полно, — здесь ему легче расти. И вообще о чем говорить, она довольно быстро прислонилась к тамошнему фельдшеру.

Была, правда, тут у него еще нормальная Зойка Порышева, да какой-то голос у нее тонкий, тело тяжелое и ногу тянула...

А мысль Коли все больше рвалась к будущей жизни. Но главный вопрос: надо ведь сперва умереть, без этого никак не получится. И не просто, а гордо, по-лесному. Может, даже на дуэли. Он стал и книги выбирать такие. Особо ничего не открыл. Но не во сне, а даже днем вдруг останавливался и слышал: «Господа, сходитесь... Как условлено, на десять шагов... Никаких извинений...» Шесть раз Коля прочитал «Героя нашего времени» и люто возненавидел этого баловня судьбы. И чем уж так плох Грушницкий в своей шинели? Чем виноват?

Смерть Коли — на краю, в обвал, и хорошо бы летом, ранним утром.

Коля выведал, где штаб-квартира «зеленых», и записал свои данные. Так. На всякий случай.

Читал газеты и все больше склонялся к одному человеку из ближнего окружения важного правительственного лица. Фамилия — Грушкин. Схожесть с Грушницким придавала особый смысл.

Коля копил, копил деньги, пока на рынке не встретил человека с выправкой и восточным лицом. Жизнь и смерть раскачивались у того над губой, под усиками. Подошел. Без колебаний:

— Продаешь? Сколько?

Не торгуясь отсчитал баксы, и пистолет перешел к нему в карман.

Теперь все как бы стало на место.

Боюсь ли я смерти? — часто задавал себе этот вопрос Коля. И всегда с презрением: «Поглядим через пятьсот лет».

Ездил тренироваться в лес, под Переделкино, чтобы спокойнее смотреть в небо.

— Привет! — говорил он деревьям. — Мы еще встретимся.

Как-то Коля увидел Грушкина на фотографии в газете и долго рассматривал, примеривался.

Около станции Переделкино зашел в ресторан... И вот судьба. За столиком сидел Грушкин, положив голову на руки. Перед ним стояли две бутылки водки. Одна уже пустая, в другой кое-что оставалось. Водку Грушкин наливал в фужер, а к закуске не прикоснулся. Коля подошел:

— Разрешите.

Тот тяжело поднял голову.

— Вы — Грушкин, — твердо сказал Коля.

Человек посмотрел из-под темных, пьяных бровей.

— Ну, допустим.

— Я хотел вас кое о чем спросить, — начал Коля, еще не зная, чем кончит. — Значит, вы Грушницкий... То есть Грушкин...

— Чего ты хочешь?

— Я пришел отомстить. Григорию Александровичу.

— Кто это?

— Не важно... Давайте выйдем.

— Зачем? А за это заплатишь? — Грушкин мрачно обвел глазами стол.

— За все, — торжественно сказал Коля и выложил деньги.

Грушкин, уже сильно нагруженный, с трудом поднялся.

Коле не терпелось, и они отошли за угол ресторана всего метров на десять. Коля достал пистолет, стал совать в руки Грушкину.

— Ваш выстрел первый. Но теперь не промахнитесь...

Грушкин взял пистолет, осмотрел. И с размаху ударил им Колю. Но рука была не крепка. Грушкин заорал:

— Меня вчера списали, а ты, гнида, хочешь, чтобы я застрелился?

Руки у Грушкина дрожали. Он повернул пистолет и нажал на курок.

Пробегавшая мимо черная кошка с визгом высоко подпрыгнула и рухнула наземь.

Коля посмотрел на мертвую кошку. И, не оглянувшись на Грушкина, пошел прочь.



МАЭЛЬ ФЕЙНБЕРГ

1925—1994



«О НЕТ, Я НЕ ОСТАЛАСЬ ЖИТЬ — Я С ВАМИ!..»

Маэль Исаевну Фейнберг знала без преувеличения вся литературная Москва. И многие звали ее просто поэтичным именем — Маэль. Жена известного пушкиниста Ильи Фейнберга, автора книги «Незавершенные работы Пушкина», выдержавшей девять изданий, она и сама была весьма образованным филологом, начав вскоре после войны свою литературную деятельность под редакторским оком Корнея Чуковского. Пожалуй, больше всего ее знали по многолетней работе в «Советском писателе», где она была связана с редакцией критики и литературоведения. Сколько рукописей прошло через ее умные руки! Сколько именитых авторов и титульных составителей довели свой труд до издания благодаря ее редакторской поддержке и участию!

Но редактировала она не только литературоведческие книги. Среди ее первоклассных работ — «Воспоминания» Анастасии Цветаевой, чьим неизменным редактором Маэль Исаевна оставалась с первого до последнего, четвертого издания, увидевшего свет уже после смерти и автора и редактора.

Она еще и потому была превосходным редактором, что избежала многих советских заблуждений, изжитых горьким опытом собственной жизни. Маэль Фейнберг полностью испила чашу своего трагического века. В младенческом возрасте потеряла отца, фактически первого посла России в Северо-Американских Соединенных Штатах, по приглашению которого приехал в Америку Маяковский, потрясенный вскоре случившейся его смертью, — по мнению некоторых биографов Исаяи Хургина, смертью насильственной (по официальной версии, он вместе с зампредом Реввоенсовета Склянским утонул в озере под Нью-Йорком, на самом деле, полагают биографы, они были утоплены ОГПУ); она была школьницей, когда арестовали ее мать и мстительно-заботливое НКВД пришло за ней, девочкой; тогда двенадцатилетняя Маэль (этот эпизод я впервые услышал от Лидии Чуковской, и перед смертью Маэль Исаевна подтвердила мне, что всё так и было), — тогда двенадцатилетняя Маэль встала на подоконник и сказала, что еще один шаг — и она будет там, и они отступили; Маэль пошла жить к дяде, искусствоведа, но через очень непродолжительное время дядю тоже забрали; и вот она, сирота, живет с бабушкой, ходит в НКВД, носит передачи, посылает посылки, и так не день, не месяц, а годы. Можно себе представить, какой складывался характер.

В двадцать лет она встретила Илью Львовича Фейнберга, который был старше ее вдвое, и целиком посвятила себя его жизни, его пушкинистским трудам. Ее самоотверженность была поразительна. И она, кажется, удваивалась, утраивалась, удесятерялась, когда муж болел. Непрерывное бденье, забота, опека. Она, черноволосая девушка, молодая женщина, стала седой. А рядом — сын, Саня, тоже посвятивший себя Пушкину, но из-за ранней гибели почти не реализовавший свои необыкновенные знания и блистательные открытия.

И на себя, на свою работу Маэли не оставалось ни дня, ни часа. Лишь в самые последние годы своей жизни эта красивая, умная, талантливая женщина нашла время для собственных замыслов.

Она выпустила (совместно с Н.А.Пастернак) отлично изданный том писем Бориса Пастернака к жене, З.Н.Пастернак-Нейгауз, включающий также его книгу «Второе рождение» и воспоминания жены (издательство «Грит», 1993). Написала к нему предисловие и прокомментировала его, и это было первое издание неизвестных до того писем. Почти одновременно вышел обширный том «Воспоминаний о Борисе Пастернаке» (издательство «Слово», 1993), составленный ею вместе с Е.В.Пастернак. 1993-й, предпоследний год, был вообще очень насыщенным для нее. Она наконец издала книгу своего покойного сына, Александра Фейнберга, «Заметки о „Медном всаднике”» (в том же «Грите»). Опубликовала подготовленный в соавторстве с О.Жуковой альманах «Болшево», целиком посвященный Марине Цветаевой. Готовила (с Ю.Клюкиным) книгу о Сергее Эфроне, которому посвятила не одну публикацию. Она была полна новых замыслов (среди них — книга об отце, Исае Хургине, издание «Записок пушкиниста» Ильи Фейнберга и его фронтовых дневников). Но... Но их опередила смерть.

С юности Маэль Фейнберг жила стихами, она знала в русской поэзии множество своих, наизустных строк. Так жила поэзией — прежде всего пушкинской — вся семья Фейнбергов.

После трагической гибели сына Маэль стала писать стихи. Она мало кому их читала. То был лирический цикл, в котором ее постоянным собеседником оставался покойный муж, Илья Фейнберг.

Этот цикл — перед вами.

Владимир Глоцер.

* *
*

Лишь глухим переулком Москвы
Доверяли мы наши свиданья,
Радость встречи и миг расставанья,
Опасаясь ревниво молвы.

Но себе не могли мы помочь —
В этом мире нам все неподвластно.
И зачем повторяешь так часто:
«Не любовница мне, и не дочь».

* *
*

Досчатая платформа. Редкий лес.
Муранова синеющие дали.
И колеи наполнены дождями,
И май над нами, и весна над нами,
Победная весна тех давних лет.

Так почему читаешь ты о Хлое,
О смерти, о покое этих дней
И как сквозь смерть почувствуешь живое
Прикосновение руки моей.

Как все сбылось! Но не было покоя,
И я была беспомощно одна —
Совсем уже не маленькая Хлоя,
А постаревшая твоя жена.

* *
*

Мы счастливы, веселости полны,
Судьбы, что ждет, еще не зная сами,
И узкими московскими дворами
Идем в час предвечерней тишины.
О, если б знать могла бы я тогда,
Что кончу жизнь между двумя гробами,
То соляным столбом осталась навсегда,
А не живою девушкой с цветами.

Переделкино

Предчувствием беды томима,
Здесь, как на кладбище, жила,
Следя на станции, как мимо
Вдаль пролетают поезда.
И между дач в тоске бродила —
Чужие люди и дела —
И никакая в жизни сила
Меня утешить не могла.
Ни эти дни в исходе лета,
Ни эта церковь вдалеке,
Ни эта добрая примета —
В протянутой ко мне руке.

* *
*

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Евангелие от Матфея. Глава V, стих 4.

Нет, не плачь так беззвучно и глухо —
В этот час мы с тобою равны:
Ты старик, и я тоже старуха,
И все наши грехи сочтены.

Но в предчувствии скорой разлуки
На земле помещенная в ад
Все мне больно увидеть, как руки
У тебя от волнения дрожат.

* *
*

Как много лет мы ссорились подряд,
По телефону и когда гуляли.
Была метель, весна и листопад —
Мы времени с тобой не различали.

Как много лет мы ссорились с тобой,
Из трубки автомата бил прибой
Страстей земных и горестей земных,
Ну а земля — одна ведь на двоих.

Давно твой холм уже порос травой...
Как все непоправимо. Боже мой!

* *
*

Я ночами веду монолог
Про себя, в тишине.
Как ты счастлив, поверь, что не смог
Быть всегда собеседником мне.

То, что знаю теперь,
То другие и знать не должны:
Невозвратность потерь,
Неизбывность вины.

* *
*

Лишь во сне, если вижу вас снова,
Я бываю, как прежде, собой,
И быстра вдруг на резкое слово,
И довольна своею судьбой.

Но пред утром, тревогой объята,
Так боюсь наступления дня,
Пустоты от зари до заката,
Где не будет ни вас, ни меня.

* *
*

О нет, я не осталась жить — я с вами!
А женщина, что пьет с друзьями чай
И занята какими-то делами,
Забыта Богом, видно, невзначай.

На мир смотрю чужими я глазами:
Не наш здесь мир, где буйствует сирень.
Мучительными, страшными ночами
Я покупаю каждый страшный день.

И этой жизни двойственной теченье
Так странно душу поражает мне,
Когда свое я вижу отраженье
В стекле случайном — в смутной глубине.

* *
*

Звезды смерти стояли над нами.
А.Ахматова.

О, твоё, то предсмертное слово
С каждым годом звучало сильнее —
Как опора моя и основа
До последних мучительных дней.
А теперь не поможет ни слово,
Ни любовь, ни былые года —
Неизбежно уже и сурово
Загорается в небе звезда.

Публикация Владимира Глоцера.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«...Я ЧЕЛОВЕК НЕГНУЩИЙСЯ И СВОЕВОЛЬНЫЙ. ТАКИМ И ОСТАНУСЬ»

Письма Е. И. Замятина разным адресатам

Творческое наследие Евгения Ивановича Замятина (1884 — 1937), одного из крупнейших русских писателей XX века, до сих пор полностью не издано. Многие годы в нашей стране произведения этого политического «еретика», автора антиутопии «Мы», насильственно погружали в воды Леты. Лишь сейчас у отечественных филологов появилась счастливая возможность переиздавать опубликованные и печатать неизданные тексты сочинений Замятина, в том числе и его писем, оставшихся до сегодняшнего дня погребенными в архивах разных стран.

Публикуемая подборка писем Замятина показывает его с неизвестной широкому читателю стороны — как мастера эпистолярного жанра. Его остроумные, яркие и живые послания позволяют лучше понять Замятина-человека и разрушают легенду о нем как о рационалистичном и застегнутом на все пуговицы «гроссмейстере литературы». В письмах Замятина раскрываются его доброта и готовность помочь тому, кто в этом нуждается: дать профессиональный совет (письмо И. Каллиникову), похлопотать о постановке пьесы (письмо режиссеру Н. Петрову). Живя во Франции, Замятин беспокоится об оставшейся в Ленинграде своей бывшей домработнице А. Гроздовой и просит вручить ей его «блошинные гонорары» (то есть причитающиеся ему за постановку пьесы «Блоха» — письмо от 1.VIII.1932 года З. Никитиной). В письмах виден разный Замятин: деловитый редактор, наставник молодых литераторов, умный и доброжелательный друг.

Но главная ценность писем Замятина в том, что в них развернута его идейная позиция и они тесно связаны с его творчеством. В них — мужественное противостояние «неистовым ревнителям» идеологической чистоты советской литературы (письмо С. Образовичу), творческие планы и замыслы, следы работы над тем или иным произведением. Эпистолярное наследие Замятина позволяет судить о его эстетических и литературно-критических взглядах, а также театральных и музыкальных вкусах.

Его письма — это и документы 20 — 30-х годов, содержащие исторические реалии и живые штрихи из жизни России, Чехословакии, Германии, Франции — стран, с которыми связана судьба Замятина. Здесь дана стереоскопическая панорама культуры: меткие, порой неожиданные характеристики К. Чуковского, К. Федина, И. Эренбурга, Ю. Анненкова и микрорецензии на произведения А. Ахматовой, Б. Пастернака, М. Цветаевой, В. Ходасевича, Л. Леонова, А. Платонова, В. Каверина, А. Дикого, Ю. Шапорина, Ф. Шаляпина и других. Замятин не ошибся, выделив их как наиболее одаренных мастеров своей эпохи. Для Замятина естественным было рассматривать русскую культуру в единстве ее советской и эмигрантской ветвей. Такой подход близок сегодня и нам. В письмах Замятина запечатлено и сотрудничество с французскими и немецкими режиссерами, американскими славистами и переводчиками. Вместе с ними Замятин, столь укорененный в русской «почве», создавал новое искусство XX века.

Публикуемые тексты дают представление главным образом о двух периодах литературной деятельности Замятина — 20-х и 30-х годов. Но в письме И. Каллиникову Замятин подчеркнул особую значимость для своего творчества произведений раннего, 1908 — 1917 годов, периода — повестей «Уездное» и «На куличках», рассказа «Непутевый». Лучшей среди них была повесть «Уездное» (1912), за кото-

рую К. Чуковский, один из ведущих критиков серебряного века, назвал Замятина «новым Гоголем¹. В восторге от «Уездного» был и М. Горький.

Наиболее плодотворными стали для Замятина 20-е годы. Именно тогда он написал произведения, каждое из которых могло бы создать его автору репутацию классика. Письма этого периода еще раз подтверждают, что в 1918 — 1929 годах он — один из лидеров в литературных кругах Петрограда — Ленинграда и, подобно Чуковскому, ближайший помощник Горького во всех его начинаниях, прежде всего в деле просвещения народа. Его, образованнейшего интеллигента, не могли оставить равнодушным «всяческие всемирные затеи»: «Издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира»².

В рамках этой программы по инициативе Горького в 1918 году для выпуска энциклопедии всемирной литературы было создано просуществовавшее до 1924 года издательство «Всемирная литература». Замятин стал членом редколлегии «Всемирной литературы» и заведующим редакцией в издательстве. Здесь он получил первый опыт работы редактора, готовя к публикации переводы произведений Г. Уэллса, Дж. Лондона, Б. Шоу, Э. Синклера, Р. Роллана, О. Генри и других писателей. Письмо Замятина от 14.VI.1923 года К. Чуковскому, возглавлявшему в издательстве англо-американский отдел, показывает, как много общих дел и интересов было у этих двух знатоков английского и американского искусства слова.

Для работы во «Всемирной литературе» Замятину пригодилось хорошее знание культуры и образа жизни «островитян», среди которых он, выдающийся инженер-кораблестроитель, командированный русским правительством в Англию, провел в 1916 — 1917 годах около двух лет. Английским языком он овладел настолько, что, вернувшись домой, стал писать своим англоязычным корреспондентам то по-русски, то по-английски. Одним из них был А. Ярмолинский, с которым Замятин и Чуковский познакомились зимой 1923 — 1924 годов во время посещения России этим американским славистом и его женой Бабеттой Дейч. Английские письма Замятина А. Ярмолинскому — это фейерверк фантазии, острот, свежих метафор, что по возможности передано в переводе. Чего стоит хотя бы сравнение «безнадежно грубого», по мнению Замятина, Чуковского с шампанским «брют» (в переводе с французского «неочищенный» и «грубый»), пьянящим, бодрящим и чересчур сильно действующим!

20.VI.1926 года Замятин писал поэту И. Ерошину: «...вспомнился 18-й год, Дом Искусств, Студия. Мне приятно, что Вы хорошо вспоминаете это время. Внешне — тогда жилось куда тяжелей, чем теперь, — и все же насколько было лучше!» Вероятно, Ерошин посещал студию по изучению мастерства перевода, созданную в июне 1919 года при «Всемирной литературе», и бывал в Доме искусств (знаменитом ДИСКе), названном впоследствии одной из его обитательниц тех лет, О. Форш, «сумасшедшим кораблем». Курс этого корабля определяли вместе с Горьким Замятин и Чуковский, делавшие с большим энтузиазмом новое общее дело, хотя их убеждения в значительной мере различались и отношения складывались по-разному. Замятин читал в Доме искусств лекции по технике художественной прозы и о Г. Уэллсе.

«Вряд ли будет ошибкой назвать начало третьего литературного десятилетия в России «студийным», — писал Н. Оцуп. — <...> как обойтись будущим прозаикам без своего учителя? Не будь в то время в Петербурге Замятина, его пришлось бы выдумать»³. Замятин стал «дядькой» молодых писателей из группы «Серапионовы братья», родившейся в лоне студии при «Всемирной литературе», учил писать людей, признаваемых сегодня классиками. Он стремился к общению с литературной молодежью прежде всего оттого, что хотел создать свою школу писателей, обогащавших достижениями модернизма реалистический метод⁴, и привить своим ученикам собственное представление о достоинстве Художника, независимого от политических тенденций.

¹ Оцуп Н. Евгений Замятин. — В его кн.: «Океан времени». Стихотворения. Дневник в стихах. Статьи и воспоминания о писателях. СПб. 1994, стр. 541.

² Замятин Е. И. Автобиография. Публикация А. Галушкина. — «Странник», 1991, вып. 1, стр. 13.

³ Оцуп Н. Евгений Замятин, стр. 541.

⁴ См. об этом в программных статьях Замятина «О синтетизме» (1922), «О литературе, революции и энтропии» (1923) в его кн.: «Избранные произведения». В 2-х томах, т. 2. М. «Художественная литература». 1990, стр. 378 — 393.

Но была и иная причина, заставлявшая Замятина искать общения с молодыми писателями. Спрятанная от друзей и даже от самого себя и выплеснувшаяся в трех из пяти его английских писем А. Ярмолинскому (от 7.XI.1925 года, 8 марта 1926 года и 9 июня 1926 года) в шутливой истории находившейся дома у Замятина куклы. Подобно гофмановскому Щелкунчику и толстовскому Буратино, игрушечный Ростислав в этих посланиях оживает и смешно, по-детски, влюбляется. На первый взгляд, это лишь веселая игра с куклой отнюдь не инфантильного Замятина. Но замечание в скобках намекает на драму человека, не испытывавшего отцовства: «Он сказал, что, когда вырастет (я несколько сомневаюсь в этом), он полетит, чтобы увидеть «Американскую леди»...» (Б. Дейч — письмо от 7.XI.1925 года). История Ростислава, к которому его хозяин относится трепетно-нежно, показывает: для Замятина, писателя достаточно «почвенного», дом связывался с существованием семьи, мечтой о ребенке. Этим он близок и неонародникам, в частности литературному критику и общественному деятелю Р. В. Иванову-Разумнику, оказавшему влияние на писателя. О продолжении рода как о непреложном законе жизни и естественной человеческой потребности Замятин постоянно, хотя и по-разному, писал и в своих произведениях 20-х годов: с почти кощунственным юмором — в рассказе «О чуде, происшедшем в Пепельную Среду», серьезно-сочувственно — в романе-антиутопии «Мы», одна из героинь которого, О-90, рискуя жизнью, становится «противозаконной матерью» в обществе, где все, даже деторождение, контролируется государством, а также в одном из лучших своих рассказов — психологической драме «Наводнение».

В письмах Замятина 20-х годов отражена еще одна важная сфера его деятельности — участие в независимом литературно-художественном журнале «Русский современник». Его редактором был А. Н. Тихонов, из-за границы изданием пытался руководить быстро разочаровавшийся в нем Горький, членом редакции являлся А. М. Эфрос, а душой журнала были Замятин и Чуковский⁵. Вышло всего четыре номера «Русского современника» за 1924 год, пятый же был запрещен, во многом из-за разносных статей напостовца Г. Лелевича и К. Розенталя. В письме от 7.XI.1925 года А. Ярмолинскому Замятин сетует: «Наш журнал лежит в гробу и ждет воскрешения из мертвых. Мы не потеряли еще надежду увидеть его ожившим». Редакторы собирались издавать «Русский современник» в России и одновременно за границей, в частности в США, что видно из цитированного письма. Но их намерение не осуществилось. И все-таки даже в вышедших номерах журнала удалось опубликовать лучшие произведения русской литературы тех лет, и советской, и эмигрантской.

Редакторы «Русского современника», с уважением относившиеся к классическому наследию, в основном все же ориентировались на художественный эксперимент и поиски новых форм в искусстве. Напечатанные в «Русском современнике» замятинские «Рассказ о самом главном» (№ 1) и анекдот «О том, как исцелен был инок Еразм» (№ 4), доклад, сделанный в виде предисловия к чтению отрывков из романа «Мы», и статья «О сегодняшнем и о современном» (№ 2) выражали программу журнала и определяли направление творческого развития писателя в 20-е годы. Эстетическое кредо Замятина наиболее полно реализовано в антиутопии «Мы», по словам писателя, его «самой шуточной и самой серьезной вещи».

Это произведение — реплика на классические утопии Т. Кампанеллы, Т. Мора, Н. Г. Чернышевского — спорило и с некоторыми идеями и представлениями современников писателя. Замятин был убежден: последней, окончательной революции быть не может, «революции бесконечны». Пренебрежение этим законом грозит застоєм, энтропией, смертью. Здесь слышно романтическое эхо учения о «перманентной революции» Л. Троцкого, работы которого входили в круг чтения большевика Замятина еще в 1906 году. Взрывчатая сила романа заключалась и в критическом воссоздании в нем конкретно-исторических реалий жизни послереволюционной России. Эту критику не смогли принять не только деятели РАППа, но даже и такие единомышленники Замятина, как Горький и Пришвин. Горький, в частности, писал о замятинской антиутопии: «„Мы“ — отчаянно плохо; совершен-

⁵ См. о «Русском современнике»: Чудакова М. О. Еретик, или Матрос на мачте. — В кн.: Замятин Е. И. Сочинения. М. 1988, стр. 498 — 523; Давыдова Т. Т. Евгений Замятин. М. 1991, стр. 28 — 30.

но не оплодотворенная вещь. Гнев ее холоден и сух, это — гнев старой девы»⁶. Близка к этому и оценка Пришвина, писавшего в своем дневнике 21 декабря 1922 года, что свой роман Замятин построил «на обывательском чувстве протеста карточной системе учета жизни будущего социалистического строя и, взяв на карту эротическое чувство <...>, привел идею социализма к абсурду. Разумеется, социализм от этого ничуть не пострадал, но мне стало очень досадно, что столько ума, знания, таланта, мастерства было истрачено исключительно на памфлет, в сущности говоря, безобидный и обывательский»⁷.

Замятин, признавшийся в письме И. Каллиникову в том, что этот роман — лучшее из написанного им, мечтал непременно издать его в России, пусть даже «в виде перевода с португальского», в журнале «Современный Запад». Тем самым была бы продолжена давняя русская традиция политических иносказаний, начатая И. А. Крыловым, некогда прятавшим вольномыслие своего «Каиба» за подзаголовком «Восточная повесть», продолженная В. К. Кюхельбекером в «Земле Безглавцев» и М. Ю. Лермонтовым в его «Жалобах турка». Предложение Замятина, сделанное им в письме Чуковскому, не нашло у последнего поддержки. Это неудивительно, ведь он записал в своем дневнике: «Роман Замятина «Мы» мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме»⁸. Поэтому оставалось одно — опубликовать политически смелое произведение за рубежом.

В письмах Замятина И. Каллиникову и А. Ярмолинскому отражены некоторые факты из истории публикации и восприятия в 1924 году в США замятинской антиутопии «Мы» в переводе выходца из России, известного американского врача-психиатра Г. Зильбурга. В этих посланиях преобладает радость писателя, увидевшего наконец свое самое дорогое произведение напечатанным и прочитавшего о нем немало теплых строк в американской прессе. Американские критики, подобно советским, заметившие прежде всего социально-политический слой романа, коснулись также особенностей перевода. Судя по отзыву Б. Дейч, перевод романа, местами «ходульный и неточный»⁹, оставлял желать лучшего. Однако и в несовершенном, не передающем всех достоинств оригинала переводе на английский, а затем на чешский и французский языки роман стал значительным фактом мировой литературы и побуждал писателей, философов и политиков размышлять о путях выхода общества из стандартизированного, механизированного «рая».

1924 год принес Замятину не только признание за рубежом. В этом же году закрыли «Всемирную литературу» и «Русский современник» — пространство творческой деятельности Замятина начало сжиматься, как шагреновая кожа. Естественно, что убывал и его энтузиазм. «Кругом подло и скучно», — признавался он 14.VI.1926 года В. Каменскому, характеризуя идейно-общественную атмосферу тех лет. Замятин на время отошел от редакционно-издательской деятельности, но не мог оставаться без трибуны, с которой бы он, бунтарь и еретик, выступал перед многочисленной аудиторией. В 1925 году такая трибуна была найдена. Ею оказался театр.

Упоминаниями о работе над пьесами и их сценической судьбе пестрят письма Замятина И. Каллиникову, А. Ярмолинскому, В. Каменскому, И. Ерошину. В двух из его пьес — «Огнях св. Доминика» и «Атилле» — вслед за романом «Мы» отразилось замятинское понимание истории как циклического процесса, в котором периоды динамики, революционного обновления общества, отрицания окостеневших идей сменяются этапами энтропии, превращения идей, вчера еще жизнеспособных и продуктивных, в догму. Внимательные читатели «Огней св. Доминика» понимали, что контуры «алгебраической Испании», в которой происходит действие пьесы, проступают в Советской России 1923 года и что в развитии русского большевизма, по Замятину, те же этапы, что были и в христианстве, — катакомб и инквизиции. Вот почему это произведение, раскрывшее незаурядный драматургический талант Замятина — «внутреннего эмигранта», попало в список пьес, не рекомендованных

⁶ Цитирую по: Примочкина Н. Н., Примочкин Б. П. М. Горький и Е. Замятин. (К истории творческих взаимоотношений). — В кн.: «Творчество М. Горького в художественной системе социалистического реализма. Горьковские чтения, 86». Ч. 1. Горький. 1986, стр. 109.

⁷ Пришвин М. М. Дневники. 1920 — 1922. М. 1995, стр. 288.

⁸ Чуковский К. И. Дневник. 1901 — 1929. М. 1991, стр. 250.

⁹ Deutsch V. Tonic Laughter. — «The New Republic», 1925, vol. 42, № 537, p. 104 — 105.

к постановке в России. Не увидела эта пьеса, переведенная на немецкий, свет рампы и в Германии, так как «там в ней усмотрели „оскорбление католической религии”»¹⁰.

Больше всего во второй половине 20-х годов писатель был увлечен работой над стихотворной трагедией «Атилла». В письме И. Ерошину от 20.VI.1926 года Замятин так формулирует замысел этого произведения: «Далекие отголоски тогдашнего разговора об азиатском и западном в нас — пожалуй, Вы найдете в последней моей вещи, над которой работал эту зиму, — трагедии «Атилла»...». В автобиографии 1931 года авторское понимание пьесы выражено более определенно: «Эпоха, когда состарившаяся западная, римская цивилизация была смыта волною молодых народов, хлынувших с востока, с черноморских, волжских, каспийских степей, — показалась мне похожей на нашу необычайную эпоху; огромная фигура Атиллы, двинувшего против Рима все эти народы, увиделась мне совсем в ином, не традиционном освещении»¹¹. Замятин увлекся этой темой вслед за символистами Брюсовым, автором «Грядущих гуннов», и Блоком, отдавшим ей дань в статье «Крушение гуманизма». В «Атилле» оригинально преломилась шпенглеровская идея неизбежного «заката» окостеневшей европейской цивилизации. Подобно Блоку, видевшему в древнем римлянине Катилине большевика, Замятин показал Атиллу историческим деятелем наподобие Пугачева, Разина. Он на протяжении всего своего творческого пути симпатизировал бунтарям (таковы портной Тимоша из «Уездного», а также революционер Сеня из рассказа «Непутевый» и очаровательно-инфернальная I-330 из романа «Мы»). В письме Замятина В. Каменскому высказаны опасения, что пьеса не пройдет цензуру. Увы, они оказались не напрасными — Облит признал это произведение недостаточно идеологически выдержанным. Сказались общие изменения в политике страны, перешедшей от нэпа к пятилетке, к коллективизации деревни. Но существовали и иные причины: к этому времени у Замятина, дважды после Октябрьских событий арестовывавшегося, уже стала складываться, по словам самого писателя, репутация «черта советской литературы». Окончательно упрочилась она в 1929 году, когда началась официальная кампания против Замятина и Пильняка. Поводом явилось обнародование их произведений за рубежом. Несмотря на хлопоты Горького, высоко оценившего «героический тон» и «героический сюжет» пьесы, и старания сблизившегося в эти годы с Замятиным М. Булгакова, «Атиллу» так и не удалось поставить ни в Ленинграде, ни в Москве. «Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение», — писал Замятин в июне 1931 года в письме к Сталину, в котором просил «литературную смерть», уготованную ему в Советском Союзе, заменить наказанием менее суровым — разрешением вместе с женой «временно, хотя бы на один год, выехать за границу»¹².

Более счастливой оказалась театральная судьба «Блохи» (1924), основой которой является рассказ Н. С. Лескова «Левша». В этой пьесе, написанной по просьбе МХАТа Второго, традиции русского балаганного театра органично соединились с условностью итальянской комедии масок. Во время читки «Блохи» актерам МХАТа Второго они «смеялись так, что трудно было читать»¹³.

В своих письмах 20-х годов Замятин рассказывает о постановке этой пьесы мхатовцами. «„Блоха” 11 февраля с большим успехом поставлена в Москве в Художественном театре 2-ом <...> и скоро пойдет в Александринском театре», — делится он радостью с И. Каллиниковым 19.II.1925 года. Эта постановка покорила и красочными, под лубок, декорациями Б. Кустодиева, и «пестрой каруселью шутейных <...> персонажей», и общим стилем «скоморошьего озорства» «„сермяжных” туляков», и запоминающимся Л. Волковым в роли Левши¹⁴. Во МХАТе Втором эта пьеса в постановке А. Дикого шла до осени 1930 года. После небольшого перерыва спектакли возобновились еще на несколько лет. Удачным получился спектакль и в БДТ (режиссер Н. Монахов). История обеих постановок в пародийной форме рассказана в замятинском «Житии Блохи», в котором особенно

¹⁰ Замятин Е. И. Автобиография, стр. 13.

¹¹ Там же, стр. 14.

¹² Замятин Е. И. Избранные произведения. В 2-х томах, т. 2, стр. 406 — 407.

¹³ Замятин Е. И. Автобиография, стр. 13.

¹⁴ Глумов А. Нестертые строки. М. 1977, стр. 133, 134.

запоминается «непреподобное зачатие преподобного Замутия» от... «дикого человека». Плодом этого «зачатия» и стала «Блоха». (Этот мотив встречается и в замятинском рассказе «О чуде, происшедшем в Пепельную Среду».) А вот надежды Замятина на постановку в Первом (старом) Московском Художественном театре его трагикомедии «Общество почетных звонарей», написанной на материале повести «Островитяне» (письмо И. Каллиникову), не оправдались: ее дважды начинали репетировать, но до постановки дело так и не дошло.

Из-за травли, начатой в 1929 году, Замятина перестали печатать, его пьесу «Блоха», с неизменным успехом шедшую во МХАТе Втором, временно сняли с репертуара. В 1931 году благодаря хлопотам Горького он вместе с Л. Н. Замятиной, женой и преданным другом, покинул «родину-мачеху», как он думал, ненадолго.

Письма Замятина 1931 — 1933 годов приоткрывают завесу над наиболее сложным в житейском отношении и наименее благоприятным для литературного творчества периодом — жизни за рубежом, по существу — «с запечатанным сердцем» (из некролога А. Ремизова). Писателя тепло приняли в Праге и Берлине, где живо интересовались современной русской культурой, но поселились Замятины во Франции. О сохранившем советское гражданство Замятине знакомая с ним еще по Петрограду Н. Берберова писала: «Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой»¹⁵. По письмам Замятина З. Никитиной можно представить круг его общения, очного и заочного, за рубежом: он встречался с И. Эренбургом, художниками Н. Альтманом и Ю. Анненковым, с которым дружил, вел переписку с одним из «серапионов» — К. Фединым и очень ждал приезда в Париж другого — М. Слонимского. Замятин и за границей сохранял самоощущение советского человека. Он говорил о своем переутомлении: «Устал, как ударник» (письмо З. Никитиной от 1.VIII.1932 года), просил продлить броню на ленинградскую квартиру, был готов подписаться на очередной заем.

На родине его также считали своим. На возвращение Замятина надеялись его коллеги по институту, собраты по перу и друзья. В 1934 году его заочно приняли в Союз советских писателей. Но Замятин все же остался на чужбине, ибо понимал, что в случае возвращения в штате сталинских льстецов не будет, а значит, останется «писателем «заштатным», обреченным на полное или приблизительное молчание»¹⁶.

Между тем условия для творчества и за границей были не лучшими. Надежды, которые Замятин возлагал на постановку своих пьес в Берлине у М. Рейнхардта, в Париже у П. Эттли, а также в США, где он рассчитывал на поддержку известного кинорежиссера Сесилия де Милля, почти не оправдались. Причины — экономические трудности, которые переживали в те годы Франция и Германия, о чем говорится в письмах З. Никитиной от 18.IV.1932 года и А. Ярмолинскому от 11 мая 1932 года. При жизни Замятина была поставлена лишь «Блоха» в Брюсселе в 1933 году. Из писем писателя 30-х годов ясно, что, заботясь о хлебе насущном, он был вынужден выступать с лекциями и статьями о советском образе жизни и культуре, а также хлопотать о переводе своих произведений на иностранные языки. Но все это приносило «не франки, а так, франчишки». Постепенно Замятин пришел к выводу: «Кино сейчас здесь — единственное, где нашему брату прилично платят» (письмо Е. Анненковой от 5.I.1933 года). Он создавал один сценарий за другим, в основном на исторические темы — «Стенька Разин», «Царь в плену», «Смутное время», «Чингис-хан», а также по мотивам русской классики: «Вешние воды», «Война и мир», «На дне» (по последнему сценарию был поставлен фильм известным кинорежиссером Ж. Ренуаром). Замятин, в частности, признавался З. Никитиной: «Сейчас ссорюсь и спорю с Львом Николаевичем Толстым: делаю для экрана „Анну Каренину“» (17.III.1933 года). Замятин написал также по мотивам своего романа «Мы» наброски сценария «D-503».

Все это сильно отвлекало от оригинального литературного творчества, от главного дела тех лет — исторического романа «Бич Божий». В нем Замятин собирался проследить жизнь и судьбу Атиллы на широком историческом фоне, но не смог реализовать полностью свой замысел. А как жаль, ведь написанные пять глав романа — показатель дальнейшего творческого роста писателя!

¹⁵ Берберова Н. Н. Курсив мой. Автобиография. М. 1996, стр. 341.

¹⁶ См.: Мальмстад Д., Флейшман Л. Из биографии Замятина. (Новые материалы). — «Stanford Slavic Studies», Stanford, 1987, vol. 1, p. 144.

«Замятин не болтун литературный и без разглагольствований: за 29 лет литературной работы осталось — под мышкой унесешь; но весь — свинчатка», — писал близко знавший его А. Ремизов¹⁷. Публикуемые письма писателя характеризуют творческую «весомость» этого «негнущегося и своевольного»¹⁸ человека, оставшегося таким — до конца.

Тексты русских писем Замятина печатаются по автографам, хранящимся в архивах РГАЛИ, в Отделе рукописей РГБ, в Отделе рукописный фондов ГЛМ. Текст письма К. Чуковскому, факсимильно воспроизведенный А. Н. Стрижевым («Литературная учеба», 1990, № 3, стр. 75), впервые публикуется в расшифровке А. Н. Тюрина. Тексты английских писем Замятина, напечатанные в уже упоминавшейся работе Д. Мальмстада и Л. Флейшмана (стр. 124 — 140), здесь впервые публикуются в переводе на русский язык с оригиналов, хранящихся в Бахметевском архиве при Колумбийском университете (США).

1

К. И. ЧУКОВСКОМУ¹

14.VI.1923 г.

Дорогой Корней Иванович.

Вы — библиотека: у Вас Гарди² — «Вдали от мирской суеты», у Вас Lawrence «Sons & Lovers»³, у Вас — Конрад «Рассказы». Эти книги заказаны по Вашей рекомендации, и, сколько помню, они у Вас есть — и, сколько знаю, у Вас самого от переводов seasick[ness]⁴. Будьте добры к «Всемирной» и к себе: пришлите эти книги поскорее — и получите за них деньги (за розыскания и предоставление оригиналов).

Еще: у Вас — «Main Street» Льюиса⁵. Я хочу дать это Носовичу, обезбэббитившему⁶, он переведет хорошо. За книгу — тоже получите.

И еще: нет ли у Вас «Лилиан» Беннетта⁷? Эту книгу рекомендовали тоже Вы, и на нее тоже есть заказ.

Для хроники материалу, кажется, будет очень много. Главное — не хватает романа. Не пустить ли «Мы» — в виде перевода с португальского? Успех обеспечен⁸.

На старости лет занялся опять рассказами: пишу «Рассказ о самом главном». Если не сойду с рельс, скоро кончу — и начну для отдыха пустяки: «Непорочное зачатие»⁹.

Присылайте книги и получайте книги¹⁰ скорей.

Евг. Замятин.

¹ К. И. Чуковский в эти годы сотрудничал с издательством «Всемирная литература» как редактор и переводчик. Замятин и Чуковский были также редакторами издательства «Эпоха», созданного в начале 20-х годов в Петрограде, и издававшегося в 1924 году независимого литературно-художественного журнала «Русский современник» (см. вступительную статью), членами редколлегии «Союза деятелей художественного слова». Как и Замятин, Чуковский был связан с литературной группой «Серапионовы братья»: с 1919-го до весны 1921 года он читал лекции в Доме искусств и присутствовал в качестве гостя на собраниях «серапионов».

² Имеется в виду Томас Харди (1840 — 1928), английский писатель, и его роман 1874 года, переведенный в 1937 году на русский язык под названием «Вдали от шумной толпы».

³ Роман «Сыновья и любовники» (1913) английского писателя Д. Г. Лоренса (Лоуренса; 1885 — 1930).

⁴ Морская болезнь (англ.).

⁵ Льюис С. (1885 — 1951) — американский писатель, нобелевский лауреат 1930 года. Замятин упоминает его роман «Главная улица» (1920).

⁶ Игра слов, основанная на названии романа Льюиса «Бэббит» (1922).

⁷ Беннет А. (1867 — 1931) — английский писатель. Его роман «Лилиан» (1922) на русский язык не переводился.

⁸ Речь здесь идет о разделе «Библиография и хроника» в непартийном журнале «Современный Запад», выходившем при издательстве «Всемирная литература» в 1922 —

¹⁷ Ремизов А. М. Стоять — негасимую свечу. Памяти Евгения Ивановича Замятина. — «Наше наследие», 1989, № 1, стр. 118.

¹⁸ Слова из письма Замятина И. Ерошину.

1923 годах и редактировавшемся Замятиным. В редколлегию входили также А. Н. Тихонов-Серебров, К. И. Чуковский и А. М. Эфрос. Журнал объективно и оперативно отражал ситуацию в западноевропейских искусствах и науке тех лет.

⁹ Так Замятин в письме назвал рассказ «О чуде, происшедшем в Пепельную Среду». Первая публикация: «Новая Россия», 1926, № 1.

¹⁰ По всей вероятности, описка: по смыслу следовало написать «деньги».

2

И. Ф. КАЛЛИНИКОВУ¹

19.II.1925.

Я получил Ваше письмо только вчера — потому что недели три прожил в Москве (в связи с постановкой в Художественном театре моей пьесы²) и только вчера вернулся оттуда. До сих пор мои вещи переводились на английский, немецкий, французский; связаться с чешским читателем мне будет особенно приятно. Передайте Josef'у Kopta, что я согласен издать переводы моих вещей в издательстве «Золотая Прялка»³ на предложенных условиях (10% с номинала при тираже 5000 экземпляров).

Мне представлялось бы только, что лучше скомбинировать по томам материал иначе, чем это намечено в Вашем письме. Повесть «На куличках»⁴ в моем представлении как-то плохо клеится с такими вещами, как «Пещера» и «Мамай»⁵. До сих пор я издавал тома, подбирая материал в хронологическом порядке, так что в каждой книге было некоторое единство литературной техники (менявшейся от тома к тому). Если взять другой признак за основу — можно было бы составить в первую голову том рассказов, по теме так или иначе связанных с русской революцией. В этот том вошли бы рассказы «Пещера», «Мамай», «Землемер», «Дракон», «Глаза» (из книги «Островитяне»⁶), «Рассказ о самом главном» (из № 1 «Русского Современника») и рассказ «Сподручница грешных»⁷ (до сих пор не вошедший ни в какой том). В этом томике — 5 — 6 печатных листов (по 40 000 букв); если это мало — можно присоединить сюда повесть «На куличках» (еще 4 — 5 листов) или рассказ «Непутевый»⁸ (из моей книги «Уездное» — около 1½ листов).

Другая комбинация: том из двух крупных русских повестей — «На куличках» и «Уездное»⁹ (том около 10 печатных листов). Третья комбинация: том из трех повестей: «На куличках», «Островитяне»¹⁰ и «Север»¹¹ (около 10 листов).

«Тулумбас»¹² — шуточную вещь — в том включать не стоит; выберите любую из предлагаемых мною комбинаций.

В качестве второго тома я предлагаю перевести мой социально-утопический роман — по-моему, лучшее из того, что я написал до сих пор. Роман этот в январе вышел в Нью-Йорке по-английски¹³; сейчас переводится на немецкий; по-русски еще не вышел. Рукопись этого романа Вы можете получить у моего переводчика на немецкий; его адрес: Herrn D. Umansky, Wien, I, Wipplingerstrasse, 32 IV (Дмитрий Александрович Уманский)¹⁴.

Я одновременно пишу ему, чтобы по Вашему запросу он изготовил для Вас копию оригинала. У него же Вы можете получить для I тома рассказ «Сподручница грешных» и «Рассказ о самом главном».

Если для I тома будет выбрана комбинация, в которую не войдет повесть «Уездное», — для одного из следующих томов можно перевести книгу «Уездное» целиком. Если ее у Вас нет — напишите, я вышлю.

Еще предложение: у меня есть три пьесы — «Блоха», «Общество почетных звонарей»¹⁵ и «Огни св. Доминика»¹⁶. Последняя года два назад вышла по-русски в Берлине; первые две — еще не напечатаны. «Блоха» 11 февраля с большим успехом поставлена в Москве в Художественном театре 2-ом (бывшей 1-ой Студии Художественного театра) и скоро пойдет в Александринском театре. Пьеса «Общество почетных звонарей» осенью пойдет в 1-ом (старом) Москвовском Художественном театре¹⁷, она уже переведена на немецкий. Предложите Копте перевести эти пьесы на чешский для постановки. Рукописи двух пьес («Блоха» и «Общество почетных звонарей») можно получить у того же Уманского.

Будьте добры уведомить меня о получении этого письма. Жду присылки договора на перевод моих вещей от «Золотой Прялки».

Два слова о Вашей повести «Смрад»! Материал у Вас — редкостный, поразительный. Неверно, что читатель не верит описанным там фактам: я поверил всему. Минусы — только в форме. Есть какая-то леонид-андреевщина в психологических описаниях, какая-то неверность в ритмовке фраз (не обижайтесь!). Я бы на Вашем месте этот прекрасный материал положил в стол этак на год — на полгода и потом еще раз переработал его — получится очень сильная вещь. Большое впечатление она производит и сейчас, в настоящем ее виде — но ее можно сделать лучше, я уверен, а если можно, то, значит, и надо...

Привет. Спасибо за письмо. Жду Вашего ответа.

Евг. Замятин.

P. S. Мне передавали, что издательству нужен мой портрет, — портрет Вы тоже можете получить у Уманского.

Евг. З.

РГАЛИ, ф. 267, оп. 2, ед. хр. 102.

¹ Каллиников Иосиф Федорович (1890 — 1934) — поэт, прозаик, переводчик, этнограф. В 1920 году эмигрировал, с 1922 года жил в Праге. Умер в Чехословакии. В середине 20-х годов занимался переводами с чешского языка.

² «Блоха» (1924).

³ Сведения об издательстве и издателе не установлены.

⁴ Повесть «На куличках» опубликована в петербургском журнале «Заветы» (1914, № 3); отдельные издания — Берлин, 1923; М. — Л., 1926. Дореволюционная цензура увидела в ней клевету на русскую армию. Номер журнала был конфискован, а редакция и автор привлечены к суду. Отрывок из повести под названием «Божий зевок» опубликован в пражском эмигрантском журнале «Воля России» (1923, № 15).

⁵ Рассказ Замятина «Пещера» (1920) напечатан в журнале «Записки мечтателей» (1922, № 5) и в том же году переиздан в «Голосе России» (Берлин, 23 июля), а два года спустя — в «Литературной России» (М., 1924). Рассказ «Мамай» (1920) опубликован в петроградском журнале «Дом искусств» (1921, № 1).

⁶ Рассказы «Землемер» (1917), «Дракон», «Глаза» (оба — 1918), а также «Пещера» и «Мамай» опубликованы в сборнике повестей и рассказов Замятина «Островитяне» (Пг. — Берлин, 1922).

⁷ Рассказ «Сподручница грешных» (1918) напечатан: «Пересвет. 2». М. 1922.

⁸ Рассказ «Непутевый» (1913) опубликован в «Ежемесячном журнале» (1914, № 1).

⁹ Повесть «Уездное» (1912) опубликована: «Заветы», 1913, № 5.

¹⁰ Повесть «Островитяне» (1917) напечатана во втором выпуске сборника «Скифы» (1918).

¹¹ Повесть «Север» (1918) опубликована в первом выпуске «Петербургского альманаха» (Пг. — Берлин, 1922).

¹² Произведение называется «Послание смиренного Замутия, епископа обезьянского» (1920) (опубликовано в рубрике «Тулумбас» — «Записки мечтателей», 1921, № 2-3).

¹³ Речь идет о романе «Мы», изданном в переводе на английский язык: Z a m u a t i n E. We. Tr. by G. Zilboorg. N. Y. Dutton. 1924.

¹⁴ Уманский Д. А. — переводчик на немецкий язык. Перевел рассказ Замятина «Пещера». В письме К. А. Федину от 21.III.1925 года Замятин просил посмотреть этот перевод и решить, хороший ли он. См.: «...Мне сейчас хочется тебе сказать...». Из переписки Бор. Пильняка и Евг. Замятина с Конст. Фединым. — «Литературная учеба», 1990, № 2, стр. 82.

¹⁵ Трагикомедия «Общество почетных звонарей» (Л., 1926) написана на материале повести «Островитяне».

¹⁶ Издана: Берлин, 1922.

¹⁷ В 1931 году Замятин писал: «В МХАТе 1-м ее начинали репетировать дважды, но до постановки дело так и не дошло» (Замятин Е. И. Автобиография. — «Странник», 1991, вып. 1, стр. 13).

3

А. Ц. ЯРМОЛИНСКОМУ¹

7.XI.1925.

Дорогой Ярмолинский,
для начала — разрешите мне поблагодарить Вас за то, что не забываете меня, посылая письма и книги. Правда, что касается этих книг, вынужден признаться, что не получил их. Это касается также и книги Вашей жены: она исчезла, она как-то растаяла в мировом пространстве².

Тем не менее я пытаюсь отправить Вам мою последнюю опубликованную книгу — пьесу, которую сейчас ставят во 2-м Московском Художественном театре³. Посылаю Вам два экземпляра этой книги⁴, будьте добры, вручите один из них моему переводчику Гр. Зильбургу⁵. И потом: пожалуйста, не забудьте сообщить мне, что на самом деле случилось чудо и Вы получили книги, о которых идет речь.

В романистике в этом году, к несчастью, пока нет ничего примечательного: здесь преобладает какая-то бледная немочь. Не могу порекомендовать Вам ни одной книги — кроме романа Леонова «Барсуки»⁶, который Вы, очевидно, уже прочли.

Наш журнал⁷ лежит в гробу и ждет воскрешения из мертвых. Мы не потеряли еще надежду увидеть его ожившим.

Кстати, я собираюсь побеспокоить Вас прилагаемым письмом, адресованным одному нью-йоркскому книжному магазину. Мы послали несколько писем этим людям, напоминая им об их долге нашему журналу, но ответа не получили. Может быть, толку будет больше, если письмо пошлете Вы, добавив несколько слов от себя.

Извините — все это утомительно. Но что я могу поделать, если вся наша жизнь достаточно скучна: помню, прошлой зимой я беседовал как-то с очень известным немецким актером Моисси⁸, и он сказал мне: «Наиболее ужасное из того, что я увидел здесь, — это то, что тут очень скучно». Он был прав.

Лишь мой Ростислав⁹ так же весел и счастлив, как обычно. Он очень тронут тем, что Ваша жена упомянула его в своей приписке. Он сказал, что когда вырастет (я несколько сомневаюсь в этом), он полетит, чтобы увидеть «Американскую леди», и что ему нравятся «ее духи». Что вытворяет, а?

Мои лучшие пожелания Американской леди и Адаму¹⁰ — и Еве: я уверен, что Адам не может существовать (и грешить) без Евы.

Преданный Вам Е. Зам.

Р. S. Будьте добры, сообщите Зильбургу, что я получил его письмо от 1. IX и посылку с газетными вырезками.

¹ Ярмолинский Авраам Цалевич (1890 — 1975) — американский филолог-русист и переводчик. Выходец из России, в 1913 году переселившийся в США. С 1918 по 1955 год возглавлял славянское отделение Нью-Йоркской публичной библиотеки. Зимой 1923 — 1924 годов вместе с женой Б. Дейч посетил Россию и познакомился с Замятиным и Чуковским. Это и последующие письма к нему в оригинале написаны по-английски.

² Deutsch В. Honey out of the Rock. N. Y. — London. 1925 (Б. Дейч, «Мед из камня» — стихотворный сборник).

Дейч Б. (1895 — 1952) — поэтесса, прозаик и литературный критик. Вместе с мужем подготовила сборники русской поэзии в английском переводе.

³ См. примеч. 2 к письму 2.

⁴ Замятин Е. И. Блоха. Игра в четырех действиях. Л. 1926.

⁵ Зильбург Грегори (1890 — 1959) перевел на английский язык роман Замятина «Мы» (см. примеч. 13 к письму 2).

⁶ Ср. с этой оценкой романа Л. М. Леонова отзыв о нем в статье Замятина «О сегодняшнем и о современном» («Русский современник», 1924, № 2).

⁷ «Русский современник». См. о журнале во вступительной статье.

⁸ Моисси Александр (1880 — 1935) — албанец по происхождению, актер-трагик немецкого театра М. Рейнхардта, декларировавшего «уничтожение в театре плоского правдоподобия повседневности» (см.: Глумов А. Нестертые строки, стр. 121). А. Моисси в 1924 и 1925 годах приезжал на гастроли в Советский Союз.

⁹ Кукла, «жившая» на книжной полке у Замятина.

¹⁰ Адам — сын А. Ярмолинского и Б. Дейч, родившийся в 1923 году.

4

А. Ц. ЯРМОЛИНСКОМУ

Ленинград, 8 марта 1926.

Дорогой Ярмолинский,
всегда очень грустно терять своих друзей, особенно если это происходит из-за неожиданной заразной болезни. Понимаю, что Вы щадите меня, что Вы скры-

ваете от меня ужасную новость, но ведь я же все равно это знаю: я знаю, что мой дорогой Зильбург погублен самой неизлечимой из всех болезней — любовью. Без сомнения, эта маленькая ужасная микроб-женщина сгрызла его до самых костей. Это объясняет то, почему три моих письма к нему остались без ответа и почему я не получил от него денег (в своем последнем письме он обещал послать выданный Е. П. Даттоном¹ гонорар за мой роман).

Мистер Конан Дойль, как я читал, принимает поручения в загробный мир²: может быть, Вы могли бы сделать то же самое и попытались бы получить весточку для меня от нашего бедного покойного Зильбурга. Как знать, вдруг он оставил мне уйму долларов в своем завещании? Будьте так добры, вызовите его дух и напишите мне.

Кстати, Вы пишете, что отправили ему мою пьесу³. Но кроме пьесы ему послана и другая книга — книга моих повестей⁴: получена она или нет?

Теперь далее — о Ваших поручениях: Маршак и Чуковский оба получили книгу Американской леди⁵. Чуковский безнадежно груб — не стану объяснять это. И если кому-нибудь нравится нечто brutальное — шампанское «брют» или домашняя грубость, — в таком случае о вкусах не спорят. Тем более что Чуковский — смесь этих двух видов brutальности.

У Ахматовой⁶, кажется, весьма однообразное меню — воспоминания. Как раз на прошлой неделе она позвонила мне. Я осведомился, нет ли у нее каких-нибудь новых стихов для Вашей русской антологии⁷, и она пообещала послать Вам две новые вещи.

Общая тенденция здесь такова, что поэзия сходит со сцены, а ее место занимает проза, так что я затрудняюсь назвать Вам новых интересных поэтов. Такие, как Пастернак, Асеев, Казин, Клюев, без сомнения, уже включены Вами в книгу. В Москве есть неплохая поэтесса Вера Инбер, некоторые из ее произведений довольно сильные. Если случайно Ходасевич и Марина Цветаева отсутствуют, их надо включить⁸.

В третье издание Вашей антологии Вы сможете включить новое имя: мое. Так как большая часть моей новой пьесы написана стихами. Но, к счастью, она еще не вполне закончена, и Вам нет нужды беспокоиться⁹.

Теперь, замыкая круг, возвращаюсь к началу — к этой опасной болезни: ради Бога, не заразите ею моего Ростислава. Он очень впечатлителен, и у него плохая наследственность. Услышав, что одна Американская леди краснеет при его имени, — он начал...

Нет, лучше я поставлю здесь точку.

Наилучшие пожелания от меня и моей жены Вам и Американской леди.

Искренне Ваш Е. Замятин.

¹ Даттон — нью-йоркский издатель романа «Мы». См. примеч. 13 к письму 2.

² Намек на увлечение А. Конан Дойла спиритическими сеансами.

³ См. примеч. 4 к письму 3.

⁴ Речь может идти об одной из следующих книг Замятина: «Островитяне». Повести и рассказы. [Берлин и др.]. 1923; либо: «Уездное». Повести и рассказы. 2-е изд. М. — Пг. 1923.

⁵ По-видимому, книга Б. Дейч была послана для перевода. См.: Мальмстад Д., Флейшман Л. Из биографии Замятина..., стр. 126.

⁶ Замятин и А. А. Ахматова дружески общались, следили за творчеством друг друга. В № 1 «Русского современника» за 1924 год, издававшемся при ближайшем участии Замятина, напечатаны стихи Ахматовой. В 1929 году во время преследований Замятина и Пильняка Ахматова в знак протеста вышла из Всероссийского союза писателей. Живя за границей, Замятин заботился о нуждавшейся материально Ахматовой. См. его письмо З. Шаховской от 11.XII.1933 года — Шаховская З. А. Соединить острова... — «Советская литература», 1990, № 3, стр. 43.

⁷ Речь идет о подготовке Б. Дейч и А. Ярмолинским второго издания их сборника «Русская поэзия. Антология» (Нью-Йорк, 1927).

⁸ Марина Цветаева — одна из тех немногих, с кем Замятин общался за границей. «...мы с ним редко встречались, но всегда хорошо, он тоже, как и я, был: *ни* нашим, *ни* вашим», — писала она (см.: Цветаева М. И. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М. 1995, стр. 298). Она, наряду с писателями М. Л. Слонимом, Р. Б. Гулем, Г. И. Газдановым, А. Ф. Даманской, присутствовала на похоронах Замятина 10 марта 1937 года.

⁹ Замыслом своей трагедии «Атилла» Замятин поделился с Ярмолинским в письмах к нему от 11.III.1925 года и от 5.VII.1925 года (см.: Мальмстад Д., Флейшман Л.

Из биографии Замятина..., стр. 118, 122). Второе из этих писем позволяет установить дату начала работы Замятина над «Атилла»: «...уже с месяц сижу и пишу. Но вместо повести — опять пьесу. На этот раз — романтическая трагедия. Эпоха — очень далекая и очень близкая: Атилла». Здесь же Замятин впервые пишет об особенностях формы произведения и о предполагаемом сроке его завершения: «Так как лавры Бабетты Дейч не дают мне спать, то трагедию я пишу уже не прозой, а стихом — несколькими сложными размерами. Кажется, выходит неплохо — три акта уже есть. К середине июля думаю кончить...» (там же, стр. 122).

5

А. Ц. ЯРМОЛИНСКОМУ

Ленинград, 9 июня 1926.

Дорогой Ярмолинский, очень признателен Вам за Вашу доброту. Я получил от Вас письмо с вложенным в него ответом Зильбурга и затем (позже) чек от Зильбурга. Он жив, я страшно рад узнать это. Но, извиняюсь, я не получил три его письма. Поэтому собираюсь вновь побеспокоить Вас просьбой отправить вложенное письмецо к Зильбургу. Не обижайтесь на меня за это.

Не советую Вам покупать антологию, о которой Вы спрашивали: на три четверти она набита мусором¹.

Здесь нет литературных новостей, по крайней мере таких, о которых стоило бы писать. Недавно я закончил трагедию «Атилла» (в стихах) и вручил ее для постановки в следующем сезоне местному Большому Драматическому Театру². Сейчас связан с кино — работаю над сценарием по одной из моих повестей («Север»)³. Через две недели я, вероятно, отправлюсь в деревню. Лето у нас сейчас в разгаре.

Что касается Ростислава, он постепенно становится настоящим надоедой: он на редкость темпераментный поклонник. Надеюсь, Ваш Адам (и Ева?) не такие, как он, — в противном случае не завидую Вам.

С лучшими пожеланиями Вашей жене и Вам.

Сердечно Ваш Е. Замятин.

¹ Ежов И. С., Шамурин Е. И. Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней. М. 1925. В 1991 году в Москве вышло репринтное переиздание этой книги.

² В автобиографии 1931 года Замятин вспоминал: «Работа была закончена осенью 1927 года. Право первого представления было предоставлено ленинградскому Большому Драматическому театру. Пьеса была прочитана на заседании художественного совета — в присутствии делегатов от 18 ленинградских заводов <...>. Рабочие делегаты предлагали приурочить постановку пьесы к десятилетнему юбилею театра. С февраля 1928 г<ода> начались репетиции (Н. Ф. Монахов — в роли Атиллы), худ<ожник> Н. П. Акимов сделал макет постановки; пьеса разрешена была Главреперткомом и объявлена на афишах, но, по независящим от театра обстоятельствам, до зрителя не дошла» («Странник», 1991, вып. 1, стр. 14). Пьеса опубликована впервые: «Новый журнал», Нью-Йорк, 1950, кн. 24.

³ Во время съемок фильма по этому сценарию Замятин, не нашедший взаимопонимания с режиссером, потребовал убрать свое имя из титров. Оно, однако, появилось и в титрах, и в газетной информации (премьера фильма состоялась в феврале 1928 года). Тогда в открытом «Письме в редакцию» («Жизнь искусства», 1928, № 11) Замятин снял с себя какую бы то ни было ответственность за художественную сторону этой ленты.

6

В. В. КАМЕНСКОМУ

14.VI.1926.

Многоуважаемый Василий Васильевич и милый, чудесный Вася Каменский!

Вам обоим я сообщаю, что по-прежнему — я верю в барчумба!¹

Хотя как будто даже не стоило бы верить: так кругом подло и скучно. И еще зима — хотя уже и тепло и все зелено. Но лето у меня начинается тогда, когда я уже ничего не пишу и когда я начинаю лечиться солнцем и душами (человеческими — особенно помогают женские). А я пока работать не кончил еще. Правда, «Атилла» уже читан в театре (Больш^{ом} Драм^{атическом}) и продан — стало быть, рожден. Но послед еще не вышел, и из опасения острой цензуры (есть такая болезнь, очень неприятная) — приходится еще повозиться с одним актом.

Дней этак через десяток думаю уехать. Куда — толком еще сам не знаю. Скорее всего, сначала недели на две-три в Тамбовскую губ^{ернию}, а потом, должно быть, куда-ниб^{удь} на юг. География — не ясна. Одна актриса зовет в Коктебель, один мой поклонник — юный беллетрист — предлагает почти бесплатное пребывание в Сочи, Ваш приятель Леонидов² — заманивает ехать в Сванетию. Скоро все решу.

А Вы — все лето в Каменке³? А что же — наша Персия? Ау? Или Вы стали заядлым женатиком?

Летнего адреса Григорьевых — не знаю. С месяц назад получил письмо от Бор^{иса} Дм^{итриевича}⁴ — еще из Парижа, писал, что едут в Бретань. Недавно послал открытку Эмочке⁵ — ответа не получил пока.

Жду письма. Целую.

Евг. Замятин.

Людмила Ник^{олаевна}⁶ шлет привет — от самого сердца.

РГАЛИ, ф. 1497, оп. 2, ед. хр. 41.

¹ «Барчум-ба» — заумное слово из стихотворения Василия Каменского «Жонглер» (1922), его последнего произведения, основанного на игре звуков (опубликовано: «ЛЕФ», 1923, № 1). Замятин, как и Каменский, экспериментировал со словом и создавал неологизмы.

² Леонидов Л. М. (1873 — 1941) — актер, педагог, доктор искусствоведения. С 1903 года в МХТ, с которым в 20-е годы сотрудничал и Замятин.

³ Усадьба поэта Василия Каменского находилась на р. Каменке близ Перми.

⁴ Борис Дмитриевич — Григорьев Б. Д. (1886 — 1939) русский художник и график, иллюстрировавший роман Каменского «Землянка» (1911). Познакомился с Каменским в объединении петербургских авангардистов «Треугольник». В 1919 году выехал через Финляндию в Берлин, в 1921 году поселился в Париже, где получил признание как портретист. Автор портретов С. А. Есенина, А. М. Ремизова, М. Горького и других. В 1917 — 1919 годах Григорьев и Замятин, бывшие соседями по дому на Широкой, сблизились и подружились. Замятин признавался: «Из нынешних русских художников нет ни одного, искусство которого было бы мне ближе, созвучнее, чем искусство Бориса Григорьева» (см.: Замятин Е. И. Борис Григорьев. — «Новый журнал», 1990, № 178, стр. 166). Он отмечал также присущую творчеству Григорьева горькую, ненавидящую любовь к России (там же, стр. 167).

⁵ Эмочка — вероятно, домашнее имя жены Григорьева, Елизаветы Георгиевны (урожд. фон Браше).

⁶ Людмила Николаевна — Замятина Л. Н. (урожд. Усова; 1883 — 1965), жена и помощница Замятина, его литературный секретарь. Ее усилиями после смерти мужа была составлена и издана книга его критических статей и воспоминаний «Лица» (Нью-Йорк, 1955). Воспоминания о Замятиной оставил Ю. П. Анненков в своей книге «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» (М. [1991], стр. 246 — 286).

7

И. Е. ЕРОШИНУ¹

Троица, 20.VI.1926.

Дорогой Ерошин, сегодня раскапывал вороха бумаг у себя в столе — и нашел Ваше письмо. Оно как-то случайно угодило в стол — и я уже давно считал его потерянным — а с ним и Ваш адрес. Письмо это я сразу же запомнил и выделил из всех тех, какие мне приходится получать: письмо — редкостное, письмо счастливого человека. «Я очень счастливый человек...» «Я самый счастливый человек в мире...» — помните ли Вы, что так было написано в Вашем письме? И можете

ли Вы повторить это теперь — почти через два года? Если можете — радуюсь за Вас и завидую Вам. Завидую — потому что я себя счастливым человеком никак не могу назвать: мне всегда мало того, что есть, и всегда — нужно больше. И мне часто трудно — потому что я человек негнувшийся и своевольный. Таким и останусь.

Рад был найти сейчас и перечитать Ваше письмо еще и потому, что вспомнился 18-ый год, Дом Искусств, Студия². Мне приятно, что Вы хорошо вспоминаете это время. Внешне — тогда жилось куда тяжелей, чем теперь, — и все же насколько было лучше!

Далекие отголоски тогдашнего разговора об азиатском и западном в нас — пожалуй, Вы найдете в последней моей вещи, над которой работал эту зиму, — трагедии «Атилла» (почти вся написана стихом). Впрочем, печатать эту вещь скоро не собираюсь: сначала она пойдет на сцене — здесь, в Ленинграде, и, вероятно, в Москве.

Не знаю, дойдет ли до Вас это письмо. Буду рад, если напишете.

Евг. Замятин.

Моховая, 36, кв. 8.

ОРФ ГЛМ, ф. 305, оп. 1, ед. хр. 9.

¹ Ерошин Иван Евдокимович (1894 — 1965) — русский поэт. Сотрудничал в газетах «Красный стрелок», «Правда», большевистском «Социал-демократе», «Советской Сибири», в журнале «Сибирские огни».

² Дом искусств открылся 19 ноября 1919 года. При издательстве «Всемирная литература» в 1919 году была создана литературная студия по мастерству перевода. 1 февраля 1921 года при студии, ставшей клубом писателей, стремившихся к оригинальному творчеству, образовалась группа «Серапионовы братья». «Опекуном-наседкой» «цыплят-серапионов», по словам Замятина, был Горький, авторитетным наставником, наряду с В. Б. Шкловским и Н. С. Гумилевым, — Замятин. Упомянутая студия затем перешла в Дом искусств, где Замятин читал студийцам лекции по технике художественной прозы.

8

Н. В. ПЕТРОВУ¹

24.VIII.1928.

Дорогой Николай Васильевич,
к Вам в театр передана пьеса М. Е. Левберг «Монтана»². Хорошо, если бы эта пьеса однажды очутилась на Вашем письменном столе, — может быть, Вы об этом не пожалеете.

Пьеса, по-моему, интересная. Я знаю, что ее читал Горький и она ему понравилась³. Автор — М. Е. Левберг — не новичок в театре: Вы, вероятно, помните ее же «Смерть Дантона» в Больш^{ом} Драм^{атическом} Театре — в блоковские времена⁴.

Привет.

Ваш Евг. Замятин.

РГАЛИ, ф. 2358, оп. 1, ед. хр. 601.

¹ Петров Н. В. (1890 — 1964) — русский режиссер. С 1910 года работал в Александринском театре, после революции переименованном в Ленинградский театр драмы, в котором в 1928 — 1933 годах был художественным руководителем.

² Левберг М. Е. (урожд. Купфер, писала и под псевдонимом Д. Ферранте; 1894 — 1934) — русский драматург. Пьеса «Монтана» написана в 1928 году.

³ Около 1915 года Левберг познакомилась с Горьким, который оказывал ей в дальнейшем покровительство.

⁴ Замятин ошибся в названии. Пьеса «Дантон» (1919), рекомендованная к постановке в БДТ А. А. Блоком, шла в этом театре в сезоне 1919/20 года.

С. А. ОБРАДОВИЧУ¹

Уважаемый Сергей Александрович, очень сожалею, что задержал корректуру на лишние сутки: в тот день, когда гранки были получены, я был за городом — и вернулся только вчера. И еще больше сожалею [не о том], что мне приходится писать редакции альманахов «ЗиФ», а [о том], что Вы прочтете дальше.

В гранках моего рассказа² я нашел ряд изменений. Некоторые из них я понимаю (напр<имер>, в гранке 3-ей выброшено искаженное (Ганькой) слово «Совнарком») — это сделано по соображениям цензурным. Но чем объяснить купюру в гранке 5-ой и особенно — в 8-ой?

Трудно допустить, что купюра в 5-ой гранке («Никто не слышал, как ночью по-разному дышали трое» и т. д.) — вызвана целомудрием редакции. Этак мы скоро дойдем и до американских нравов, где некое «Общество борьбы с пороком» однажды распорядилось надеть на голые статуи нью-йоркского музея юбочки вроде балетных. Полагаю, что моя вставка в гранке 5-ой (несколько изменяющая первоначальный текст) — удовлетворит даже американским требованиям.

И уже совершенно ничем нельзя объяснить огромную купюру в гранке 8-ой. Тут уж явно редакция сочла возможным исправлять мой текст по соображениям «художественного» порядка.

Очень хорошо, если редакция альманахов «ЗиФ»'а исправляет молодых авторов и учит их, как надо писать. Но я, пожалуй, из такого возраста уж вышел, за художественную сторону моих работ — отвечаю сам и «художественной» правки моих вещей допустить ни в коем случае не могу. Помимо всего прочего, недопустима эта правка уже по одному тому, что она привела к бессмыслице: в «исправленном» рассказе получилось, что Софья вынесла труп Ганьки, целиком засунув его в мешок. Картина!

К счастью, от такого непрошеного соавторства писатель у нас теперь защищен законом об авторском праве (§ 18 закона 1928 года), и этим, конечно, вопрос решается окончательно.

Вывод ясен: я категорически настаиваю на том, чтобы купюры, сделанные в гранках 5-ой и 8-ой, были восстановлены — в том виде, как они нанесены мною на полях. Ничем не мотивированных и предварительно со мною не согласованных изменений в тексте — я разрешить не могу.

Прошу редакцию альманаха ответить мне по этому вопросу телеграммой или быстрым обратным письмом. В случае несогласия печатать рассказ в том виде, в каком он дан теперь в гранках, — я использую рассказ в другом месте, где к работе писателя относятся с бóльшим уважением, а полученный гонорар возвращу «ЗиФ»'у³.

Евг. Замятин.

15.I.1929.

РГАЛИ, ф. 1874, оп. 1, ед. хр. 295.

¹ Обрядович С. А. (1892 — 1956) — русский поэт, переводчик, критик. В 1927 — 1931 годах был одним из организаторов и редакторов альманахов «Земля и Фабрика» («ЗиФ», № 1 — 13). Редакторский произвол, о котором пишет Замятин, — типичное для конца 20-х — 30-х годов явление в СССР.

² Рассказ «Наводнение» (1929). Американский исследователь А. Шейн писал о «Наводнении»: «И убийство и ненависть Софьи показаны как результат грубого, примитивного чувства. В этом художественная сила рассказа и причина его неприятия советскими критиками». См. об этом: Shane A. M. The Life and Works of Evgenij Zamjatin. Berkeley. Los Angeles. Univ. of California Press. 1968, p. 279.

³ Рассказ был опубликован: «Земля и Фабрика», 1929, кн. 4, март.

10

А. Ц. ЯРМОЛИНСКОМУ

6.XII.1931.

Мой дорогой Ярмолинский, я не писал Вам сто лет, так как ждал возможность произвести этот театральный эффект: написать Вам письмо не из Ленинграда, но из Берлина¹. Да, такое чудо произошло, я здесь вместе с моей женой вот уже пару дней. На следующей неделе отправлюсь, возможно, в Прагу, затем назад в Берлин, потом в Париж — и в конце, может быть, в феврале, в Нью-Йорк. Хотя относительно этого долгого путешествия в Америку не все еще ясно. Как Вы думаете, нужно ли оно?² Рэй Лонг³ (надеюсь, Вы знаете его) обещал поддержать меня, Сесиль де Милль⁴, которого я встретил в Москве, тоже фигура значительная, но как Вы думаете, достаточно ли этого?

Пожалуйста, сообщите Ваше мнение по следующему адресу: Pension «Familienheim», Rankestr<asse> 7. Berlin W 50.

Мой самый горячий привет Вашей жене и мои наилучшие пожелания вам обоим к Рождеству.

Сердечно Ваш Е. Замятин.

¹ Покинув СССР, Замятин остановился в Риге, где вел переговоры о возможности поставить свои пьесы. Из Риги он отправился в Берлин, где находился с ноября 1931 по февраль 1932 года и пытался договориться о постановке своих новых пьес (вероятно, «Африканского гостя», 1929 — 1931, и «Рождения Ивана», 1931) у М. Рейнхардта.

² Намерение Замятина посетить США не осуществилось.

³ Лонг Рей (1878 — 1935) — американский журналист и издатель. В 1930 году побывал в СССР и познакомился с некоторыми писателями в Москве и Ленинграде.

⁴ Де Милль Сесиль-Бертран (1881 — 1959) — американский кинорежиссер, в августе 1931 года встретившийся с Замятиным в Москве. Они обсуждали различные проблемы театрального дела и киноиндустрии. В феврале 1932 года, добываясь в Берлине визы в Америку, Замятин попросил у де Милля рекомендательное письмо. «...мы сейчас как никогда нуждаемся в хорошем драматурге», — писал американский кинорежиссер (см.: Shane A. M. The Life and Works of Evgenij Zamjatin, p. 83).

11

З. А. НИКИТИНОЙ¹

18.IV.1932.

Дорогая Зоинька, наконец-то Вы разразились письмом! Большое Вам спасибо. Надеюсь, что мои дела причиняют Вам не слишком много хлопот. Впрочем, судя по Вашему письму, у Вас — избыток энергии, и самый невинный способ его использовать — это прогуляться во Всероскомдрам.

Итак, прогуляйтесь однажды по Невскому в этот самый Всероскомдрам, получите там мои гонорары и передайте их Аграфене Павловне² — вместе с моим приветом и праздничным поздравлением. Передайте также мои приветы всем окружающим Вас лицам. На Пасху не забудьте стать перед зеркалом и крепко себя поцеловать — вместо меня. Это, кажется, и все мои просьбы к Вам.

Я уже с неделю как отдыхаю от Парижей и Берлинов на Côte d'Azur³. Так жарко, ярко, сине, что вот сижу сейчас на террасе и пишу Вам это письмо, напялив на себя темные очки.

Отдыхать, впрочем, придется недолго: на шее висят камнем три статьи — для пражского университетского журнала, для одного берлинского и для парижского «Le Mois»⁴ (где недавно была статья Горького).

А там — опять в Париж, из-за театральных и прочих дел. Дела наклевываются довольно серьезные, весь вопрос сейчас только в том, достанет ли театр денег на постановку⁵. Это у французов уже не хватает денег — как Вам это нравится?

Для развлечения Вашего и всех Миш⁶ Вам посылается копия моего письма в редакцию «Литер<атурной> Газ<еты>» — будет ли оно напечатано там, не знаю⁷.

Спасибо за присланные книги. В Париже их достать почему-то гораздо труднее, чем, напр<имер>, в Берлине. Не удастся ли Вам достать для меня экземпляр «Наводнения»⁸? Свой я отдал для перевода французам, а мне нужен еще для испанцев.

Ваш Е. З.

РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр 187.

¹ Никитина Зоя Александровна (урожд. Гацкевич; 1897 — 1954) — первая жена писателя Н. Н. Никитина. Секретарь «Издательства писателей» в Ленинграде.

² Аграфена Павловна — Гроздова А. П., бывшая домработница Замятиных, следившая за их ленинградской квартирой.

³ Весной и летом 1932 года Замятины жили у Григорьевых в Кань-сюр-Мер.

⁴ Какие именно статьи имеются в виду, установить не удалось.

⁵ Речь идет о репетициях замятинской пьесы «Блоха» в переложении Сидерского на французский язык в «Театре мастеровых», организованном парижским театральным предпринимателем и актером П. Эттли. Пытаясь достать деньги, которых не хватало для постановки, Замятин обратился 2 сентября 1933 года с письмом к русскому писателю-эмигранту В. П. Крымову, спрашивая его, не согласится ли он вложить в это дело «тысяч двадцать франков» (см.: Мальмстад Д., Флейшман Л. Из биографии Замятина..., стр. 142). Вероятно, Крымов не откликнулся на просьбу автора «Блохи», и поэтому Эттли вынужден был перенести постановку в Брюссель, где в декабре 1933 года состоялась премьера спектакля, поставленного М. Библиным под руководством Эттли (в Бахметевском архиве при Колумбийском университете, США, хранятся письма: Эттли к Замятину от 28 августа 1933 года и Библина — без даты). Ю. П. Анненков, на участие которого Замятин рассчитывал, не смог выполнить декорации к спектаклю, и они были исполнены Маньеном де Рейзэ, а костюмы — Ландольфом. Автором музыки был Серж Векслер (см.: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий, стр. 280). «Провал «Блохи» был таков, что ее и не пытались поставить на парижской сцене», — вспоминала З. Шаховская (см.: Шаховская З. А. Соединить острова... — «Советская литература», 1990, № 3, стр. 42).

⁶ Имеются в виду М. М. Зощенко и М. Л. Слонимский.

⁷ Письмо Замятина от 30.III.1932 года, посланное из Парижа, было ответом на опубликованную в «Литературной газете» от 4 февраля и 11 марта 1932 года статью из чешской газеты «Руде Право» (центрального органа коммунистической партии Чехословакии) от 1 января 1932 года (по поводу прочитанной Замятиным в Праге лекции «Современный русский театр») и на комментарий к этой статье. Автор статьи М. Скачков извратил основные положения замятинского выступления, на что Замятин решительно указал в своем письме. Он, в частности, писал: «...я еще жив, и, следовательно, пока еще на меня нельзя валить, как на мертвого». Письмо Замятина было опубликовано в «Литературной газете» 17 сентября 1932 года.

⁸ Замятин Е. в. Наводнение. Л. Книгоиздательство писателей. 1930.

12

А. Ц. ЯРМОЛИНСКОМУ

11 мая 1932.

Дорогой Ярмолинский,
начну с очень интересного случая: недавно я получил из Нью-Йорка... мое собственное письмо к Вам, написанное в январе... Боже мой! Я был таким уставшим в те дни в Берлине, что, вместо того чтобы написать Ваш адрес на конверте, — написал адрес одного моего знакомого в Нью-Йорке. К несчастью, сей субъект не придумал ничего лучшего, как отправить это мое письмо по берлинскому адресу, откуда после множества приключений оно наконец оказалось у меня, здесь — на юге Франции, в очаровательном средневековом городке Кане (близ Ниццы), где я отдыхаю уже месяц¹.

Между тем я успел побывать в Праге, вновь в Берлине и затем в Париже. Я был приглашен в Прагу одним местным литературным обществом, и отношение ко мне со стороны пражской прессы и представителей местной интеллектуальной элиты было очень теплым. Там я выступил с лекцией о современном русском театре и очень весело провел рождественские каникулы².

В Берлине теперь все живут как при постоянном землетрясении, в ожидании того, что будут поглощены бездной. Эта злая участь на моих глазах постигла Макса Рейнхардта³, вынужденного закрыть пять из шести своих театров в Берлине. И хотелось бы добавить, что это случилось как раз накануне того момента, когда он решил поставить в Германии переведенную на немецкий мою пьесу «Блоха»⁴. Так познакомился с этой бездной и я... Нет, здесь в Берлине теперь совершенно невозможно что-либо делать.

Гораздо больше надежд вызывает Париж, хотя и там уже чувствовалась нехватка денег. В парижских театральных и литературных газетах напечатано несколько интервью со мной, три из моих пьес и несколько рассказов переведены на французский язык⁵ и т. д. В основном там я имел дело с театрами, но до постановок спектаклей не хотелось бы писать Вам об этом. В конце мая мне следовало бы вернуться в Париж и оттуда написать о судьбе некоторых моих начинаний.

Весьма вероятно, что июль и август я должен провести снова здесь, на юге Франции. И пожалейте меня: мне придется больше работать, чем отдыхать. Прежде всего предстоит написать несколько статей: «Современный русский театр»⁶, «Будущее театра»⁷, «Москва — Петербург»⁸, «Советские будни»⁹ — для берлинских, пражских и парижских журналов («Будущее театра» сейчас печатается в парижском «Le Mois»). Затем я должен продолжить работу над новым романом об Атилле¹⁰.

Итак, Вы видите, что Ваше предположение о том, что я засучив рукава работаю над романом, неверно (к моему сожалению), и пока что я делаю ставку в основном на свои пьесы. Если эти театральные дела не задержат меня во Франции, то однажды в октябре или примерно в это время я смогу появиться в Нью-Йорке¹¹. Главной целью моей поездки в США будет чтение лекций о культурной жизни в современной России. Это посоветовал мне Рэй Лонг, которого я встретил шесть недель назад в Париже и который обещал мне устроить нечто в этом роде. Каково Ваше мнение о шансах на успех данного начинания и какие темы Вы бы посоветовали выбрать для лекций? И возвращаясь к моим статьям: не видите ли Вы каких-нибудь способов напечатать их в американских журналах?

Теперь обратимся к вопросам, заданным в Вашем письме, если только мои ответы не окажутся запоздалыми.

Что касается вопроса о Вашей антологии русской прозы, которой Вы интересуетесь, ответить на него не так легко, потому что антология такого рода имеет двойную цель: выбрать лучшее произведение, в котором лучше всего отражена жизнь современной России. Не слишком часто удается найти произведение, отвечающее этим двум целям одновременно.

Упомянутый Вами рассказ Рыкачева¹² заслуживает того, чтобы его включить. В том же журнале «Красная новь» двумя или тремя месяцами раньше, чем рассказ Рыкачева, была опубликована повесть Платонова «Впрок»¹³, на шумевшая в Москве: это произведение, в основе которого впечатления от «колхоза», довольно сатирическое, но очень интересное и хорошо написанное.

Из вещей о крестьянской жизни есть то, что Вы так парадоксально называете «пространный короткий рассказ», — «Трансвааль» Федина, одна из его лучших повестей. Вероятно, Вы можете счесть, что эта повесть относится к «доколхозному времени».

Я мог бы вспомнить очень мало хороших романов или повестей на тему «индустриализации» и жизни рабочих — также мало и хороших «очерков». Большею частью это мусор, или по меньшей мере нет ни одного такого «честного и бесстрашного материала», который Вы хотите. Как исключение мог бы порекомендовать Вам книгу очерков «Сквозь ветер», написанную группой молодых ленинградских писателей (опубликованную «Издательством писателей в Ленинграде». Невский пр. 13. Ленинград)¹⁴.

Этим же издателем в прошлом году был опубликован мой «пространный рассказ» «Наводнение»¹⁵ о жизни семьи рабочих. Он переведен на английский Ч. Маламутом¹⁶ (23 Rapogamic Way, Berkeley, Calif<ornia>), и я думаю, что Вы могли бы достать экземпляр этого перевода у Кеннеди и Ливингстона. Не раз мне говорили, что это «лучшее из всего написанного» мною; так ли это, не знаю. Может быть, Вы бы предпочли другой рассказ, о жизни рыбаков рус-

ского севера — «Ёлу» (в IV томе моего собрания сочинений, издательство «Федерация», Москва)¹⁷.

Чтобы показать жизнь армии, Вы могли бы взять рассказ Куклина «Краткосрочники» («Издательство писателей в Ленинграде»)¹⁸.

И теми же издателями подготовлена книга Каверина «Художник неизвестен»¹⁹, которая освещает жизнь и нравы современных русских интеллектуалов.

Вы найдете хороший материал, показывающий воздействие русской революции на азиатские части страны, в книгах Н. Тихонова «Рискованный человек» (ГИЗ)²⁰ и Пильняка «Таджикистан»²¹.

Конечно, этого недостаточно, но если я вспомню что-то еще из подходящего материала, то дам Вам знать. Прощайте, жму Вашу руку и прошу Вас передать мои наилучшие пожелания Вашей жене, а также и от моей жены.

Искренне Ваш Е. Замятин.

Мой адрес: «La Maison du Livre Étranger», 9 rue de L'Épéron, Paris VI.

¹ См. примеч. 3 к письму 11.

² Замятин посетил Прагу по приглашению местного кружка артистов, а также Пражского литературного и художественного общества. Еще в России он интересовался культурой Чехословакии. Лекция «Современный русский театр» была прочитана порусски 29 декабря 1931 года. Она широко освещалась пражской прессой и была напечатана в чешском переводе в следующем месяце.

³ Рейнхардт М. (наст. фам. Гольдман; 1873 — 1943) — немецкий режиссер и актер. В 1905 — 1933 годах возглавлял Немецкий театр. В созданных им в Берлине и Вене театрах и студиях искал новые театральные формы и выразительные средства.

⁴ А. Шейн так пишет об этом эпизоде: «Немецкий драматург К. Зукмайер, которого Замятин встретил в Берлине в конце ноября 1931 г., помог ему переработать и расширить «Блоху». Знаменитый продюсер М. Рейнхардт согласился поставить эту пьесу, но постановка не была осуществлена» (см.: Shane A. M. The Life and Works of Evgenij Zamiatin, p. 82 — 94).

⁵ См., например, «Интервью — рукопись для Фредерика Лефевра» в кн.: Замятин Е. И. Сочинения. В 4-х томах, т. 4. Мюнхен. 1988, стр. 15 — 22. Речь идет о пьесах «Блоха», «Общество почетных звонарей», «Африканский гость». Рассказы «Часы», «Лев» (оба — 1935) и «Встреча» (1936) были впервые опубликованы в переводе на французский язык: «La montre» («Les Nouvelles Littéraires», 1935, № 641, 26 janvier); «Le Lion» («Paris soir», 1935, № 12); «Rencontre» («Vendredi», 1936, № 29, 22 mai).

⁶ В основе статьи — текст лекции Замятина, прочитанной им в Праге (см. примеч. 2 к этому письму). Записи лекции опубликованы в переводах на немецкий, французский, итальянский, сербо-хорватский и чешский языки в 1932 году. Оригинальный русский текст статьи опубликован А. Н. Тюриным (см.: Замятин Е. И. О литературе и искусстве. — «Новый журнал», 1990, кн. 178, стр. 167 — 185).

⁷ Статья написана в ноябре 1931 года (см.: Замятин Е. И. Сочинения. В 4-х томах, т. 4, стр. 430 — 435).

⁸ Первая половина этой статьи датирована июнем — июлем, вторая — декабрем 1933 года. Статья была написана для французского издания и в том же году опубликована во Франции, Германии и Голландии. Впервые на русском языке опубликована с купюрами: «Новый журнал», 1963, кн. 72, стр. 115 — 137.

⁹ Статья, названная «Actualités Soviétiques», написана на русском языке. Опубликовано А. Н. Тюриным: Замятин Е. И. О литературе и искусстве. — «Новый журнал», 1990, кн. 178, стр. 163 — 165.

¹⁰ Работа над «Бичом Божьим» велась с осени 1924 года. По первоначальному замыслу это была повесть, в 1928 году уже явно тяготеющая к роману. К 1935 году Замятин написал лишь первые пять глав произведения. В 1931 — 1937 годах работа над романом почти не двигалась из-за работы Замятина в кинематографе. В письме от 14.V.1935 года американскому журналисту и переводчику с русского Ч. Маламуту Замятин признавался: «Итак, как видите, я жив. Но то, как я живу, — мне, честно говоря, нравится очень мало. В голове у меня — неплохой капитал, а я его трачу на Ersatz'ы, на писание каких-то сценариев — только потому, что это единственная не так мизерабельно оплачиваемая здесь работа. Да и то, по Вашим американским масштабам, платят убого. Мне никак не удастся «опередить» свой бюджет месяцев, скажем, на шесть, чтобы засесть за роман» (см.: Мальмстад Д., Флейшман Л. Из биографии Замятина..., стр. 143 — 144).

¹¹ См. примеч. 2 к письму 10.

¹² Повесть Я. С. Рыкачева «Величие и падение Андрея Полозова» была опубликована в «Новом мире» (1931, № 5).

¹³ Платонов А. Впрок. (Бедняцкая хроника). — «Красная новь», 1931, № 3.

¹⁴ Книга вышла в 1931 году.

¹⁵ См. примеч. 8 к письму 11. Французский перевод этого произведения, сделанный Б. Шлецером, напечатан в «La Revue de France» в октябре 1932 года.

¹⁶ Был ли этот перевод опубликован, неизвестно.

¹⁷ Рассказ написан в 1928 году. Опубликовано: Замятин Е. И. Собр. соч. в 4-х томах, т. 4. М. 1929, стр. 89 — 118.

¹⁸ Куклин Г. О. (1903 — 1939) — писатель, примыкавший к литературной группе «Перевал». Его повесть «Краткосрочники», опубликованная в 1929 году, — одна из первых книг о быте красноармейцев.

¹⁹ В своей рецензии на альманах «Серапионовы братья» (Пг. «Алконост». 1922) Замятин писал: «Каверин взял трудный курс: на Теодора Гофмана, — и через эту гору пока не перелез, но можно надеяться — перелезет»; там же Замятин отмечает близкое ему самому тяготение Каверина «к художественной философии», сюжетным экспериментам, синтезу фантастики и реальности (см.: Замятин Е. И. Избранные произведения. М. «Советская Россия». 1990, стр. 407 — 410). В статье «Новая русская проза» (1923) Замятин также дал характеристику раннего творчества Каверина (там же, стр. 422 — 423). Роман Каверина «Художник неизвестен» (1931) не имел успеха у официальной советской критики, высоко его оценил лишь Н. А. Заболоцкий.

²⁰ Книга вышла в 1927 году.

²¹ Художественный метод Б. А. Пильняка, как и замятинская творческая манера, «синтетический»: обоим роднит установка на «расширение художественной впечатлительности» (Д. С. Мережковский), импрессионистичность образов, оба были «подмастерьями» у «мастера» А. М. Ремизова, стремились к обновлению языка прозы. В письме Замятина упоминается книга Пильняка «Таджикистан — 7-я советская. Очерки. Материалы к роману» (Л. «Издательство писателей». [1931]), вызвавшая резко отрицательные отклики в советской печати (см. заметку «Пильняк в роли краеведа» — «Литературная газета», 1931, 10 июня).

13

3. А. НИКИТИНОЙ

1.VIII.1932.

Дорогая Зоинька,
наконец-то я выбрался из Парижа, опять благоденствую на юге — и, как видите, начинаю писать письма. Париж — это Вам не Берлин и не Москва, на счет телефонов там — слабо, редко у кого есть, полжизни прошло в метро, а летом это банное развлечение — ниже среднего. Устал, как ударник. Тем более что пол-июля загубил на возню с продлением французской визы для себя и Людм<илы> Ник<олаевны> (виза кончалась 5 августа). Почтенных французских знакомств у меня довольно, начал я, можно сказать, с министра, но пока от министра дойдешь до паспортиста в префектуре — обломаешь себе все зубы и вспомнишь все материнские русские благословения...

Ну, во всяком случае — это все позади, и до середины октября — я буду здесь. А там, если выйдет одна кинематографическая затея, — опять в Париж. Позже осенью, может быть, удастся съездить и в Америку. Там мои друзья-американцы чего-то нашумели обо мне — получил кучу запросов от американских издателей. С Новым годом, глядишь, буду поздравлять Вас и самолично. Могут обстоятельства сложиться так, что увидимся с Вами и раньше, но, во всяком случае, отпуск из Института у меня до 1 января, и хорошо бы использовать его до конца.

Тут опять к Вам, милая душеприказчица, челобитная. Перед отъездом броню на квартиру я взял с октября — на год, так что в начале октября этого года срок брони кончается и оную нужно возобновить, скажем — на полгода, с запасом — на год. На этот предмет прилагаю свое письмо директору Кораблестроительного института (некогда сдававшего у меня экзамен по корабельной архитектуре!)*. И как мне ни совестно, но придется просить Вас поехать с этим письмом в Институт (Лоцманская, 3, здание «Союзверфи», трамвай № 13 и 18 — остановка, кажется, следующая после угла Офицерской и Английского пр.), обворовать директора и получить в канцелярии бумажку в жилотдел,

* Вернее — два письма: одно — для продления брони на год — с чего и начинайте разговор; если почему-нибудь это окажется затруднительным — пускайте в ход другое письмо, где речь идет о полугодовом продлении брони. Зовут директора: Бор<ис> Яковл<евич> Стрельцов.

к<оторы>й найдете на Невском в райсовете, между Литейным и Фонтанкой. Там с бумажкой от Института — уже дело несложное.

Дальше — начинаю издали: с бессонницы. Все время — плохо спал в Париже. Среди ночи вздрагивал, просыпался — как будто нужно что-то вспомнить, а что — не знаю; как будто какой-то камень на душе, а какой — не пойму. И только теперь я понял: все это оттого, что я забыл подписаться на заем! Мораль: скорей идите во Всероскомдрам и достаньте для меня там целительный бальзам (стихи! ей-богу!) — в виде облигаций. Месячный заработок — all right; пусть там высчитают этот заработок, и не как-нибудь наспех, не за 3 месяца, а с 1 января по август. Затем получите там мои честно заработанные блошинские гонорары и вручите их Аграфене¹. От нее известия — мало утешительные: пишет, что болеет, питается, видимо, неважно и все еще без работы.

Третья просьба — наименее обременительная: позвоните как-нибудь Зариной², узнайте у ней, пошла ли наконец в работу английская хрестоматия.

И это все, дальше идет causeeie³.

В Париже с большим интересом ждал causeeie с Мишей, но этому подозрительному гражданину визы, кажется, так и не дали, а ждать ему больше было нельзя: Дуся ни за что не соглашалась отложить рождение инфанта хоть на месяц-другой⁴.

От Кости получаю письма очень жизнерадостные. Хоть он и надут теперь внутри воздухом, как вербная «умирающая теща», но умирать теперь отнюдь не собирается, напротив того — из Рабиндранат<а> Тагора превращается в Ромэна Роллана — и отныне будет подписываться: Ромэн Федин⁵.

Из прочих персон — Анатолий Эренбург едет в двухмесячный отпуск в Москву и на Урал: всякому своя Ривьера⁶. Натан Альтман⁷ подумывает о том, чтобы вообще перенести резиденцию на Тверской Монпарнас: дела его тут не очень важно идут. Зато цветет известный француз George<s> Annenkoff — цветет с моноклем в глазу⁸.

Весенний сезон в Париже сервирован был под русским соусом: русская опера с Шаляпиным, русский балет, выставка русских художников (бывших «мирискусников» главным образом). Шаляпин⁹ еще звучит, но гораздо громче звучат француженки, неистово — как когда-то русские курсистки — вопящие: «Шаляпэн!», а Шаляпэн сияет и прижимает руки к сердцу. Видел и балет: это лучше, свежее. Наиболее стародевной оказалась выставка — довольно незаметно и тихо скончавшаяся...

Для пополнения образования был на Grand Prix. Вот это зрелище! Гарцуют ротшильдовские рысаки, дамы, президент в цилиндре и белых перчатках. Это — уже закрытие сезона, и под занавес — 14 июля — на улицах и в кадре патриотический фокстрот, небо, которое через 200 лет будет в чеховских алмазах, пока полно превосходных ракет...

Тут кончается и сезон и мои визные дела, я сажусь в авто (увы, не мой) и мчусь на юг — через Гренобль, через Альпы. Путешествие превосходное. И, наконец, — на юге, чуть-чуть отдохнувши и выкупавшись в море — пишу Вам — чего же боле?

Кажется, больше ничего. Разве только вот: если у Вас будут лишние экземпляры каких-нибудь ИП'овских изданий и Вы пошлете их мне — это будет превосходно. Из прежнего — тихоновская «Война»¹⁰ оказалась очень слабой, Каверин — совсем хорошо. Где работает теперь Сам<уил> Мир<онович>¹¹? Привет ему.

Ваш Евг. З.¹²

Посылаю свою фото; на руках у меня любовник Людм<илы> Ник<олаевны>¹³.

РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 187.

¹ См. примеч. 2 к письму 11.

² З а р и н а И. П. — ассистент кафедры иностранных языков Ленинградского кораблестроительного института, с ноября 1931 года — заведующая этой кафедрой.

³ Непринужденный разговор, беседа (франц.).

⁴ 12 августа 1932 года у И. И. и М. Л. Слонимских родился сын Сергей.

⁵ Речь идет о К. А. Федине. В своей рецензии на первое печатное выступление «Серапионовых братьев» Замятин выделил его как наиболее многообещающего из этой группы (см.: Замятин Е. И. Избранные произведения, стр. 407 — 410). Федин оставил

воспоминания о своем учителе и друге (см.: Федин К. А. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М. 1967, стр. 77). В разгар кампании 1929 года, направленной против Замятина и Пильняка, Федин в знак протеста против принятой на собрании Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей резолюции, осуждающей его соотечественников по перу, вышел из правления Союза. Федин виделся с Замятиным в конце 1933 года в Париже и был одним из его корреспондентов. Несмотря на дружескую приязнь к Замятину, у Федина с ним были серьезные расхождения по вопросу об отношении к революции, которую Федин вполне принимал. Такая позиция Федина и обусловила его публичное выступление против учителя на собрании ленинградского отделения Всероссийского союза писателей в 1929 году (см.: Каверин В. А. Эпилог. М. 1989, стр. 207 — 208). Слова из письма Замятина, относящиеся к Федину, намекают на его болезнь (туберкулез) и специфику лечения, а также на личное знакомство Федина с Р. Ролланом.

⁶ В 1921 — 1940 годах И. Г. Эренбург жил за рубежом, главным образом в Париже. В 1932 году он совершил поездку в Сибирь и на Урал. Называя его Анатолом, Замятин, возможно, имеет в виду элементы подражания Эренбурга Анатолю Франсу.

⁷ Альтман Н. И. (1889 — 1970) — русский живописец, график, скульптор.

⁸ Анненков Ю. П. (1889 — 1974) — русский график и живописец, друг Замятина, автор его портрета и воспоминаний о нем. (см.: Анненков Ю. Дневник моих встреч..., стр. 246 — 286). С 1924 года Анненков жил за границей. Замятин охарактеризовал творческую манеру Анненкова в статье «О синтетизме» (1922) (см.: Замятин Е. И. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2, стр. 385 — 387).

⁹ В 1922 году Ф. И. Шляпин эмигрировал в Париж, где и умер. В 1933 году Замятин написал сценарий «Стенька Разин», проданный «Vandors Films». В фильме по этому сценарию, по замыслу Замятина, главную роль должен был играть Шляпин. В письме Замятина упоминается выступление Шляпина в народной драме М. П. Мусоргского «Борис Годунов».

¹⁰ Повесть Н. С. Тихонова «Война» (1931).

¹¹ Самуил Миронович — Алянский С. М. (1891 — 1974), издательский деятель. В 1918 году основал издательство «Алконост». В 1929 — 1932 годах возглавлял «Издательство писателей» в Ленинграде, в 1932 году перешел оттуда в издательство «Молодая гвардия». Затем работал в Детгизе.

¹² Далее следует приписка Л. Н. Замятиной:

Милая Зоя,

насчет брони войдите в контакт с дамой, живущей у нас. Пусть она поговорит со своим братом, чтобы он помог Вам. Заявление подавать в Смольнинском районе (Невский пр<оспект>). Надо, конечно, броню хлопотать на год.

Целую Вас. Купаюсь, загорать больше уже некуда. Едим виноград — воруюем на виноградн<ике>. То же делаем с фигами и персиками. Здесь так принято.

¹³ Имеется в виду обезьянка Whisky.

14

Е. Б. АННЕНКОВОЙ¹

Дорогая Леночка,

не гневайтесь, что ответил не сразу: Ваше письмо получили совсем перед отъездом с Ривьеры в Париж. А попали сюда — завертело меня, некогда было писать письма. Неделю, можно сказать, прожили в метро: искали квартиру. Вы же знаете, я по этой части — человек порченный, мне надо, чтоб было тихо, и то, и сё. А в конце концов — так измотались, что взяли первое, что было под рукой: appartements meublés², две комнаты — очень милых, ванна, горячая вода, газ, лифт и даже телефон в квартире. От метро — 1½ минуты, хотя, правда, от центра и не близко.

На новой квартире, едва распаковал вещи, — сразу же сел за работу: нужно было срочно дать одну статью в английскую газету, другую — в один новый французский журнал. А потом, без пересадки, — за сценарий для Gaumont. Завтра его отошлю, дня три отдыха, и, кажется, возьмусь за другой сценарий. Кино сейчас здесь — единственное, где нашему брату прилично платят. Рассказов моих всяких тут наперевели и напечатали довольно много, но это — не франки, а так, франчишки. Которые, как Вам известно, сыплются здесь из карманов очень быстро.

И быстро идет время: вот уж года — как не бывало! И уж Новый год (который встречал довольно основательно — вернулся домой... в 7½ утра; по-

следней станцией был Courrole на Монпарнасе, где подпившая — Вам известная Кики — разделявала такие вещи, что...).

Самые Вам лучшие мои новогодние пожелания. Передайте мой самый искренний привет Конст<антину> Павловичу³. Пьесу? А вот «Атилла» свободен — пусть ставит в Малом, ей-богу — приеду для постановки.

Поклон мой Розалии Филипповне, Липочке⁴, Алексею Дикому⁵ — и до свидания!

Пишите длинное письмо обо всяких московских новостях.

Иду сейчас на Монпарнас к одному художнику — на маскированный вечер. Посмотрим, что это будет!

Ваш Е. З.⁶

ОРФ ГЛМ, ф. 239.

¹ Анненкова Елена Борисовна (урожд. Гальперн) — балерина и актриса, первая жена художника Ю. П. Анненкова. В 1924 году вместе с ним уехала в Париж, впоследствии вернулась в Советский Союз.

² Меблированные комнаты (франц.).

³ Константин Павлович — Хохлов К. П. (1885 — 1956), актер, режиссер и педагог, в 1944 году — народный артист СССР. В 1908 — 1920 годах — актер МХТ; с 1921 года работал в БДТ в Петрограде, вскоре став режиссером этого театра, постановщиком спектаклей с чертами экспрессионизма и конструктивизма. В 1931 — 1938 годах — режиссер московского Малого театра, с 1954 года — главный режиссер БДТ в Ленинграде.

⁴ Кто эти лица, не установлено.

⁵ Дикий А. Д. (1889 — 1955) — русский режиссер и актер. С 1910 года в МХТ, МХАТе Втором. Среди лучших поставленных им спектаклей — «Блоха» по одноименной пьесе Замятина. «Плакатно, <...> остроумно-язвительно играл Дикий характерную роль атамана Платова. <...> Дерзкая шутейная постановка, идущая как бы вразрез с предыдущими спектаклями студии и МХАТ-2, прозвучала в Москве подобно разорвавшейся бомбе» (см.: Глумов А. Нестертые строки, стр. 133 — 134).

⁶ В одном конверте с письмом Замятина было отправлено и письмо его жены, Л. Н. Замятиной, к тому же адресату:

5.I.33 г.

Дорогая Леночка,

примите мои несколько запоздалые поздравления и пожелания к Новому году. И простите — что так долго не отвечала Вам. То отъезд, то приезд, то болезнь и т. д. После юга — ведь я там прожила 9 месяцев — я первое время плохо себя чувствовала в Париже, скучала без моря, томилась без простора и солнца. Но теперь уже вошла «в жизнь». А тут еще рука болела — оторвала сухожилие в правом локте. Но и в Париже — весенняя солнечная погода, это очень приятно, я не люблю, да и отвыкла от холодов. Париж — красив, наряден, оживлен. Что об этом писать — Вы и сами прекрасно это знаете и помните. Леночку давно не видела. Она, бедняжка, все болеет. Очень изящна, мила, хорошо одета, вообще, как всегда, очаровательна. Я думаю, что Ирина Шаляпина Вам рассказала так много о Париже, о Ваших знакомых, что мне и рассказывать нечего. От Вас жду большого письма. Мне кажется, что Вы довольны переездом в Москву? Вам веселее в ней, правда? Рада за Вас и маму.

Целую Вас обеих, привет К<онстантину> П<авловичу>. Будьте благополучны.

Ваша Л. З.

С кем Вы чаще встречаетесь? Много ли работаете? Устаете? Как Ваше здоровье? Розалии Фил<ипповны>?

Шаляпина И. Ф. — дочь Ф. И. Шаляпина, драматическая артистка, одна из основательниц студии им. Ф. И. Шаляпина. Другие лица, упомянутые в приписке, не установлены.

Дорогая Зоя,

что-то давно от Вас — ни полслова. Где Вы? Что делаете? По-прежнему украшаете собой Издательство Писателей или уже вставлены в новую оправу? Что Михаил Алексеич¹, Самуил Мироныч²? Где теперь заседает неутомимая Елена Михайловна? Напишите мне о себе и обо всех, кто попадет в Ваш объектив, и

в виде скучного приложения — маленькую справку о состоянии моих счетов во Всероскомдраме.

Я давно не писал Вам, потому что все был «в трудах, в трудах» — как говорил старик Щеголев³. И особенно последние месяца два: попал в плен к кинематографу, без пересадки — из одной работы в другую, и все срочно, спешно и экстренно. Сейчас ссорюсь и спорю с Львом Николаевичем Толстым: делаю для экрана «Анну Каренину»⁴. Для французской версии (будут еще немецкая и английская) диалоги будет отшлифовывать, вероятно, Андрэ Жид. Недавно смотрели вместе голливудскую (немую) постановку «Анны Карениной»: вот клюква! Ну, авось у меня выйдет нечто менее развесистое. Работа очень интересная, но, правду сказать, чертовски трудная — особенно когда тебя торопят. Провожусь с этим, вероятно, еще с месяц, а потом постараюсь уехать куда-нибудь отдохнуть — если только не свяжусь к тому времени с какой-нибудь новой работой, что очень вероятно.

Был план поехать в Прагу: «Блоху» перевели на чешский, премьера должна была быть в конце марта — начале апреля, но недавно получил письмо, что решили продолжить репетиции и выпустить пьесу только осенью. Если встретите Шапорина⁵, передайте ему мой привет и скажите, что, вероятно, удастся устроить его музыку к «Блохе» — сейчас веду об этом переписку.

Из Института получил официальное извещение о том, что отпуск мой продлен до осени. Срок моих паспортов тоже продлен. С началом лета рассчитываю опять засесть за роман⁶.

А пока что кончаю письмо к Вам и возвращаюсь к Анне Карениной, которая ждет меня с нетерпением — с не меньшим, чем я буду ждать письма от Вас.

Людмила Николаевна из соседней комнаты — сквозь слезы — просит передать Вам привет. Слезы — от жестокого парижского насморка. После чудесной, почти летней погоды (в воскресенье я разгуливал по Champs Elysées без пальто) — вдруг завернул холодок, и легкомысленные женщины, почитывавшие книжки у раскрытого окна, за это расплачиваются...

Звонит телефон... Да сейчас, черт, сейчас! Подождет, пока я, по старому обычаю, — обниму Вас.

Ваш Евг. З.⁷

РГАЛИ, ф. 2533, оп. 1, ед. хр. 187.

¹ Михаил Алексеевич — Сергеев М. А. (1888 — 1965), литературовед, географ, этнограф, библиограф. Руководил кооперативным «Издательством писателей» в Ленинграде.

² См. примеч. 12 к письму 13.

³ Щеголев П. Е. (1877 — 1931) — литературовед и историк революционного движения, близкий знакомый Замятина.

⁴ В марте 1933 года Замятину, жившему во Франции, заказал написать сценарий по роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» для «Пате-Натан» русский кинематографист Ф. Оцеп. Замятин отмечал: «Моя самая большая работа для кино с тех пор, как я оставил Россию, была над сценарием по «Анне Карениной»...» (цит. по: Shane A. M. Life and Works of Evgenij Zamjatin, p. 92). Однако фильм по этому сценарию не был снят.

⁵ Шапорин Ю. А. (1887 — 1966) — композитор, в 1919 — 1920 и 1922 — 1928 годах заведующий музыкальной частью и дирижер Большого драматического театра в Петрограде — Ленинграде. В этом театре с 1926 года шла «Блоха» Замятина. Автор шутливой сюиты «Блоха» из музыки к этой пьесе (1928). В автобиографии 1931 года Замятин писал: «Превосходная музыка Ю. Шапорина к ленинградской постановке «Блохи» дала материал для симфонической сюиты «Блоха», исполнявшейся в Москве в сезон 1929 — 30 г.; А. Коутс будет дирижировать этой сюитой в Нью-Йорке в сезон 1931 — 32 года» (см.: Замятин Е. И. Автобиография, стр. 13). (Коутс А. — выдающийся русско-английский дирижер, исполнявший на Западе сочинения русских композиторов).

⁶ См. примеч. 9 к письму 12.

⁷ Далее следует приписка Л. Н. Замятиной:

22, rue Lamblardie,
Paris, 12.

Зоя, Зоя,
разлюбили и забыли Вы нас совсем! А прошло всего с нашего отъезда 1 г<од> и 4 мес<яца>!

Посылаю «Моду», сделайте себе такое платье. Пелерины — оч<ень> модны.

Целую Вас.

Л.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МИХАИЛ КУРАЕВ



ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Путевые заметки

Предисловие к эпиграфу

Эпиграф — это знак нетерпения, торопливости, с которой автор спешит сообщить читателю нечто самое важное.

Эпиграф — это знак надежды на то, что читатели, не имеющие досуга для прочтения всего текста, прочитав всего лишь эпиграф, хотя бы в самом кратком виде вкусят самую суть сочинения.

Эпиграф — это знак уверенности автора в том, что он понял свое сочинение и рекомендует его читателям в том виде и смысле, в каком понял сам.

Эпиграф — это своего рода вершинная точка, с которой обзревается едва ли не все пространство сочинения, причем изнутри.

Чтобы взобраться на эту вершинную точку, сочинение надо дописать, а потом еще отойти подальше и получше рассмотреть издали.

Но не надо понимать дело так, будто бы еще до начала путешествия, обещанного в заголовке, автор путевых заметок быстро сбегал вперед, посмотрел, чем дело кончится, и знание свое выставил в эпиграфе. Увы, чем дело кончится, автор не знает, путешествие длится и длится, а для кого-то оно, быть может, так никогда и не кончится.

Вот эпиграф, который не подошел, — не подошел потому, что он очень громоздок — это во-первых, чрезмерно откровенен — это во-вторых, а без дополнительного разъяснения, кто такая «она» и кем был в ту пору «я», вовсе ничего не понять, но эпиграф-то чем виноват? Эпиграф хороший, выбрасывать его жалко.

Вот он, этот отвергнутый эпиграф:

Это были времена, когда мы с ней были еще на «вы». Я возил ее по городу и ясным днем, и белой ночью. Она восхищалась:

— Вы знаете, если бы я не родилась в Москве, я хотела бы родиться в Ленинграде!

— И вы знайте: если бы я не родился в Ленинграде, я бы хотел родиться в Ленинграде.

Итак, путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург — событие историческое, и надо отдавать себе отчет в том, в какую историю мы въезжаем, в какую историю нас втянули, в какой истории мы оказались замешаны.

История есть одно из удивительнейших произведений искусства неведомого нам Творца, великодушно предоставляющего нам возможность стать Его соавтором. Каждый может убедиться в том, что подлинная история обладает всеми свойствами и качествами подлинного художественного произведения. Но в этом хорошо бы убедиться воочию.

Все художественные произведения, кроме частично или полностью утраченных, имеют начало и конец.

Исключение составляет «Сказка про Беленького бычка», имеющая начало, но не имеющая конца.

Именно «Сказка про Беленького бычка», пропитанная народной мудростью от первого до последнего слова, подсказывает, как найти конец в истории, делящейся бесконечно:

— конец — это та точка истории, когда все начинается с начала!

Таким образом, выехав из Санкт-Петербурга, проскочив Остроград, проехав Ленинград и въехав в Санкт-Петербург, мы получаем завершенный исторический сюжет, что отвечает первому требованию, предъявляемому к художественному произведению. И то сказать, движение по замкнутому маршруту, круговые движения в истории явно недооцениваются.

Вторым важнейшим признаком художественного произведения является условность.

Художественное произведение условно, а история вроде как безусловна.

Вопрос можно еще поставить так: живем ли мы в безусловной, то есть антихудожественной, действительности или все-таки в условной, то есть по природе своей художественной?

В Ленинграде — Санкт-Петербурге это вообще не вопрос! Вот ответ на него великолепного природного поэта и моего земляка Александра Кушнера:

Как клен и рябина растут у порога,
Росли у порога Растрелли и Росси,
И мы отличали ампир от барокко,
Как вы в этом возрасте ели от сосен.

.....
Стоит в простыне полководец, как в бане?
А мы принимаем условность как данность.
Во-первых, привычка. И нам объяснили
В младенчестве эту веселую странность...

О! веселые странности истории нам так близки, хотя к ним никогда не привыкнуть.

Без малого триста лет просуществовавшее «окно в Европу» сегодня лишилось стен, оно повисло в воздухе.

По замыслу нынешних правителей и хозяев города «окно» созрело для самостоятельного существования.

Если русский народ опять подведет лучших из своих представителей и поведет себя не туда и неразумно, «Окно» объявит о своем суверенитете, приватизирует сокровища Эрмитажа, поделит на прощание с немытой Россией Балтийский флот и начнет взимать дань за проход кораблей, плотов и барж из Ладожского озера в Финский залив, устроив на Ивановских порогах (р. Нева) Подпорожскую Сечь. Кстати, «Невское казачество» уже организационно оформилось, чем подкрепило фантастическую историю необъяснимого в пределах логики и здравого смысла города.

Понятно, что путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург, из «окна», имевшего стены, в «Окно» самодостаточное, стен не имеющее, будет происходить не сходя с места.

В отечественной литературе основоположником путешествий «не сходя с места» является Александр Фомич Вельтман, и будет справедливо и уместно взять эпиграф из его правдивейшего романа «СТРАННИК»:

Порхай, лети, мой милый конь,
Тебе не нужны хлыст и шпоры,
Неси чрез воды, чрез огонь,
Чрез дебри, пропасти и горы.
Взвивайся, мчись, не устай:
Чем дальше, тем живей, свободней!
Ты можешь залететь и в рай,
Ты можешь быть и в преисподней;
Там темно...

Послесловие к эпиграфу

Обычно послесловием к эпиграфу является само сочинение, помогающее читателю понять, что же автор хотел сказать выставленными на аванпост словами.

К данному же эпиграфу необходимо отдельное послесловие, потому что автор не понадеялся на воображение читателя и не ограничился, как хотел из-

начально, эпиграфом, состоящим из самой последней строчки приведенного стихотворения, столь счастливо и мудро оборванного самим Александром Фомичом.

И что бы сказал обделенный читатель, если бы увидел под заголовком «Путешествия...» всего два слова и подпись:

ТАМ ТЕМНО...

А. Вельтман.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ЗАКОНЧЕННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Сегодня, когда город вернули к его изначальному, хотя и не самому первому названию, возникает ощущение пребывания в замкнутом круге, ощущение завершенности. Мы взошли на пик Белого Бычка, с этой возвышенной точки город обозрим со всей своей свершившейся судьбой, обозрим во всех своих скрытых смыслах.

Всякое художественное произведение непременно претендует на скрытый смысл, вот и Санкт-Петербург — это еще и символ, и образ, и многоцветное иносказание, в нем отразилась вся наша новейшая история.

Этот город по природе своей художественный — он родился не стихийно, он родился от замысла, от захватывающей, вдохновляющей идеи, от неукротимой потребности воплотить мечту...

Но возможна ли эстетическая оценка исторических событий?

Не только возможна, но и необходима, такие простые оценки, как «красиво» и «некрасиво», доступные, в сущности, каждому, могут свести на нет деятельность тех, кто призван омерзительному, скажем в политике, придать привлекательный, скажем в журналистике, вид. Вот и Томас Манн говорит: «Что бы там ни говорили историки-пессимисты, у человечества есть совесть, хотя бы только эстетическая, вкусовая... Оно не забывает всего того человечески некрасивого, несправедливо-насильственного и зверского, что совершилось в его среде, и в конечном итоге без его расположения никакой успех, завоеванный силой и умением, не окажется прочным».

Если отнестись к истории как к творческому созданию, то такой подход, вкусовой, эстетический, совершенно оправдан. Доверимся живому впечатлению, душевному отклику, непосредственному чувству, не знающему кабалы понятий «прогресс — регресс». Эстетическая оценка побед и свершений помогает преодолеть рассудочный субъективизм и вынести суд честный, отвечающий высшей объективности, то есть человечности.

Счастливые художественные создания, впрочем и злосчастные тоже, обретают собственную, независимую от создателя жизнь и требуют своего продолжения.

Едва ли Петр Первый, затеяв крепость на крохотном победном островке в разгар безбрежной и не очень-то счастливой войны, мог предположить, мог помыслить хотя бы в кошмаре похмельного сна о том, что двадцать лет Северной войны со шведами будут стоять России сорок тысяч солдатских жизней, а вот под стенами одной только Петропавловской крепости, которой во всю ее историю так и не случится отражать врага, ляжет, по одним подсчетам, семьдесят, а по другим — и все сто тысяч подкопщиков и прочих работных людишек, то есть русских мужиков.

Вот такая статистическая, если угодно, эстетика.

Город рос, высился не только на краю России, но и на краю необъятной могилы, куда скидывали, стаскивали и сваливали его строителей. Не в этой ли яме, затопленной гнилой водой, отразится его славе?

Эстетика эстетикой, но можно ли с чувствительным сердцем читать русскую историю, особенно историю Санкт-Петербурга? Надо же и порассудить здраво, взвесить, осмыслить, сравнить...

Нет, не будем преуменьшать значение чувств в системе нашей ориентации в мире, вот и Гельвеций, человек изощренного ума, сказал, что не считает свои чувства глупее себя.

Интересно, с каким чувством вы смотрите на герб Санкт-Петербурга?

Вам не кажется, что герб этот, такой простой, такой незамысловатый, притворяется вывеской немецкого лавочника, простодушной вывеской якорной мастерской. Якорек речной да накрест якорек морской — вот тебе и герб. Не договаривает этот герб чего-то очень важного, может быть, самого существенного.

Ну почему бы не воспользоваться подсказкой гения и не взять потрясающий образ из его поэмы «Медный всадник»? И точно так же, в рифму, как на гербе Москвы всадник поражает копьем врага человечества, на петербургском гербе можно было бы поместить порфиноносного всадника, вознесшего копыта своего скакуна над убегающим прочь человечком. Тупое, мстительное, тяжелоозвонкое скаканье в погоне за смевшим возроптать.

И почему это правители так любят Петра Первого, почему так тянутся к нему и всячески стараются подчеркнуть малейшее, даже отсутствующее, с ним сходство?

Может быть, это актерская зависть? Роль кажется уж очень выигрышной — царь-реформатор по наитию, царь-преобразователь по произволу, он как бы и всем последователям выдает скрепленный своим авторитетом исторический вексель на достижение цели — **ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!** Вот чем эта роль приманчива. И тем, кто строил социализм любой ценой, и тем, кто возрождает капитализм, и снова любой ценой, Петр Первый нужен как пример и как оправдание.

Я путешественник без предвзятых запросов. Иметь свое впечатление — не значит быть судьей. Ничего нет смешней истории на скамье подсудимых: судите сколько угодно, она все равно уже ускользнула от наказания.

Мой взгляд в окно столь же скромн, сколь и заносчив, — хочу прочитать и понять по мере возможности художественные высказывания нашей истории, смешной по форме и трагической по содержанию.

Трудно рассудить, единственный ли способ реализации исторических задач, уже вставших в повестку дня при царе Алексее Михайловиче, не пронумерованном, вошедшем в историю с человеческим именем-отчеством, был тот, что прописал Петр Первый. Однако при царе смертная казнь полагалась за шестьдесят видов преступлений, а царь-преобразователь, Петр Великий, расширил убойное меню до двухсот (!) наименований... Некрасиво.

Алексей Михайлович Тишайшим был по титулованию, а вовсе не по темпераменту, не по делам, и в походах больше бывал, чем дома, и охотник был отважный, и отец деятельный: тринадцать родила ему Милославская да Нарышкина троих принесла. «Тишайший» — это образ, а не прозвище. Как трактует знаток исторических тонкостей А. М. Панченко, «тишина» в государственной фразеологии противостоит «мятежу». И хранитель «тишины» — это прежде всего страж порядка, а порядок Алексей Михайлович поддерживал лично, проводя последовательно и целеустремленно судебную реформу, реформу церковную, лично и в походы с войском ходил, и бунты подавлял, но топора в руки не брал, казнями не тешился... Недаром же порядок и порядочность в русском сознании стоят рядом.

Не хотелось бы, утверждая художественный феномен Санкт-Петербурга и его истории, отказать в художественном качестве предшествовавшей эпохе и ее вождю.

Вот письмо Алексея Михайловича в пору польской войны воеводе Матюшкину: «Людей наших всяких чинов 51 человек убит, да ранено 35 человек; и то благодарю Бога, что от трех тысяч столько побито, а то все целы, потому что побежали, а сами плачут, что так грех учинился... Радуйся, что люди целы». От предложения иностранного офицера, а они уже и в ту пору служили русскому престолу, «ввести смертную казнь за бегство с поля боя царь с негодованием отказался на том основании, что Бог не всем даровал одинаковую храбрость, и карать за это было бы жестоко». Ясное дело, что к такому царю не только Украина, но и другие народы с охотой пойдут под руку.

Недаром же говорят: образ действия — это не сумма поступков, а еще и дух, и пафос, и страсть, то есть человеческая окрашенность.

Читаем, что в завоеванных городах Алексей Михайлович не спешил устанавливать свои суды и порядки, с уважением относился к местным традициям, разрешил жителям Могилева по их желанию жить по магдебургскому праву,

носить привычную одежду, не участвовать в войнах Алексея Михайловича... Вот такой образ действий был привычен для нелицемерно религиозного и по-отечески относящегося к подданным (чему удивлялись иностранцы) царя.

Но вернемся на место путешествия, в Санкт-Петербург.

Какой замечательный образ и символ Петропавловская крепость, над которой парит золотой архангел, подпирающий поднятым пальцем низкое тяжелое небо. А внизу, над бастионами и куртинами, витает ангел смерти, соединивший в идеальной, первоклассной, образцовой тюрьме заживо погребенных врагов власти с теми, кто рядом в соборе почует вечным сном по праву высшему, монаршьему.

Крепостные стены заключили в себя непримиримых врагов!

Побежденные были живы, хотя и заживо погребены в своих глухих каменных норах, а победители были мертвы под своими мраморными, яшмовыми и малахитовыми надгробиями в соборе крепости. Это и есть Петербург, вот такое изысканное, дух захватывающее художественное произведение.

Говорить о том, что Санкт-Петербург — город умышленный, призрачный, обманный, фантастический, изначально и по сей день совершенно ни на кого не похожий в семействе российских городов, — значит повторять уже авторитетно сказанное и много раз повторенное.

Да, он прекрасен в своей двусмысленности.

Россия потратила невероятные силы и средства, чтобы построить этот город, наглядно не русский.

Он прямолинеен, как немецкий капрал на русской службе. У него не было ни времени, ни запаса терпения, ни запаса русских слов для околичностей, хотя сам-то и есть российская околица и сплошная околичность.

В отличие от исконных русских городов, прираставших, как древесные стволы, кольцами вокруг сердцевины-крепости, этот напоказ открыт и распахнут в четкой графике геометрического творчества паука.

Его убегающие чуть ли не за горизонт, стрелами разлетающиеся проспекты и тракты — то ли натянутые вожжи, которыми правили необозримой Россией угнездившиеся на невских берегах правители, то ли постромки, которыми пристегнули Россию к устремившемуся на Запад Санкт-Петербургу.

Цивилизаторская миссия была главной идеей существования этого города.

Он смотрел с высоты невских берегов на всю остальную Россию как на свою колонию. Задуманный и созданный как питомник и рассадник европейских саженцев на русскую почву, он почвой-то как раз и не интересовался.

Его уникальное положение у моря определило его уникальную роль.

Нужен ли сегодня такой рассадник, кто будет пользоваться услугами этого питомника, когда система финансовых, информационных и транспортных связей лишает Санкт-Петербург его исключительного положения, а стало быть, и значения?

Он вымирает, не признаваясь себе в этом, он исчерпал себя, он отмирает, как ненужный орган, но делает вид, что только-то его время и наступило, только-то и начинается его настоящая жизнь!

Эстетика происходящего, думаю, красноречива и выразительна.

Первая медаль, выбитая в этом городе, украшена девизом: «Небывалое бывает» и посвящена была выдающемуся событию. Русские солдаты на шлюпках под водительством еще не императора Петра Первого и еще не фельдмаршала князя Меншикова напали на два шведских корабля, запоздало пришедших в Неву на помощь уже павшей крепости Ниеншанц. Нападение на морские суда, зашедшие в реку, считается нашей первой «морской» победой. Символическое значение этого счастливого набега намного превосходило его военное значение. Петр Великий и князь Меншиков от адмирала Головина были пожалованы высшими орденами Андрея Первозванного за дерзость в нападении и беспощадность в избиении объявивших о сдаче шведов.

Вот так Россия распахнула морские ворота.

Прошло сто лет, двести, почти триста...

В минувшем году в шведских портах были арестованы флагманы Балтийского морского пароходства, морской паром «Ильич» и пассажирский лайнер «Анна Каренина».

Какие имена!

Арест был произведен согласно международному морскому праву в связи с невыплатой экипажам этих судов зарплаты чуть ли не за год.

Оба судна должны быть выставлены на аукцион, проданы, а вырученными деньгами следует рассчитаться с позорными долгами и заплатить штрафы. Финансовые пираты, эксплуатировавшие суда и экипажи, плевали на судьбу арестованных кораблей так же, как плевали до этого на все обращения экипажей, просивших, умолявших, требовавших отдать заработанное!

Какая невероятная рифма, какое странное эхо...

А на дворе празднование 300-летия российского военно-морского флота. Юбилейный год стал годом борьбы за выживание флота, пока выжило лишь 60 процентов. В ознаменование события на набережной перед Медным всадником прошел «юфтовый парад». Моряки маршировали в рабочих ботинках: на парадные нет денег. В преддверии этой знаменательной даты продан в металлолом выстроенный на 70 процентов первый в истории нашего военно-морского флота ударный авианосец со взлетной палубой в триста метров! Продан иностранцам. Не стало у государства Российского денег не только на достройку, но и на консервацию и даже на демонтаж.

У авианосца уже было имя — «ВАРЯГ»!

Кому продается наш гордый «Варяг»?

Вопросы — надо ли было этот «Варяг» строить, надо ли было его продавать, — разумеется, лежат вне предлагаемого контекста.

Образная сторона событий, происходящих на наших глазах под трубные кличи: «Россия возродится!» — производит сильное впечатление.

Сегодня любой досужий человек на лодочке летом или на лыжах зимой может отправиться на некогда неприступные, недоступные, титаническим трудом воздвигнутые на искусственно созданных островах в Финском заливе форты, прикрывавшие подступы к городу с моря.

Нет-нет и в городской печати мелькают проекты, как сделать на этих пустующих бетонных островах что-нибудь увеселительное, то есть приносящее барыш. Мальчишки, тысячами болтающиеся летом в душном городе, лишенные из-за дороговизны и разрухи возможности выбраться за город, мальчишки, балдеющие по чердакам и подвалам, могут только мечтать о фортовой робинзонаде... Но у флота нет сегодня будущего, зачем ему мальчишки...

Строительство военного флота в стране и в Санкт-Петербурге практически свернуто. Волгоградский, к примеру, завод «Ахтуба», выпускавший аппаратуру для подводных лодок, перешел на изготовление... фаллоимитаторов! Рабочие и служащие, кстати, из-за кавардака в финансировании получают зарплату «изделиями». Цинизм. Унижение. Но это с одной стороны.

С другой же стороны — отыскан где-то в Испании толстый мальчик, в чьих жилах протекает, хотя и в мизерных количествах, высококачественная, с известной точки зрения священная, кровь Романовых. В порядке подготовки мальчика к управлению неведомой ему Россией его определили в Нахимовское училище. Хлопочущие о судьбе мальчика люди — народ дальновидный, думают о возрождении милой их сердцу России: починим трон, посадим на него выпускника Нахимовского училища и... запируем на просторе! Нет сомнения, запируют, но только в вымирающей России, поскольку фаллоимитаторы, даже изготовленные на уровне высоких технологий ВПК, всю полноту функций детородного органа на себя не берут.

А пока рождающиеся уже не в Ленинграде, а в Санкт-Петербурге мальчишки лишены права приобщиться к морскому делу хотя бы на каникулах.

На просторных пустых артиллерийских площадках, высоко поднятых над заливом, в этой тишине и мертвечине невольно думается о измозолившем бойкие языки лозунге: «Возродим Санкт-Петербург». Это какой же Санкт-Петербург возродать — их было много...

Собственно, говорить о возрождении и Санкт-Петербурга могут только заезжие провинциалы, погруженные в хлопоты укоренения, карьеры, политических интриг и барышничества. Для своих обитателей этот город никогда не умирал, ни под каким именем. Перемены названий обозначали лишь различные этапы его жизни!

Шпиль Петропавловской крепости, и крест на шпиле, и ангел на кресте, и купол Исаакия, и разбитые снарядами купола Спаса на крови золотили в

Ленинграде и не на церковные деньги. А Ленинград был безбожником, и многие последствия этого памятливы и горьки...

Если город не был мертв даже в феврале 1942 года, то не надо хлопотать сегодня о его втором рождении!

А что обещают «возродители»?

Снесут памятники жертвам расстрела 9 января 1905 года и поставят памятник жертвам расстрела 6 июня 1918 года?

Выселят Филармонию им. Д. Д. Шостаковича из здания бывшего дворянского собрания? Или отыщут дворянские корни в фамилии Шостакович и произведут великого автора Ленинградской симфонии в графья?

Вместо обещанного горожанам памятника Николаю Васильевичу Гоголю на Манежную площадь вернут памятник Николаю Николаевичу Романову-старшему и напишут, чем был славен этот всадник?

Можно еще в порядке «возрождения» жестко ограничить пребывание «не чистой» публики на Невском проспекте, восстановление этого правила будет вполне в духе демократической власти, мечтающей видеть Петербург «городом для богатых», но почему-то с большим успехом плодящей нищету и бедность.

Какая пошленькая, мелкотравчатая идейка превращения Санкт-Петербурга то ли в Монте-Карло, то ли в филиал загородного пансионата с малопочтенной репутацией, «Ольгино». И то, что идейки эти не только приходят в озорные мозги чиновников, но и произносятся вслух и повторяются по телевидению и в печати, говорит как раз о завершенности той жизни, где Санкт-Петербург был Санкт-Петербургом. Это был город не для пустых времен, когда не живут, а приспособливаются к жизни.

И сегодня, даже если снести очень посредственный, провинциального вкуса обелиск на площади перед Московским вокзалом и вернуть на это место впечатляющий памятник Александру Третьему, если снести станцию метро на этой же площади, сооружение, напоминающее торт в духе сов-ампира, и вернуть на это место Знаменскую церковь, во всех этих порывах будет видно лишь движение по кругу, погоня за собственным хвостом.

Есть желающие подсуесться и насчет восстановления монархии...

«Вам что, делать нечего?!» — сказал барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн-Епанчин¹ на любезный вопрос, как он, барон фон Фальц-Фейн-Епанчин, относится к восстановлению монархии в России.

Хорошо бы возродить закрывшиеся за последние пять лет библиотеки города, загородные лагеря и детсадовские дачи за городом, многообразную деятельность дворцов культуры, есть что возрождать — тот же туризм, доступные для каждого поездки на Валаам и в Кижы... И производство возродить, и науку, и образование.

Наивно же надеяться, что в результате объявленного «возрождения» появится новый Пушкин, приедет новый Растрелли или Трезини. Афины с таким же успехом могут ждать нового Фидия и Поликлета.

Вот уж если кого и ждать, так нового Гомера!

Какими чудесными, необыкновенными, яркими, слепящими, останавливающими дыхание своей откровенностью и назидательностью иносказаниями пронизана история этого города... И новый Гомер будет знать, чем же эта история кончилась.

Где, когда, под чьей рукой, на чьем компьютере соберется воедино и явится в ошеломляющем блеске, как драгоценное предание, этот фантастический, невероятный, навсегда уходящий от нас город!

Вот он, перед вами, ниже воды, периодически его затапливающей, но почему же с этих низин видно так далеко, как не видно ни с Уральских гор, ни с Кавказских и даже с Воробьевых?

¹ Барон Э. А. Фальц-Фейн-Епанчин прибыл нынче в Санкт-Петербург из Люксембурга в связи с выходом в свет мемуаров его деда, генерала от инфантерии Н. А. Епанчина, «На службе трех императоров».

РАДУЕТСЯ ДИТЯ

Подготовленная к жизненному поприщу духовником о. Дубяньским и французским танцмейстером Рамбуром, напуганная лейб-лекарем Лестоком и французским посланником Де ля Шетарди, дескать, вот-вот заточат ее в монастырь, тридцатидвухлетняя дочь Петра Первого, Елизавета, в ночь на 25 ноября повела прирученных ею гвардейцев на штурм Зимнего дворца. Счастливым месяцем для Зимнего дворца — ноябрь! Вот и Бирона здесь взяли в прошлом году 9 ноября. А сейчас на дворе год 1741-й.

Слезно и клятвенно уверенные Елизаветой накануне в верности малолетнему императору Ивану Шестому, родители легитимного царя, правительница Анна Леопольдовна и неизвестно за какие заслуги и доблести пожалованный в генералиссимусы русского войска двадцатисемилетний муж правительницы, Антон Ульрих, были схвачены среди ночи в постелях.

Власть над Россией гипнотизирует ее носителей, порождает в них иллюзию собственной силы, в том числе и умственной, поэтому с такой готовностью они идут в ловушки, для них приготовленные. Полудикая Анна Леопольдовна в этом случае мало чем отличается от умудренных в дворцовых интригах Бориса Годунова или Василия Шуйского, не говоря уже о Павле Первом накануне убийства, Николае Втором накануне свержения, Сталине накануне войны, Хрущеве, Горбачеве... кто следующий?

Годовалый император был добыт непосредственно из колыбели и как драгоценный трофей передан кормилицей с рук на руки дочери Петровой, Елизавете Петровне, начавшей в эту счастливую для нее ночь свое веселое двадцатилетнее царствование.

Санной поезд с низвергнутым и захваченным в плен императором, отторгнутым от кормилицы и родителей, двинулся от Зимнего дворца в штаб дворцовой революции, разместившийся непосредственно в собственном дворце цесаревны Елизаветы.

Ночь, растревоженная беготней по городу двух десятков вельможных заговорщиков да трех сотен гвардейцев, призванных для доказательства исторической правоты заговора, выманила на улицу множество любопытствующей бессонной публики. Взятие Зимнего дворца через сто семьдесят шесть лет вызовет у обывателей куда меньший интерес.

Несмотря на темень и холод, народ в ту ночь быстро пронюхал, что произошло, признал в скачущей в первых санях Елизавете свою новую благодетельницу, повелительницу, одним словом, «матушку», и вопил «ура!».

Ликовал и низвергнутый император.

На руках двоюродной бабки, рискнувшей наконец встать к штурвалу революции, зараженный ее радостью от легкого и скорого успеха, император подпрыгивал, улыбался своей брауншвейг-мекленбургской улыбкой и размахивал ручонками без малейшего понятия о происходящем и, тем более, без какого-либо представления о своей дальнейшей судьбе.

Восторженные лица по краям дороги, радостная толпа, бегущая вслед за легкими санями, скорая езда и теплые объятия цесаревны — что еще нужно для счастья младенцу, живущему настоящей минутой и не ведающему ни прошлого, ни будущего, ни долгой череды тягостных тюремных лет неволи, ни случайного, столь желанного для Екатерины Великой убийства через двадцать четыре года...

Последний раз подданные видели своего императора, следующие четверть века он будет общаться только с тюремщиками.

Для чего был дан тысячелетней России этот крохотный, как искра, лик Ивана Шестого?

...А что, если для того он и был вынут из колыбели и предъявлен толпе, чтобы перед нами с наглядностью предстал, перед всеми нами, как в зеркале, портрет народа-победителя: он подпрыгивает, счастлив чьей-то победе, размахивает ручонками, и тепло ему в эту минуту в объятиях новой власти.

ИНОСКАЗАНИЕ

...И приступивши ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?

Он сказал им в ответ: ...Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют.

Матф. 13: 10 — 13.

Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете...

А. Чехов, «Гусев».

«Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно», — признался Платон.

Бог — это еще одна из ипостасей истины, и потому сказанное о Боге может быть в известной мере отнесено и к истине.

Средством преодоления трудности изречения и служит иносказание.

Гений иносказания Джонатан Свифт недаром заметил, что мудрость всегда доставляют «в закрытых повозках образов и басен».

Петербург как художественное произведение прежде всего иносказание, а не сумма чудных зданий, четких улиц, всевозможных набережных, разнообразных площадей, имен и событий. Этот город как цельный образ противопоставит, например, в национальном сознании таким же устойчивым и емким иносказаниям, как «Жиздра» и «Царевококшайск», а впрочем, и «Москва».

Петербург — сочинение метафорическое, а «метафора» — по-гречески «повозка», повозка, везущая от наблюдаемого к постигаемому.

Петербург предстает, как эпическое произведение, развернутым в пространстве и во времени образом нации. Разумеется, это не исчерпывающий символ, да и может ли символ претендовать на объемное выражение понятия, он фиксирует внимание лишь на чем-то самом существенном, важном, устойчивом.

Художественное качество истории, ее музыка и рифма, нагляднее всего обнаруживает себя в повторяющихся сюжетах.

Повторяющиеся сюжеты и в мировой истории, и в преданиях приобретают характер иносказания, несущего в себе смысл чрезвычайной важности.

Почему самые чтимые герои и боги рождены не от мужей своих матерей?

Геракл. Христос. Король Артур...

Легендами окружено рождение крестителя Руси великого князя Владимира, вот и отцом Ивана Грозного предания называют Оболенского-Телепнева, а не великого князя Василия, легенды, похожие на сплетни, и сплетни, похожие на легенды, объясняют бросающееся в глаза несходство Петра Первого со своим отцом, Алексеем Михайловичем...

Как объяснить устойчивость преданий о происхождении героев? Не знаю.

А почему с таким упорством повторяется миф о братоубийстве?

Каин и Авель. Этеокл и Полиник. Ромул и Рем... Повторяется этот сюжет и в реальной истории, в том числе и русской. Так, начало славных дел св. князя Владимира омрачено не только кровавой расправой над отцом и братьями насильственно взятой в жены Рогнеды, но и убийством родного брата Ярополка... И хотя душой и сердцем согласен с приговором совестливого Карамзина: «Варварство сих времен не извиняет убийства жестокого и коварного», хочется понять, почему же история «извиняет» и Этеокла, и Ромула и возвышает до святости Владимира.

Ливий так описывает высший подвиг и высшую заслугу Ромула: после своей победы, после сокрушения своих врагов Ромул созвал толпу на собрание и дал законы — «ничем, кроме законов, он не мог сплотить ее в единый народ».

Сплочение, национальное единство — вот высшая ценность, вот высшее родство, которому приносится в жертву родство кровное. Верность закону, соединяющему горожан воедино, закону, превращающему толпу в народ, закону, обращающему племена в нацию, — вот высшее благо, мудрость и доблесть сынов отечества.

Как же поучительны исторические рифмы, но что они значат?

И почему, к примеру, этот город — неужели всего лишь случайность! — так привязчив к псевдонимам?

Санкт-Петербург... Ленинград...

Петр — имя духовное, второе имя Симона из Вифсаиды.

Ленин — имя партийное, один из множества псевдонимов вождя...

Петербург явился в России как ее крайняя потребность, но реализовался в форме самоотрицания России.

Со времен приглашения варягов на княжение нигде и ни в чем легкость, с которой русский готов отказаться от своей самобытности и самостояния, не выражалась так ярко и полно и в конечном счете плодотворно, как в Петербурге и Петербургом.

Без различения в понятиях «самоотвержение» и «самоотрицание» в парадоксальной диалектике Петербурга не отличить приобретения от потерь.

Если самоотвержение есть знак силы духа, то самоотрицание — дитя малодушия, признание морального бессилия, духовной аморфности, готовности слепо препоручить себя чужому водительству. Самоотрицание непродуктивно, нам все равно не стать ни китайцами, ни американцами, сколько бы ни равнялись на одних и ни притворялись другими.

Здесь уместно вспомнить Белинского: «Этою высокою способностью самоотрицания обладают только великие люди и великие народы, и ею-то русское племя возвысилось над всеми славянскими племенами; в ней-то и заключается источник его настоящего могущества и будущего величия».

Наводнение — художественная деталь в портрете Санкт-Петербурга...

Memento Kitetch!

Самоотрицание, «кантус фирмус», неизменная мелодия, постоянно звучащая в русской истории едва ли не на протяжении тысячи лет, приобретает симфоническое звучание, сегодня она сверкает в московской аранжировке.

История Петербурга, сотканная, как и полагается, из множества иносказательных событий, происшествий, быть может, и есть вожделенная, изреченная истина о нас самих.

Но почему истину предпочитают преподносить в иносказательной форме?

Почему так мало доверия прямому высказыванию?

Наверное, дело в том, что знание о самих себе достигается куда с большим трудом, чем о мире внешнем. Это касается и человека, и государства, и нации. Истины о самих себе обретают ценность лишь в качестве живого знания, оно стремится стать общественным сознанием, с о-з-н-а-н-и-е-м, общим знанием. Если оно принадлежит немногим, немного оно и стоит.

Множество исторических сюжетов выглядят как законченные нравоучительные притчи, а это дает основание видеть в них как бы форму самопознания истории, форму, доступную для всех желающих видеть и способных разуместь.

Трудно, конечно, поверить в то, что история так откровенно сама себя аттестует, и если этому не поверить, если не научиться видеть и читать для чего-то нам предъявленные правдивейшие и прямые самоаттестации, то придется удовольствоваться лишь преподносимыми в ложечке чужими умственными жевачками.

История как сумма фактов может удовлетворить лишь созерцательный разум, в то время как поэтика истории, раскрывающаяся в причудливых рифмах, зеркальных взаимоотражениях, в гармоническом единстве лиц, разделенных пространством и временем, — все это позволяет более тщательно промывать историческую руду с меньшим риском выбросить в отвал что-то существенное.

А для человека верующего весь обозримый мир — это инобытие Бога, иносказание, к которому прибегают Творец в общении с его разумными созданиями.

Иносказание, надо думать, — это брачный наряд истины.

Иносказание как бы предлагает вам самому совлечь «одежды» и овладеть истиной.

Неужели истина знает себя и потому боится, стыдится собственной наготы?

Она знает, конечно, знает, что в наготе своей если не страшит, то уж, во всяком случае, малопривлекательна. И что ей заботиться о привлекательности,

если она сама по себе уже благо и ей не надо быть ни доброй, ни соблазнительной, к чему всегда стремится ложь.

У истины и характер нелегкий — непререкаема, жестка, неуживчива.

Большинство людей склонны доверять самим себе, и то, до чего мы доходим своим умом, ценится по особому счету.

Иносказание как раз и предоставляет нам возможность самим сделать последний шаг на пути к истине. Сделав этот шаг, мы как бы исполняем иллюзией пройденного пути. Конец — делу венец!

Перевод с образного языка на язык понятия, путь толкования — это и есть интеллектуальный опыт, рождающий ощущение поиска истины, движения к ней и обретения.

Истина, добытая самостоятельно, налагает ответственность, она становится как бы вашим продолжением, вашим ребенком, вы причастны к ее появлению на свет, поэтому, быть может, так живучи многие заблуждения, казалось бы, давно и убедительно опровергнутые.

А прямое высказывание заставляет вспомнить судьбу пророков, возвещавших грядущее, сообщавших открывшуюся им правду. Их слушали, но им не верили, предпочитая пойти к оракулу, говорящему хитро, туманными загадками, с тем чтобы своим умом эти загадки разгадать и себе-то уж поверить безоглядно.

Что же касается иносказания, то это еще и защитный слой истины, озоновый слой, сохраняющий жизненную силу истины, оберегающий ее от опаснейшего врага, от извращения.

Иносказание — это максимум гарантии от порчи и коррозии.

Иносказание сохраняет событие.

Случай, происшествие, сюжетная коллизия обладают большей устойчивостью против искажения, чем слово. Слово беззащитно, особенно в повествовательном ряду, где нет круговой поруки стиха.

Вклад писцов, вольно или невольно искажавших переписываемые тексты, в раздоры, распри, церковный раскол известны.

Можно ли доверить неустойчивому, незащищенному слову истины, добытые ценой самой высокой — ценой страданий, сомнений, разочарований и мужественного освобождения от заблуждений?

События проще запоминаются, ярче отпечатываются в памяти, поэтому именно событийный ряд составляет основу эпоса, живущего в веках в виде устных преданий.

С каким по счету переводом евангельских текстов мы сегодня имеем дело — имеются в виду тексты общераспространенные?

Книга о великой Жертве, счастливая весть о великой Жертве, аскетична в своей поэтике, сторонится всего, что не обладает устойчивостью против исторической коррозии, она соткана из событий и поучительных притч.

Пронзительны иносказания, составляющие историю Петербурга.

Для заключения главы — один пример.

1905 год. Январь. Воскресенье. Девятое число.

Тысячи людей, горожан, одетых в выходное платье, с хоругвями, с пением богоугодных и верноподданнических песнопений, организованными колоннами, а не толпой, с разных сторон города двинулись к царю. Народ хотел сказать своему Отцу, последней своей надежде и заступнику, богопомазанному самодержцу, управителю судеб всех и каждого, сказать без посредников, прямо о невозможности продолжать жить так, как они вынуждены были жить прежде.

До дворца ни один не дошел. Их расстреливали на самых дальних и ближних подступах к дворцу, и на Троицкой площади, и у Нарвской заставы, и на Васильевском острове...

А если бы дошли?

Дворец был пуст.

Царя во дворце не было. Царь был за городом. Народ шел к пустому трону.

Как факт отсутствие царя в этот день во дворце — пустяк. Но как символ, как иносказание расстрел людей, идущих к пустому трону, несущих свою мольбу и молитву к пустому алтарю, — образ впечатляющий и значительный.

Художественный сюжет этого трагического дня необычайно выразителен: царя, в любви и преданности к которому был воспитан вышедший на улицы народ, царя мудрого и милосердного, пекущегося о благе народном, о благе отечества, не то что в этот день не было во дворце и на троне, его и в природе-то не было. И блистательное отсутствие человека-символа как раз и можно рассматривать как символическое разъяснение реальной ситуации...

Вот такое иносказание, одно из множества, разбросанных и рассыпанных и по самой столице, и в ее дальних и ближних окрестностях.

И прочитан и трактован этот «сюжет» глубже и точнее, чем политиками и историками, поэтом, которого никак не заподозришь ни в партийной пристрастности, ни в склонности к жестокости.

«Любая детская шапочка, рукавичка или женский платок, жалко брошенный в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрет...

Девятое января — трагедия с одним только хором, без героя, без пастыря». Осип Мандельштам.

Факт — одно из самых причудливых и обманчивых созданий истории. Это как материя в физике: можно говорить о ее происхождении, свойствах, преобразении, структуре, но чем больше мы погружаемся в исследование материи, тем больше она растворяется, исчезает как реальность, превращаясь в мелкие символы свойств под названием электроны, протоны, мезоны, кванты, которые уже как бы и не материя, но, с другой стороны, разумеется, материя...

Вот и возникает надежда на то, что историческое событие, факт могут быть осмыслены в их цельности лишь как образ.

СВИСТ НА ПАМЯТЬ²

Я хотел свистнуть ему на память, а потом подумал — забудет...

Валентин Трифонов, 11 лет.

ИМЯ ОБЯЗЫВАЕТ

Вообще-то у нас как-то больше заботятся о перемене названий и имен, нежели о сущности дела.

Н. Гоголь.

Художественному произведению полагается начинаться с названия.

Санкт — Питер — бурх!

Для русского уха лет триста назад это звучало примерно так же, как сегодня — сникерс! тампекс! баунти! маркетинг!

Название города, каких отродясь еще на Руси не заводили, — прямо целое сочинение, в нем и вызов, и жест, и сладчайшая дворцовая лесть царю, и ханжеский привет небесам — то ли из России, то ли из Голландии, — в нем и маска, и горделивое самоуничижение...

Город задуманный, город умышленный...

Кто же это, позволительно знать, задумал назвать город, которому суждено трижды отречься от своего имени, именем трижды отрекшегося святого апостола?!

Город отречется от имени Санкт-Петербург, но вовсе не для освобождения от лукавых игр с апостольским именем.

Город отречется от имени Петроград, и вовсе не оттого, что вдруг из недр его донесется проклятье имени деспота, голоса сотен тысяч безымянных мужиков и баб, уложенных вместе со сваями в основание Северной Пальмиры.

² Журнальный вариант.

Отречется он и от имени Ленинград, от имени, не посрамленного его жителями, сообщившими своим нравом и мужеством слову «ленинградец» весомость звания.

Смена имен — это смена масок, это обозначение новых правил игры, нового карнавального пространства, где прежняя жизнь, отчасти вывернутая наизнанку, отчасти идущая задом наперед, и есть органическая форма самореализации.

Да, только в карнавальной традиции можно поименовать город так заковыристо, чтобы название звучало для русского человека оплеухой. Разве где-нибудь в Европе, откуда черпал и привозил образцы царь-реформатор, пришло кому-нибудь в голову назвать свою столицу на трех иностранных языках? А здесь и латынь — «санкт», и греческий — «Петр», и немецкий — «бург».

Почесав заскорузлой пятерней в затылке, не выученный ни латинскому, ни греческому, едва разбирающий по-русски, россиянин оставил от трехслойного комплимента пригодное к употреблению «Питер», и то не от фамильярности в обращении к святому апостолу, а по созвучию с именем царя-антихриста, и в платье и в языке рядящегося под немца.

После уничтожающей бомбардировки и тридцатичасового приступа русские войска взяли крепость Нотебург, но Великому Петру не пришло в голову поздравить Россию с возвращением своей земли и дать отвоеванной крепости имя Орешек, бывшее у нее до перехода к шведам по Столбовскому миру.

Нотебург был поименован в Шлиссельбург, а в письмах царя появляется еще и под именем Шлютельбург.

После осады и бомбардировки старый и болезненный комендант, полковник Опалев, счел за благо отдать русским крепость Ниеншанц, именовавшуюся до Столбовского мира Новый Острог. Петр Первый и здесь не пожелал переводом со шведского, — а Ниеншанц — это и есть Новый Острог, — вернуть крепости русское имя. Стал Новый Острог на этот раз Шлотбургом.

Трудно было понять, то ли возвращаются в отеческое лоно новгородские земли, столь счастливо защищенные Александром Невским, то ли просто пришли новые завоеватели и прогнали старых. Вот и генерал Апраксин прошел вдоль Невы до Тосно в 1703 году, «все разорил и повоевал», будто и не к себе, не в свои земли вернулся.

Получалось так, что не Россия выдвигалась поближе к Европе, а Европа сама входила в Россию Кроншлотом, Кронштадтом, Монплезиром, Петергофом, Ораниенбаумом... Это еще в 1702 году в верховьях речки Воронеж появился заложенный Петром Первым городок Ораниенбург. Прямая иллюстрация к словам Карамзина: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть гражданами России — виною Петр». Вот и Герцен придерживался той же точки зрения: «Петр увидел, что для России одно спасение — перестать быть русской». Нет-нет и российские правители извлекают этот спасительный рецепт из наследия Великого Петра, но в зависимости от моды вписывают образец — шведский, немецкий, французский, английский, американский...

Замечательно определил Герцен и эксцентрическую природу новой столицы: «Любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации». Обычно угнетают «во имя цивилизации» колонии, завоеванные земли и народы, а у нас... Говори после этого, что у России не должно быть своего пути, ни на чей не похожего. А на что ж это все похоже!

Казалось, что царь просто бежал из России, устраивая на отвоеванных неудобьях собственную «заграницу».

Иван Грозный тоже бегал из опостылевшей, недостойной своего Великого государя Москвы, но бегал в другую сторону, во Владимирские леса, устраивая в Александровской слободе свое гнездовье.

Впрочем, задорный нрав Ивана Грозного нашел достойного наследника и продолжателя в Великом Петре.

Эксцентрическое название новой столицы — это ключ к пониманию уклада российской жизни на ближайшие века, ключ к пониманию ее внутренней и внешней политики.

Эксцентрическое движение — это судорожное движение.

Что такое эксцентрика? Это нарушение рассчитанного и предсказуемого,

это опровержение логики, разрушение привычного, смещение обычая и правила, удар под локоть, рискованная неожиданность.

Если Москва для русской земли как бы естественный центр вращения, то Петербург — это смещенная ось, порождающая движение, напоминающее взбрыкивание. Пространственное положение Санкт-Петербурга наглядно иллюстрирует принцип власти, способ обращения с остальной Россией.

Эксцентрик в механике — это приспособление, позволяющее круговое движение (Москва, кружение на месте!) превратить в поступательное, в виде толчка. Так оно и было: толчки, тычки, затрецины — это и есть главное средство и способ сообщения воли императора своим подданным. Упокоился император — и движение прекратилось.

Петербург — город эксцентрический, его историческое движение судорожно и порывисто, конвульсивно, как гримасы царя-преобразователя, наводившие тягостное впечатление на окружающих.

Меняются времена, меняются власти, неизменными остаются лишь судороги и порывы, порывы и судороги в управлении страной.

Вот и Петербург, выстроенный по замыслу, по правилам, по образцам, всем своим видом стремящийся утвердить регулярность и порядок, лишь в судьбе своей порядка не предусмотрел, как не предусмотрел размеренной и предсказуемой жизни своим обитателям.

Лукавая двусмысленность названия города обнаруживается тогда, когда в речах сегодняшних монархо-демократов вывеска вертится, как игральная карта в руках ловкого картежника, демонстрируя по надобности то половинку с изображением святого апостола, то половинку с царем-преобразователем. То «святой», то «великий»; то «великий», то «святой». То Петр такой, то снова Петр, но уже этакий.

Сходства между косой девичьей и косой прибрежной едва ли не больше, чем между апостолом и царем, преуспевшим более всех остальных российских самодержцев не только в унижении, не только в превращении церкви в покорную служанку власти, но и в оплевывании ее. По Уложению 1649 года, которое действовало отдельными статьями аж до XIX века, первым преступлением, за которое воздавалось самыми тяжкими карами вплоть до смерти, было не поношение царского достоинства, а богохульство. Знал об этом Великий Петр? Знал, что глумится не только над церковью, но и над законом.

«...И на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» — это про апостола Петра.

«Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора» протодьякон, упразднитель патриаршества, гонитель монастырей, учредитель министерства православия, реформатор, повелевший под страхом смертной казни обратить тайну исповеди на службу сыску, и прочая и прочая... Это из деяний Великого Петра.

Царь не стремился к оригинальности, изобретениям он предпочитал образцы, брал, что пригодится, и из российского опыта. Идя по стопам Ивана Грозного, затеявшего в Александровской слободе зловещую пародию на монашеское братство, с пытками, плясками, оргиями и молитвами, Петр Первый уже в молодые годы основал свое юмористическое общество, цинично пародировавшее именно церковь. Пьянство до безобразия, пляски до изнеможения и сатурналии с участием неутомимых в веселье женщин придавали многодневным «службам» живость и разнообразие. Можно себе представить эстетику этого хмельного неистовства...

Но это же карнавал, шутка, как во всем «цивилизованном мире», праздник снимает груз повседневности, опрокинутая реальность освобождает...

Кого?

Свобода и вольная гульба были, по сути, уделом лишь одного участника «всешутейших соборов», все остальные готовы были с холопской покорностью стать жертвой дикой выходки, жестокой шутки или нешуточного гнева, готового в любое мгновение обрушиться на какого-нибудь забывшегося гуляку.

С шутками и весельем вваливались пьяные самодуры, имея примером Великого Петра, в боярские дома «поиграть», и, по свидетельству «проигравших», игра эта «так происходила трудная, что многие к тем дням приготавливались как бы к смерти».

В Петербурге карнавал и реальность смешаны до неразличимости, об этом будут писать и писать. Вот и сегодняшний Санкт-Петербург изо всех сил старается поскорее облечься в карнавальный костюм благополучного, преуспевающего, скучающего без праздников и забав, возрождающегося города.

Что возрождается? Флот? Промышленность? Наука? Образование? Медицина?

Главной газете города «возродили» название: вместо «Ленинградской правды» она теперь «Санкт-Петербургские ведомости». Мэр (ну конечно — мэр, не слово, а баунти!) на первой полосе подводит итог минувшему году, отчет озаглавлен: «ГОД МОЖНО СЧИТАТЬ БЛАГОПОЛУЧНЫМ, ЕСЛИ БЫ...» — и дальше перечисление побед и сожаление в связи с аварией в метро.

Это типичная карнавальная маска, а что под ней?

На этой же (!) полосе газеты: письмо главного психиатра города президенту России — сумасшедших кормить нечем, пора выпускать на улицу, пусть ищут корм сами. На этой же полосе: остановлен главный конвейер самого большого завода в городе, пока еще Кировского, тысячи рабочих отправлены в вынужденный отпуск. На этой же полосе: долг города энергетикам исчисляется миллиардами рублей, тепловые и электрические сети изношены, работают на пределе, у аварийных рубежей... Вот такое благополучие, если бы не авария в метро. Как о достижении, требующем немедленной огласки, сообщается по радио и телевидению о наметившемся! снижении темпов спада! производства. Как о значительном успехе сообщается о снижении темпов роста! преступности...

Впрочем, тюрьмы переполнены не до предела, а за пределом. Опубликовав в «Санкт-Петербургских ведомостях» обстоятельную статью «Я тюремщик, а не палач», начальник знаменитых «Крестов» подал в отставку. Иной способ защиты прав заключенных нашли тюремщики другого города, носящего тоже имя Петра, Петрозаводска: они объявили голодовку в знак протеста против бесчеловечного содержания в их тюрьмах граждан, находящихся под следствием.

В этом же «благополучном» для мэра году на вопрос тележурналиста Караулова: «А вам жить не страшно?» — почетный гражданин Санкт-Петербурга, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев с виноватой улыбкой признался: «Жить не страшно. Страшно в свой подъезд входить...»

На апробациях-презентациях городское начальство любит вперед выпускать обряженного в треуголку и камзол полутрезвого актера, велеречивыми словесами «под старину» напоминающего о том, от кого нынешние приняли «Эштафет». «Эштафет» бесконечного карнавала — камзолы, треуголки, парадизы, сникерсы, орбит без сахара...

Казалось бы, только в шутку, смеха ради, люди соглашались играть роли животных. Но вот как виделись царю-преобразователю его подданные в трезвом рассуждении, когда игры кончались: «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским не так... Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей».

«Воины! ...Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и Церковь...» — это тоже Петр, двуликий, многоликий, великий...

В 1701 году Великий Петр ввел в армии для поддержания дисциплины шпицрутены, сохранив для наказания провинившихся и старинные национальные средства — отрезание ушей, вырывание ноздрей «до кости», а для особо непонятливых — каторгу. Рекрута метили специальной татуировкой, не номером, как в концлагере, а особого рисунка крестом. Десятая часть списочного состава армии постоянно была в бегах. Проявления массовой неосознанности случались и среди войск «нового строя». Так, из двадцати трех тысяч драгун — новый род войск, обученный для боя в конном и пешем строю, — через несколько месяцев под знаменами Отца Отечества осталось только восемь тысяч бойцов, остальные разбежались. По всем губерниям и уездам было объявлено: «Кто где увидит такого человека, который имеет на левой руке назначено крест, чтобы их ловили и приводили в города». Не хотите ловить «чад возлюбленных»? Захотите! Петр Великий не только институт доношительства поднял на новый, высочайший уровень, но и дело содействия

полиции: «А кто такого человека увидит и не приведет, и за такое противление оной непослушник высокого монаршеского указу будет истязан, яко изменник и беглец, и может потерять все свое имение и написан сам будет в рекруты». Есть над чем задуматься, если рекрутчина была фактически пожизненной. Письма с образцами крестов для клеймения воинов были разосланы вместе с указом об отлове дезертиров.

Надо думать, И. В. Сталин самым тщательным образом изучал зверские указы Великого Петра и почерпнул в них много для себя полезного. Знаменитая своей универсальностью и растяжимостью наша ст. 58 подмигивает из указа о беглых рекрутах словечком «изменник», адресованным тем, кто не может — или не хочет — хватать, тащить и доносить.

Петербург учит различать эти приступы любви к согражданам, это красноречие по случаю, когда от нужды великой, когда и от страха они забывают, что обращаются к «животным». Должность у них такая — гноить, унижать, не держать за людей, а подопрет, тут и про церковь вспомнят, и слова человеческие найдутся: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои...»

С наследниками Великого Петра более-менее понятно, но почему тень апостола Петра действительно легла на этот город?!

Два имени — родовое и духовное...

Дважды апостол был в заточении.

Две блокады, два голода пережил и город.

Дважды перестанет город быть столицей.

Двойственность, раздвоенность, двусмысленность — не ошибка, не огрех или недогляд, скорее знак, требующий прочтения, понимания, знак судьбы.

Гербовое стихотворение О. Мандельштама — «Ленинград». Два названия города смотрят друг на друга, повязанные цепочкой «ленинградских речных фонарей», продолжающихся «кандалами цепочек дверных» в петербургских квартирах.

Самое трудное в жизни — за обликом разглядеть суть. Двойственность — это самая загадочная и самая трудная глава диалектики, Петербург — Ленинград — это всероссийская академия диалектики, здесь можно научиться различать суть и обличье...

Двоится город в зеркале вод бесчисленных рек и каналов.

Поэт застал город в ту минуту, когда тот смотрелся в зеркало:

Ночь, улица, фонарь, аптека...

.....

Аптека, улица, фонарь.

ГЕРБОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПЕТЕРБУРГА

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь...

А. Блок.

Разумеется, имя у него должно быть зеркальным, так и есть:

Александр / Александрович.

Если название города обозначено тремя словами на трех языках, то гербовому человеку по скромности приличествует именоваться одним словом, но из солидарности с названием города желательнее на трех языках.

Блок.

Его фамилия, хотя и созвучна французскому bloc и английскому block, происходит из немцев. Так оно и должно быть, поскольку из всех заграниц петербургскому нутру по происхождению ближе всех, конечно, немцы.

А воспитание должно быть не просто русским, а петербургско-русским, потому что к его рождению Россия полностью овладела Петербургом. И вокруг юного Александра Александровича — Бекетовы, Бекетовы, Бекетовы, Андрей Николаевич, Елизавета Григорьевна, Александра Андреевна, Екатерина Андреевна, Мария Андреевна, а рядом Боткины, Бакунины, Тютчевы... Дед с юных лет лично знаком с Достоевским, Федором Михайловичем, и с лютым

оппонентом Федора Михайловича, Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным, тоже был дружен. Прадед отставной мичман — как же это в петербургской родословной и без моряков! Прадед приятельствовал с Баратынским, Евгением Абрамовичем, Вяземским, Петром Андреевичем, Давыдовым, Денисом Васильевичем, генерал-лейтенантом и поэтом, автором задевающих власть стихов «Река и зеркало»...

Вот такое общество вокруг колыбели поэта, колыбель в доме у реки. Дом смотрится в реку.

Едва ли сам поэт замечал, как часто в его стихах присутствуют зеркала.

Отец Александр. Мать Александра. Сын Александр.

Бог троицу любит, но не эту. Сын родился, и семья распалась. Остались мать и сын, потом появится отчим с двойной фамилией.

Вокруг дома, где родился, — университет, Академия художеств, Академия наук, Кунсткамера, Пушкинский дом Академии наук, ему будет посвящено последнее стихотворение поэта, будто и не уходил отсюда никуда.

Но умрет он по ту сторону Невы, в полчаса ходьбы от дома, где родился. Но тот, последний, дом будет смотреться в неширокие воды речки Пряжки. На противоположной стороне от дома, на Матисовом острове, будет корабельный завод, а неподалеку, на набережной Пряжки, — приют Аксентия Ивановича Поприщина, больница для душевнобольных. И тоже не случайно.

Между местом рождения и местом смерти — река Нева.

Река жизни.

Только посредственность боится банальности как признака бессилия, в палитре большого художника банальность лишь атрибут самой жизни, одна из ее бесчисленных красок.

Нева только кажется рекой, но по речным законам не течет и не живет, чем озадачила еще тех, кто в незапамятные времена первыми пришел на ее берега, посмотрел, подумал и из боязни ошибиться и ввести потомков в заблуждение просто назвал — «водой». «Нево» — значит вода.

И Пряжка тоже не река, проток, но по петербургской традиции именуется речкой и, также в соответствии с петербургской традицией, поименована дважды. Сначала эту речушку звали Чухонкой, именем своим она хранила изначальную приметку места, сохраненную для нас Пушкиным. Спустя полвека после основания города речку стали именовать Пряжкой, поскольку мастеровых начали теснить из центра города, и прядильщики оказались отселенными на берега Чухонской речки. И новое название опять блеснет в неподвижной воде пушкинской строкой «старуха пряла свою пряжу...».

Откуда вытекает Пряжка?

Разумеется, из Мойки. Парки — Мойры. Мойры и Мойка — всего лишь созвучие, а не рифма, но так искажает слово эхо, когда звук и отзвук разделяют две тысячи лет.

Одна из обязанностей, вернее, жизненных ролей художника — соединять время. Чем крупнее художник, тем он крепче связывает прошедшие времена с наступившими и грядущими, и это не работа его, не труд, он сам и есть эта соединенность.

1919. Зима. В промозглом и нетопленном Доме искусств на углу Невского и Мойки он читал лекции молодым писателям и переводчикам по истории западной литературы.

Однажды в аудитории оказался только один слушатель, однокашники доверили ему журнал, в котором преподаватель должен расписаться и получить деньги за не состоявшуюся не по его вине лекцию.

Александр Александрович Блок вошел в аудиторию, поздоровался и не раздеваясь — в аудитории было по-уличному холодно — начал лекцию о Сервантесе и «Дон Кихоте». Лекция длилась положенных два часа, единственный в аудитории слушатель грел у живота чернильницу, чтобы лектор мог сделать запись о выполненной работе. Замечательно и то, что фамилия слушателя была —

Иванов.

Угол Офицерской улицы и набережной Пряжки, здесь последний приют человека, который писал о себе, а получалось, что пишет о городе. Писал о городе, а выходило — о себе. Писал о том, как в город входит революция, оказалось, что и контрреволюция входит так же:

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Куда впадает Пряжка, куда несет неторопливая, погребально медленная вода отражение дома, в котором он умер?

Обогнув Матисов остров, проток соединяется с Невой, той самой, на берегу которой стоит дом, где он родился. Два отражения слились в одном. У него так и написано: «Умрешь — начнешь опять сначала...»

Он умер на той стороне Невы, где Зимний, где Сенат, Синод, Медный всадник, Александровская колонна, Литовский замок, политическая тюрьма, — здесь торжествующая власть обозначила себя пышно и горделиво. Ею и убила власть, запутавшаяся в переписке, прошениях и отношениях, ходатайствах и резолюциях, направленных на выяснение одного вопроса: дозволить ли жить гр-ну Блоку дальше или за неимением средств — отказать. Решительно-го отказа как бы и не было, но с дозволением опоздали. У власти всегда много забот, обстоятельств, да и год выдался хлопотливый, и время расстрельное. Вот если бы он шел по Кронштадтскому делу, было бы проще... ну да что говорить... А то лишь слышал канонаду и сделал запись в дневник, это еще не криминал... Да ладно.

Похоронили.

Дважды.

Так полагается.

Нет, не всем.

Только тем, кто имеет зеркальное имя, фамилию, созвучную французскому и английскому словам, но принадлежащую немцам...

Едва оправившись от блокады, вернее, от голода и ежедневных артиллерийских обстрелов, теплой осенью сорок четвертого года власть, занятая приведением в порядок кладбищ как делом первоочередным, не обошла вниманием и того, на кого не хватило заботы при жизни.

Выкопали на Смоленском кладбище, перенесли на Волково кладбище и закопали.

И ему хорошо, и у нас гора с плеч. «А почему на Волково, да еще и в чужую могилу?» — «Проходите, товарищ, не надо на этом месте останавливаться, решение принимали не мы...»

Это уж точно!

Кто принимал решение, когда гербового прозаика Санкт-Петербурга Гоголя, Николая Васильевича, из могилы в Даниловом монастыре подняли и на Новодевичьем кладбище закопали?

Едва ли те, кто принимал решение «по Блоку», были знакомы с теми, кто принимал решение «по Гоголю», но руководила ими и направляла их одна сила, это уж вне сомнения.

Гоголь и Блок, быть может, именно они, как никто другой, впитали в себя дух этого города, пропитались им, им же и отравились.

Как подозрительно одинаково они умерли.

А может быть, и не умерли вовсе, может быть, их дух просто не умещался в телесной оболочке, может быть, их душа просто вырвалась и растворилась, стала воздухом и водой этого города, стала его тенью?

От чего они умерли? Да ни от чего. Сначала перестали писать, началось с этого. Говорили о полном истощении. И перестали жить, быть.

Почему так рифмуется смерть Гоголя и Блока? И то, что после смерти...

Это кто рифмует?

А Петербург вопроса не слышит, делает вид, что к нему это не относится, лежит себе ниже воды, тише травы, что пробивается через асфальт и вытаптывается на газонах, а если и проговорится, то обязательно притчей, рассчитанной на тех, кто смотрит и не видит...

Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его...
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

«Двойник», стихотворение Александра Блока.

КОГДА УЛЫБАЕТСЯ КЛИО

Не проходит мода на Петра Великого. Раньше его любили все цари-монархисты. Потом его стали любить вожди-коммунисты. Тов. Сталин, задумав после войны переснять все исторические фильмы, снятые до войны, во-первых, в цвете, во-вторых, на более высоком идейно-художественном уровне, велел фильм «Петр Первый» (две серии) не трогать, а режиссеру этого фильма Петрову хотел поручить пересъемку неудачного фильма «Иван Грозный» (две серии). Фильм «Петр Первый» загодя объяснил и оправдал сорок первый год — смотри беды Петра Великого под Нарвой. Оправдал репрессии — смотри заговоры реакции против царя-реформатора. Объяснил и оправдал даже деликатнейшую историю с сыном — смотри историю Петра Первого, жертвующего сыном для блага своего дела.

Нынче вождей нет, есть как бы их местоблюстители с демократическими лозунгами на устах. Глядь, и в кабинете у такого местоблюстителя появился бюст царя-реформатора, а вот царь-преобразователь уже в полный рост появился в кремлевском зале, где подписывают международные соглашения. Посмотрит современник на фигуру Петра Великого в момент подписания договора с государством Украина и вспомнит, что вот и Великий Петр платил же дань крымскому хану, а крымский хан в длинном своем титуловании именовался еще и «повелитель царя Московского». Вот уже историческая основа, преемственность возникает в традиционной уплате дани Крыму, терпящему пока что у своих берегов славный российский военно-морской, отмечающий свое славное, и т. д.

Когда смотришь на Клио с папирусным свитком в руках, кажется, что этот лист служит не только для записей выдающихся деяний, но, поднесенный к лицу, еще и скрывает улыбку, нет-нет да и появляющуюся на устах бесстрастной музы.

Широкий и плоский Петр Великий, подаренный Михаилом Шемякиным городу Санкт-Петербургу и установленный в Петропавловской крепости как раз между гауптвахтой и собором, — крупный шаг в самосознании горожан.

Новая скульптура — это Петр Великий, сошедший с пьедестала, вышедший из мифа, оставив всю атрибутику в костюмерной. Он просто сидит в кресле, кресло утверждено на постаменте высотой в два кирпича, царя можно рассмотреть. У фигуры царя, сидящего в кресле, непропорционально маленькая голова, лысая, напоминающая баклажан с глазами, длинные тощие ноги одеты в чулки и башмаки по моде... Туловище, упрятанное в камзол, напоминает какое-то индустриальное изделие, даже пуговицы становятся похожи на заклепки на паровом котле, при этом все правдоподобно, за исключением рук. Не сами руки, а кисти, выпростанные из рукавов камзола, — это щупальца краба, клешни робота, гротескно преувеличенные.

Сказать о Петре Великом — робот власти, сказать столь художественно убедительно, — значит сказать если не новое, то уж безусловно свое слово о торжествующей механической, бездуховной власти, и слово это перевешивает славословия слепых или подслеповатых воспевателей.

Вот таким, быть может, Петр Великий и виделся убежавшему от него Евгению.

Мне кажется, что Петр Великий в исполнении Михаила Шемякина спровоцирован пушкинским «Медным всадником», но не вступлением, а финалом.

«Уж не пародия ли он?!»

Предполагая недоумение, может быть, шок у зрителей, воспитанных на героико-романтических образах Великого Петра, скульптор пошел на крайнюю, ироническую меру: он прикрепил к постаменту специальную табличку-справку, разъясняющую дело и на всякий случай оправдывающую автора: лик царя воспроизведен по снятой при жизни маске. Жаль, что не добавлено: опасайтесь подделок.

Реальный Петр Великий, как явствует из свидетельства, предъявленного скульптором, похож на Петра Великого у Растрелли, Колло и Антокольского не больше, чем конопатый вождь на красавца и богатыря, народного артиста СССР Алексея Дикого, игравшего этого самого вождя в роли полководца в фильме «Сталинградская битва».

Смотреть на шемякинского Петра Первого страшно, потому что его герой смешон.

Быть того не может!

Около нового памятника народ всегда задерживается, обмениваются впечатлениями, и обязательно кто-нибудь да скажет: «Смешной...»

Смешон человек, попавший в затруднительное положение, но делающий вид, что ничего не произошло, все идет так, как он и хотел. Он респектабелен и благополучен как ни в чем не бывало. На этом построены бесхитростные клоунады и горький, почти трагический Чарли Чаплин.

На тарелке старый башмак, голодный Чарли делает вид, будто это его любимое блюдо, он заправляет за воротник салфетку, вооружается ножом и вилкой и расправляется с башмаком так, будто это цыпленок, поданный в ресторане.

1706 год. Санкт-Петербург.

В городе наводнение.

Царь садится в буер и мастерски выделывает под парусами эволюции по затопленному лугу. Ай да царь! «И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям бутто во время потопа сидели...» — поделился государь веселой минуткой со своим другом и единомышленником Александром Даниловичем Меншиковым. Только почему же «бутто во время потопа», разве не жизнь спасая полезли люди на кровли и деревья?

Ковыряющий во рту зубочисткой голодный человек, только что обсосавший все гвоздики из отставшей подошвы, все-таки смешон...

А государь, обрекший подданных жить в постоянной опасности и веселящийся при виде того, как люди спасают свою жизнь, сам же при этом развлекающийся спортивными упражнениями?..

Надо думать, нынешние правители и в этом хотят быть похожи на обожаемого ими Великого Петра, очень они любят спорт, и зело им утешно, играя самим или наблюдая игры других, видеть, как сограждане в это время спасают свои жизни.

Смешон царь, изумляющий своей любознательностью Европу. Он и механик, он и судостроитель, он и химик, и на вскрытие трупа спешит, чтобы лично удостовериться во внутреннем устройстве человека. Он все изучает, во все вникает, многое знает, но хочет знать еще больше, скупает книги, приборы, мастеров, оборудование, ученых... Как похож он, однако, в этом пристальном внимании к европейской цивилизации на героя известной басни, не приметившего слона.

Вникая, проникая, изучая, царь не увидел, не понял своим обширным и разбросанным умом главный механизм европейского устройства жизни.

Смешно, конечно, мечтать о том, чтобы царь-преобразователь, изучив Европу, смог привезти в Россию новое понятие о справедливости, защищенной судом и законом. О! он росчерком пера мог бы сделать больше, чем всеми своими походами, топорами, пушками, зуботычинами и дубинками.

Если бы он только задался вопросом, почему европейские деревни так разительно отличаются от российских, России, быть может, не пришлось бы через триста лет проситься в круг «цивилизованных народов».

Он вез упакованный по ящикам, на возах и телегах «научно-технический прогресс» (потом нам будут прививать «американскую деловитость») в страну, где сан царевича не был гарантией от дыбы и кнута, а ранг фельдмаршала и титул князя — от мордобоя и дубинки.

Картинные галереи ему были неинтересны, он скучал по необходимости в опере и, изъездив Европу, не заметил, что в пору Высокого Возрождения уже был выработан канон личности гражданина, главное приобретение цивилизации — ясной умственно, чистой нравственно и опрятной физически. Но разве сама-то Европа отвечала этим меркам?

Пьяные и мздолюбивые попы не есть доказательство того, что Бога нет, так и Европа, представшая перед глазами жадного до новых знаний царя, была далека от идеала, но идеал имела!

Царь-реформатор оснастил русский язык огромным количеством новых слов, без которых можно было великолепно обойтись. Он предписал именовать на Руси чинов городских управлений не иначе как ландчечевдингами, ландрихтерами, ландректмейстерами и ландштрейбергерами. При всем при этом Его Величество не испытало никакого неудобства от отсутствия в рус-

ском языке слова «культура», оно появится у нас в лексиконе лишь сто лет спустя, после того как почует в Бозе Отец Отечества. Его Отечество без слова «культура» обходилось, не испытывая затруднений.

Как уехал царь-реформатор в Европу «дебошаном», так им и вернулся. И уже после того, как основательно, в течение полутора лет ознакомившись с европейством и Европой, у себя в Москве, на приеме у цезарского посла, Великий Петр, потешаясь над «деспенденцией» боярина Головина, стал набивать ему рот и нос салатом, пока не хлынула кровь.

Можно ли бытовую историю России смешивать с исторической историей государства Российского?

Нельзя! Нельзя!! Нельзя!!!

И тут же расскажут, что, переворачивая календарь, мы переворачиваем его с нынешними обозначениями благодаря Петру Великому и т. д. Заслуги Петра Первого чрезвычайны, можно подумать, что, не пошли нам его Небеса, по сей день, как предполагал добрейший Николай Михайлович Карамзин, мы бы еще прозябали в средневековье. Да полно!

Можно догадаться, что я люблю Н. М. Карамзина во много раз больше, чем П. А. Романова, но, помня слова того же Николая Михайловича: «Дикость сих времен не оправдывает этой жесткости», — не могу поступиться человечностью.

Мы столько раз поступались ради каких-то высших и замечательных целей человечностью, что получили то, что имеем сегодня.

История — автор иронический. Смешно, конечно, что именно Петр Великий, которому, по мнению Пушкина, принадлежит бессмертный афоризм: курица не птица, прапорщик не офицер, женщина не человек, — отдал после себя трон в руки четверем женщинам.

Толчок, сообщенный России эксцентрическим императором, был настолько силен, что по инерции еще строились корабли, которым уже некуда было плыть, устраивались торжества и праздники, не знаменовавшие громких побед, а огромный стопушечный корабль «Императрица Анна», считавшийся чуть ли не самым большим в мире, был подтащен к Летнему дворцу для пышного празднования его спуска, что и стало главным событием в истории корабля, обреченного в дальнейшей своей жизни гнить у причала.

Смешны и мы, без конца празднуя спуск корабля «Россия» Петром Первым в европейские воды, в новое плавание, в новую жизнь.

И далеко уплыли?

Обсасываем, как голодный Чарли, все «гвоздики» петровских реформ и не признаемся в том, что главным наследием Великого Петра едва ли были его реформы, остановившиеся и забуксовавшие без его кулака и дубинки...

Смешно: желая порядка, они насаждали произвол, желая просвещения, сажали просвещенных в крепость, гноили в ссылке, мечтали о конституции — и открывали простор аракчеевщине, мечтали о великой и непобедимой армии, о могучем флоте — и топили свои корабли в своих же бухтах, вязли в нескончаемых войнах с полудикими племенами, задумывали реформы — а хлопотали лишь о крепости своей власти, жаждали осчастливить бедных — и отбирали у них последнее, сочиняли законы — и не знали, что такое законность. Куда ни двинутся российские правители, мечтая всякий раз пройти дорогой Петра Великого, — всякий раз оказываются в стороне, противоположной от намеченной...

Почему-то такой большой, невероятной ценой добытые победы оборачиваются поражением, а праздники наши так похожи на тризны...

«ОТДАЙТЕ ВСЁ»

В долгой дороге кто убивает время разгадыванием кроссвордов, кто пытается читать мелькающие за окном названия промежуточных станций, кто увлечен соседями настолько, что забывает о том, куда и зачем едет...

Любоваться сыплющимся и сыплющимся за окном апрельским снегом в разгар календарной весны скучно — нас снегом и в мае не удивишь, но очень грустно: весна проходит, так и не наступив...

Соседи? Соседи есть, но с каждым днем все больше и больше убеждаешься в том, что едем мы с ними в разных направлениях...

Попробую-ка почитать. Прочитаю-ка неторопливо, вдумчиво, от начала и до конца последнюю строчку, она же и первая, последнего указа Петра Великого. Обычно эта строчка читается как фрагмент исторической хроники, и у историков, людей ученых, строчка эта считается недописанной. Но перед нами не намерения, а произведение, завершённый, пусть и не по воле автора, художественный текст. Сегодня проще, чем когда-нибудь, объяснить: Незримый Соавтор посчитал, что написанного достаточно.

Всем памятна строка, да и не строка, а два последних слова, которыми завершается поистине снегопад указов, сыпавшихся во все дни правления Великого Петра на головы его подданных, количественно это был, конечно, бумажный снегопад, плодотворность же его была близка к дождю в пустыне, когда живительная влага испаряется, не долетев до страждущей земли. О! указократия как высшая стадия бюрократии — это новшество, введенное в России царем-реформатором, как дурная болезнь, унаследована нашими правителями и приобретает вот и на наших глазах признаки наступающей эпидемии.

Ко времени кончины Петра Великого дела престолонаследия были донельзя запутаны в результате сопутствовавшего правлению произвола и казней, мрачивших, увы, не только «начальные дни».

5 февраля 1722 года Петр Первый подписал заново сочиненный Закон о престолонаследии. Закон этот в первую очередь должен был стимулировать благонравие Екатерины Алексеевны, достойнейшей супруги императора, матери его одиннадцати детей, возведенной после долгих размышлений и сомнений в ранг императрицы.

Уничтожив родовое право, закон поставил прихоть правителя руководящим принципом: «Кому оной хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменит». Ясно же было написано: желающему, а равно и желающим получить российскую корону из рук императора Петра Великого от непотребства надо воздерживаться.

Судя по тому, как тихо и ненавязчиво вела себя Екатерина Алексеевна рядом с царем, бывшая портомойня вроде бы не спешила учиться управлять государством. Читать не умела, потому, надо думать, и не раскусила главную изюминку в Законе о престолонаследии. Вот и позволила себе непотребство с камергером Монсом, чем поставила в неловкое положение прежде всего Монса, положившего голову на плаху, и царя, ломавшего свою голову, что же теперь делать с написанным завещанием о власти, если по закону он сам себе предписал, «видя какое непотребство, паки отменит».

Кто был рядом с престолом, кто крепил его своей рукой?

Правая рука императора, светлейший князь, фельдмаршал Меншиков, — казнокрад гомерический. Левая рука, кабинет-секретарь Макаров, — взяточник несусветный. Из преданного Толстого, Петра Андреевича, начальника Тайной канцелярии, песок сыплется... Жена? Одно слово что жена. Внуку десятый год идет, того гляди, мститель за отца вырастет. Дочки при голштинских кавалерах, дай им власть, о Голштинии больше забот будет, чем о России...

Было о чем подумать царю на смертном одре, прежде чем слабым голосом попросил перо и неверной рукой, когда-то написавшей тысячи указов, по которым россиянам из животных надлежало стать людьми, вывел какие-то каракули. Почувствовав, что писать уже не может, велел позвать шестнадцатилетнюю дочь Анну, ей верил больше других, хотел ей диктовать что-то сокровенное, чего не мог доверить толпившимся рядом в готовности рыдать Меншикову, Макарову, Ягужинскому, Толстому...

Но и диктовать уже не смог. После смерти разобрали последнее предначертание руки, счастливо заменявшей в течение стольких лет и закон и право: «Отдайте все».

Империя, повисев на кончике пера, выпала из рук вместе с пером.

«Отдайте все». Точку поставила история.

Отдайте все. Это и есть последнее слово, это и есть завещание, и оно полно смысла.

Делу укрепления бесконтрольной, безответственной, беспощадной и непререкаемой власти последний завет царя-преобразователя на многие века послужит руководящим и направляющим принципом.

Так и будут «отдавать все», в любые руки, но «все» — закон, право, казну, армию, жизни подданных, ничем и по сей день не гарантированные.

Как рассуждал домосед Иван Грозный, так же мыслил спустя полтораста лет и Петр Великий, исколесивший всю Европу, так же будет думать и Николай последний.

Отцу Петра, царю Алексею Михайловичу, не надо было ездить за чужим умом, чтобы понять самое главное. На исходе средневековья русский царь Алексей Михайлович дал потомкам беспримерный урок: в непостижимо короткие сроки были приведены в порядок российские законы и сведены в Уложение 1649 года. Главное дело правителей — ЗАКОН! Это завещание царя Алексея Михайловича, подкрепленное делом, его потомки, толковые и совестливые, поняли и высоко оценили. Жаль, что на петербургских камнях и тени нет Алексея Михайловича, а ведь этот государь писал утешительное письмо своему боярину в связи с бегством сына боярского за границу. А через сколько-то лет вернувшегося «невозвращенца» милостиво простил. А то, что во время церковной службы мог Алексей Михайлович со своего красного места сорваться и певчего, навравшего в тропаре, за патлы поучить, так в том нет худого. Как говорится, не суйся в ризы, коль не поп.

Эпизод на пиру с Яковом Федоровичем Долгоруким, когда Петр Первый пожелал услышать правду о своем правлении, обычно трактуется к славе царя, умевшего выслушать правду, а ведь услышал-то он приговор.

Дело государей, сказал старик, много споривший с царем и досаждавший ему несогласиями, — «внутренняя расправа, и главное дело ваше есть правосудие. В сем отец твой более времени свободного имел, а тебе еше и думать времени о том не достало, и тако отец твой более, нежели ты, зделал, но когда и ты о сем прилежать будешь, то, может, превзойдешь, и пора тебе о том думать».

За оставшиеся с той минуты семь лет жизни Петр Великий «о том думать» так времени и не найдет.

Самодержавие обладает необычайным очарованием.

Обожаемый монарх, обожаемый вельможа, грубый, но такой отходчивый, тупой, но такой великодушный негодяй начальник равно привлекательны тем, что снискавшему их доверие и расположенность больше и нет нужды заботиться о крепости своего положения. Удачно влезший и счастливо расположившийся под рукой монарха или монархенка сам становится мгновением абсолютной власти. Это же настолько проще — обольстить и понравиться, угодить и услужить одному, чем любой многоликой и переменчивой коллегии.

Казалось бы, проваливает правитель все, к чему ни прикасается, и даже за собачью преданность платит черной неблагодарностью, но все, кто вхож и допущен, кто был вхож и был допущен, находят неисчерпаемое количество доводов для утверждения своего покровителя и патрона в его, как правило, избыточно присвоенных и глупейшим образом употребляемых правах.

Где вы, Бурбулис, Попцов, Костиков, Козырев, Казанник, еще недавно вы мчались «в прахе боевом, гордясь могущим седоком». Седок скачет на других конях...

Падшие создания, жертвы «становления демократического и правового государства», использованные и выкинутые, — Гайдар, Старовойтова, Коржаков... — хранят нежное чувство к обольстившему и немножко обесчестившему, хранят надежду, что услуги — какие услуги они ему оказывали! — не будут забыты и, кто знает, кто знает! вдруг у него снова вспыхнет желание еще раз насладиться политической и административной близостью, вот и Чубайс воскрес.

Даже когда «отдавали все» в руки царя-мальчика, Петра Второго, «лучшие фамилии России» становились осчастливленными в лучах его власти, употребленной главным образом на охоту за дичью и девками.

Заглядывают в глаза невыразительному подростку Голицыны, втирается в приятели, в устроители забав и развлечений Долгорукий, тот самый, потомок Рюриковичей, готовы к услугам Шереметевы.

Вот и Трубецкие ради милости царя-мальчика смотрят и не видят, как царский приспешник, «гость досадный и страшный», вершит бесстыдно и откровенно прелюбодейство с законной княжеской супругой и делает дерзкие опыты вышвыривания и самого князя Трубецкого из окна собственного дома.

Ну что вы, пресмыкательство перед сильными не унижает, напротив, облегчает и упрощает жизнь.

А исключения? Случаются, конечно случаются, оставляя надежду.

Когда все отдано в одни руки, утрачиваются представления о понятиях стыд, честь, человеческое достоинство. Утешно смотреть Великому Петру, как князь Шаховской, украшенный орденом Иуды, добровольно (!) на царской пирушке принимает пощечины за червонцы: кто больше заплатит, тот больше и влепит по морде князю, по червонцу за оплеуху, — недорого.

Пока исполнялся завет Великого Петра и «вся власть» безраздельно передавалась в одни руки, будь это руки, окровавленные убийством мужа, убийством отца или убийством всего царского семейства разом, деспотическая власть на Руси чувствовала себя, как и подобает такой власти, уверенно и несомненно.

Подводя итог недолгому царствованию Петра Второго, Сергей Михайлович Соловьев написал: «Петр дичал, горизонт его суживался».

Какой поразительной емкости достиг в кратчайшем выражении великий историк, блеснув, по примеру Нестора и Карамзина, пером художника!

Да, там, где проводится в жизнь принцип, кратко и полно выраженный предсмертной судорогой ума Петра Великого, верховному правителю ничего и не остается, как дичать, а горизонт его при этом поневоле суживается.

Все правопреемники власти, отданной в одни руки, дичают! На глазах, понимаешь ты, дичают. И нет от этого недуга лекарства, кроме закона.

АРХАНГЕЛ НА ГАРЕВОЙ ДОРОЖКЕ

Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй...

Еккл. 7: 14.

В городе воздух стал заметно чище. Легче дышится. И вода в Неве стала заметно чище. Глаз радуется. Только это не заслуга поборников спасения окружающей среды. Трудно сказать, чья здесь заслуга.

Остановилось множество фабрик, заводов, те, что работают, работают еле-еле. Может быть, и рады были бы сливать отходы, губительные для воды, да сливать стало нечего. Не дымят трубы, делающие воздух непригодным для дыхания. Жить бы и радоваться.

Чистый воздух и хорошая вода, обилие досуга в связи с ростом безработицы, падением производства и снижением трудовой занятости населения располагают к занятиям спортом.

Несмотря на успехи оздоровления окружающей среды, смертность, правда, растет, зато рождаемость падает. Однако у города есть силы, требующие своего употребления, и поэтому в нем происходит движение. Он деятелен, и деятельность эта служит к убеждению себя и всех вокруг в том, что он еще жив, а единственным признаком полноценной жизни является демонстрация избытка жизненных сил. Можно себе представить, каково было слушать немцам, державшим всю зиму город за горло, репортаж из заблокированного Ленинграда о футбольном матче на стадионе «Динамо» 6 мая 1942-го! Специально для такого дела репродукторы установили на передовой. Но это к слову.

Сегодня город не успевает очнуться от одного праздника, фестиваля, всемирного конкурса, всероссийского смотра, как погружается в новые торжества, осваивая посредством всевозможных «Виватов...» новый календарь побед, успехов и завоеваний. Общей для всех праздников является одна забота — заманить как можно больше к себе иностранных гостей, не скрывая голодного расчета на прямой барыш и подарки.

Город мечтает хоть ненадолго стать мировой столицей спорта.

Прежде чем начать мечтать всерьез, была проведена репетиция мечты: **ИГРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ.**

Итоги репетиции всесторонне и тщательно изучались: количество и качество гостей, количество и качество участников, число всевозможных служб, обеспечивавших все разделы программы, спортивные показатели, рекорды, деньги, доходы, расходы, расходы, расходы.

Жители великого города были обрадованы рекордно низким уровнем преступности на улицах и в домах во время подготовки и проведения Игр доброй воли и жалели, что Игры так быстро промелькнули. Число сотрудников самых разнообразных служб безопасности, от мастеров борьбы с терроризмом до нормальных филеров, тоже было рекордным. Рекордным было и число сотрудников госбезопасности, их приятелей и знакомых на трибунах во время торжественного закрытия Игр доброй воли: охранным войнам доверили бесплатное распространение нереализованных билетов для заполнения трибун благонадежной публикой. Билеты не раскупались накануне закрытия Игр доброй воли уже и по демпинговым ценам. Не закрывать же Игры доброй воли при пустых трибунах!..

Рекордными были еще жара и безветрие во время праздника силы, бодрости и здоровья. Чуть ли не тридцатиградусное пекло на протяжении всей декады соревнований и тягостное безветрие, невероятное для морского города. Безветрие такое, что пришлось отменять и переносить парусные соревнования.

Обвисшие паруса — символ предельного напряжения сил.

Остался в памяти, произвел очень сильное впечатление рекорд, для которого не было заготовлено графы в протоколах Игр доброй воли. Хочется думать, что рекорд этот, по крайней мере в нашем городе, побит не будет, а был он установлен во время парада в честь торжественного закрытия праздника спорта, мира и дружбы.

В праздничном параде, кроме пеших спортсменов, участвовала еще колонна грузовиков, привычно декорированная на манер еще не забытых октябрьских и первомайских праздников, правда без обилия кумача и совершенно без портретов вождей, но в целом на том же художественном уровне.

И все могло бы лишь напомнить о торжествах по случаю закрытия в Калуге спартакиады общества «Колос», если бы организаторами не была припасена изюминка, даже две.

На гаревую дорожку стадиона им. Кирова из бетонного тоннеля в северной трибуне, в колонне грузовиков, разукрашенных спортивной тематикой, выкатилась автоплатформа с изрядным макетом многокупольного православного храма, с пятью головками-луковицами, украшенными крестами. Тряслись и опасно раскачивались на скорую руку сколоченные купола. Покачивались и без ветра готовые накрениться и упасть кресты.

На телевизионном экране светились радостью и торжеством жители «правительственной» трибуны: вчерашние крепкие партийцы, а ныне организаторы и вдохновители третьего крещения Руси теперь-то знали точно, что попадут на небо.

Крестились ли городские начальники и их московские высокие гости во время «прохождения храма» перед «правительственной» трибуной или нет, по телевизору не показали.

В царской армии были походные церкви со складным инвентарем, в советской армии были походные Ленинские комнаты, тоже со складнем, украшенным портретами членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро, и вот следующий шаг, да какой!.. Ну что ж, если люди идут на стадион, а не в храм, то храм придет к людям. Свежо. Оригинально. Демократично.

Но «прохождение храма» было лишь первой изюминкой торжеств, разминкой, говоря по-спортивному, что в данном случае уместно.

На гаревой дорожке появляется еще один грузовик, на платформе которого исполнено наверху... Александровской колонны, товарищи! Да-да, той самой, что в честь победы над французами, с крестом и архангелом.

Есть рекорд!

Французам, даже англичанам было бы слабо не то что архангела, а Наполеона или Нельсона, тоже украшающих столичные колонны, вывезти на стадион в натуральном виде, живьем! Куда им до нас, им до нас далеко, впрочем, может, они вообще не в ту сторону движутся. Французским участникам Игр доброй воли и гостям из Франции нос утерли классно.

Но главная-то изюминка была — «живой архангел», он опасно покачивал прикрепленными на живую нитку к спине крылами, крепко держался одной рукой за спасительный крест, а второй, свободной, делал красивый жест, при-

ветствуя с высоты своего положения и временных полномочий от Комитета по делам физкультуры и спорта отдыхающих на трибунах чекистов, атеистов, буддистов и мусульман, надо думать, с остановившимся сердцем ожидавших выезда минарета с муэдзином.

Счастливого городское и высшее государственное начальство, глядя на раскачивающегося на кресте архифизкультурника, было преисполнено светлой радости: вот как далеко мы ушли, и в какую хорошую сторону, от нашего тоталитарно-административного безбожного прошлого.

Какой вид спорта олицетворял собой этот архангелообразный атлет, уполномоченный осенять и благословлять с высоты животворного креста?

Кто из святителей благословил этот циничный спорт-арт?

Какой глумливец, дурак или тонко знающий вкус начальства угодник учинил это рекордное бесстыдство?

Какая душа анафемская и кому в угоду придумала весь этот срам?

Ответов на эти вопросы телевизор не дал, зато были показаны крупным планом и потное лицо «архангела», борющегося с готовым завалиться крылом, и лица тех, кто с аппетитом вкушал это «райское наслаждение».

Пока предводителя небесных сил в компании атлетов и атлеток везли по гаревой дорожке стадиона, было время подумать, откуда, собственно, и куда его все-таки везут.

В подлинном Санкт-Петербурге такого не могло быть от приверженности власти, хотя бы и показной, к православной религии и из уважения к чувствам верующих... Если хотели продемонстрировать возрождение «Всешутейшего собора», столь любимого начальниками Петра Первого, то надо уж было дать в руки «спортсмену-архангелу» штоф с водкой, кубок Большого орла или хотя бы кружку пива!

В Ленинграде такое было невозможно, вернее, возможно, конечно, но только где-нибудь в конце двадцатых — начале тридцатых годов во время комсомольской «красной пасхи». Могло быть что-нибудь подобное и на съемках антирелигиозного фильма вроде «Праздника святого Йоргена».

Стоит перед глазами во всей своей художественной откровенности этот праздничный кортеж, тянущийся по стадиону им. Кирова, ползущий из Ленинграда в Санкт-Петербург, демонстрируя широкий вкус и знакомство с тотализатором тех, кто уже выиграл, поставив в свое время на Маркса и Ленина, и выигрывает снова, поставив на этот раз на Христа и Маммону.

А может быть, это жизнь специально делает «пробы на боль», проверяет, живы мы или понемножку обращаемся в неживую, бесчувственную материю.

Омертвелая ткань нечувствительна к боли. И к пошлости.

ЛЕНИНГРАДЕЦ В «ГАЗПРОМЕ»

Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела...

А. Блок, «Возмездие».

«Газпром» — это я!

Перестав быть собственником собственных денег благодаря назревшей исторически, продуманной и тщательно обоснованной экономической реформе, я стал собственником в а у ч е р а, который сделал меня собственником части собственности Российской Федерации, принадлежащей мне по праву рождения. Государственный вексель делал меня вместо какого-то там мифического социалистического собственника («И все вокруг мое!») собственником реально-капиталистическим, частным собственником, которому из всех общечеловеческих ценностей дали самую главную — частную собственность! Хотя тут есть некоторый каламбур, идеологический ребус, почему из о б щ ечеловече-

ских ценностей частнособственнические владения считаются самыми существенными, времени задуматься не было. Нужно было искать, куда вложить в а у ч е р.

Освещенный факелами неисчерпаемого Самотлора, гарантированный именем самого товарища в прошлом и господина в нынешнем качестве Черномырдина — авторитетный, прочный «ГАЗПРОМ»! «Вы делаете правильный выбор!» Еще бы, даже очередь отстоял в конторе на Адмиралтейском проспекте, в доме, где сначала жил генерал-губернатор Санкт-Петербурга, а потом Феликс Эдмундович Дзержинский со своими бесстрашными помощниками.

О! в «Газпром» со своим в а у ч е р о м попасть было куда трудней, чем к генерал-губернатору или в ЧК...

Прошло два лета...

Медные трубы молвы возвестили о том, что мои дела идут блестяще, только в минувшем году «Газпром» имел возможность на благотворительные цели потратить двадцать миллиардов рублей!

Но лучше предоставить слово самому «Газпрому»:

— вложение средств в благотворительные проекты, связанные с поддержкой детей и молодежи, для нас принципиально...

— на поддержку молодежи и престижа России рассчитаны наши спортивные благотворительные акции...

— мы являемся генеральными спонсорами сборной России по футболу...

— у нас своя команда автомобилистов, участвующих в соревнованиях по «Формуле-2»...

— мы выделили средства на разработку и постройку яхты, которая потом (не без нашей финансовой помощи) участвовала в европейской регате вокруг Англии...

— расходы на «спортивные» акции составляют почти треть всех средств, направленных на благотворительность...

— мы, кстати, помогаем переизданию Полного академического собрания сочинений А. С. Пушкина в 24-х томах...

— дважды в прошлом году мы помогали Большому театру...

— мы вкладываем деньги в восстановление церквей на Сахалине, в Москве... всего за последние два года мы перевели приходам Вятской, Костромской, Сахалинской, Московской епархий три с половиной миллиарда рублей...

На собственном самолете большая представительная делегация руководства «Газпрома» вылетела в Соединенные Штаты, где пребывание русских предпринимателей было отмечено приемами и встречами, проходившими с истинно русским размахом...

И это далеко не все!

Великодушный, блистательный, бескорыстный, христолюбивый и щедрый «Газпром» вызывает гордость, восхищение и тешит мое тщеславие.

Это как бы и я мчусь под парусами вокруг Англии и занимаю почетное второе место. Это как бы я лечу в Америку на своем самолете и поражаю щедростью и русской широтой не таких уж и бедных американских деловых людей.

Два года я только читал об успехах моего «Газпрома», слушал о них, видел своими глазами по телевизору и даже наяву.

Пришел час, я наконец собрался и обменял расписочку, полученную за сданный в а у ч е р, на полновесные акции. Тут же мне было предложено убедиться в том, что я вовсе не мифический собственник какой-то там туманной социалистической собственности («И все вокруг мое!»). Я собственник реальный, и мое не вокруг да около, а здесь, где яхты, самолеты, футболисты, церкви...

По итогам хозяйственной деятельности «Газпрома» в 1994 году я имел возможность получить в 1996 году на свою акцию — 163 рубля! Прописью — сто шестьдесят три. Уже и денег давно таких нет — «шестьдесят три», надо же, вспомнили!

На фотографии в «Литературной газете» я видел новое сорокаэтажное здание «Газпрома», выстроенное в Москве за сто пятьдесят миллионов долларов, а на фотографии рядом — заместитель председателя правления РАО «Газпром» зажигает символический огонь в символической чаше

«Новые имена» — это символично. И синий огонь...

Да, мы вступили в новую жизнь, к старому возврата нет, тоталитарно-административному грабежу народа, расхищению природных богатств Родины положен предел! Мы стали собственниками, хозяевами, это наши новые имена горят синим огнем в чаше, которую держит в своих крепких руках заместитель председателя правления РАО «Газпром».

Красиво, черт возьми, живет мой «Газпром»! Красиво!

Взяли в а у ч е р ценой в десять тысяч тогдашних рублей и дали в год прибыли чуть больше полутора процентов! И как же при таком бездарном хозяйствовании, как при такой удручающей арифметике — футбол, «Формула-2», три миллиарда на колокольный звон?

Или у них две арифметики?

Недаром, ох, недаром г-н Чубайс, бывший вице-премьер, не уставал говорить и по телевизору, и без телевизора: «Мы создали рынок ценных бумаг. Главное теперь — доверие!» Теперь выяснилось, что доверчивых попросту обобрали, и не какие-то сомнительные, но разрекламированные государственным телевидением финансовые шайки. Вот уже создаются общества обобранных и обманутых, вот уже президент обещает доверившимся рынку ценных бумаг вернуть то, что у них выманили. Вернуть из каких средств, не говорится.

О! президент выгнал Чубайса. Чубайс плохой. Президент хороший. Но Чубайсу почему-то банкиры, «очень состоятельные люди», как он сам сказал, предложили быть посредником в финансовой поддержке Ельцина на предстоящих президентских выборах. И «выгнанный» согласился. И не слышно было, чтобы Ельцин от этой «помощи» отказался.

Дорого заплатил Чубайс, чтобы вернуть доверие.

Дорого заплатили «очень состоятельные люди», чтобы посадить одесную президента верного человека!

Все это происходит на наших глазах.

Из окна поезда, несущегося из Ленинграда в Санкт-Петербург, все это очень хорошо видно.

Под стук колес хорошо думается: «Обманули дурака на четыре кулака... обманули дурака на четыре кулака...»

«Газпром» думает обо мне, думает, что я дурак, я думаю о «Газпроме», думаю, что это и есть «реформа», желанное коллективное дитя Гайдара, Чубайса, Черномырдина, Ельцина.

Однажды слышал, как уличенный в неверности муж кричал своей жене: не верь своим глазам, верь моей совести!..

Не верю своим глазам.

Лучше почитать про царя-реформатора. Вот уж кто радел за народное благо, бескорыстный, в стоптанных башмаках, с дырами на чулках, это рядом только в бархате, осыпанный алмазными звездами стяжатель и казнокрад Александр Данилович Меншиков. Да почему ж царь его терпит, если репутация Меншикова всем известна: «...что относится до почестей и до наживы, является ненасытнейшим из существ, когда-либо рожденных женщиной». Обирает всех вокруг князь нещадно. Обобранные идут к царю. Царь гневается, ох как гневается, все это видят, а гнев царя страшен. А дальше? Палкой царь князя бил, это известно, а вот чтобы Меншиков взятки по царскому указу возвращал, что-то не слышали. Украл, например, Меншиков у Розенбуска Олонецкие заводы, два, чугунный и медный. Розенбуск долго ходил, искал правды и умер в бедности, а Меншиков государем был и защищен, и поощрен.

Россия такая разная, а они — возродим да возродим!

Странные они какие-то, эти «виновники наших благополучий и радостей, воскрешающие аки от мертвых Россию», если воспользоваться словами сподвижника Петра Первого, сладкоустого Феофана Прокоповича, из его поминальной по царю речи.

Какую же Россию нынче возрождают?

Хотелось бы знать: это по закону на в а у ч е р две буханки хлеба в год полагается или потому, что закон еще для «Газпрома» не написан и писать его «возрождающие», воскрешающие «аки из мертвых», не спешат?

И еще вопрос: можно ли уйти от решения проблемы «богатство и мораль» в современных условиях и что делать с опытом, человечеством в решении этого вопроса накопленным?

«Господин Председатель Верховного Совета Российской Федерации, — спрашивает за четыре дня до первых президентских выборов итальянский телерепортер у кандидата в президенты, — не помешает ли православие с его проповедью аскетизма построить общество рыночного потребления?»

«Ну-у-у... это, конечно, понимаешь... сложность! Но мы ее преодолеем!» — не полез за словом в карман кандидат в президенты.

Что значит преодолеем? Евангелие перепишем?

Но Евангелие не Конституция, его под президентов не переписывают.

Как хочется обручить Христа с Маммоной, но даже сегодняшние церковники, получая из рук домашних «рокфеллеров» щедрый подарок — макет в натуральную величину храма Христа Спасителя в Москве, дарителям благодарны, но принципами не поступаются: «Рыночную борьбу, даже если это самый эффективный экономический механизм, нельзя наделять чертами нравственного, и тем более евангельского, идеала».

Так что ж — опять за бедность?!

На этот вопрос ответ прозвучал тысячу лет назад: «Многие осуждают меня за то, что я нападаю на богачей, но зачем они несправедливы к бедным? Обвиняю не богача, а хищника. Ты богат? Не мешаю тебе. Но ты грабитель? Осуждаю тебя. И богачи, и бедняки — равно мои дети».

Не с богатыми воюет Иоанн Златоуст и не с богатством и не ратует за бедность. Тысячу лет назад, так же как и сегодня, смешно и негуманно защищать бедность, но еще более негуманно и вовсе уж не смешно защищать хищников и грабителей.

ЭМИГРАЦИЯ НА СЛОВАХ

Путешествие всегда имеет цель: это может быть ссылка, это может быть командировка, это может быть поиск новых путей, земель, удовольствий, впечатлений и рынков сбыта. Путешествия бывают познавательные, развлекательные, воспитательные, завоевательные, коммерческие и сентиментальные.

Все путешествия делятся на три основные категории: добровольные, вынужденные и нечаянные.

К какому же разряду следует отнести путешествие, в котором вчерашние ленинградцы потянулись в Санкт-Петербург?

Лучше всего спросить у тех, кто путешествие завершил и благополучно прибыл к назначенной цели, у Якова Гордина, например. Эмиграция, на его взгляд, — это прежде всего перемещение в иной контекст, что более важно, чем перемещение в пространстве.

Очень убедительная точка зрения, на основании которой и путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург необходимо квалифицировать именно как эмиграцию.

Этим землям уже случалось перемещаться в «иной контекст», что чаще всего знаменовалось бурными переименованиями.

Чрезвычайно важную роль переименований в воздействии на сознание понимали основатели религий, не зря же при крещении, знаменующем второе, духовное, рождение, новообращенных наделяли новыми именами.

Особый язык как средство создания нового контекста широко используется в самых различных областях человеческой деятельности, формируя прежде всего новую этическую среду, освобождая от традиционных обязательств и понуждая к освоению новых. И если бы не этот моральный аспект, если бы не эта борьба за души, то можно было бы и на сегодняшнюю истерию переименований и «обновления» языка смотреть как на обычную для чиновников страсть к наглядной деятельности, то есть пускание пыли в глаза.

Почему преступники пользуются своим особым словарем?

Для конспирации? Но феня как раз не скрывает, а выдает уголовника. Значит, для узнавания «своих»? Это скорее. Воровская феня устойчива и консервативна едва ли не больше, чем язык политиков.

Слово в национальном, природном языке несет не только житейский, обозначающий смысл, но и фиксирует нравственный опыт народа.

Убийца. Насильник. Грабитель. Бандит. Мошенник.

Это не просто обозначения лиц и характера деятельности — это и оценка, и приговор. Вот почему в воровском словаре сотня синонимов у слова «убий-

ца». А сколько синонимов у слов «убить», «украсть», «обмануть», «вор», «проститутка». Эти синонимы выводят преступную братию из традиционного для нашего народа морального контекста, освобождают от моральной оценки.

Почему с такой настойчивостью нам предлагают именовать наемных убийц киллерами? Мода? Разумеется, и мода тоже, но мода на бесстыдство, на цинизм, на приручение к новой морали: «во всем цивилизованном мире убивают». В заграничном словечке нет оценки, оно стоит как бы в одном ряду с такими нейтральными, не несущими в себе моральной окраски словами — «дилер», «колер», это вроде бы как служебная терминология: вахтер, маляр, столяр...

Зачем же называть человека «шулер»? Он — «исполнитель», в крайнем случае — «шлепер».

Деньги красть, отнимать, подделывать нехорошо, а «обломать кусок», «дернуть хрусты», «сделать ламу» — то ли игра, то ли работа. И кража не кража, и вор не вор — он «кинт» или вовсе «ракло», а если солидный ворюга, то даже «фледер», чуть грубоватый — то «черпун», а то и вовсе добродушный «чувайка».

Перемещение в новый контекст, в эмиграцию, начинается прежде всего с погружения в новый словарь, с этого и начинается «переоценка ценностей». Так было при Петре Великом, так было при «великом Ленине», то же самое происходит и при первом президенте свободной России Б. Н. Ельцине.

Реформы «Ельцина — Гайдара — Чубайса», объявленные величайшим завоеванием народа и священной ценностью, сделали непродуктивную, то есть не направленную на производство материальных ценностей, деятельность сверхприбыльной. Как бы вторичная, лежащая в сфере распределения, деятельность стала основой баснословного обогащения тех, кто благодарен реформаторам за отсутствие — да еще какое длительное! — правовой и законодательной базы «реформ», законов о налогах, о прибыли, о подаче деклараций о доходах и т. д.

Но где слова «перекупщик», «барышник», «спекулянт», «купец», «лавочник»? Практика, именовавшаяся скромным и невыразительным словечком «сбыт», выступает сегодня в заграничном обличье — «маркетинг»! Скромная деятельность под названием «прокат» именуется чуть загадочным и соблазнительным «лизинг».

Пока-то люди поймут, что такое «мэр», с чем к нему можно идти, за что он отвечает, а куда и носа совать не должен, два-три срока «мэр» может жить и валять дурака, предаваясь занятиям городского мажордома — презентациям, апробациям, аккредитациям, эксгумациям — как основному виду работы.

Это очень удобно — поставить жителей своей страны, своего города в положение эмигрантов, глазающих на непонятные вывески, слышащих непривычную речь, не знающих, как что спросить, как что назвать. Мэрии, префектуры, муниципалитеты, киллеры, дилеры, рэкетеры — это все те же «ландрей-мейстеры» и «киршпильфохты», помогающие держать население в положении баранов перед новыми воротами. Это пыльный мешок, в котором в первую очередь заинтересованы те, кто не хочет, а может быть, и опасается, чтобы его деятельность называлась просто и внятно на языке, вобравшем в себя опыт нации, в том числе и нравственный.

Да, Петр Первый и здесь был первый и превзошел своих сукцессоров.

И сегодняшней санкт-петербургский эмигрант пока-то поймет, что к чему, пока-то увидит, что стоит за новыми вывесками и словечками, этой его временной растерянности, ослабляющей в силу дезориентированности гражданскую энергию, достаточно, чтобы ловкие ребята сделали свои дела, а он, баран, пусть стоит и чешет в своем затылке и постигает разницу между префектурой и мэрией, глядишь, и не заметит, что уже острижен!

Бесконечное манипулирование словечком «демократия» также повергает в недоумение и заставляет задаться простодушным вопросом: а есть ли разница между демократией и народовластием?

Есть! есть!! есть!!! — скажут пропагандисты и агитаторы, умеющие убедительно доказать, что в демократическом обществе большинство населения

можно и нужно надувать, ставить на грань нищеты, загонять за грань вымирания... Демократия, надо думать, — вещь замечательная, если это народовластие, а не какой-то политический самогон, смесь анархии и номенклатурно-мафиозного мародерства, которое драпируется в чужое платье, то бишь лепит краденые этикетки на самодельный товар.

Иногда кажется, что при Самозванце больше было демократии...

Бояре в Думе так прямо и говорили Самозванцу, которого, в сущности, никто за сына Ивана Грозного и не считал, но, как говорил вслух Басманов, «лучшего царя сегодня нет», — вот этот «лучший» и выслушивал, когда его сильно заносило: «Великий князь, царь, государь всея Руси, ты солгал!»

Перед приездом семейства Мнишек думные бояре вовсе запретили Лжедмитрию говорить публично: «Ну как же говорить тебе, государь, царь и великий князь всея Руси, когда ты солжешь!»

Как хорошо, когда вещи называют своими именами и на всем понятном языке.

ЭМИГРАЦИЯ НА ДЕЛЕ

Эмиграция в пределах собственного государства в истории нашего причудливого отечества и его затейливых правителей, ни в каких средствах, в силу обширнейшей территории и многочисленности населения, не стеснявшихся, — дело почти обыкновенное.

Посмотрим в словарик, кто такой эмигрант.

«Эмигрант — это лицо, покинувшее свое отечество».

Все ясно.

У отечества было лицо, и лицо его покинуло.

Не ловлю на слове, это слово меня ловит.

Слово — самое удивительное произведение искусства, продукт коллективного опыта, страданий, заблуждений, поиска, творчества, оно чаще всего бывает умнее, прозорливее нас, пользующихся без почтительного внимания этими плодами человеческого прозрения.

«...лицо, покинувшее отечество»!

Двусмысленность этого словарного определения замечательно передает двойной драматизм, драматизм «в квадрате», эмигрантской коллизии. Здесь двое пострадавших — «лицо», потому что оно покинуло, и «отечество», потому что оно потеряло «лицо».

Каждый человек — это лицо отечества. Не всё в этом «лице», то есть не все, это «лицо» составляющие, привлекательны и хороши, и бегство в эмиграцию террориста или «вора в законе» изменит чуть-чуть лик отечества, но, скорее всего, не в худшую сторону.

И выезд, отъезд — это отчасти как бы момент формальный. Вот исчез с экрана телевизора Александр Солженицын — после неудачной попытки «приручить» такого полезного и очень своевременного писателя, и снова, на этот раз не выезжая никуда, Солженицын стал «лицом, покинувшим свое отечество».

Как многообразны способы выдворения в эмиграцию.

Нас выталкивают из этой жизни. Кого нас? Тех, кто составляет статистическое большинство, то самое, о котором писал Чехов: «протестует одна только немая статистика».

Только не надо приписывать нам ностальгию по минувшим временам; памятно чувство неполноценности, второсортности, которое должен был испытывать человек без партбилета, не сделавший карьеру смыслом жизни. Мы — ленинградцы... Почему же и тогда, и сейчас в моем доме хозяин не я?

Поскольку национальность «ленинградец» придумал Сергей Довлатов, испытавший на себе, что такое эмиграция во всех ее видах, в том числе и классическом, есть смысл воспользоваться его опытом для прояснения нашей ситуации.

Вот что писал наш земляк и сверстник в своей нью-йоркской газете «Новый американец»: «Мы живем в Америке. Благодарны этой стране. Чтим ее законы. И, если понадобится, будем воевать за американскую демократию».

Ну что ж, американская демократия так или иначе избавила Довлатова от знакомства с советской тюремно-лагерной системой в качестве заключенного.

Его чувство благодарности понятно. Но и для вынужденного эмигранта одним чувством благодарности ситуация не исчерпывается.

После первого чувства облегчения: «Я — жив и на воле», — наступает ощущение уже иного рубежа, за который не переместиться: «У американца не поймешь, хороший ли он человек. И даже — умный ли». И это задача для проницательного и остроумнейшего писателя! А дальше признание в том, что эмигрант не защищен ни в бытовом, ни в юридическом, ни в социальном, ни в культурном плане. Но это же и наша ситуация, сегодняшняя, домашняя. Глядя на тех, от кого сегодня зависит моя жизнь и жизнь большинства населения, я перестал понимать, хороший ли это человек или нет и даже — умный ли?

И вот последнее признание в ряду пережитых чувств эмигранта — это уже не для газеты, это Довлатов пишет друзьям: «Бич эмиграции — приниженность, неполноценность и холуйство».

Неужели для того, чтобы в этом убедиться, сегодня надо ехать куда-нибудь далеко-далеко?

ЛЕГКОЕ ДОРОЖНОЕ ЧТЕНИЕ

В дорогу принято брать с собой что-нибудь почитать — именно так называется чтение в дороге, где можно попить чайку, поболтать с соседом, поглазеть в окошко — и почитать...

В дорогу, как правило, берут что-нибудь полегче, будто серьезное чтение может утяжелить багаж и осложнить само путешествие.

«Легкое» чтение выбрать самому очень трудно, здесь нет надежных путеводителей, какими располагает настоящая литература. Приходится довериться случаю, обстоятельствам чисто внешним: небольшая цена, привлекательная обложка, удобный формат, небольшой вес и т. д.

Вот таким дорожным чтением для меня стала книга, которой еще совсем недавно были завалены все прилавки, киоски и книжные магазины. Только у нас в стране она выдержала несчетное число изданий. Помню, как она вышла в мягком бумажном переплете, с портретом автора на обложке, в издательстве «Советский писатель» в Ленинграде, в серии «Новинки года». Стоила она три рубля. Книжка самим заголовком обещала высшую степень откровенности и откровенностью приманивала. Ну что ж, откровенность за откровенность: три рубля были тогда еще деньгами, и три рубля за брошюрку в мягкой обложке было жалко. С другой стороны, три рубля — деньги не такие уж и большие, чтобы трястись над ними всю жизнь. Рассудил так: спрошу кого-нибудь, кто эту книжку прочтет, спрошу откровенно: «Ну как?» — и после этого уже без риска облегчу кошелек на трешку.

С тех пор прошло пять лет, кого из своих знакомых, друзей, коллег ни спрашивал: «Ну как?» — все до единого отвечали, что книгу эту видели, но не читали, за автора голосовали: одни — считая его спасителем отечества, другие — видя в нем наименьшее зло из всех обступивших, но книгу не читали.

Подоспел случай. Грустный случай, печальный. Один из моих давних знакомых, учитель, партработник, журналист в последней своей профессии, сошел с поезда, не доехав до Санкт-Петербурга. В изрядной его библиотеке собралось множество книг, в основном так или иначе знакомых, а вот и эта, с портретом президента на глянцевой суперобложке, в твердом переплете, изданная «Независимым московским издательством при Центральном доме литераторов», на великолепной бумаге, с художественными шмуцтитулами, форзацами — и всего-то за три рубля пятьдесят копеек. Умел приятель покупать книги!

Тут же нашел и знакомого, который эту книгу читал!

В книжку были вложены вырезки из газет, посвященные автору, в том числе и огромная статья из «Литературной газеты», написанная уважаемым мною земляком, знаменитым писателем, входившим в Президентские советы. Статья называлась:

«ЧИТАЯ ЕЛЬЦИНА»

Вот наконец я нашел человека, которому доверяю, к слову которого отношусь с искренним уважением. Статья очень большая, поэтому в нетерпении —

пять лет искал человека, читавшего эту книгу! — сразу бросился к последнему абзацу, откуда обычно бывает видно, надо читать то, что читал автор статьи, или достаточно познакомиться со статьей поподробнее.

Читаю: «...мне кажется, что подобные книги обладают магическим свойством — они заставляют героя быть таким, каким он изобразил себя». Вот это да! Эта фраза вызвала восхищение и остановила дыхание. Если книга должна заставить героя стать таким, каким он себя изобразил, значит, изображение и реальность не совпадают?! Ничего себе «Исповедь...». Так вот почему эта книга «вызвала массовый жадный интерес». Попробовал бы рецензент «Малой земли» или «Возрождения» намекнуть на то, что изображенный герой и реальный — не одно и то же и что совпасть они могут только в том случае, если автор прочтет написанную им книгу и под ее магическим воздействием постарается взять ее героя себе в пример! Вот они новые времена! Вот она, подлинная демократия, гласность, плюрализм и основы правового государства! А как тонко сказано, едва-едва видна знаменитая усмешка автора.

Нет, такие книги надо читать, читать немедленно. Не помнится, чтобы Руссо, Толстому или Оскару Уайльду давали совет быть похожими на нарисованные ими автопортреты, эта «Исповедь...» особая.

Надо думать, помня слова Чехова о том, что интеллигентные люди не лезут к другим с откровенностями, когда их об этом не просят, автор сразу предупреждает, что «исповедаться» его просили, вот уже два года, два крупных издательства. Это объясняет и вторую половину заголовка, отчасти напоминающую школьное сочинение, — «...на заданную тему».

Можно было бы предположить, что школьные сочинения были последними литературными упражнениями автора, но это не так.

В свое время пострадавшая от пожара ленинградская Библиотека Академии наук раздавала всем желающим мокрые книги на дом для просушки. Мне достались тогда два увесистых тома дореволюционного «Морского сборника», учебник русского языка на литовском языке, пара книг, не оставивших в памяти названий, и книга Б. Ельцина «Средний Урал. Рубежи созидания», выпущенная свердловским издательством очень скромным тиражом. Сочинение, помнится, не увлекло, хотя впервые тогда держал в руках книгу, надо думать, не по заданию написанную, о том, как надо поднимать партийные ячейки и трудовые коллективы в целом на решение государственных задач и претворение в жизнь исторических решений партии. Нормальная книжка, из тех, что пишутся за секретарей обкома мечтающими о повышении сотрудниками отдела пропаганды и агитации. После знаменитой трилогии Леонида Ильича Брежнева на литературное творчество в высших партийных кругах пошла мода... Можно предположить, что в партийной карьере автора первая книжка сыграла куда более существенную роль, чем в судьбе президента вторая.

Итак, вода, попавшая в книгу при тушении пожара, была высушена, все странички уютно разглажены, и вместе с другими спасенными раритетами книга секретаря Свердловского обкома партии заняла свое место в Библиотеке Академии наук.

И вот новый шаг в литературе.

Открывается книга предуведомлением «От автора», сообщаящим о домогательствах издательств, предшествовавших началу работы, и дальше слова благодарности молодому и талантливому журналисту Валентину Юмашеву и от души, по-дружески помогавшим Валентине Ланцовой, Льву Суханову, Татьяне Пушкиной и Лидии Алексеевне Мурановой, «которая с помощью тенниса помогала мне постоянно держать хорошую форму».

Для того чтобы читатель мог по достоинству оценить работу помощников, их литературный вклад, в первой же главе приводится письмо на имя Горбачева с просьбой об освобождении от обязанностей первого секретаря МК КПСС и кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, написанное самостоятельно. Да, разница чувствуется. Одновременно отпадают подозрения в том, что непрерывные похвалы себе, исповедующемуся, не помощники приписали. В письме Генеральному секретарю первый секретарь МК признается прямо, что работает «самоотверженно, принципиально, коллегиально и по-товарищески». А вот руководители высокого уровня этого не оценили. Напротив: «От человеческого отношения, поддержки, особенно от некоторых из состава Политбюро и

секретарей ЦК, наметился переход к равнодушию к московским делам и холодному ко мне». Особенно несправедлив к самоотверженному и принципиальному работнику т. Лигачев Е. К., у которого самого-то «Нет системы и культуры в работе», а «в отношении меня, после июньского Пленума ЦК и с учетом Политбюро 10/IX, нападки с его стороны я не могу не назвать иначе, как скоординированная травля». И автор восстал, взбунтовался.

Каждой главе предшествует эпиграф, взятый из записок москвичей, адресованных автору во время встреч, митингов, собраний.

Рассказу о детстве, отрочестве и юности предшествует записка: «Когда началось Ваше становление бунтаря?»

Становление бунтаря началось практически с крещения, когда пьяный поп погрузил автора в бадью «с некоей святой жидкостью, то есть с водой и какими-то приправами», «а вынуть забыл, давай о чем-то с публикой рассуждать и спорить...». «...мама крича подскочила и поймала меня где-то на дне, вытащила. Откачали... Не хочу сказать, что после этого у меня сложилось какое-то определенное отношение к религии, конечно же, нет». Странное заявление. Какое отношение к религии имеет пьяный поп? Примерно такое же, как пьяный секретарь горкома к марксизму. Тут, казалось бы, можно было выработать определенное отношение не к религии, а к пьянке.

Почувствовав, что в воде он не тонет, автор сам стал искать смертельной опасности. Перебежать по сплавляемым бревнам через речку Зырянку можно было только с риском для жизни — «чуть не рассчитал — и бултых в ледяную воду, а сверху бревна, они не пускают голову над водой поднять, пока сквозь них продерешься, воздух глотнешь, уже и не веришь, что спасешься». Что же делал спасшийся с уцелевшей жизнью?

«Еще у нас бои проходили — район на район: с палками, дубинками, с кулаками, человек по 60, 100 дралось. Я всегда (! — воскл. знак мой. — М. К.) участвовал в этих боях... У меня переносица до сих пор, как у боксера, оглоблей саданули. Упал, думал, конец, все потемнело в глазах. Но ничего, все-таки очухался... Скорее это было спортивное состязание, но на очень жестоких условиях».

Та-а-ак... Начало занимательное: в воде не тонет, оглоблей по лицу — «спортивное состязание»... Это уже что-то эпическое, из жития богатырей! Ну а если взрывчаткой?! В становление бунтаря на Руси обязательно должно входить испытание взрывчаткой.

И это прошел.

«А с потерей двух пальцев случилась вот такая история...

Я взялся проникнуть в церковь (там находился склад военных). Ночью пролез через три полосы колючей проволоки и, пока часовой находился на другой стороне, пропилил решетку в окне, забрался внутрь, взял две гранаты РГД-33 с запалами и, к счастью, благополучно (часовой стрелял бы без предупреждения) выбрался обратно». Мы тоже имели дело в свое время и с гранатами, и с запалами, но, хотя были помоложе, все-таки до такой дикости не доходили; положить гранату на камень и бить по ней молотком — почему-то для этого занятия надо было уехать еще за шестьдесят километров в лес. «А вот запал не вынул, не знал. Взрыв... и пальцев нет». Автор знал, что битье молотком по гранате сопряжено с каким-то риском, поэтому и уехали за шестьдесят километров, а приятелей попросил во время стуканья молотком отойти на сто метров. Загадочный эпизод. Если «запал не вынул», значит, запал в гранате, стало быть, взорвалась граната? От другого человека, будь из другого материала создан, только бы мокрое место осталось, а тут всего два пальца. Чудо, да и только!

Путешествие по тайге после девятого класса кончилось тем, что заблудились, неделю бродили без еды, напились дурной воды из болота и у всех начался брюшной тиф. «Температура — сорок с лишним, у меня тоже, но я на правах, так сказать, организатора, держусь...», «Они потеряли сознание, а скоро и я стал впадать в беспамятство... Уже месяц, как занятия в школе начались, и, конечно, все разыскивали нас».

А потом за полгода осилен курс всего десятого класса, что другим путешественникам оказалось не по плечу, богатырская сдача экзаменов на аттестат зрелости, две четверки, остальные пятерки, удачное поступление в институт

после того, как в порядке подготовки к экзаменам своими руками выстроил баньку.

Семидесятилетний дед, «внушительный старик, с бородищей, с самобытным умом», сказал внуку: построишь своими руками баньку, «небольшую, во дворе, с предбанничком», тогда пушу поступать в Уральский политехнический институт на строительный факультет.

Поразительно самобытный ум у деда!

«Хоть и не готовился я специально, из-за того, что эту самую баньку строил, поступил сравнительно легко — две четверки, остальные пятерки».

И снова — жизнь на карту! Теперь уже на игральную.

Во время каникул, путешествуя по стране, «в основном, на крыше вагона, иногда в тамбуре, иногда на подножке, иногда на грузовике», на крыше одного из вагонов будущий президент встретился с амнистированными урками. Недавние заключенные пристали к студенту с требованием сыграть в «буру», тут же объяснив ему правила. Сыграли на одежду. «И очень скоро они меня раздели до трусов. Все выиграли. А в конце они говорят: „Играем на твою жизнь. Если ты сейчас проигрываешь, то мы тебя на ходу скидываем с крыши вагона — и все, и привет“». И представьте себе, и здесь будущий президент победил, взял верх в «буру», и жизнь отыграл, и одежду, все, кроме часов.

Где-то около тридцатой страницы «становление бунтаря» как бы завершилось, и на остальных ста пятидесяти страницах рассказана его захватывающая жизнь.

Книги в становлении бунтаря, похоже, не участвовали, во всяком случае, не упоминаются, но очень много о спорте. «Меня сразу пленил волейбол, и я готов был играть целыми днями напролет... Одновременно занимался и лыжами, и гимнастикой, и легкой атлетикой, десятиборьем, боксом, борьбой, хотелось все охватить, абсолютно все уметь делать».

Впрочем, имена четырех сочинителей на «Исповеди...» помянуты: Маркс, Энгельс, Ленин и... Кант! Кантом утерт нос Горбачеву: «К сожалению, концепция перестройки оказалась непродуманной. В большей степени она выглядела как набор новых звучных лозунгов и призывов. Хотя слова эти на самом деле совсем не новые, они встречаются и у Канта: и перестройка, и гласность, и ускорение...»

А вот у Гегеля встречаются такие слова: «Болтовня обладает тем важным преимуществом, что она невинна».

Очень откровенная книга, даже более откровенная, чем предполагали те, кто ее писал, и те, кто писать помогал.

На форзаце книги миловидная молодая женщина, интеллигентного обличья, рядом плакат: «КТО, ЕСЛИ НЕ ЕЛЬЦИН». Она, по-видимому, не читала «Исповеди на заданную тему», поэтому улыбается.

Жизнь — удивительное художественное произведение! Как много общего между мальчиком, бегущим по вертким бревнам через весеннюю реку, и президентом, устремившимся к новым берегам. Недаром говорят: характер — это судьба. А сколько их, пустившихся вслед за вождем, — «бултых в ледяную воду, а сверху бревна, а они не пускают голову над водой поднять, пока сквозь них продерешься...» — вот и Гайдар отстал, вот и Старовойтова не у дел, куда-то пропал политический стратег Бурбулис, и от услуг экономического стратега Чубайса было отказались... Но эти выплывут, хоть и приотстали. Хуже другое: за последние пять лет население Санкт-Петербурга сократилось на двести тысяч человек...

ПЕТР ВЕЛИКИЙ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРОБУКСОВЫВАЮЩИХ РЕФОРМ

Заслуги Петра Великого в строительстве военно-полицейско-бюрократического государства известны и неоспоримы.

Царствование Петра Первого и торжество его наследников на протяжении трехсот лет показывают: с чего бы ни началось духовное разорение — то есть отказ от нравственной самодисциплины и самоограничения, признания главенства высших принципов и равенства всех людей перед ними, — в нутри себя духовное разорение не имеет основания остановиться.

Приходится изумляться универсальности законов природы.

Поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на него не действуют другие тела и другая сила. Казалось, первый закон Ньютона касается только инерции физических тел, но он описывает и такое явление, как духовный распад.

Радищев писал: «...свободы... ожидать должно от силы тяжести порабощения».

Опять Ньютон. На каждое действие есть равное ему по силе противодействие, противоположно направленное. Случайность? Не знаю.

Литература XVIII века, и одурманенная и спеленутая властью, подключилась к кровеносной системе европейского гуманизма и стала вырабатывать, произвольно и бессознательно, противоядие против петровских реформ.

Реформы сами по себе были насущны, необходимы, весь их спектр был отчетливо обозначен уже в правление Алексея Михайловича, тогда же был дан пример и направление возможного реформирования — начиная с правовой и законодательной системы. Как повел реформы Петр Первый, известно, известны и те средства, которыми осуществлялись реформы, которые и порождали тот отравляющий побочный продукт, в значительной мере сводивший на нет все положительное, что давали преобразования. Российская литература не состояла в оппозиции Петру Великому, более того, она в поте лица творила его культ, но как сфера духовная, как сфера органически свободная, она противостояла, не могла в конечном счете не противостоять деспотии. На смену рабской преданности приходил гражданский патриотизм. Реформаторство было свойственно, кажется, всем буквально наследникам русского престола после Петра Первого, только вот Иван Шестой не успел пореформировать, но не по своей вине.

Петр Третий за проблесковое свое правление успел прекратить бессмысленную для России войну с Пруссией, предполагая пересмотреть европейскую политику. Кому и куда мостили дорогу тела русских солдат в течение семи лет? Он, к ужасу историков, ввел немецкие порядки в армии, но то же самое было поставлено Петру Великому в заслугу. Он учредил Государственный банк, но это предпочитают не помнить. Любил играть в солдатики? Но это же лучше, чем бить по настоящей гранате с запалом молотком.

Екатерина Великая, похитившая законную власть у мужа и сына, была переполнена идеями просветительных реформ, а реформы не пошли...

И Павел Петрович, которого принято в угоду заговорщикам изображать шутом гороховым, о реформах думал и многое начал...

Реформаторские планы Александра Первого захватывают дух, читать его письма учителю и наставнику Лагарпу нельзя без слез умиления: «Моя бедная родина находится в неопишемом состоянии: земледельцы измучены, торговля стеснена, личная свобода и благосостояние уничтожены...» Радищев не написал бы лучше. Наследник надеялся: «...если когда-нибудь придет мой черед править, будет гораздо лучше... трудиться над тем, чтобы сделать свою страну свободной и предохранить ее от того, чтобы она стала игрушкой в руках безумцев».

Пока не пришел черед править, они все хотят лучшего, а как черед придет, то уже новые заботы отвлекают.

К мартирологу русских реформаторов можно уже прибавить и Горбачева. Если Александр Второй был убит, когда ехал подписывать Конституцию, то Горбачев был низвергнут, убит политически как Президент накануне подписания нового Союзного договора, после публичного, столь памятного всем заявления Президента России: «Союзу быть!» — в совместном с Президентом СССР телеинтервью 19 ноября 1991 года.

Реформы «не идут» в двух случаях: если реформаторы стараются быть похожими на Петра Первого, то есть всех и вся крутят в бараний рог, или если у них не хватает силы походить на Петра Великого.

Александр Первый, например, признавался в конце своего царствования, оправдываясь в отступлении от реформ: «Петр Великий имел довольно увесистый кулак, чтобы не бояться своих подданных».

Не было увесистого кулака ни у Александра Первого, ни у Александра Второго, ни у Горбачева, Михаила Сергеевича, вот их реформы и захлебну-

лись, а эти, с увесистыми кулаками, начинают обычно за здоровье, а кончают, как всегда, за упокой.

Почему же реформы не удались?

Скорее всего потому, что начиная с Петра Первого наши реформы имеют подражательный характер, всякий раз недостаточно учитывают свои «бытовые, национальные, современные особенности», а без их знания, без внимания к ним утрачиваются критерии понимания хода жизни.

Вот уже триста лет потомки отдают должное Петру Великому — и все еще чувствуют себя должниками.

Лучше всех чувство благодарности высказал скупой на похвалу Виссарион Григорьевич Белинский: «Имя Петра Великого должно быть нравственной точкою, в которой должны сосредоточиться все чувства, все убеждения, все надежды, гордость, благоговение и обожание всех русских: Петр Великий — не только творец бывшего и настоящего величия России, но и навсегда останется путеводною звездой русского народа, благодаря которой Россия будет всегда идти своею настоящею дорогою к высокой цели нравственного и политического совершенства».

К этому надо еще добавить существенное наблюдение великого критика над органичностью петровских преобразований для нашей земли, откликнувшейся богатым урожаем на его посев: «В том-то, скажем мимоходом, и состояла органическая жизненность преобразований Петра Великого, что оно породило много и такого, о чем он, может быть, и не думал, чего он даже и не предчувствовал».

Колхозы, спецпереселенцы, приватизация «по Чубайсу»... многое не мог предчувствовать и предвидеть великий реформатор.

Даже «гонка вооружения» и та началась с Петра Великого. После его смерти Россия располагала самым большим артиллерийским парком в мире — шестнадцать тысяч орудий! Это по одной пушке на десять человек численного! состава армии.

А что такое столь решительно и размахисто организованные петровские «кумпанства»?

По методам организации и целям эти важнейшие государственные мероприятия напоминают практику «колхозного строительства», блестяще проведенную теми, кто руководствовался в своей деятельности «путеводною звездой русского народа».

Торговые компании и дома в Европе возникали естественно, инициативой снизу, собственно, как и у нас в свое время во Пскове и Новгороде, и служили прежде всего к выгоде гильдии, к выгоде компаньонов. Петру же Великому, заинтересованному в оживлении торгово-промышленной жизни, быстро стало ясно, что как раз компании легче обирать, контролировать, подчинять их деятельность своим интересам.

«Колхозы» для негоциантов были прежде всего ячейками государственного хозяйства, а потом уже союзом лиц, соединенных общим интересом. Поэтому и не возникло, и не могло возникнуть, у нас «третьего сословия», потому как всякая само-деятельность жестко контролировалась и ограничивалась. И точно так же как председатель колхоза через двести лет будет государственным чиновником, так же и председатели, главы «кумпанств» обладали властью и привилегиями значительных государственных служащих.

Так кто же пойдет в такое «кумпанство»?

И это предусмотрел Великий Петр: включать купцов, вместе с их капиталом и товаром, в удобные для контроля и поборов артели «буде волею не похотят, хотя в неволю».

Именно Петр Первый заложил основы государственной системы, не способной к саморазвитию.

Петровская тирания, полное забвение интересов и прав личности оставили куда более серьезный след в отечественной истории, нежели его флот, сгнивший при Анне Иоанновне, нежели промышленность и торговля, сразу отданные в хищные лапы государственного регулирования и чиновничьего мародерства.

Промышленности еще кот наплакал, а уже пышно расцвели Берг- и Мануфактур-коллегии, не менее жестко надзиравла за торговым людом Коммерц-коллегия и Главный магистрат. И это только в центре!

Зато небывалый рост промышленности!

Небывалый?

До петровских реформ в России было тридцать мануфактур, к концу царствования Петра Великого их было около ста — это за тридцать лет! Увы, сто, а не двести, как льстиво подсчитывали охотники находить хоть какое-нибудь оправдание зверству и насилию.

А насильственное перемещение сотен тысяч семей — любимый способ решения Петром Первым хозяйственно-экономических задач — привело к разорению множества сильных торговых домов и купеческих семей, разорению городов, бегству жителей.

Вот откуда берет начало история «спецпереселенцев».

По плану 1722 года в г. Санкт-Петербург было доставлено триста двадцать плотников с семьями. Собраны они были по разным городам и уездам.

Нет, интересы отечества требуют более решительного обращения с рабсией — был такой термин в пору социалистического строительства. Искать? По городам и уездам? Может быть, еще уговаривать?!. Петр не был бы Великим, если бы не позаботился об удобстве работы своих сподвижников, занимавшихся оргнабором: повелел привезти в Санкт-Петербург в 1724 году тысячу плотников с семьями — из Архангельска!

Удобно. Быстро. В одном месте. Набрали. Привезли. Поселили.

Сколько сдохло? Сколько разбежалось?

Не государственно мыслите, не гениально, осталось все равно больше — это раз, план по заготовке плотников выполнен — это два. Государственная дисциплина прежде всего! Был при Петре Великом порядок, был!

А что такое объявление Петербурга главным и единственным портом в России!

Это фактическое закрытие уже освоенного и продуктивно действовавшего Архангельска, и опять как следствие — разорение, убытки, утраченные деловые связи, этот неизмеримый капитал торговли. В Петербурге не развита инфраструктура, нет складов, нет надежных дорог, связь с центром России с выходом на Сухону и Волгу, откуда изгнан Архангельск, только-только налаживается. Дополнительные льготы для приманки иноземных и своих купцов снижают поступления в казну, столь необходимые для развития города и порта...

Но зато какие перспективы!

А перспективы очень невеселые. На Балтике, не надо забывать, чувствует еще себя хозяином Швеция с ее отменным флотом — с ним еще выяснять отношения до конца века. Вот и торгуй! Русский-то флот в открытое море выходит пока что боится...

С одной стороны, в жертву «государственному благу» принесены миллионы личных жизней, интересы целых сословий, но с другой — в этой неразберихе и поисках путей вслепую удастся обогатиться, нагреть руки тем, кто меньше всего думает как раз о «государственном благе».

Конечно, Чубайс и Ельцин — величайшие приватизаторы в истории России, но знали ли они, что шли по пути Великого Петра?

При Петре Первом не было среди купечества, среди дворянского сословия людей, располагавших средствами для создания металлургического производства и крупных мануфактур, все они строились на казенный счет. И вот ценой невероятных усилий страна создает промышленность, мануфактурное производство, после чего оно переходит в частные руки.

Если передача Невьянского металлургического завода любимцу царя Никите Демидову в 1702 году была исключением, то в 1720-е годы целый ряд заводов, говоря сегодняшним наречием, «приватизируется».

О мошеннических приемах «приватизации» писал Петру Первому с Урала удивительнейший человек, гордость отечества, Василий Никитич Татищев: он видел перед собой кристальный пример — обласканного царем и уверовавшего в свою неуязвимость Демидова.

Непосредственные руководители предприятий, казенных предприятий, намеренно вели дело так, чтобы изобразить производство убыточным, что и было замечено руководителем казенной горнозаводской промышленности на Урале В. Н. Татищевым. Была попытка подкупа, взятку Василий Никитич не принял, тогда последовал преподлейший демидовский донос, по которому Та-

тищев был отозван Петром Великим с Урала и отдан под следствие. Разобрались, признали правоту Татищева, даже вернули на Урал. Демидов к этому времени, разумеется, «вышел в ударники», увеличил поставку в казну уральского железа и располагал достаточными средствами, чтобы всех, с пониманием относящихся к его «обстоятельствам», ублагоотворить.

Это только неземной Костанжогло у Гоголя начинал свои промышленные предприятия «без греха»...

Можно с астрономической точностью проследить, как та, первая мошенническая, приватизация построенных на казенный счет заводов привела к сращиванию на криминальной основе предпринимателей и государственного управленческого аппарата.

Почему взяточничество, подкуп, коррупция стали неизбежны?

Промышленность работала не на рынок, рынка не было, поскольку не было конкурирующего производства. Работала промышленность на государство, таким образом, государственные поставки, а стало быть, и заказы зависели от чиновника, от аппаратчика, бюрократа.

Промышленник, по сути, завладел государственным предприятием, а чиновник, по сути, завладел государственной властью и лишь делал вид, что власть государева. И понимали они друг друга так же хорошо, как и в наши чудесные времена. На радость царям-реформаторам, секретарям-реформаторам исполняется многоактный балет «РЕФОРМА», представление замечательное тем, что самые главные события в нем происходят за кулисами.

КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Москву противопоставляют Петербургу.

Москва не сразу строилась, а Петербург, дескать, сразу.

Что такое Петербург? Камни, каналы, мосты, набережные, все флаги, белые ночи, оград узор чугунный? Господи, да разве это Петербург? Он — роль, он миссия, он колыбель... Как собрание мостов, каналов, набережных, дворцов, соборов, всего, что создает «неповторимый Петербург», он завершен, значит... кончен?

Он строился для того, чтобы Россия вошла во всемирную семью народов с правом и достоинством... Все правильно, только не надо забывать при этом, что в этой семье, в «европейском доме», нет постоянной прописки. Как вошла, так и вышла. Мы и Париж брали! мы и Берлин два раза брали! ну и что там взяли, с чем вернулись? С «гуманитарной» помощью?

Нет, Петербург, сложившийся противу замысла и чаяния его основателя, — это город, где нация сумела духовно раскрепоститься, где дано было ощутить и пережить с небывалой полнотой сознание внутренней свободы.

Реализм петербургской литературы был ответом нации на отсутствие реализма в политике, в понимании своего народа со стороны правителей, ответ на отсутствие общественных институтов, выражающих состояние общества.

Петербург — это новый человек в России, желанный, долгожданный, выстраданный.

Именно здесь после затянувшегося средневековья распрямилась в полном сознании своего достоинства душа русского человека. Один только Ломоносов — это уже новый тип гражданина, явление на Руси еще не виданное и по достоинству оцененное Пушкиным: «...умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей». Паролем чести русского интеллигента стали слова Ломоносова, адресованные графу И. И. Шувалову, человеку просвещенному, всесильному фавориту императрицы: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу». И сказано это в то время, когда и князя за червонцы подставляли морду для битья и за честь почитали состоять в шутах, как раз в дураках, при высочайших особах.

Новый человек — вот подлинное создание Петербурга.

И строиться и рождаться этому человеку еще долго, и вовсе не потому, что его нет. Здесь не может быть процесс завершенным, как в городском рисунке. Петербург — это дух прежде всего, а дух, в отличие от камней и кана-

лов, не есть нечто остановившееся и оконченное, дух без духовности, то есть вне среды, дух без проявления, без поступка, без противостояния любой мертвечине сам становится мертвой абстракцией.

Дух — как совесть: он есть, когда действует, хотя бы как мысль, как боль, как тяжесть на сердце, у него нет массы покоя. Физика знает такие частички материи, которые способны жить только в движении, только в действии. Дух им сродни!

А много ли их, совестливых?

Достоевский: «Довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать через них покоя».

Россия огромна, а Петербург мал. Петербург огромен, а тех, кто не может пройти мимо чужой боли, не так уж много. Но Петербург — это пробужденная совесть России. Без «петербуржца», без «ленинградца» духовный образ нации имел бы совсем иные черты.

Заплачена большая цена.

Гоголь, болезненно ощутив и пережив чужеродность петербургского уклада жизни, увидев его холодность, высокомерие, с горечью сказал: «Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия».

Этот город был вампиром по отношению к России.

Но живое течение действительности порождает новые условия и новые отношения.

Свой апофеоз, признание своей уникальной исторической миссии Санкт-Петербург пережил в Москве, в дорогой для каждого русского день. На открытии памятника Пушкину Достоевский сказал о том, что «назначение русского человека — есть... всеевропейское и всемирное».

Через болезненное вековое самоотрицание России в Петербурге Петербург наконец стал органической, необходимой ее частью, в которой нация вызрела и осознала себя и свою роль в мировом историческом пространстве.

...Лиговский проспект от Обводного канала до Московского вокзала перерыв уже много лет. Трамвайное движение по нему то открывают, то закрывают в зависимости от сиюминутной строительной ситуации. Как в пору тоталитарно-коммунистического правления, так и с победой демократии к трамвайным пассажирам отношение плевое. Ходит сегодня трамвай или не ходит, пойдет или уже среди дня прошел последний, можно узнать, лишь выстояв полчаса на остановке или услышав информацию от дальнобойного пешехода.

Шагаю от Обводного к Московскому, на трамвайной остановке у Благовещенского собора, напротив Второго управления по борьбе с организованной преступностью, стоят четверо. Рослые. Плечистые. Коротко стриженные. В длинных черных плащах.

— Не ждите, ребята, трамвая не будет!

— А Московский вокзал далеко? — спросил один, румяный, кровь с молоком. Судя по акценту, молоко эстонское.

— Шагайте со мной, по дороге. Пятнадцать минут. Морским ускоренным. — Идем вместе, веду привычно через бетонные строительные выгородки. — Откуда?

— Эстония.

— Славная страна, частенько бывал.

— Больше не будете. Все. — Смеются.

— Вам сюда можно, а нам нельзя?

— У нас паспорт советский, нам все можно. А у вас эстонский никогда не будет. — Смеются.

— К друзьям приехали, по делам?

— Воровать.

— Да вроде все уже украли, что можно.

— Нет, Россия большая, еще много воровать можно, лет десять.

— А если поймают?

— Дадим немножко денег, зелененьких. — Смеются, значит, говорят правду.

— А если я к вам приеду воровать?

— Убьем! — И дружно смеются, значит, не шутят.

— Я жил в Эстонии, эстонцы — честный народ...

— Мы дома честные, а с вами зачем быть честными?

— Если вам воровать, то нам не по дороге... — Это все, что мог выдать, и зашел в первый подвернувшийся магазинчик, чтобы перевести дух.

До Московского вокзала было еще полпути, но ленинградцы народ отзывчивый, обязательно объяснят, как пройти, найти, взять и вывезти.

Вот и конец истории про «убогого чухонца», вернувшегося на низкие, топкие берега в плаще от «Хьюго Босс».

Однажды на пожаре Великий Петр увидел солдата: воспользовавшись суетой, тот позарился на кусок оплавившейся медной крыши. Здесь же на месте он забил хищника собственноручно дубинкой насмерть. А не воруй! Вот и эстонцы говорят: украдешь — убьем.

Нас приучили мыслить широко, по-государственному, вот и кажется, что если наши воруют, то оно как-то не так обидно, все остается в нашем доме, а наш дом — Россия. А вот когда уже посторонние приходят и прямо тебе в глаза говорят: идем воровать... Скверно.

Затухает Санкт-Петербург, очередной раз угасает. Ни каналы, ни шпили, ни рок-концерты на Дворцовой площади не тешат душу.

История — дама альтернативная, может и направо пойти, а может и налево...

В нынешнем Санкт-Петербурге у банка «Эскадо» репутация отменная: он брал у блокадников вклады под 500 процентов годовых и всем все обещанное выплатил. Банк финансирует самую популярную программу на телевидении — «Спокойной ночи, малыши». Банк московский, а петербургское отделение находится на Фонтанке, между Обуховским мостом и Измайловским. На противоположном берегу Фонтанки, прямо напротив банка, усадьба XVIII века, выдвинутая на набережную двумя трехэтажными флигелями, между ними, за ажурной решеткой, обширный внутренний сад, а в глубине главный корпус, где в квартирах уцелели карнизы с модульонами и розетками, сандрики, поддерживаемые лепными кронштейнами, барельефы над дверями... В одной из комнат второго этажа есть мемориальная доска: «Здесь был кабинет Г. Р. Державина». Есть доска и на флигеле, выходящем фасадом на Фонтанку: «Здесь жил Гавриил Романович Державин. Род. 1743 г., сконч. 1816 г.»

В большом зале этого дома проходили заседания «Беседы любителей русского слова», общества, основанного Г. Р. Державиным и А. С. Шишковым. Сюда приходили И. Крылов, Д. Хвостов, А. Шаховской, С. Аксаков...

— Что это за дом на том берегу? — спрашиваю у сотрудников банка «Эскадо». — Станный какой-то...

— А-а, этот? Там кафе, дорогое и невкусное. Мы пару раз сходили — и все.

— А что там раньше было?

— Раньше? Столовая была. И довольно приличная.

— Вроде там доска мемориальная, даже отсюда видно.

— Да, действительно, наверное, жил кто-нибудь из знаменитых.

Хорошо, меня везут в Санкт-Петербург, а они куда едут? Или мы едем в разные стороны?

Этот город был создан для завтрашней России, и он все время опережал Россию, она за ним не поспевала, ни умом, ни шагом, и он отрывался от нее — и 14 декабря, и 1 марта, и 25 октября...

Этот город создан для будущего России — образование, наука, культура, передовые технологии, флот, космос, атомная энергетика...

Был Петербург окном в Европу, был он и воротами в будущее...

Был?

Ответ на этот горький и обширный вопрос зависит от представления о будущем.

А сейчас это — изможденный, усталый, бессильный, не способный даже защитить себя ни от врагов внешних, ни от несметно расплодившихся врагов внутренних.

Сегодня, когда завтрашнего дня для России нет, когда завтрашним днем объявлен день позавчерашний, надобности в Петербурге больше нет. Есть ли он вообще, нет ли его вообще — вопрос исторической географии.

Сегодня этот город смотрит на меня глазами голодных старух, уже есть знакомые.

Она стоит внизу, на станции метро «Выборгская», в закруглении тоннеля подземного вестибюля. Издали ее не видно, она этого и хочет. Ладонь держит у поясицы, но не развернутую, не протянутую, а лодочкой, прижатую к себе, так что деньги приходится почти всовывать. Очень тихо говорит «спасибо». Всегда на одном месте, но не каждый день и только часа по полтора-два.

Не видел, чтобы в метро просили милостыню по вагонам «наши» дети, здесь перекрикивают грохот колес: «Люди добрые!..» — черноглазые беженцы, декоративно чумазые. «Наши» опрятней, скромней, интеллигентней. «Скажите, пожалуйста, который час?» — «С удовольствием. Без четверти шесть». — «Спасибо. Вы не могли бы мне немного добавить на хлеб?» — «Добавить? Сколько же тебе не хватает?» — «Я точно не знаю, но думаю, что-то около восьмисот пятидесяти. Там хлеб разный». Не каждый диктор московского телевидения так свободно справится со склонением числительного. Мальчишке лет двенадцать. Родился при Горбачеве. В школу пошел при Ельцине. По лицу видно, что голодает.

Мы едем в Санкт-Петербург, а его, может быть, уже и нет.

Колыбель флота... Колыбель трех революций... Колыбель демократии...

Но колыбель флота пуста... Нет сил и страсти для новых революций, если даже на выборы идти тошно... В колыбели демократии лежит что-то несуразное и понятию «демократия» пока не отвечающее, поскольку «демосу»-то как раз больше всего и достается, то есть ничего пока не достается, и он тихонечко вымирает...

Колыбель отечественной интеллигенции? Кто же рискнет положить туда свое чадо?

Сегодня интеллигенция живет нравственно пригнувшись, почти так же смущаясь своего немодного обличия, как в иные времена «шляпы» и «очков». Сегодняшние победители смеются над врачом, учителем, инженером, ученым, преподавателем вуза, над библиотекарем, над всеми, кому не близка психология лавочника, кто живет на зарплату, кто ждет, когда заработанные деньги ему выдадут. Смеются над «деятелями культуры», которые ждут, когда обожравшийся деньгами капиталист от несварения начнет рыгать, вот тут-то и откроется неисчерпаемый и долгожданный источник средств для процветания наук, искусств, ремесел, просвещения и народного здравоохранения...

Вот уже больше двухсот лет, служа целям внешним, он забывал о себе, его теребили, от него требовали, ждали — специалистов, кораблей, турбин... Теперь не ждут. Город может оглянуться на себя. Увидеть, как он постарел, как изнашивался, как все его жизненные системы дышат на ладан или работают из последних сил. Как и триста лет назад, он заложник морской стихии.

Он больше не силится говорить о себе, о том, что он еще может, что он еще в силе... Максимум, что он может, — это позвать в гости, по-стариковски: дескать, не забывайте.

Он выполнил свое предназначение в истории этой страны, а теперь, как прожившему жизнь старцу, нужно совсем немного. У него вдруг не стало никаких внешних целей, он обречен замкнуться в собственном существовании, в житейском обиходе, состоящем из спанья, еды, чтения газет, просмотра телевизора...

Может и поворчать, пошуметь, посердиться, но «тщетной злобою не будет тревожить вечный сон Петра».

Скоро не будут тревожить «вечный сон Петра» и корабельные голоса у берегов России.

Именно отсюда, из Питера, видно, как берега России погружаются в темноту. Служба обеспечения навигационного оборудования побережья развалена. Плавание у наших берегов стало небезопасным, скоро уже иностранные суда будут опасаться заходить в наши порты.

Так что же нам светит? Все то же. Когда и здесь все развалится до основания, когда будут потеряны специалисты, которых не готовит ни один вуз, ни одно училище, кого выращивают поштучно годами, вот когда начнутся аварии и выплаты сумасшедших страховок, придет помощь с Запада или с Востока... Для них все найдется, и они нас спасут.

Город погружается в самозабвение...
 Историческое величие Египта позади...
 Историческое величие Греции позади...
 Историческое величие Испании позади...

...Есть у меня большие суспииции относительно того, что многие конвюиты Петра Великого нерезонабельны, да вот только мы и по нынешний час находимся от них в депенденции.

ВИД СВЕРХУ

Пулковская возвышенность, с которой можно оглядеть все необъятное пространство, заполненное распластавшимся городом, удивляет своей пустыньностью.

На этой просторной безлесой местности нет ни деревень, ни полей, ни сенокосов, одна только ровная обширнейшая равнина, поросшая редкими чахлыми кустиками.

Безлюдность и необжитость этой огромной плоской территории, поднятой над городом, объясняется просто: здесь нет земли, это земля лишь по видимости. Какой-то незапамятный земной озноб поднял неродящую мертвую глину прямо из преисподней. И сотен тысяч лет не хватило, чтобы эта мертвая плоть стала живой, родящей почвой, пригодной для зверя, для птицы, для людей.

Над откосами, обращенными к городу, возвышаются купола астрономической обсерватории, здесь главное астрономическое око России.

Пулковский меридиан был раньше главным, был исходным для прежних географических карт.

Отсутствие суетной земной жизни вокруг позволяет сосредоточенно устремить взор в небесную беспредельность.

Интересно, это только по-русски нашу планету называют «землей»?

Неподалеку от обсерватории где-то в начале 70-х годов образовалось два родственных учреждения — городская свалка и кладбище.

Гигантская городская свалка, простирающаяся в неоглядную даль и вздымающаяся смердящими горами хлама, идет слева от дороги, ведущей к кладбищу. Свалка дала приют болтающимся между смертью и нежизнью бездомным и нищим и еще несметному числу белокрылых чаек, тысячами вздымающихся в небо, как только на дороге к городу мертвых появляется очередной скорбный кортеж.

На самом краю кладбища, в неудобье, рядом со склоном, с которого так хорошо виден поблескивающий золотыми искрами шпилей, растворяющийся в сером зыбком воздухе город, просторное поле, покрытое размытыми, осклизлыми глиняными холмиками. Одни холмики еще топорщатся, другие расплываются, как мороженое в жару, и не могут держать прямо деревянные рейки, воткнутые в них. К рейкам прибиты неструганые дощечки с однообразными знаками, нанесенными грубой кистью, обмокнутой в битумную краску: «Н/М-94», «Н/М-94», «Н/М-94». Есть и «Н/М-95», есть и «Н/М-93». Среди «Н/М» встречаются и «Н/Ж», и это значительно проясняет дело — «неизвестный мужчина», «неизвестная женщина».

На какой войне пали эти неизвестные «М» и «Ж»?

К могиле Неизвестного солдата выставляют почетный караул, приходят, символически чтят.

К этим никто не придет. Никогда.

Быть похороненным на высоком месте, откуда видна беспредельная даль, считалось на Руси за честь.

Разве хотел чести этим навсегда безымянным его высокопревосходительством Санкт-Петербург?

Не хотел.

Только всю-то свою жизнь он делает не то, что хочет. Вот и этих, которых и вспоминать-то незачем, приблизил, приобщил и погубил... А погубив, поднял, вот здесь, у ворот в небо, поднял выше самого себя!

«О ПЛАМЕННОМ ХОРЕ, КОТОРОГО НЕТ НА ЗЕМЛЕ»

Став крылоруким,
Зван он сюда
В райские звуки
Влить свое ДА.

Даниил Андреев.

В разговоре за круглым столом о творчестве Даниила Андреева в связи с выходом в свет трехтомного собрания сочинений поэта приняли участие: вдова поэта Алла Андреева, протоиерей Валентин Дронов, литературовед Станислав Джимбинов, поэт и эссеист Владимир Микушевич, философ Василий Мороз, поэт, редактор Полного собрания сочинений Д. Андреева Борис Романов, философ и критик Светлана Семенова.

Борис РОМАНОВ:

Поэтические тома Даниила Андреева явились словно бы из ниоткуда. Потому что только владимирский узник мог позволить себе в 40-е и 50-е годы быть столь свободным. Так как же определить место Андреева в русской поэзии, если он это место только-только занимает? Ведь появлению из полного литературного небытия поэта такого духовного масштаба аналогий у нас, похоже, нет.

Брат Даниила Леонидовича, Вадим Андреев, не без основания считал, что он «единственный у нас в России поэт-визионер». И в то же время его творчество принадлежит к глубинной традиции русской литературы — к духовной поэзии, связанной с истоками отечественной культуры.

Это не только духовные стихи, но и литургическая поэзия — гимнография, силлабическая поэзия — от «Псалтыри рифмотворной» Симеона Полоцкого до кантов св. Димитрия Ростовского, духовные оды от Ломоносова до Богдановича, этих предшественников Державина, с чьей оды «Бог», по словам Д. Андреева, началась великая русская литература. Мощная традиция религиозной поэзии, теснейше связанная с несекуляризованной древнерусской литературой, по-своему продолжала существовать вплоть до серебряного века.

В оде «Бог» богословские, философские, космогонические представления поэта о Творце и творении выражены как бы на «вселенском» поэтическом языке. Не те же ли задачи, казалось бы неподъемные для поэзии, часто ставит себе Андреев?

Перечтем, например, главу «Миры просветления» из поэтического ансамбля «Русские боги»:

Я увидел спирали златые
И фонтаны поющих комет,
Неимоверные иерархии,
Точно сам коронованный Свет...
Там, над сменой моих новоселий,
Над рожденьями форм надстоя,
Пребывает и блещет доселе
Мое богосыновнее Я.

Это — мифопоэтический язык эпоса. За ним та мистическая реальность, которую, видимо, иначе не выразить. И во многом язык этот подготовлен русской духовной поэзией.

Один из героев погибшего романа Андреева «Странники ночи» мечтает написать текст Литургии. Кому из современников поэта мог померещиться такой замысел? В стихах Андреева есть и прямые цитаты, и аллюзии на литургические, молитвенные тексты. Но главное, в его поэтику входят сами принципы молитвословия.

Конечно, традиции русской духовной поэзии восприняты и усвоены Андреевым во многом через поэтическую культуру начала века, которой пронизано его творчество. Поэтому многое в нем могут приоткрыть параллели с Вяч. Ивановым и Гумилевым, Блоком и А. Белым.

Сама идея мирового синклита в «Розе Мира» восходит и к исканиям серебряного века. Вот всего лишь один штрих. Несущественно, читал ли Андреев стихотворение А. Скалдина, поэта круга В. И. Иванова, «Апостольский пир», написанное в 1912 году, но в нем собираются держать совет вместе с евангельскими апостолами «...Гомер и Гесиод. / Платон и Дант и Пушкин с Соловьевым», и это собрание апостол Иоанн называет «Розой Светов». Подобных параллелей и перекличек можно привести немало.

Творчество Андреева — это в каком-то смысле завершение и, что важно, преодоление исканий начала века. Так, в циклах, названных «Материалами к поэме „Дуггур“», поэт, оглядываясь на свой духовный путь, который «был узок, скользок, страшен», говорит о религиозных искусствах и блужданиях именно серебряного века. «Мы — лучи Люцифера, восставшего в звездном чертоге, / Сострадаю мирам, ненавидя, любя и кляня», — читаем в стихотворении Андреева «Юношеское» и вспоминаем «демонические» мотивы, звучавшие в 1900-е годы у многих. Например, у раннего Гумилева: «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...»

Андреев на протяжении одного этого цикла, одного круга проходит путь от увлечения демоническими соблазнами и богоискательства ко Христу. В одном из заключительных стихотворений цикла он вопрошает:

Из камня улиц я исторг
Псалом Блуднице, и восторг
 Был в этом гимне.
Дерзну ль теперь взывать к Христу:
Дай искупить измену ту,
 Жить помощи мне?

А далее следует стихотворение «Двенадцать евангелий» — обращение к Богу через Церковь. Поэт, зашедший в «дряхлую церковушку» в Страстной четверг, выстаивает службу, и перед ним проходят евангельские события, переданные лирически сильно и точно. И вот он проходит вдоль «серых авто-трасс» Москвы и как бы видит «Сошествие во ад»:

Умеряя смертную кручину,
Не для кар, не к власти, не к суду,
Вот теперь нисходит Он в пучину —
К мириадам, стонущим в аду.

Это стихотворение, на мой взгляд, — одно из самых значительных в русской религиозной поэзии нашего века.

Даниил Андреев не прошел и мимо опыта советской поэзии, который своеобразно использован в главах «Русских богов», рисующих Москву 30 — 40-х годов. Его удивительная поэма «Симфония городского дня» — действительно четырехчастная симфония; в ее звучании прослеживаются темы советской поэзии от Асеева до Сельвинского, воспевавших индустриализацию, реконструкцию и т. п. Но в поэме они приобретают совершенно иной, страшный, смысл. Высокий пафос и бесстрашный взгляд высвечивают правду совершающегося непривычным для нас духовным светом. А поэт в одиночку (это вещь 1950 года, Владимирская тюрьма) продолжает

Длитель битву с Человекобогом
В последних — в творческих мирах!

Для того чтобы сегодня прочесть Даниила Андреева — прочесть его в самом деле, вчитаться и понять, — нужны значительные душевные усилия. Но это прочтение, которое только начинается с выходом трехтомника, даст нам многое в понимании духовной сущности страшных событий нашего века.

Поверхностно воспринятая, «Роза Мира» дает кому-то повод зачислить поэта по оккультно-эзотерическому ведомству. Но «Роза Мира» — это описание модели мира, где живет его поэзия, путеводитель по созданной им мифопоэтической вселенной. Вместе с тем Андреев нигде не ставит себе сугубо эстетических целей (ведь, по слову А. Лосева, «миф — это реальность»). Наоборот, он всемерно подчеркивает внеэстетичность своей задачи — она в том, чтобы передать с выпуклой ясностью открывшееся ему:

Мой стих — затем, чтоб запылала
Перед тобой другая глубь.

При этом «поэтическое хозяйство» Андреева огромно и непросто. Стих его пластически-гибок и редкостно изошрен. Удивительно разнообразна его строфика. «Метро-строфы» (термин Андреева), введенные им в русскую поэзию, еще предстоит изучать. Его поэтическому складу чужды импровизационность, живописная импрессионистичность, он скорее «архитектурен». Значение плана, композиции в его поэмах и циклах, сама сложная структура его «поэтического ансамбля» говорят об этом. Если есть программная музыка, то у него — «программная» поэзия. Недаром Даниил Леонидович так ценил и любил Вагнера. В его поэтическом мире есть все: глубь и высь, герои и злодеи, Россия с ее историей, да и не только Россия...

Прот. Валентин ДРОНОВ:

Мы наконец получили возможность прочесть и услышать стихи одного из очень больших поэтов XX века, поэта мистического, духовного. Духовны всякое искусство и всякая поэзия. Но в прямом смысле слова поэзии духовной на земле крупницы. К ней относится вся религиозная и, как часть ее, церковная поэзия. Это те поразительные проникновения человеческого духа в Божественные чертоги, где уже нет ничего земного:

Свете Тихий, святая славы
Бессмертнаго Отца Небеснаго
Святаго блаженнаго, Иисусе Христе.
Пришедше на запад солнца,
Видевше свет вечерний,
Поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога.

Кроме этого к духовной поэзии можно отнести стихи не более чем нескольких десятков поэтов всех времен и пространств, которым удалось оторваться от житейских реалий, достичь Тихого Света, сохранив при этом связь со своим временем и пространством, поведав слитно и о Том, и о другом. Уловить голос Логоса сумели немногие поэты.

В русской культуре поэзия не раз бывала средством Богомыслия. Поэт, не являясь ни священником, ни богословом, создает свой мир, через который познает Дух Святой и проводит навстречу Духу Святому других.

Даниил Андреев — православный христианин по происхождению, воспитанию, мирозерцанию. Он таков и в литературе, и в жизни. После освобождения из тюрьмы в течение последних двух лет он был духовным сыном известного московского старца, протоиерея Николая Голубцова. Отец Николай исповедовал Даниила Андреева перед кончиной и напутствовал его Причастием Святых Христовых Тайн.

Православие Андреева пронизывает всю его поэзию. Здесь есть и стихи церковно-описательного характера, есть и необыкновенно пронзительные космические видения — подступы к Подножию Господнего Престола.

Владимир Соловьев, великий русский мистик, ходил в храм очень редко. Даниила Андреева влечет в храм сопричастность «преданному раю»:

камеры, под «колокольный» звон замков и кованых сапог. В советских тюрьмах поэты не выживают. Они сходят с ума. Но Андреев — выжил и вынес из ада непомраченный рассудок и сердце, принадлежащее Христу. Выжил оттого, что Господь открыл пред ним Завесу тайны и водил его, как в свое время Данта, по кругам невидимой, нескончаемой, блаженной Премудрости Своей.

Таков путь, открытый Даниилу Андрееву в тюрьме, в земном аду, путь ко Христу, путь только его собственный.

Как часто под влиянием болезни или ужаса, который вызывает порой действительность, нам хочется сказки. Сказки чудесной, согревающей, уносящей из томящей плоти. Читая «Розу Мира», можно подумать, что этим сказочным теплом согрел Господь плоть и душу пытаемого поэта. «Роза Мира» — это дар Божий, благодаря которому поэт вышел из ада невредимым. И основной стержень книги — Логос Вселенной, Христос.

Поэты, перекидывая мостики от земли к Небу, поделили между собой разные роли: есть поэты-художники, поэты-наставники, поэты-мученики. Даниил Андреев — поэт-пророк. И может быть, в этом тоже сказалась его глубокая принадлежность к православной культуре.

В своем духовном завещании он написал:

И в зелени благоуханной
Родимых таежных мест
Поставь простой, деревянный,
Осьмиконечный крест.

Владимир МИКУШЕВИЧ:

Едва ли найдется в XX веке в России другой поэт, столь же укорененный в традиции, как Даниил Андреев. В этом смысле он, пожалуй, может сравниться лишь с Блоком.

Традиция, которой привержен Даниил Андреев, отчетливо вырисовывается в русской поэзии. К ней, несомненно, принадлежит Лермонтов со своими «Ангелом» и «Демоном». Сам Даниил Андреев называет «такого превосходного, хотя и не гениального поэта, как А. К. Толстой». В его творчестве он усматривает вестническую тенденцию, которая продолжается «в высокой попытке Максимилиана Волошина — определить свою личную линию художника и современника революций и великих войн религиозно-этической заповедью: „В дни революции быть человеком, а не гражданином“». Сохранилось предание, будто Даниил встретился с Максимилианом Волошиным и Волошин вверил нечто своему младшему современнику. Но подлинным истоком поэтической традиции была для Даниила Андреева православная литургия. «Душа зажглась мечтой о Храме, о литургийном фимиаме», — писал Даниил Андреев, и он же признавался: «Не ту я слышал литургию в раскатах битвы мировой». Это строки из поэмы «Ленинградский апокалипсис».

Если поэзия преобладает в творческом наследии Даниила Андреева, то «Ленинградский апокалипсис» занимает в ней центральное место. Уже само название поражает пророческой точностью. В этом названии слово «Ленинград» раскрывает свой истинный смысл. Апокалипсис может быть только ленинградским, а не петербургским, как ленинградской, а не петербургской была блокада. Пора признать: «Ленинградский апокалипсис» — величайшая поэма о Великой Отечественной войне. Нужно быть Даниилом Андреевым, участником войны, чтобы высказать то, что смутно чувствовали, но на разные лады замалчивали его талантливые современники и что таилось за трескучей риторикой пропагандистских лозунгов. «Страна горит; пора, о боже, забыть, кто прав, кто виноват», — это призыв защитить в Отечественной войне страну, где не прошло десяти лет со времени коллективизации, не прошло пяти лет после 1937 года. При этом «гражданская война» — лишь деликатная калька с французского. В России продолжалась усобица, и Даниил Андреев не писал бы «Ленинградского апокалипсиса» во Владимирской тюрьме, если бы эта усобица закончилась. Характерно, что даже в собрании сочинений Даниила Андреева, печатающемся в наше время, слово «боже» напечатано с маленькой буквы. Следующая, важнейшая, строфа поэмы мотивирует подобное написание:

Нет, не Творца Триипостасного
 Я именую этим словом
 Теперь, вот здесь, когда громовым
 Раскатом град наш потрясен:
 Тебя! нас слышащего! страстного
 Живого Ангела Народа,
 Творца страны — с минут восхода
 И до конца ее времен!

Даниил Андреев раскрыл религиозную подоплеку советского патриотизма, назвав того, кому молились воины, жертвующие собой за Родину, литургически воззвал к нему:

О, свышеангельный светильниче!
 Вождю прекрасный, Яросвете!

Вот кого имел в виду и Константин Симонов, когда писал про то, «как вслед нам шептали: „Господь вас спаси!“». Религиозная трагедия заключалась в том, что демиург народа, его небесный предводитель, Ангел Родины, заменил Творца Триипостасного, Троицу, написанную Андреем Рублевым, истинную суть Православия. И эта трагедия продолжается. В духовной жизни России сохраняется сильная тенденция подменять Бога Ангелом Родины.

Обращаясь к этому Ангелу, люди, даже сами того не зная, обращались к Троице. Но и у «демиурга Яросвета» своя трагедия, поэтически раскрытая тем же Даниилом Андреевым. У демиурга Яросвета есть невеста Навна. «Кто она, Навна? — говорит Даниил Андреев. — То, что объединяет русских в единую нацию; то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь, что овеивает искусство России неповторимым благоуханием; то, что надстоит над чистейшими и высочайшими женскими образами русских сказаний, литературы и музыки; то, что рождает в русских сердцах тоску о высоком, особенном, лишь России предназначенном долженствовании, — все это Навна». Демиург Яросвет вынужден изменить Навне, чтобы защитить ее же от чуждых темных разрушительных сил. Эти силы тоже названы Андреевым в «Ленинградском апокалипсисе»: «То ль звук, то ль слово: ...уицраора! Я слышу явственно в их реве». *Уицра́ор* — демон государственности, хищный, агрессивный, беспощадный. Казалось бы, темный уицраор (востоковед Борис Чуков, сокамерник Даниила Андреева, понимает это имя как «светоненавистник») должен противостоять светлому демиургу народа, но в истории это не так, вернее, не только так. Оказывается, демиург народа настолько нуждается в уицраоре, что сам порождает его: «Эти существа были порождены по воле демиургов как защитники сверхнародов от внешних врагов». Так Яросвет вынужден родить своего уицраора, обрекая Навну на плен в глыбах грядущей государственности.

Трагедия России усугубляется тем, что, может быть, ни в одной культуре нет такого разлада между светлым демиургом и темным уицраором, но страшнее всего то, что демиург вынужден не только терпеть уицраора, но и сотрудничать с ним. Великим открытием Даниила Андреева было то, что одно без другого не существует, даже если такое сосуществование — грех: «Пусть лучи руки благословляющей над уицраором России давно потух...» Ветерана Великой Отечественной войны удивит и, может быть, оскорбит обращение к некоему мифическому Яросвету, названному к тому же «вождем прекрасным», но и тот вождь, которого не может забыть ветеран, присутствует в поэме:

Господь! неужто это чудище
 С врагом боролось нашей ратью,
 А вождь был только рукоятью
 Его меча, слепой, как мы?.

Это едва ли не самое глубокое из того, что сказано о Сталине в русской поэзии. «Это чудище», уицраор, ужасно, но без него Россия была бы поглощена уицраором Германии. Между светлым демиургом и темным демоном государственности существует союз, Даниил Андреев был пророком этого союза. Вот откуда магическое воздействие слова «союз», определяющее российскую историю у нас на глазах. Святая Русь — царство Яросвета, Советский Союз —

держава уицраора. Одно с другим несовместимо, но одно без другого не существует. Рев уицраора слышится в первых строках советского гимна: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», — и тут же вспоминаются стихи Тютчева, как бы относящиеся к этому вынужденному союзу ангела и демона, демиурга и уицраора:

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворажают нас они.

Эту неразрешимую тайну русской истории если не разгадал, то высказал поэт Даниил Андреев, и потому без него, как (по словам Льва Толстого) без Тютчева, невозможно жить.

Станислав ДЖИМБИНОВ:

Может быть, впервые в России вышло собрание сочинений, где представлены и поэзия, и проза, и драматургия, и эссеистика, — и все это создано автором, ни одна строка которого не увидела света при жизни! Я пытался в истории русской литературы вспомнить еще такую фигуру — и не смог.

Постараемся понять, отчего это произошло, отчего ни строки из этих трех объемистых томов не могло быть напечатано при жизни. Тут нужно обратиться к хронологии. Даниил Леонидович родился в 1906 году. Понятие «серебряный век» в русской литературе очень размыто. Для меня, например, несомненно, что высшая точка, пик серебряного века — 1922 и 1923 годы. После этого началось стремительное снижение. Почему именно эти годы? Легко объяснить: бесчисленные берлинские издания, нэпмановские частные издательства за два-три года опубликовали то, что накапливалось годами, лежало в виде рукописей. К концу 20-х годов, и особенно решающими были такие страшные годы, как 1929-й и 1930-й, все уже закончилось: литература переходит на госзаказ. И вот именно в это время, в 1930 году, вступает в литературу двадцатичетырехлетний Даниил Андреев.

Задумаемся, как вообще можно было реализовать себя в подобных условиях. А у Даниила Андреева была еще такая редкая, сугубо аристократическая черта: он хотел выразить себя одновременно и в поэзии, и в драматургии, и в прозе. В русской литературе это удалось только Пушкину, Лермонтову и А. К. Толстому. Может быть, еще Тургеневу, хотя поэт он сравнительно слабый. Даже Бунин, который был очень хорошим поэтом и великим прозаиком, драматургом не был. А Даниил Андреев смог, невзирая на историческую погоду, стоявшую за окном, творить в этом смысле по-пушкински, по-лермонтовски. Что потребовало полного отказа от выхода к читателю. Это был уход в какое-то странное существование, противоестественное для любого литератора. И тут мы подходим к феномену поэзии Даниила Леонидовича Андреева.

Я уже однажды каялся, что не сразу по-настоящему оценил ее. Попробую объяснить, почему. Мы до сих пор не понимаем, до какой степени все крупные поэты составляют часть какого-то большого целого. Даже не побоюсь сказать, часть какого-то «изма», часть какого-то направления. Ну кто же не помнит, скажем, истоков Пастернака? Его Сергей Бобров вводил в литературу. Акмеистские истоки творчества Ахматовой, Мандельштама, Гумилева общеизвестны и т. д. И вот когда все было уже завершено, закончено и объявлено как бы вне закона, появляется Даниил Андреев. Воздух уже разучился резонировать, передавать поэзию, не было никакой переклички. Ему пришлось солировать, и поэтому голос, который создал себе Даниил Андреев, так необычен... Я даже скажу резко: какой-то ритмической тяги мне не хватает, сильного такого музыкального тока. И я понимаю, что слабость этой тяги оттого, что человек, по существу, опирался только на самого себя... Глухота воздуха, который вовсе не передает поэтического голоса. Посмотрите на даты. Под дивными стихотворениями стоят страшные даты — 1950 год, 1949 год. Что за воздух тогда был? Что за атмосфера? Я уж не говорю о том, что все это создавалось во Владимирской тюрьме. Впрочем, именно тюрьма-то и дала свободу.

Наконец — о его главной книге, «Розе Мира». Есть такое понятие — «книга». Слово «Библия» означает по-гречески «книги», собрание книг. Это понятие чего-то всеобъемлющего, единого на потребу, охватывающего все: и ангелов, и торговлю. Так вот, Даниил Леонидович дерзнул создать и такое. И опять-таки, оглядывая русскую словесность, вспоминаешь такие классические книги, как «Столп и утверждение Истины» о Павла Флоренского, или «Свет Невечерний» Сергея Булгакова, или «Смысл жизни» Евгения Трубецкого, но такой широты охвата материала — космического, исторического, культурного — нет даже в них. Ведь у Андреева дана достаточно подробно общая история России и история русской культуры. Там, правда, нет мировой истории, но зато есть поразительная характеристика *затомисов*, то есть высших слоев мировых культур, начиная с самых древних и кончая современными, — тридцать четыре культуры. Сразу вспоминаешь Данилевского, Шпенглера, Тойнби; это охват действительно вселенский. Но дело даже не в этом. Дело, конечно же, в тоне, в том, как все это написано. Это пафос религиозный, влюбленность в Россию, в русскую культуру, в русскую природу, и выражено все с такой силой, что вопроса о том, подлинно или неподлинно, «ересь» это или нет, просто не возникает.

Коснусь еще разделов о структуре Вселенной в первой половине книги. «Брамфатура», «Шаданакар» — как к этому относиться? Это индивидуальный религиозный опыт. Мне приходилось читать страшные статьи о «Розе Мира», где говорилось о сатанизме, демонизме, — я никогда не смогу в это поверить. Я просто прочту вам одно прелестное место из «Розы Мира», где Даниил Леонидович пишет: «Чем больше любим плюшевый медвежонок, чем больше изливается на него из детской души нежности тепла, ласки... тем плотнее сосредоточивается в нем та тончайшая материя, из которой создается шельт... Существа эти поражают не красотой и тем более не величием, а той невыразимой трогательностью, какой размягчает наши души вид зайчонка или олененочка». Потом они войдут в Хангвиллу — звериный рай. Понимаете, ребенок что-то изливает на плюшевого медвежонка, и эту реальность, которую мы все еще не научились ни улавливать приборами, ни даже чувствовать своей высохшей душой, — ее только Даниил Андреев смог с такой ясностью почувствовать и назвать.

Вообще Андреев похож на библейского Адама, который дал наименования всей многослойной Вселенной. Эти наименования настолько органичны, настолько убедительны, что сами по себе представляют загадку. Я не знаю, явились они ему в видениях или во сне, но то, что в этих словах есть внутренняя логика, что они, говоря языком математики, внутренне непротиворечивы, — это факт. Сквозь них иногда просвечивают корни индоевропейских языков, а есть слова, в которых бесполезно искать какие-то корни известных нам романо-германских или славянских языков. Это тоже, конечно, явление поразительное, тоже доказательство подлинности мистического опыта.

Да, для Даниила Леонидовича должно быть найдено какое-то особое место в русской культуре. Могу лишь сказать, что он не противоречит ее христианскому православному пафосу, не противоречит вообще всему ее нравственному духовному характеру, — он непосредственно из этого пафоса вырос.

И еще Даниил Леонидович был художником-шрифтовиком — а что это значит? Он выписывал облик букв. А ведь через букву просвечивает Логос, мировой смысл. Буква имеет телесную форму. Мне кажется, что, даже когда он писал буквы как шрифтовик, он был связан с самым главным в своей жизни — с телесной оболочкой слова...

В заключение скажу, что Даниил Андреев — это наш Данте. Он не просто узрел, увидел, но и описал, и назвал и рай, и чистилище, и ад, и сделал это с такой органичностью, что люди будут постоянно к этому возвращаться. Думаю, что его значение будет возрастать. Сейчас чрезвычайно неблагоприятное время, хотя у нас вроде бы нет цензуры... Самое главное ведь — способность воздуха передавать, резонировать, чтобы люди были настроены на прием. А сейчас все расстроено, почти ничего не воспринимается, на нас вылили океан пошлости. Мы должны терпеливо переждать это время. Тысячелетние истоки России восторжествуют, и тогда услышат голос Даниила Андреева.

Светлана СЕМЕНОВА:

«Да, исполнятся предреченные духовидцем Письмена о преображении мировом», — восклицает Даниил Андреев в Послесловии к «Железной мистерии», где звучит неколебимая вера в пришествие Царствия Божьего, «нового космоса», искупленного и претворенного, в окончательное возвращение к Богу для грандиозного созидания, распаханного в вечность. Все творчество русского визионера, поэта и мыслителя стало раскрытием мистерии вселенского спасения и преобразования, достигаемых через эпохи, эры и зоны драматической борьбы светлых и темных сил, и не только борьбы, но прежде всего просветляющего богосотворчества... Оставим в стороне то, что касается самой многослойной структуры нашей планетарной системы, метаистории России, и обратимся к религиозно-философским основаниям его видения мира и задач человека в нем. Здесь в некоторых своих важнейших интуициях Андреев оказывается достаточно близок к мыслителям активно христианской ориентации, к представителям религиозной ветви русского космизма (Н. Федоров, Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский...).

Первое и главное, с чего и надо бы начать, — общее им убеждение, что творение еще не завершено, да и религиозная эра в человечестве не закончена. «Под влиянием односторонне понятой семитической идеи о том, что после шести дней творения наступило упокоевание Божественного творческого духа, даже вопрос о дальнейшем творчестве Самого Бога богословская мысль предпочитала обходить стороной, и речение Божества, запечатленное в Откровении Иоанна — «Се, творю все новое», — осталось единичным взлетом, единичным прозрением. К человеческому же творчеству установилось и вовсе подозрительное отношение, как будто гордыня, в которую может впасть человек-творец, более опасна и губительна, чем творческое бесплодие», — писал Даниил Андреев в первой главе «Розы Мира». Бердяев говорил о восьмом дне творения, что станет совместным богочеловеческим творчеством, а Андреев — о творческой эпохе просветления мира, духовного восхождения.

При этом активность человека в онтологических делах, в устройении более совершенного бытия определяется и у активно христианских мыслителей, и у Андреева самой человеческой природой, созданной по образу и подобию Божью. Человек призван уподобиться именно творческой, деятельной природе Бога. Как утверждал Андреев, «личность содержит единоприродные с Божеством способности творчества и любви». Он отмечает, что дар творчества был недостаточно осмыслен до сих пор в религиях — ни онтологически, ни метафизически, ни мистически. Для него «всякое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое и для себя, есть богосотворчество», обожение собственного сердца и других. В новой западной истории труд и творчество развивались на безрелигиозной основе, подчеркивает Даниил Андреев, и здесь, действительно, возникала человекобожеская гордыня, то, что называется прометеизмом. Для Андреева «творчество — высшая, драгоценнейшая и священнейшая способность человека, проявление им божественной прерогативы его духа», он включает творчество и труд в круг религиозного идеала обожения, преобразования мира, онтологического восхождения.

Сближает его с русскими космистами и отношение к религии как к делу. Как и они, Андреев не принимает понимания христианства как религии лишь личного спасения, «индивидуального самоспасения», как выражается он. Тут для него только «духовный эгоизм», «жажда личного спасения при холодном безразличии к другим». Но как только появляется необходимость общего соборного спасения, пронизательно отмечал как-то Г. Федотов, так тут же возникает и проблема Общего Дела. И тогда отмечается пассивное, рабское восчувствие и Бога, и роли человека в мире.

То, что русские космисты предполагали достигнуть на «новой Земле» в процессе все большего управления материи духом, прогресса в самой природе человека, Андреев часто выносит в свои видения «восходящих преобразений в духовных мирах»: тут и умение создавать себе необходимые новые органы, трансформировать их в зависимости от среды обитания, тут и способность «безграничного перемещения», и новый тип питания, своего рода небесная автотрофность, и то творение новых жизненных форм вместо «слепого полового рождения», о котором говорил автор «Философии общего дела».

Кстати, представить высшие преображенные формы бытия, дать убедительно почувствовать их красоту и неизреченную радость, создав тем самым тягу к восхождению, к горнему миру, — задача необычайно трудная. Туда, горé, — уловить хотя бы блики другой, бессмертной небесной красоты — редко простирается прозрение художников и мыслителей, но даже когда это происходит, то краски, уловляющие эту чаемую реальность, вдруг тускнеют, образная выразительность гаснет, воцаряется атмосфера то ли добродетельной скуки, то ли бледной отвлеченности. А вот Андреев является удивительным поэтом все более восходящих, творчески трансцендирующих форм и способов бытия.

Впрочем, и вполне в рамках нашего трехмерного мира и существующего в нем человека Даниил Андреев, как и русские космисты, различает два пути развития: один, научно-технический, со всей бездушностью и ущербностью возникающей на его основе протезной цивилизации (человек остается все так же несовершенен и ограничен, а его возможности растут лишь за счет, как выражается Андреев, «приспособлений, сделанных из посторонней материи», то есть внешних, искусственных «органов» — от микроскопов и телескопов до машин и самолетов), и другой — духовный, внутренне-биологический, расширяющий силу и мощь самого организма человека.

Андреев близок к соловьевским (и федоровским) идеям необходимости преображения того извращенного статуса материального бытия, в котором царит зло отдельности, непроницаемости, вытеснения и противоборства. «Наше перерождение неразрывно связано с перерождением вселенной, с преобразованием ее форм пространства и времени», — писал Вл. Соловьев в «Смысле любви». На этом же утвержден и Андреев, ставящий задачу «просветить» и «преобразить» мировые законы на всех уровнях, от социального до космического, что предполагает чувство нравственной ответственности человека за судьбу земли, «меньшой твари», качественно иной уровень взаимоотношений человека и природы.

Как и для течения христианской мысли; к которому принадлежали Ориген, св. Григорий Нисский (с их учением о всеобщем апокатастасисе, то есть искуплении всех без исключения и преображенном их восстании к вечной обóженной жизни), а у нас — Н. Федоров, о. Сергей Булгаков, для Даниила Андреева тоже высшей задачей и целью является «спасение всех без исключения, кто сорвался, кто отстал, кто пал в глубину миров Возмездия, и преображение всего Шаданакара».

В идее спасения всех до единого действует какой-то мощный метафизический демократизм, питаемый глубоким и чутким сердечным чувством: дать всем возможность максимального выправления уродств и искажений, возможность развития, преображения. Такая позиция требует своей логики. В ней важна установка на возможность обращения зла в добро, трансформации разрушительно направленных волей и энергий в благие и созидательные — без этого никакое творчество вселенского спасения невозможно. Чистилище, искупление зла и греха, оказывается физической и нравственной необходимостью для большинства.

Интересно, что у Даниила Андреева главной задачей «третьего эона» нашего бытия становится искупление и преображение самого Гагтунгра, Противобога (как в дальнем горизонте идеи христианского апокатастасиса и сатана прощается). Впрочем, «апокатастасис» Даниила Андреева настолько всеобъемлющ и трогательно-детски тотален, что не оставляет за кругом спасенной, преображенной вечности всего, к чему привязано человеческое сердце: от детских игрушек до дорогих и живых для нас персонажей литературы.

Даниила Андреева любят сравнивать с Данте: как же, два метагеографа, два провидца бездн — и низшей, и высшей, — два визионера и поэта.

Но сколь отличен по сокровенному духу наш русский Дант от великого собрата! Запад в лице своего гения расчислил, выстроил, утвердил нерушимое здание конечного разрешения судеб: вознес сферы последовательно четкого райского воздаяния, поправшие подземные круги безысходного ада. Все точно отмерено, торжествует симметрия, цифра, моральный циркуль — и никогда ничего изменить уже нельзя. А тут — конечная апофеоза блага, тотального спасения, воссоединение всех с Богом «для срадования и для со-творчества Ему в созидании вселенных и вселенных»; тут — всё рай и все — в раю бессмертной творческой жизни.

Василий МОРОВ:

Меня удручает, что нередко обсуждение творчества Даниила Андреева подменяется воплненным голошением «еретик!» либо возведением «Розы Мира» в достоинство своего рода оккультного «Писания». Еретиком он не был уже потому, что никогда не навязывал Церкви своих воззрений в качестве догматического авторитета (за пределами догматических покушений у богослова, а тем более у поэта, остается право на заблуждения и ошибки). Еще менее повинен Андреев в попытках использовать его творчество, сполна им оплаченный мучительнейший мистический опыт для теософских забав советской интеллигенции (быть может, вслед за Солженицыным правильнее говорить — образованщины).

Наследие Андреева принципиально не удастся сколько-нибудь убедительно связать с «литературным процессом» советской поры (впрочем, в те годы само понятие «литературного процесса» двоилось с гибельной определенностью, и с пыточно-следственной его стороной Андрееву пришлось столкнуться в полной мере). На веку поэта из его оригинальных творений не было напечатано ни единой строки. Этому «поразительному» в своей заурядности явлению не приходится «удивляться». Даниил Андреев принадлежал к тем авторам, чье творчество по сути своей не поддается «делению», вычленению цензурно приемлемых частей. Корпус созданных им произведений дает на редкость убедительное воплощение легендарной максимы «все во всем». В каждом «осколке» содержится «целое», светится в нем. Словом, писателю склада Даниила Андреева, органически не способному к разрушительной идейной мимикрии, рассчитывать на погрешности «классового чутья» советской цензуры не приходилось.

Но, сохраняя нечувствие к прельщениям в годы вавилонского пленения России, Андреев поразительным образом удержал преемственность с одним из, казалось бы, исчерпанных направлений русской культуры начала века. Признание символизма последним большим стилем, обнимавшим собой все стороны жизни, давно стало расхожей истиной. Столь же несомненно суждение о трагизме исторической судьбы символизма — у него было множество могильщиков и ни одного наследника. «Дерзания» же, претендовавшие на «продолжение» символизма, как правило, выпадали за пределы высокой культуры. Сказанное равным образом справедливо как для поэзии, прозы, театра, так и для философии. Русская софиология (от Владимира Соловьева до о. Сергия Булгакова) — это, если угодно, полноценное выражение символизма в богословии и философии, явление выдающегося размаха и значения. И тем не менее даже на философском поприще у символизма (софиологии) в истекающем столетии последователей почти не было. Поколение, рожденное на стыке веков, сторонилось не только софиологии, но и неумного в своем платонизме богословия (кроме разве что А. Ф. Лосева). И если в советской России говорить о полноценной богословской и философской жизни вообще не приходилось, то в русском зарубежье наследие софиологии отторгли как умеренный христианский платоник В. Н. Лосский, так и его (частью младшие) современники, творцы неопаламитского синтеза.

Тем удивительнее, что в середине XX столетия в лице Даниила Андреева на российском пепелище появляется поэт и писатель, глубинно связанный с заветами и наследием русского символизма. К тому времени в России сменились не только исторические декорации, но и сами основания жизни, исходные условия творчества. Символисты начала века, соотнося всякую вещь с трансцендентным бытием, грядущими судьбами мира, лишали ее самотождественности и, «срывая мир с петель», находились в томлениях, предчувствиях, ожиданиях будущих катаклизмов. Культура упреждающего переживания светопредставления, превращение пророческого удела Кассандры в повседневное ремесло неотделимы от всего строя предреволюционной русской жизни. Привычный мир еще держался, «подгнившие» сваи стояли на своих местах, но душа, улавливающая знаки близящейся катастрофы, изнемогала, терзаемая духами разложения и мятежа.

К середине века исторический ландшафт неузнаваемо изменился. Только грезившийся в преддверии Первой мировой войны вселенский обвал совершился. И Даниилу Андрееву, которого занимали судьбы мира как целого,

предстояло не столько оплакивать разметанное мироздание, сколько восстанавливать его. Творчество писателя, черпающее свое оправдание и глубинный смысл в обновлении и конечном спасении мира, обрело черты теургические и мистериальные. В стихах и прозе Андреева ощутимы столь несвойственные былому символизму деловитость, чуть ли не пафос строительной площадки. Если прежние символисты в основном томили в предчувствиях свои души, то происшедшая на веку Даниила Андреева катастрофа уязвила не только общество, но и саму природу, объемлющий человека космос. И для спасения мира, коль скоро оно мыслилось чем-то большим, чем титанической претензией художника, было жизненно важно не разойтись с замыслом Божиим о мире, постичь софийное измерение твари. Принципом единства мира, основанием его гармонии становится у Андреева нравственная норма, универсальное посредствующее звено — Роза Мира, удерживающая мироздание в высшем, морально оправданном согласии. Душа поэта раскрывается всем стихиям, измерениям и слоям космоса и, сочетая их, стремится гармонизировать космические начала. Под пером Андреева символический строй мира нисколько не изменяет изначальному значению символа — связывать, соединять. Слово поэта как бы восстанавливает софийный лик мироздания. Но ценой творческих усилий автора оказывается его жизнь. Ибо там, где заходит речь о спасении мира, норма и символ, взятые как таковые, онтологически несоразмерны с поставленной задачей. Читая и перечитывая «Розу Мира», я не перестаю задаваться вопросом: не является ли эта проза косвенным доказательством того, что в XX веке человек обречен спасаться «как бы из огня», полагая судьбы космического реквизита на волю Божию?

Алла АНДРЕЕВА:

Я не литературовед, не филолог, не философ и не поэт. По своему ремеслу я художник, а по жизни имела счастье быть спутницей и женой Даниила Андреева. Может быть, это дает мне право говорить о его творчестве и личности, и, может быть, мои слова будут для кого-то важны именно в силу их полной литературной непрофессиональности.

Мы живем в разделенном, раздробленном мире. Раздроблена наша жизнь, все понятия, и понятие профессии тоже. Иногда еще соединяются в одном лице поэт и прозаик, но чаще даже поэты пишут или лирические, или гражданские стихи, а талантливая шутка породила пародиста как профессию.

Но если бы мы отправились в глубокую древность, босиком или в грубых сандалиях прошли по выжженным солнцем, пыльным или каменистым дорогам давних стран, то неминуемо встретили бы на одной из таких дорог человека, который был бы странен только нам, но в те времена всем понятен.

Кто он? Вероятно, и в древности, как и позже, вдруг в самой обыкновенной семье рождался странный мальчик и вырастал необычным человеком. Он слышал, а часто и видел то, о чем окружавшим его людям было известно только умственно. Такова уж особенность душевной структуры человека, наделенного религиозным чувством. Такими были и поэты Древней Эллады, и ветхозаветные пророки, и средневековые миннезингеры — не авторы куртуазных любовных песен, а создатели «Парсифаля» и «Тангейзера».

Люди этого строя воспринимали мир цельным, образным и слитым с миром иным. Для них религиозная, философская, поэтическая и музыкальная грани Вселенной представляли в единстве, не поддавались расчленению, нашей теперешней раздробленности.

Господней волей в семье значительного русского писателя родился и в семье московского врача вырос в нашем трагическом XX веке такой вот поэт, какие бывали в древности, — Даниил Андреев.

Еще одна черта роднит его с поэтами древности: его искусство не было самовыражением, проявлением самости поэта, но всегда было исполнением долга, завещанного Богом. Я была с ним до последнего мгновения его жизни и свидетельствую: он писал то, что слышал — духовным слухом, — и боялся только не успеть или плохо расслышать.

Думаю, именно этот строй личности Даниила Андреева послужил причиной странного факта — молчания, которым встречено серьезное явление рус-

ской культуры: выход в свет полного собрания его сочинений. Молчат те, кто, казалось бы, молчать не должен. А говорят те, кто уж лучше бы молчал: бестолковые и безграмотные горе-окультисты, бестолково и безграмотно цепляющиеся к своим бредням одно из произведений поэта — «Розу Мира».

Вероятно, стоит оговориться: я не приравниваю Даниила Андреева к Гомеру или к древним пророкам. Считаю, что распределение подвижников искусства по порядковым номерам — на спортивный лад — порочно по существу. Однако он — Даниил — из той же семьи, что и многие музыканты, которые записывали то, что слышали с небес.

Дорога музыки чище, она не засорена логикой. Поэт же имеет дело со словом, которым одним только и может передать услышанное. И здесь, конечно, невольно проявляются человеческие неточности и ошибки.

Каждый творческий человек работает в тех условиях, в которые поставлен судьбой. Они неминуемо накладывают отпечаток на его творчество. Так на все написанное Даниилом наложили отпечаток десятилетия коммунистического террора в России и страшная сталинская тюрьма, в которой созданы основные его произведения. Главное содержание жизни и творчества Даниила — преодоление окружающей тьмы. Преодоление во имя Божие — единственный путь преодоления зла.

Таким образом, встает вопрос о форме религиозности Даниила Андреева. Он был православным с рождения и до последнего дыхания, но был лишен той сектантской злобной узости, которая находит себе место где угодно. Творчество Даниила Андреева едино. Не только основные его произведения — «Русские боги», «Железная мистерия» и «Роза Мира», — но и целый ряд поэтических сборников и отдельных стихотворений говорят об одном и том же: о структуре Вселенной, о борьбе сил Света и Тьмы (отнюдь не в манихейском смысле), о грядущем всечеловеческом братстве. Именно эта последняя страстная мечта приводит к самой еретической идее автора — крайне неудачно сформулированному им понятию «интеррелигия». У Даниила Андреева, однако, содержание этого понятия кардинальным образом отличается от того смысла, который вкладывают в него адепты теософии или антропософии. Он говорит не об общей вере, но о со-верчестве — совместном неантагонистическом сосуществовании традиционных вер и конфессий «правой руки».

Никакой единой для всего человечества религии не будет и быть не может до той вершины нашей общей жизни, которая в христианстве называется Вторым пришествием Христа, или Последним Судом.

Но всегда, во все времена были люди, обладавшие особым свойством: они слышали не земное, а Божье время. Такими были первые христиане, ожидавшие немедленного пришествия Христа, такими были обезумевшие от страха перед близящейся кончиной мира последователи Аввакума и Савонаролы. Такими бывают поэты, и таким был Даниил Андреев в своей мечте о братстве и единении перед Богом всех живущих на земле. Он слышал Божью правду и Божье время, порой смешивая его с земным.

Самое страшное, с чем вступает человечество в третье тысячелетие, — это обезбожение мира, отречение от Церкви, потеря понятий греха и ответственности. Одним из путей возврата к Богу может стать искусство поэта такого масштаба, горения и такой направленности, каким явился перед читателем Даниил Андреев. На помощь здесь может прийти восприятие поэтом мира в его цельности, его сотворенности Богом, его сложности — от бездн миров Возмездия до светлых миров Восходящего Ряда. И не случайно такое восприятие Вселенной и такая торжественность поэтического звучания, родившись в лоне одухотворенной Православием русской культуры, явились в самый, вероятно, страшный период жизни России.



ПО ХОДУ ДЕЛА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

*

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ...

6 июля 1996 года в Санкт-Петербурге состоялось вручение литературных премий «Северная Пальмира» за лучшее произведение, изданное в Петербурге в 1995 году. Лауреатами премии стали: поэт Владимир Дроздов (книга «Стихотворения»), прозаик Андрей Битов (трилогия «Оглашенные»), критик и эссеист Борис Парамонов (литературно-критическая эссеистика), издательство «Пушкинский фонд» (за издательскую деятельность). По поручению жюри имена лауреатов оглашали: Александр Кушнер — поэтов, прозаиков — Валерий Попов, критиков и литературоведов — Борис Егоров, книгоиздателей — Андрей Арьев. Церемония проходила в зале Дома композиторов на Большой Морской, вел вечер г-н Березовский, оргсекретарь премии (не тот Березовский — не московский, не ОРТ). Присутствовали петербургские писатели, гости и представители прессы.

В тот же вечер петербургское ТВ показало телерепортаж о вручении премий, а затем появились отклики в газетах. Как водится, информативные или информативно-ироничные. Скажем, Андрей Немзер в «Сегодня» отметил «региональную» — рассматриваются только произведения, опубликованные в Санкт-Петербурге, — ущербность в самом замысле премии: «Увидьте собственные уши — покупайте зеркала, публикуйтесь в Питере» — и употребил словосочетание «могучая воля деньгодателей», по коей здесь награждают только «своих корешей».

Привычная реакция. О премиях так и пишут. С иронией. Даже не задаваясь вопросом, а почему, собственно.

Может быть, есть что-то в самой идее литературной премии, провоцирующее на иронию, что-то в основе противоречащее природе литературы?

...Нам трудно представить Карамзина, или Лермонтова, или Толстого суетящимися с рассылкой экземпляров своих сочинений в оргкомитет, хлопочущими о положительных рецензиях, надписывающими знакомому литератору — члену жюри свою новую книжку: «Человеку большого сердца и глубокого ума...»

На подобном фоне нынешние, озабоченные своим имиджем, могут выглядеть мелкими, жалкими и суетными. Могут выглядеть «плясунами», по выражению Милоша Кундеры, употребившего это слово в адрес политиков: политик-плясун вовсе не жаждет дела, даже не жаждет власти, он жаждет славы, и только, «он жаждет властвовать сценой, где могла бы всю развернуться его творческая личность» («Неспешность»). Сегодняшний потенциальный читатель оглушен и подавлен валом разнообразнейшей умело поданной информации, и для того, чтоб про тебя узнали, тебя заметили и прочитали, нужно еще суметь вклиниться в главное информационное пространство, помелькать на телеэкране промеж престижных лиц — политических обозревателей, фотомоделей, кутюрье и рок-звезд; впечатать себя в сетчатку глаза потребителя. «Раскрутиться» под взглядами кино-, теле- и прочих камер. А суета вокруг престижных премий как будто только для этого и создана.

Литератор пытается освоить навыки шоумена. Что плохо сказывается на его характере.

Премия — это вообще тяжелое испытание. Не говорю уж о самочувствии соискателей, идущих на церемонию оглашения победителей с заготовленной на случай «нобелевской» речью и потом под десятками взглядов вынужденных целый вечер «держат лицо». Есть более грустные сюжеты. Премия — это проверка писателя на систему приоритетов. Каждый про себя думает, что для него на первом месте — суметь воплотиться в слове («Ты царь: живи один»), а уж потом быть за-

меченным, быть отмеченным, прославленным. Но вот начинается, скажем, «букеровский год», и у меня, как и у каждого, вероятно, номинатора, всегда находятся двое-трое знакомых и полужнакомых, намекающих, подсказывающих, а то и настаивающих на включении своего сочинения в рекомендательный список; и видно, как омерзительны они сами себе, как корежит и корчит их (когда не корчит — еще страшнее), но сил удержаться нет.

...Впрочем, «зачем бесплодно спорить с веком?». «Мы все плясуны, как вы изволите выражаться... нам не дано выбирать эпоху, в которой мы живем. А живем мы под взглядом кинокамер. Они составляют теперь одно из условий человеческого существования. Даже участвуя в войне мы воюем под взглядом кинокамер» (Кундера).

Да и так ли уж отличается этот век от прошлого? Может, просто в старину другие были формы отслеживания своей популярности? Не было премий, но было ревнивое отношение к тиражам — у кого больше и чей быстрее разошелся. К гонорарам — они тоже, особенно к концу прошлого века, были показателями известности. Еще раньше — турниры поэтов: бардов, менестрелей... Короче, свой литературный быт.

Ну а помимо быта есть ли у премий этих хоть какая-то собственно литературная сторона или, если вопрос поставить по-другому, есть ли хоть какая-то нужда в институте литературных премий у самой литературы? «В самом деле... Если не в присуждении премии, то в неотрывном от нее ожидании (дадут? не дадут?) — нет ли чего-то унижающего искусство? Саму природу его, сопротивляющуюся расчету на первых-вторых?» (Ст. Рассадин, «Букер-95»).

Мне кажется, нужна определенная дистанция, чтобы увидеть некую присущую литературе потребность в определении, в оформлении, в утверждении и защите специфического пространства, общего для писателя и читателя, в котором или, точнее, благодаря которому она, литература, и может существовать. Литературное творчество — процесс в известной мере совместный. Попробуйте разговориться, быть остроумным, сердечным, неожиданным, попробуйте пережить сладостное для говорящего (пишущего) чувство высвобождения, чувство воплощения — попробуйте все это под взглядом недоверчивых, тупо-испуганных, непонимающих или равнодушных глаз. Да язык ваш сам пристанет к небу. И вы почувствуете, что никогда не были более нелепыми, громоздкими и ненужными. Взлет русской литературы в середине прошлого века В. Шкловский, например, объяснял еще и появлением конгениального читателя. Слушателя и собеседника. И добавим — возникновением и развитием «литературной инфраструктуры», всех этих кружков, журнальных полемик, редакционных собраний, а с 1881 года — и института литературных премий.

Литературные премии — одно из обозначений этого, совместного у писателя и читателя, пространства. Каково пространство, такова и премия. У нас появилась возможность сравнивать.

Сталинская, Ленинская, Государственная премии до последнего времени оформляли характерное пространство государственно-утопических идей, из которого — но лишь по возможности (нельзя же было вовсе лишать премию литературных признаков) — выкачивался воздух, и читательский, и писательский. В лауреатах на одного Твардовского приходилось по пять сартаковых, даже Брежнев отметился. Соответственно, в жюри премий, точнее, в Госкомитете заседали государственного полета мужи: Секретари Правлений, Академики, Лауреаты, Заслуженные и Народные. И обставлялось — зал в Кремле, речь говорит Ответственнейшее Государственное Лицо. И лауреат в речи своей не про святое искусство, а «государственное» отвечает: «Награду эту принимаю как аванс, который мне еще предстоит отработать на благо родного народа и правительства».

А нынешние премии?!

Домодельные какие-то. Нет в них ауры горних кремлевских высот, откуда спускался луч света и возносил писателя к небесам.

И лауреатство нынешнее какое-то «ненастоящее». Те премии давались на всю жизнь, как звания «заслуженный», «народный», как воинские знаки отличия, обязательные для субординации, — кому полковничьи, кому маршальские. А Букеровская премия или Пушкинская? Сегодня тебя чествуют — а завтра, нет, даже сегодня над твоей книжкой в газетах могут поиздеваться.

И никаких потом изданий массовым тиражом.

И денег... Кстати о деньгах. Вот тема, в разговорах о премиях почти не возникающая. То ли деликатничаем, а может, действительно, как заметил Рассадин, здесь особенно и обсуждать нечего: «...по моему наблюдению (опять-таки — удив-

ленному), при всей нашей широко декларируемой и, увы, непридуманной бедности означенные «страсти» направлены в первую очередь отнюдь не на их дележку». Похоже, так оно и есть: если скажут устроители, что премии и дальше будут, а денег к ним — нет, соискатели, конечно, огорчатся, но ряды свои не покинут и премиальные страсти ни на градус не снизятся.

Но может быть, хоть какие-то литературные льготы дают эти премии?

Нет. Кроме морального удовлетворения — НИ-ЧЕ-ГО.

И это замечательно.

Новые литературные премии прежде всего — цеховые премии. И соответственно этому — читательские. Премии той литературы, что рассчитана на чтение, а не «служение». В их жюри входят люди, известные и уважаемые прежде всего как профессионалы. Можно не соглашаться со вкусами и предпочтениями членов этих жюри, но будем помнить, что дело именно во вкусах и уровне понимания искусства, а не в комплексе внелитературных (идеологических или «государственных») установок. А погрешности вкуса или излишняя обходительность членов жюри компенсируются их регулярной сменяемостью и самими принципами новых премий.

И все-таки: не унижает ли литературу соревновательность, расчет на первых-вторых, истинных-неистинных? Мне тоже кажется, что введенное В. Шкловским понятие «по гамбургскому счету» в литературе невозможно. Но вот странность: одновременно нужда в «гамбургском счете» живет в литературе как потребность внутренняя. Даже лауреатствующим классикам «секретарской литературы» зачем-то нужен был некий знак извне, удостоверяющий их причастность именно к искусству, а не культурно-государственному пространству. Может быть, единственное, что и оставалось у них человеческого и литературного, так это их неутихающая, почти маниакальная ненависть к этим — малотиражным, ничтожным в чиновном отношении, но позволяющим себе быть талантливыми, позволяющим себе заниматься литературой как искусством. Так, повторяю, было всегда. Что бы ни говорил многотиражный, прославленный Булгарин про аристократов в литературе, он понимал, что его неравенство, с Пушкиным например, — литературное. Или наш «звездный» современник Юрий Власов, «культовая», как сказали бы сегодня, фигура 60-х — Чемпион; в 70-е — писатель, сумевший написать о своей судьбе в спорте не мемуары спортсмена, а полноценную прозу, в 80 — 90-е — популярнейший политический и общественный деятель, кандидат в президенты страны, автор грандиозной по объему и по солженицынскому почти замыслу исторической эпопеи «Огненный крест». Однако издание ее, разошедшееся огромными тиражами, так и не стало литературным событием для определенного круга профессионалов и высококолых читателей. И хотя у сочинения его широчайший круг читателей, но вот поди ж ты — точит прославленного человека факт его отсутствия в собственно литературной иерархии. И как ни уговаривай, ни успокаивай себя, что причина вся в выродках инородцах, захвативших средства массовой информации, а — нет спокойствия.

И получается, что тоска по «гамбургскому счету», по некой «истинной» литературной иерархии — даже при ясном понимании природы литературы — тоже литературная реальность. А иерархию эту — в послереволюционной России чуть ли не впервые! — литература пытается установить с помощью новых независимых литературных премий.

...Мой, возможно, пылкий излишне текст в защиту новых литературных премий был бы, наверное, немного смешон (чего ломиться в открытые ворота — кто ж с тобой спорит?), если б, увы, не контекст. Не тотальная ирония в их адрес, ставшая признаком хорошего тона.

Меня, например, не очень волнуют упреки в том, что вот продались всяким англичанам и немцам — как может русская литературная премия быть меченой именем английского промышленника?! Досадно и мне, что, в отличие от «Северной Пальмиры», тут нет отечественных спонсоров. Но ведь не умаляется же в нашем сознании нобелевское лауреатство Бунина или Шолохова из-за имени основателя премии? Ни разу не слышал об участии в заседаниях жюри Букеровской или Пушкинской премий г-на Букера или немецких «деньгодателей» — их представители, разумеется, присутствуют на церемониях вручения, участвуют в организационных вопросах, но они никак не вмешиваются в те литературные иерархии, которые выстраивают эти премии.

Удручают нападки с другой стороны. Ирония — вещь замечательная. Одно из проявлений свободы и независимости, одно из средств эту независимость сохранить. Грустно только, когда ирония обращается на саму свободу...

И еще раз — о премии «Северная Пальмира».

Существование ленинградско-петербургской литературы — миф, заметил в газете «Сегодня» Андрей Немзер. И, соответственно, идея сугубо петербургской литературной премии нелепа: литература на регионы не делится. Абсолютно справедливо. Действительно, определенные ограничения — петербургская прописка публикаций — несколько уменьшают значимость этой премии. Но отнюдь не убивают, не делают ее сугубо региональной. В премии могут участвовать, и участвуют, литераторы независимо от места проживания: в этом году в число финалистов вышли Светлана Кекова из Саратова и Борис Парамонов из США.

Посыл тоже не кажется безупречным. Миф или нет — «питерская словесность»? Спор давний, есть множество суждений на уровне литературного быта (см. заметки А. Кушнера — «Новый мир», 1996, № 5) и литературоведческом — замечательная статья В. Вейдле «Петербургская поэтика» (1968 год; заметьте: даже не «поэзия», а «поэтика!»). Но критерии здесь, как мне кажется, еще не сложились окончательно. Потому предлагаю обратиться к собственным ощущениям и представлениям. Две культурные столицы. Что-то вроде обоюдного комплекса неполноценности. Ревнивое отношение одной к другой. Впрочем, достаточно корректное и уважительное. Тщательное культивирование разграничения на «московских» и «петербургских». В прошлом веке еще начатое. До нашего времени дошедшее. Как, скажем, неофициальное противопоставление по этому признаку пар: Пастернак и Цветаева — Ахматова и Мандельштам. 60-е годы: Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Рождественский (Москва) — Бобышев, Бродский, Кушнер, Найман, Рейн (Ленинград). Никуда не денешься, не только мне в этих рядах видится что-то сугубо «московское» и «петербургское». Понимаю, насколько произвольно строятся ряды, они могут быть и другими. Но не будем слишком уж серьезны в этой игре.

Ситуация с таким вот соперничеством при наличии двух культурных столиц неизбежна. А может, и плодотворна.

Петербург сохранился как один из самых прекрасных и «внятных» городов, воплотивший в своем облике два века русской культуры. И непроизвольно переносишь почти физическую впечатанность этого города в историю и культуру на людей, с которыми общаешься. Морок, конечно. Самовнушение. А может, и нет. Похоже, что сохранился тип, характер ленинградца (петербуржца), в Москве же, увы, — только тип столичного жителя, но не коренного москвича (наблюдение не мое — Кураева). И часто, но это, может быть, только моя мнительность, чувствуешь себя в разговоре с петербургскими коллегами чем-то вроде пустой грохочущей бочки — в этом городе и с этими людьми можно говорить медленней, тише, сосредоточенней. Тебя услышат и поймут. (Здесь никакого унижения — свой город я люблю.) Самоощущение этих культур, скорее всего, действительно миф. Но как раз тот миф, который для литературы и есть реальность.

А идея ПЕТЕРБУРГСКОЙ премии, воплотись она в жизнь, ей-богу, — замечательная идея. Общероссийская литературная премия, критерии которой были бы взращены именно Петербургом. Историческая значимость этого города для культуры России, сегодняшнее состояние его литературы вполне соотносимы с масштабами такой задачи. Почему нет? Тут, мне кажется, излишняя патристичность устроителей — рассматривается только опубликованное в Петербурге — в известной степени поменяла критерий эстетический на чисто географический¹.

¹ Я не очень понял, каким образом региональные ограничения в условиях премии дали Немзеру повод усомниться в том, что эта премия НЕЗАВИСИМАЯ, и предположить, что устроители премии «полностью подчинены могучей воле деньгодателей». Доказывать порядочность людей, которыми представлено жюри «Северной Пальмиры», мне кажется попросту неприличным. Впрочем, сам критик «недоверия судьям» не выражает и специально оговаривает это обстоятельство. Проскользнувшую у обозревателя «Сегодня» подозрительность отнесем на счет все того же ревнивого внимания «москвичей» к «питерцам».

КНИЖНИК ОБЗОРИЕ

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

Владимир Бурич. Тексты. Книга вторая. Стихи. Парафразы. Из записных книжек. М. 1995. 352 стр.

Вторая, посмертная книга Владимира Бурича (1932 — 1994) — практика и теоретика новой волны русского свободного стиха — издана Музой Павловой, женой поэта. Она дополняет первую, как подводная часть айсберга надводную. И не столько стихами, сколько личным, биографическим материалом, той реальностью мыслей и впечатлений, что сгущаются в сон творчества. Ее дополнительность, подчиненность первой и главной книге подчеркивается тем же названием и тем же оформлением.

На черном поле обложки — белый квадрат. Не только как символ вечного противостояния света и мрака, но и как полемика с черным квадратом — ведь в белом — для Бурича — «всегда тайна и возможность». Черно-белый контраст, вынесенный на обложку, — это еще и характеристика сознания поэта, романтически поляризованного («или — или»), поэта, прожившего жизнь — прежде всего литературную — по принципу инакомыслия: «Я думаю иначе — следовательно, существую».

Инаковость становится экологической нишей, в которой личность с высоким уровнем самооценки может сохранить себя. И поэтому поэзия для Бурича — «не отражение действительности», но «одна из форм психологической адаптации, прикладная психология». И в качестве таковой она не нуждается, по Буричу (словами Пушкина), в «условных украшениях стихотворства».

Открывают книгу символы противостояния (в этом стиле и фотография поэта — «бодящий Бурич»), закрывают — взаимопроникновения: железная ограда, «ассимилированная» деревом. Четкая графика стихотворений, их «последовательный рационализм» нейтрализуется в итоге многозначительным образом-символом. Что это — светлый радио расписывается в своей беспомощности или трезво осознает пределы, которые ему не доступны?

«Я не верующий, а думающий, / Сомневающийся я», — признается поэт. Вся гуманистическая культура выросла на таком фундаменте, правда вследствие этого постоянно колеблемом и проверяемом на прочность. «Гуманист-одиночка» (самохарактеристика), Владимир Бурич обходится без смысла жизни, но признает ее цель — биологическую адаптацию. И тогда, по Буричу, не существует литературы хорошей и плохой, а есть литература адаптирующая данного индивида или нет.

Поэтому поэт и писал о том, что в любом социуме и во все времена встает перед каждым человеком, о том, ради чего люди обращаются к искусству и религии, а если те не дают спасительных ответов — к алкоголю и наркотикам.

Стихи мои
профилактические прививки
от страха
отчаяния,
ужаса смерти.

В стихотворении, открывающем книгу, вечная тема неизбежного старения и убывания жизни воплощена в образах еще недавно современного ритуала. Жизнь проходит, как демонстрация трудящихся. Жизни перепадает казенного оптимизма, только оттеняющего трагизм бытия, а демонстрация приобретает характер тягостно-повторяющегося мифа. Личность оказывается под двойным гнетом социального и природного. Сознание фиксирует положение в дурной бесконечности, из которой выход только один — за пределы жизни. Но следующее стихотворение напоминает: ты не вправе распоряжаться собой, ты «на вершине стройплощадки, называемой родом», ты — «единственное, из-за чего они жили».

Сознанию поэта присуща жесткость познающего разума. И прежде всего по отношению к самому себе («и снова / желание заглянуть в себя / в дырочку от

пули»). Бестеневое освещение операционной преобладает в стихах Бурича. Поражает сочетание в одном человеке инструмента и объекта исследования. В сущности, единственное, чего он по-настоящему боится, — это «умереть на самом интересном месте». Вероятно, это так и случилось: он умер в Македонии, во время Стружских вечеров поэзии, после яркого, взволнованного выступления.

Бесстрастно «любопытные глаза» — обязательный атрибут поэта, по Буричу, — компенсируются постоянным ощущением себя «внутри удара и боли», что и превращает его предельно лаконичные, холодновато-сдержанные стихи в сгустки целебной энергии. Метод Бурича, в сущности, акупунктура: легкие, отвлекающие поглаживания и — точный, всегда неожиданный укол с расходящимися волнами ассоциаций.

Дуешь в волосы своего ребенка
Читаешь названия речных пароходов
Помогаешь высвободиться пчеле из варенья
Каким предательством ты купил все это?

Он не покупал ни житейского, ни литературного благополучия. По его глубокому убеждению — «жить стыдно». Вообще жить. А не только хорошо или, скажем, за границей.

Даже соглашаясь с Буричем («Мы отстали на целую стихотворную систему, более точно отражающую психологию современного человека»), хочется заметить, что любой стих — это всего лишь методика. Она вовсе не гарантия успеха, скорее, веяние времени, предлагающего иные технологии. В поэзии, разумеется, все определяется уровнем личности. Ее технологические предпочтения — всего лишь добавочная информация о ней самой, так же как и ее современность — всего лишь радужная пленка на поверхности вечного источника. В сущности, совесть — единственная традиция русской поэзии. И в этом смысле Владимир Бурич — поэт вполне традиционный.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.



ПРЕДШЕСТВИЕ — И ШЕСТВИЕ ВПЕРЕД

Сергей Бирюков. Знак бесконечности. Стихи и композиции. Тамбов. 1995. 147 стр.

Сергей Бирюков. Gloria tibi. Московский Государственный музей Вадима Сидура. 1995. 16 стр.

Любителям современной поэзии представлять Сергея Бирюкова нет необходимости. Поэт хлебниковской школы и одновременно строгий академист, филолог, историк и теоретик нетрадиционных, игровых форм русской поэзии, он основал в Тамбове, где живет и преподает в университете, ни больше ни меньше как Академию Зауми.

Еще он — автор уникального по замыслу и замечательно составленного учебника «Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма» (М. 1994), посвященного «нестандартному стихосложению» и его многообразным, зачастую отважно экспериментальным формам. Хрестоматия, с одной стороны, согласно официальным социологическим опросам, вошла в десятку лучших книг года, а с другой — удостоилась чести быть внесенной самим Феликсом Кузнецовым в «черный список» вреднейших школьных пособий, которые в случае долгожданной смены идеологической розы ветров надлежит из библиотек — изъять.

Итак, Сергей Бирюков — личность недюжинно одаренная: лишь в «провинции», в глубинке (недаром это слово — вслушаемся — является ласкательным от мощного г л у б и н а), в несуетном подвижничестве мог зародиться, укорениться и расцвести такой свежий и ни на кого не похожий феномен. Как бы Хлебников (стихи, стихийность, органика, лирическая иррациональность) и Брюсов (сухая теория, параграфы, изошренность, рацию) в одном лице. Помните, Маяковский сказал, что Хлебников — создатель «целой периодической системы слова»? Так вот Сергей Бирюков и вдохновенно продолжает создание этой периодической системы, и — параллельно — строит ее чертежи, подсчитывает и классифицирует.

Ну кто бы еще из поэтов поставил эпиграфом к лирической книге фразу из Вильгельма фон Гумбольдта?! Однако рационалист и филолог вовсе не теснит из

бирюковского мира блаженного безумца — они захлеб и плодотворно соседствуют. Интересно, что это собственное свойство Бирюков четко осознает и, более того, считает важнейшим для человеческой природы вообще. «Человек изначально раздвоен — он стремится сохранить стихийность своего существования и при этом не может отрешиться от постоянного познания окружающего мира и самого себя, т. е. макрокосма и микрокосма», — пишет он в «Зевгме» в связи с палиндромичностью, но формула получается невольно автопортретной.

...Пока играет Вятка в прятки,
Тамбов не понимает шуток:
Затронь — в любое время суток
Воронежу отдавит пятки...

Стихи Бирюкова отличает особая словесная музыка, которая заряжается из двух источников — фольклор и авангард (что, кстати, идет в параллель с наиболее перспективными современными композиторскими поисками).

Недаром лирика его переполнена не только реминисценциями из русской поэзии от Ломоносова и Державина до Слуцкого и Вознесенского (что естественно), но и отсылками к Скрябину и к другим великим русским новаторам музыки.

...встал посреди кривого леса
один из гибкого железа,
другой из хрупкого железа
с отчаянием новичка:
Стравинский в роговых очках,
Прокофьев в роковых очках, —

в этой строфе зрительный, сюрреалистический ряд внутренне связан с тонкой ритмико-интонационной асимметрией.

Реминисцентность Бирюкова настолько живая и страстная, что речи о вторичности идти не может: жизнь и словесность, трава и буква, гром и рифма для его чувственной иерархии — понятия равные («какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различать, что ближе — железнодорожный мост или „Слово о полку Игореве”», как сказал о Хлебникове Мандельштам).

Как просторно
в самом себе,
огарок цитаты
светит далеко.
Видишь, там
скользнула мысль,
похожая на рыжую белку?
Осторожнее переступай
черту горизонта,
за ней может оказаться
бездонная
ВЕЛИЧИНА...

Как пронзительно сказано: в самом себе, где поэту и просторно, и свободно, светит огарок цитаты! Если продлить эту метафору — огарок может догореть или быть задут ветром. Еще он может спалить внутриличностное пространство. Уверена, впрочем, что ни то, ни другое Бирюкову не грозит — его органика выдерживает наплывы «чужой литературы».

Сквозной, на подсознательном уровне варьируемый образ этой книжки — ветка, ветвь, ветвенье (и близкие к этому образу — прутья, колючки, плоды, шипы, ягоды, желуди, крона, а также корни и комли). Другой столь же любимый поэтом образ — само слово и его синонимы: стих, имя, строка, глагол, письмена. Интересно, что часто две эти подсознательные стихии в строках Бирюкова сходятся:

Новый сад подрастал
терпеливо.
Где-то новый глагол
пробивался.

Если здесь родство отдаленностей выражено в рассудочном параллелизме, то в других случаях метафора закручивается стремительнее: «шалые песенки ветвят-

ся» или «Хлебников — шелестящим орешником». Это, между прочим, и есть один из образцов *зевгмы* — настоящий поэтический термин идет от древнегреческого слова, которое означает запрет на словораздел между определенными слогами, а шире — между образными рядами или стилистическими линиями. Этакая связка, «спряжка», мост.

Поэзия Бирюкова полна диковинных и рискованных *спряжек*. Он, например, любит играть масштабами, что сродни и фольклору, в частности — лубку, и детскому творчеству, и, конечно, в первую очередь наироднейшему поэтическому родителю и радетелю (я на глазах заражаюсь и заряжаюсь тягой к корнесловной игре нашего поэта) — великому «Председателю Земшара» Велимиру.

Город, рельефом тайным,
вспучиваешь строку.
Остров необитаемый
на спине волоку.

Поэт по-свойски, но без панибратства обращается с географией, с историей, с праречью. Хороши его зарисовки, в которых зрительная точность сопряжена с психологической:

На вышке
молчаливый часовой
пускает «зайчика» штыком.

Бирюкова можно — его же собственными словами про другого художника — назвать «стирающим грань / молчания — речи / жизни — смерти / человека — травы...».

Строки эти — об Андрее Платонове, втором после Хлебникова любимом художнике нашего автора. Кстати, неочевидная близость того и другого ждет еще своего исследователя: новизна речи у одного — через словотворчество, у другого — через инверсированную фразу, ставка на «юродивого» героя как на единственного и впрямь героя страшной эпохи нормальных нелюдей, подлинная космичность неангажированного сознания... Композиция Бирюкова «Платонов — всегда» полна авторефлексии и откровений: его кумир — прозрел невидимое... соединил взрывом небо и землю... жил верой в то, что рожденное не умирает...

В мир Сергея Бирюковаходишь с доверием и благодарностью. Веришь, что «буквы сходятся в битве» и что «мир может хрустнуть вдруг на сгибе и слово легко войною оскорбить», что «творить — любить» есть равенство. И сотворишь поэту, пробующему слова на зуб: «бросок и барс — единые понятия» или «тропа стиха, глухая сила трóпа». В этой перворечи далекие слова в звуке обнаруживают непререкаемое родство смысла (и здесь нельзя не подумать о цветаевских уроках) — они открывают поэту свою не то застенчивую, не то высоколобую суть. И делают это исключительно в ответ на его преданность.

...а я люблю слова
и каждое мне жаль
и боязно как будто за ребенка
когда его пускаешь в мир
а он в слезах приходит
а тех кто понимает и
не гонит —
тех единицы
все наперечет.

Пожалуй, такого нежного и непритворного объяснения в любви слову я в нашей поэзии не припомню.

Хочется верить, что работа Сергея Бирюкова и в поэзии, и в стиховедении будет оценена по достоинству, пускай и «единицами». Впрочем, подлинная лирика и должна нравиться единицам (бывает, много-, а бывает, и малочисленным), а не многонулевым общностям.

Нам непривычен
облик-Хлебников.
Не угадали — это он ли?

Деревьев выстывшие комли
 давным-давно
 не ждут посредников.
 Но до столицы и до Вятки
 вы чуете дрожанье ветки.

Мы чует дрожанье ветки.

Татьяна БЕК.



«КАК ВДРУГ РАСТОРМОШЕННАЯ ЗОЛА...»

В. Гандельсман. «Там на Неве дом...». Роман в стихах. СПб. Пушкинский фонд. 1995. 145 стр.

Владимир Гандельсман — герой нашего времени: лишний инженер, котельный поэт, не был, не состоял, не печатался, не молод. С догуттенбергского острова снят адмиралтейским корабликом (имеется в виду эмблема нью-йоркского издательства «Эрмитаж»). Гандельсмановский «Шум Земли» до родных берегов дошел, поэта стали широко печатать журналы, вышли две книжки. Все обычно, типично, если бы не одна деталь: одна из этих книг — роман в стихах. Вроде бы теперь такое не пишут.

Интересно, дают ли Букера за роман в стихах? «Не знаю — не пробовал». А почему бы не попробовать, правда на нашей стороне. Роман в стихах — это роман, не так ли? А стихи чему могут помешать?

Не знаю, соблазнился бы Гандельсман, лирик с осязаемым дыханием «я», задачей написать роман в стихах, если бы не было у него права (переданного по наследству всем русским поэтам Пушкиным) на лирические отступления — не только права, но и обязанности: роман в стихах немыслим без них, ибо не существует как жанр вне соотношения с «Евгением Онегиным».

Но и у лирических отступлений есть свои обязанности по отношению к эпической основе романа. В то время как существует уже около века школа романа, как бы приглашающая таких поэтов, как Гандельсман, вступить в соревнование с прозаиками, — например, в поисках утраченного времени (и в самых разнообразных находках), перепрыгивая через сюжет в одно сплошное лирическое отступление, — русский роман в стихах пока не забывает о своем источнике и не отказывается от эпоса, хотя и позволяет лирике все шире на него наступать. Лирическая поэзия и так давно уже вытесняет эпическую, и не всегда на законном основании; просто (как не без ехидства замечает наш автор) поэты в свое время обнаружили: «Реальность чувств не трудно описать, / но вот реальность, вызвавшую чувства, / куда трудней...» В этих двух реальностях и пытается существовать «Там на Неве дом...».

Название романа обозначает место (и заодно поэтический пейзаж — взгляните: там на неведомых...); время романа — «застой», вернее, это время сюжета, а время лирики простирается до раннего детства — 50-х годов. Сюжет не сложнее, но и не проще онегинского, автор чертит эвклидовы и неэвклидовы любовные треугольники, но не их наложение — «реальность, вызвавшая чувства». Это два детства — «румяного пионера» и бледной девочки из коммуналки, сооруженной в Царскосельском лицее; это служба «лишнего инженера»; альтернативное ей существование — в «котельной» или дурдоме. И, разумеется, город, Город. Все это «там на Неве дом».

В стенах этого дома раздаются только легкие, звучные, объемные терцины — переливы иронии и нежности, беспечные шалости пера и парение в лазурных высях речи. Элегантный стих. (А каким еще пристало писать роман в стихах?)

«Как слово «бытие» заострено / в последнем слоге! Слово бы иголка. / В нем «бы» — ушко, открытое окно, / в него продет жасмин, как нитка шелка, / или — суровой ниткою — зима, / (весна слюнявит пальцы втихомолку), / в него слетает осень — бахрама / с периметра хрустального осколка».

Первая глава — о детстве, ничуть не менее райском, чем детство Никиты, Николеньки Иртеньева, Володи Набокова.

Начнем с двора. Мы тоже из дворян
отечественных и послевоенных.
Хоть нас крестил, как водится, тиран,

но двор был из дворов благословенных,
что явно не входило в общий план
по производству ценностей нетленных...

Повсюду дров намокших штабеля,
копит, расштукатурясь, кочегарка,
вокруг нее оттаяла земля.

Прогулка. Голове под шапкой жарко.
Снег сладко-липкий. Около нуля.
И дворничиха, старая татарка,

из прачечной несет мешок белья.
Ее сережки вспыхивают ярко,
как вдруг растормошенная зола.

Если и нет достаточных оснований передавать эстафету энциклопедии русской жизни этому роману в стихах, то первую главу вкупе с третьей, о детстве героини (печальном, детстве-душе, дополняющем детство-тело мальчика), без преувеличения можно назвать энциклопедией детства в поэзии. Вообще говоря, ребенок — изгой серьезной поэзии, в словесность он допущен лишь на территории прозы. Ребенок только-только рождается в поэтической плоти. (Мы говорим о живых детях, а не о их бледных тенях.) И повивальная бабка — Владимир Гандельсман; половина стихов в сборниках «Шум Земли» и «Вечерней почтой» — о детстве, о доме, и все это — пронзительная лирика. Муза посетила этого поэта впервые при таких обстоятельствах: «И свет, что так ярко, и страх, что внезапно берет, — / впервые горят над купаньем грудного дитяти».

За детством, потерянном раем, в романе сразу следует ад — советская служба молодого специалиста: «Владимиру с утра не по себе, / ему не в радость жизнь, по крайней мере — / на службе, именуемой КБ. / Он думает: пейзаж для Алигьери. / И если замыкать десятый круг, / то — накоротко и на инженере». Каждый второй из нас увидит себя в этом «образе лишнего человека», но и не только в качестве социального типажа; Владимир — человек, которого каждый должен преодолеть: «прыщавый юнец», конформист. Таковым он и живет, не замечая этого, всю жизнь. Он из тех, кто воображает себя поэтом среди черни, хотя сам плоть от плоти ее. Такие люди живут очень активно, вот и в романе главы, посвященные Владимиру, не могут пожаловаться на недостаток действия, на засилье лирических отступлений. Активность Владимира отдает мертвенностью. Видения смерти не покидают его и на любовном свидании: «Смерть. Где-то здесь. Не дышит. Как в шкафу / любовник из плохого анекдота. / Как ф.и.о., занесенные в графу. / Запри. Зачем. Я стражду. Неохота. / И кстати: не работает замок. / Плутровка. Не почи- нишь ли. В два счета». В таком спазматическом стиле написана вся пятая глава романа, объявленная автором как дневник Владимира, законспектировавшего шаг за шагом сутки своей жизни. Это еще одна энциклопедия в романе — энциклопедия распада души.

В четвертой главе роман превращается в эпистолярный. Переписываются между собой две эпохи — «оттепель» и застой, или гражданская поэзия с лирической. Шестидесятник-диссидент угодил в дурдом и забрасывает оттуда младшего брата, «котельного поэта», письмами на тему «Печально я гляжу на ваше поколение»: «Вот поколения вашего стезя: / озлобленность и трусость вам привиты / с молодых ногтей, замечу между строк, / что если по нетрезвости Никиты / нам отломился возду- ха кусок, / то вас как будто не было, вы сыты / столь тайною свободой (видит Блок!), / что позабыли, где она, квиниты... / Павлушенька, прощай. Я одинок».

Не сломленный советской властью, старший брат трогается умом, глядя на потомков. На гневные, скорбные и справедливые упреки брата младший отвечает, что любое политическое направление — «лишь степень истощения жизнелюбивых и творящих сил». Или: «Что предлагает разум? — неучастье, / по мере сил, в сою- зах (тех, что «за», / и тех, что «против», — это равнозначно)». Свои письма поэт наводит образами мира, рожденными той восприимчивостью, какая может вы- жить только в состоянии «неучастья».

Как до отказа тесный апельсин
набит росистой мякотью, как явлен,
как собран в капилляры, как един,

как тишине внезапной предоставлен;
лишь почитатель медленных картин
увидит: с белоснежною прокладкой

под кожурой — увидит — апельсин,
и улыбнется теме кисло-сладкой.
Лишь тот, кому не спится в этот час,

кому над ослепительной и краткой,
живой строкой склоняться всякий раз,
и вновь над ней склоняться, как над грядкой,

не надоело, — счастлив без прикрас.
Лишь тот мой брат, кто бодрствует украдкой,
к скрипучей лире стула прислонясь.

Короче говоря, шуму дискуссий он предпочитает «шум Земли». Ответить на вопрос, кого из братьев автор считает правым в их споре, не составит труда: того, за кого он пишет стихи лучше. Вкус читателя решит спор.

Герой отказывается не только от политической борьбы, но и от любимой женщины — вот когда классический треугольник (Я, Ты, Он) замещается неэвклидовым (жизнь, любовь, искусство). Так законченно пережил поэт любовь в воображении, что убежден, что путь ее пройден, а дальше лишь «позор и поражение» жизни. Но не беда: «...схима отречения тайком / в стихе сумела так преобразиться, / что отыграла счастье целиком». То счастье, которого нет, а есть покой и воля?

В романе шесть глав, больше тысячи стихострочек, две реальности. Так какая из реальностей — «реальность чувств» или «вызвавшая чувства» — реальнее в этом произведении? Пусть ответят терцины.

Абсурда нет. Есть только абсурдист,
суть — человек, уставший от культуры.
Не верь ему. Он на руку нечист.

Пусть отрокам прыщавым строит куры.
Когда преображает белый лист
стихотворенье правильной фактуры,

сермяжные вопросы бытия
(допустим, время) — попросту помарка...
И если записал когда-то я,

что дворничиха, старая татарка,
из прачечной несет мешок белья
(ее сережки вспыхивали ярко,

как вдруг растормошенная зола),
то эхо специфического шарка
ты слышишь и теперь из-за угла.

Лиля ПАНН.

США.

*

ОТТЕНКИ ТРЕВОЖНОГО

Геннадий Калашников. С железной дорогой в окне. Стихотворения. М. «Книжный сад». 1995. 127 стр.

В 1984 году вышла первая книга Геннадия Калашникова «Ладонь». Книга пресовала мир наших общих ощущений времени, которое Калашников выразил особенно остро, не выходя при этом на открытую эмоциональность. Тогда в статье, названной цитатой из Калашникова — «Насущный звукоряд», я писал об эпических мотивах, о философичности поэта, об оппозиции «пространство/время»,

о том, что пространству отдается решительное предпочтение, о пластичности его стиха. На самом деле за всем этим стояла печаль. Печаль несовершенства мира и себя как его части (или мира как части себя) преобладала в книге.

Десять лет спустя — когда наконец вышла еще одна книга поэта — печали не убавилось. Может быть, она стала со временем более классической...

...Поэт — существо отдельное. Любые попытки приспособить его к текущему моменту — занятие бесплодное, если не преступное. Поэт и сам может попытаться себя приспособить — и тогда гибнет.

Калашников не пытался делать этого раньше, не пытается и сейчас. У него «железная дорога» не некрасовская и не блоковская. У него «железная дорога в окне» — формула Боратынского, по которой «век шествует путем своим железным», в конце XX века кажется излишней. Сейчас достаточно записать точно: «железные прут поезда», чтобы потом аукнулось: «железные прутья из стен проросли».

...Геннадий Калашников — поэт закрытый, прикровенный. Из стихов вы почти ничего о нем не узнаете, кроме того, что он нежный. Этого ему скрыть не удастся.

В июньских Сокольниках шторка
раздвинулась дождевая.
Как хлеба шершавая корка,
теплом отдает мостовая.

И как часовые пружины,
что время свое отсчитали,
на лужах лежат недвижимо
бензина павлиньи спирали.

Земным воплощением мига,
весь желтыми бликами краплен, —
трамвай, пробегающий мимо
деревьев, роняющих капли.

Выписываю это стихотворение для тех, кто не утратил за железобетонностью жизни ощущения красоты мгновения. Повторить такое ощущение, видимо, невозможно. Признак истинной поэзии: каждое новое стихотворение — новые поиски входа в чувство. Именно поэтому пишутся или не пишутся новые стихи.

...Очень трудно что-либо назвать прямо. Каждое слово несет на себе груз наслоений. Слова слишком захватаны. Поэтому Крученых называл лилию «еуы», а Дмитрий Петровский уже вносил в свои стихи *еуы* как реальное слово. Калашников работает совсем в другой системе. Меня иногда поражает его какая-то детски-наивная вера, что из слов вполне общих можно сложить еще одно стихотворение. «В строке стоят слова, / их мяла и месила / и втиснула сюда / неведомая сила. / Насущный звукоряд / с волною ударений, / они заговорят / без всяких ухищрений». Хотя и он не избегает искуса соединения слов не только «посредством ритма», но и посредством переноса значений.

Я хочу, чтоб на слове полопалась кожа,
и нежнее, чем свет, и болезненней яблочек глазных
твоих пальцев касанье, рифм кощунство... Быть может,
если только я есть, я весь в пальцах твоих.

...Он редко выходит за пределы регулярного стиха. Для него это род опоры. Внутри него он чувствует себя естественно, как будто это не только оболочка, но и суть:

И я припомню хрупкий взгляд,
который в прошлом затаился
и вот за строчкой приоткрылся,
как бы случайно, наугад.

В его стихах постоянно ощущение — вот-вот что-то оборвется, исчезнет навсегда; какая-то неуверенность в прочности этого мира.

Всего со всем слепая связь:
вот лист кленовый опадает,

он словно что-то обрывает,
желтея, трепеща, кружась...
Щемящий, сладостный полет,
необъяснимей единенье...
И сердце медленно замрет
и повторит его паденье.

Мир вообще видится ему «продолженьем смутных снов», сотворенный «младенцем, а не взрослым», где ветер издает «колыбельный стон». Младенец, ребенок — может быть, центральный образ калашниковского мира. Образ, которым мотивируется первозданность и непрочность этого мира. Плач ребенка в полутемном вагоне «упорен», но слаб, как пламя свечи. И сам поезд движется, «как ведро в глубь колодца», которое неведомо, вынырнет ли...

В этом мире тревожно, умиротворения не наступает ни от алмазного дневного луча, потому что он «кольнет» — как будто кольнет сердце, ни от осеннего листопада, который такой «сердцевидный».

...Неуверенность, тревожность, трепетность. Мерцание полутонов. Схожие «краски» мы разглядим разве что у Иннокентия Анненского, в его бесконечных вариантах «мучительного». Поэта, подобно Калашникову столь последовательно фиксирующего мельчайшие оттенки тревожного, не так легко отыскать в современности.

На странице 66-й, раскрывшейся случайно, я уткнулся в стихотворение, которое таинственно тянет к себе:

Непрочно, словно иней,
Бесплотно, словно свет...
Как придумать имя,
Чему названья нет?

О том ночные тени,
О том — листва, трава,
О том — кричит младенец,
Вздохнув едва.

Вот-вот и затвердеет,
Означится, блеснет,
Неясно что-то рдеет
И сердце рвет.

И напрягает воздух,
Нащупывает ритм.
Еще чуть-чуть — и возле
Само заговорит.

Соединение предельной простоты с недопроявленностью, недосказанностью дает выход в иное измерение, к поиску другого языка. Есть ли такой язык, можно ли его найти, или это только чудится, мнится, блазнится?

Сергей БИРЮКОВ.

Тамбов.



ОБ УМИРАНИИ ИСКУССТВА

В. В. Вейдле. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества.
СПб. «АХИОМА». 1996. 334 стр.

Наконец-то. Наконец вышла книга, которую до этого времени удавалось представлять в отечественном издании только ее центральной, одноименной главой, правда дважды¹. Дело в том, что текст «Умирания искусства» был подготовлен к изданию в начале 80-х годов в недрах ИНИОН (тогда еще АН СССР), но в те

¹ См.: Вейдле В. В. Умирание искусства. — В кн.: «Самопознание европейской культуры XX века». М. 1990; и в альманахе «Эон», 1996, № 4.

годы книгу застопорили по идеологическим мотивам: ее автору, несмотря на импортную фамилию, не удалось, «прикинувшись стогом сена, пересечь границу» — в нем был выявлен «белоэмигрант». Но все, если не горевать о временах и сроках, оказалось ко благу. Потому что петербургское издательство «АХИОМА» по инициативе основателя серии «Классики искусствознания» А. Г. Наследникова выпустило книгу так, как нам (мне то есть) и не снилось. Начиная от твердой, надежной обложки и кончая богатыми, изобильными примечаниями И. А. Доронченкова и В. М. Лурье — примечаниями, которые если и не всегда обязательны, то всегда образовательны, а подчас увлекательны, — и фундаментальным послесловием Доронченкова «Владимир Вейдле. Путь к книге» с использованием труднодоступных архивных материалов из фондов Колумбийского университета! Петербургское «Умирание искусства» — это переиздание опубликованного в 1937 году в «УМСА-Press» текста, который был сверен с рукописью, хранящейся в Баварской Государственной библиотеке в Мюнхене. Жаль только, что отечественное издание не учло значительно расширенного (двенадцать глав вместо пяти) по сравнению с русским второго французского издания 1957 года (первое вышло в 1936 году, за год до русского) под названием «Les abeilles d'Arrestée» («Пчелы Арестея»). Есть и приложение — статья В. Вейдле «Крещальная мистерия и раннехристианское искусство», имеющая свою, далекую от основной, тему — о рождении здорового, а не умирания больного; текст тоже откомментирован, однако год и место публикации читателю приходится с трудом отыскивать не в комментарии к этой статье, а в одном из подстрочных примечаний к послесловию...

Почему же книга Вейдле так притягательна?

Потому что она касается того удивительного парадокса, который сложился во взгляде на природу современного искусства (или, вернее, в результате игнорирования ее), когда очевидные, казалось бы, вещи перестают осознаваться и только редкие отважные умы готовы смотреть правде в глаза, плыть против течения и защищать уже незримые миру ценности. Одним из таких пловцов был Владимир Вейдле, младший современник известных русских эмигрантов, духовный сын о. Сергия Булгакова.

Конечно, Вейдле плыл против течения не один. Были единомышленники-соотечественники из числа эмигрантских культурфилософов и искусствоведов: И. Ильин, П. Муратов, Н. Метнер, Г. Федотов и, конечно же, Н. Бердяев и С. Булгаков (но о них особо); среди западноевропейских авторов Вейдле могли бы составить компанию неомист Жак Маритен, писатель Ф. Мориак, искусствовед Г. Зедльмайр, чья книга «Утрата середины»² написана не без прямого влияния со стороны Вейдле, с которым дружил автор.

Некоторые из этих имен упоминаются и в послесловии к книге. Однако у нас здесь свой целенаправленный интерес к ближайшей идейной среде автора «Умирания искусства», к тем взглядам на состояние художественного творчества, которые были высказаны старшими единомышленниками Вейдле к середине 30-х годов. Это поможет лучше оценить роль книги в целом.

Искусствовед, знаток итальянского Ренессанса Павел Муратов с поразительной ясностью заявил в 1924 году о факте разрыва «новой живописи» с тем, что до сих пор считалось искусством. В статье под названием «Анти-искусство», ставящей все точки над «i», он не без чувства обреченности писал: «Недалеко то время, когда живой лик искусства может уйти в прошлое. Нам предлагают поскорее сдать в музей старое искусство, что очистит дорогу для новых богов новой эпохи. Нового искусства нет и не может быть, есть только победа анти-искусства». Причина этого — утрата художником мифопоэтической интуиции. В статье 1927 года И. Ильина «Кризис искусства» дается яркая феноменология «духовно недугующего», «душевно больного» творчества: замутились источники художества; бессознательное (по Муратову, мифическое), которым оно питается, разорвало свою связь с божественным, и теперь из недр безрелигиозной души вырывается «ничтожное, пошлое, мнимое» искусство. Но то, что призвано увлекать и служить, не может этого не делать (независимо от намерения художника). Если оно не ведет вверх,

² Sedlmayr H. Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19 und 20 Jahrhunderts als Symbol der Zeit. Salzburg, 1948. См. также реферат В. В. Бибикина: «Зедльмайр Г. Утрата середины». — В сб.: «Общество, культура, философия. Материалы к XVIII Всемирному философскому конгрессу». М. ИНИОН АН СССР. 1983, стр. 56 — 149.

оно тянет вниз, не преобразая и просветляя, а «раздражая» и возбуждая, потакая греху, разнуздывая инстинкты. Искусство ждет исцеления на путях возврата к утраченному Духу.

Музыковед и композитор Николай Метнер объявляет о новации XX века — о появлении «немузыки» в музыкальном (точнее, звуковом) облике. В книге «Муза и мода. Защита основ музыкального искусства» (вышедшей за два года до русской публикации «Умирания искусства» в том же издательстве) на примере одного домена искусства дан обзор смены веков художественного творчества в XX веке. Здесь те же, что появятся у Вейдле, наблюдения: вытеснение живой формы мертвой схемой, творческого достижения — теоретическим, экспериментальным исканием, вдохновения — научной претенциозностью и т. д. Метнер размышляет над формами и состоянием наиболее «продвинутого», музыкального творчества, которое, по характеристике автора, взялось жить и творить «по-новому» вместо того, чтобы переживать «заново». В результате всего этого «придумывания» и «надрывания» на месте музыки образовалась «большая дыра».

И уже одновременно с «*Les abeilles d'Arestée*» выходит короткое эссе Георгия Федотова «Четверодневный Лазарь», это выданное нам свидетельство о смерти «гуманистической культуры». Новое больше не продолжает старое, подлинное, «джазбанд борется с Чайковским». Ставя диагноз недугу, погубившему искусство, ответственность за эту смерть Федотов безоговорочно возлагает не на «среду» и эпоху, а на художника, который и создает облик эпохи. «Пикассо и Стравинский в духовном мире значат то же, что в социальном Ленин и Муссолини», — отчеканивает он. Более того: духовные вожди первичны по отношению к вождям политическим, которые являются только завершителями процесса в его «низшей сфере действительности». Ответ Федотова на трагическую коллизию в культуре можно найти в его замечании о том, что художник закрыл глаза на красоту мира и пустился в психоаналитическое разоблачительство человеческой души. Остается чаять чуда — воскрешения того глубинного бессознательного, которое «касается миров иных» и одно только способно животворить искусство.

Весь круг высказанных здесь мыслей, состоящих в полном унисоне между собой (что обеспечено единым мировосприятием авторов), входит в состав размышлений Вейдле. Что-то, возможно, досталось ему в наследство, что-то было открыто и сформулировано независимо и потом, по всей вероятности, перешло к конгениальным европейцам — Жаку Маритену или Франсуа Мориаку, размышлявшим над путями западного искусства и самого художника. Как бы то ни было, но и на фоне блистательных современников автор «Умирания искусства» в своем методическом противоборстве «духу времени» будет выглядеть и ярким, и убедительным, и, как он любил по-блоковски выражаться, «питательным» для чувства и ума.

Двигаясь в русле отечественной культурфилософской эссеистики двадцатого столетия и отчасти продолжая «органическую» теорию искусства прошлого века, Вейдле дает систематизацию главных идей этого круга, связывая их пусть неявной — ведь пишет он не трактат, а эссеистический текст, — но стройной цепью. О живом и мастерском стиле этой книги можно судить по любому отрывку. Вот наугад: «...принцип строгой целесообразности не оставляет места отклонениям, случайностям, всему тому, что кажется человеческим в вещах и за что человек только и может любовью, а не грубой похотью любить тленные, прислуживающие ему вещи. Веками он согревал их собственным теплом, но, должно быть, есть в мире убыль этого тепла, раз они так заметно, с некоторых пор, похолодели. Нет спору: рационализированная мебель, посуда, механическое жилище последних лет удобнее, опрятней и даже отрадней для глаз, чем пухлые пуфы и пыльные плюши XIX века. Пусть брачное ложе уподобилось операционному столу и зубоврачебное кресло стало символом досуга и покоя, все равно все, чего хотел от своей «обстановки» прежний человек, слилось для наших современников в образе *комфорта*. История этого слова отвечает ходу всемирной истории. Оно значило — утешение (*Comforter* в английской Библии — эпитет Св. Духа), стало значить — уют, а в нынешнем международном языке означает голое удобство».

Может даже оказаться, что несравненная пара общих любимцев, Бердяев с Булгаковым, кое в чем не выдержит сравнения с автором «Умирания искусства». В увлекательной, пленяющей своей энергией, взволнованностью и афористичностью бердяевской статье «Кризис искусства» (1918) ужас перед «складными чудовищами» Пикассо, который испытывает автор, глядя на распиленные квадратными

плоскостями женские тела и предметы, не выливается, однако, в адекватные его чувству умозаключения об опасности «развоплощения» и о границах искусства. Несмотря на пережитое, мыслитель так и остается при своем антитрадиционализме и призывах творца к разложению «всякого органического синтеза и старого природного мира и старого художества», остается апокалиптическим теургом, мечтающим о преодолении культуры неким сверхкультурным и освобождающим от материальных пут творческим актом. С. Булгаков, созерцая те же кубистические творения Пикассо, испытывает сходные чувства, выраженные с захватывающей силой в статье «Труп красоты» (1914): «мистическая жуть, доходящая до ужаса», «удушье могилы» и т. п. Не будучи столь революционаристски настроенным, как Бердяев, он тем не менее старается убедить себя и других, что модные полотна — акт мужества художника, «совлекшего мощной рукой с хаоса покров красоты», что это красота, увиденная глазами Ставрогина... Будущий отец Сергей не избежал романтизации знаменитой фигуры.

Для автора «Умирания искусства» ореол мэтра не оказался магическим. При этом мы должны учесть, что свои суждения Вейдле высказывал в центре всех мод, Париже, всегда оставаясь, несмотря на свою творческую плодовитость, «беспочвенным» и одиноким иностранцем, в европейской интеллектуальной среде малоизвестным беженцем. «Не так легко бороться с лжеискусством, — признавался Вейдле. — Газетчики его одобряют. Бунт против него приводит к одиночеству».

А гророс об одиночестве. Вот отрывок из устного рассказа Аркадия Ростиславовича Небольсина, бывшего лично знакомым с Владимиром Васильевичем Вейдле и с тогдашними обстоятельствами зарубежной жизни:

«Вейдле был исключен из французского, западноевропейского истеблишмента и прожил свою жизнь в тени, можно сказать, в неизвестности. Не сделал университетской карьеры. Ему никогда не предлагали пожизненной и солидной денежной поддержки, только изредка приглашали читать лекции, сперва в Свято-Сергиев Богословский институт. Студенты были довольно примитивны, отнюдь не все ходили на Шмемана и Мейендорфа, которые у него учились. В поисках средств к существованию Вейдле пришлось писать всякие тексты для радио «Свобода», которые приспосабливались редакцией к себе. Одним из близких друзей был Юрий Иваск, вероятно, даже влиявший на Вейдле. Соотечественники были больше заняты политикой — одна из причин, по которой среди нашей эмиграции его мало знали. Ценил его редактор нью-йоркского «Нового журнала» Роман Гуль (один из немногих образованных представителей второй эмиграции, состоявшей из бывших советских людей)».

Но вернемся к прерванному. Признавая в поздней статье «Пикассиана»³, что Пикассо «самое необыкновенное» и, выражаясь по-нашему, «судьбоносное» явление для художественного творчества XX века, Вейдле находит исток этой судьбоносности и причину поразительного впечатления, произведенного им на современников, в совершенно новом феномене — сочетании необыкновенной творческой мощи с неумемной жаждой разрушения, в колоссальной отрицательной энергии, нашедшей свое выражение в живописи. Разумеется, ни о каких открытиях по части красоты или ее невольной утраты здесь речь не ведется, а ведется речь о «нарочито-волевой» деформации предметов, что вытекает неизбежным следствием как раз из банального видения красоты. Именно поэтому Пикассо «в своем искусстве совершенно сознательно и с крайней резкостью ее ломал... в тех же случаях, когда ломать не хотел, банальность у него и получалась». Итак, Вейдле видит в Пикассо редкой одаренности художника (особенно в графике), потерявшего, однако, восприимчивость к красоте мира и заменившего эту утрату неостановимым созидательно-деструктивным действием. (Вейдле цитирует художника: «Постоянно чувствую я потребность разрушать то, что строю с таким трудом».)

Пикассо, заключает Вейдле, «разрушил живописную традицию, заменив ее рядом бессвязных и противоречивых экспериментов», издевательских по отношению к большим мастерам.

Каким неотступным надо быть в служении непопулярной идее и сколь ответственным перед жизнью, чтобы высказывать подобные суждения по поводу всеобщего кумира в обстановке повального славословия: «хвалу возносят все кругом», — огорченно констатирует Вейдле. В британском словаре художников восторженно

³ «Новый журнал», Нью-Йорк, 1973, № 111.

утверждалось, что Пикассо, как Джотто и Микеланджело, начал в искусстве новую эру и что никто из них так радикально саму природу искусства не изменил. Вот именно, ядовито подхватывает Вейдле, так радикально — никто, «те *меняли* искусство, этот его *отменил*. Он и есть наш Микеланджело, Микеланджело, которого мы заслужили».

Но вряд ли столь независимая, уникальная позиция Вейдле оценена его комментатором И. А. Доронченковым, который то называет ее почему-то «осторожной», то не очень «благоразумной», то утверждает, что Пикассо для русских мыслителей — «лишь повод, имя-знак, который имеет отношение не к живописи... но к основополагающим проблемам цивилизации». Одно из двух: либо эти мыслители оговорили Пикассо, необоснованно делая из него знамя авангардной эпохи, — и тогда надо с ними не соглашаться, либо, напротив, Пикассо как раз служит таким символическим ее выражением, но тогда критики Пикассо трижды правы, ибо то, что справедливо в отношении новой эпохи, в концентрированном виде содержится в ее «символе» и должно прежде всего сказываться в сфере его творчества, будь то живопись или литература. Ясно, что Пикассо для Вейдле — это никакой не случайный, заемный символ, но — как и для Федотова, который, как мы уже знаем, ставит этого художника у истока всех общественных катаклизмов XX века, — центральная модель для постижения того, что случилось с современным искусством, что случилось с современным художником. Жаль вообще, что в своем обильном сведении и почти любовном повествовании об авторе «Умирения искусства» Доронченков по отношению к нему исполняет тем не менее странную работу, пытаясь стусевать заостренность его мысли, приглушить одушевляющий его пафос. Зачем же тогда он приводит слова Вейдле, сказанные на склоне лет: «Я ведь об умирании искусства не просто рассуждал, я горевал о нем...»? И воевал за него. Вейдле настойчиво предупреждал, что «угроза культурного разложения» сама не рассеется, «устранить ее без борьбы нельзя». Вот и приходит на ум, когда читаешь послесловие Доронченкова, несуразная догадка, что можно быть поклонником мыслителя, но не быть его единомышленником⁴.

И во времена выхода в свет «Умирения искусства», и в нынешние времена переиздания книги популярными взгляды ее автора назвать нельзя. Не обходилось и не обходится без явных или прикровенных укоров в адрес его как «религиозного метафизика» (Б. Беренсон — современник-искусствовед) и в адрес книги как религиозной пропаганды. Лучше, мол, оставаться в пределах науки. Однако если приглядеться, то окажется прямо наоборот: в лице Вейдле перед нами — логик, мыслитель, исследователь (и при этом замечательный писатель!) — в противоположность «трезвым», гордящимся своей «объективностью» и свободой от «религиозных предрассудков» скучных позитивистов. Если говорить о верах, то они действительно разные. Но вера в прогресс как раз и оказывается чистой пропагандой... прогрессизма — ибо она не обеспечивает себя доказательствами своей правоты. Потому что, увы, мир устроен не так, как хотелось бы прогрессистам.

Внимание Вейдле сконцентрировано на катастрофическом факте — исчезновении «того, что веками называли искусством». Перемены эти, «частью очевидные для всех, частью скрытые и тем более глубокие», постепенно наращиваясь, «отравляют самые родники искусства». В пяти главах книги автор описывает видимые признаки болезни в разных областях художественного творчества, и мы узнаем в них начальные симптомы сегодняшних эпидемий. В литературе это — вытеснение «живого волшебства романа» суррогатами, построенными на безжизненном расчете и умственной комбинаторике, монтажом, фактографией, документалистикой, исповедью и проповедью. В поэзии, где поколебалась уверенность в святости своего ремесла, дело тоже движется по пути абстракции, слова все больше отдаляются от предметов, превращаясь в отвлеченные знаки. В живописи, начиная с Пикассо и кубистов, «выражение» отделяется от «изображения», внедряется изготовление картин механическим путем; начиная с импрессионизма, экспрессионизма, кубизма, главным стало знание о писании картин, а не само изображение, что способно обернуться для зрителя разгадыванием ребусов. В анализе «скрытых пе-

⁴ На фоне этого уже малосущественно, когда комментатор ставит читателя не столько в известность, сколько в неизвестность, сообщая, к примеру, что «в последние годы Вейдле предполагал написать книгу «Послеискусство», так и не увидевшую света». Остается гадать о пропущенном звене: написал ли ее Вейдле? И волноваться. Вопрос-то не праздный.

ремен» Вейдле опирается на концепцию «живорожденного» искусства (если использовать понятие Ап. Григорьева), истоки которого таятся в подсознании, питающемся сверхсознанием. Там, в недрах бессознательного, идет работа воображения, рождается «вымысел» — основа произведения искусства, повторение акта божественного творчества. Автор развивает и иллюстрирует мысль о необходимой сообразности художественной воли с устройством мироздания, о благосклонности к нему; о соблюдении вечных законов творчества — законов, преподанных Демиургом, сотворившим мир с любовью. Короче говоря, тайна искусства — в сообразности человеческой воли с Божественной. Нельзя создать новый художественный, то есть живой, мир по целиком придуманным законам. Свободный от признательности бытию художник вступает либо на путь рассудочного конструирования творческого продукта, либо — выплескивания непретворенного, непросветленного подсознания, которое становится жертвой и поставщиком материала для психоанализа, этого охотника за инстинктами.

Вейдле оставил своих современников на распутье, на котором с еще большей явственностью стоим мы:

«От смерти не выздоравливают. Искусство — не больной, ожидающий врача, а мертвый, чающий воскресения. Оно восстанет из гроба в сожигающем свете религиозного прозрения, или, отслужив по нем скорбную панихиду, нам придется его прах предать земле».

Рената ГАЛЬЦЕВА.



ДРАМА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

М. Г. Ярошевский. Историческая психология науки. Издательство Международного фонда истории науки. СПб. 1995. 352 стр.

Главные фигуры этой книги — российские натуралисты и мыслители, обогатившие отечественную и мировую науку открытиями первостепенной значимости, взрастившие множество учеников и последователей: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. А. Ухтомский, Л. С. Выготский, Н. А. Бернштейн, В. И. Вернадский и другие. Однако в определенном смысле героем ее является и сам автор — профессор, доктор психологических наук Михаил Григорьевич Ярошевский, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук, действительный член Нью-Йоркской академии наук, опубликовавший в России и за рубежом несколько сотен монографий, очерков, статей, лидер одной из наиболее продуктивных отечественных школ в области психологии научного творчества, науковедения, социальной истории российской науки.

Летом прошлого года М. Г. Ярошевский разменял восьмой десяток... Завидное творческое долголетие, предметный урок всем нам и прекрасный пример для подражания.

При всей своей внешней и стилевой академической выдержанности, книга Ярошевского исполнена внутреннего напряжения, глубинных коллизий и противоречий, явных и подспудных споров отцов и детей, учителей и учеников, основателей и продолжателей, сшибок традиций и новаторства. Перед нами зримо воссоздается развертывающаяся во времени масштабная картина определенного среза интеллектуальной истории России, где в драматичный, тугой узел оказываются стянутыми биографии и судьбы отдельных творцов науки.

В центре внимания автора — извечный вопрос: как рождается новое знание? Долгое время не только историки науки и психологи, но и сами ученые отвечали на него в духе традиционных «трех В». Имелись в виду: «ванна» (англ. «bath»), из которой выскочил с криком «Эврика!» Архимед, открывший знаменитый закон, омнибус («bus»), ступив на подножку которого математик Пуанкаре неожиданно решил сложную задачу, и кровать («bed»), в которой физиологу Леви приснился опыт, позволивший объяснить механизм передачи нервного импульса.

Отнюдь не отрицая важной роли, которую играют в научном творчестве интуиция, озарение, вообще сфера подсознательного, Ярошевский, однако, выражает вполне обоснованное сомнение в том, что сами по себе они что-либо объясня-

ют. Даже в том случае, когда в поисках этого ответа на историка, психолога, логику или гносеолога науки самого снизойдет нечто подобное «архимедову озарению», он обязан, так сказать, по определению, повинувшись жестким требованиям своей профессии, обратиться к кропотливому изучению первичного сырого материала, реальных фактов истории науки, биографий ученых, их личного и коллективного опыта. На этот путь и становится автор, убедительно доказывая, что вопрос, как рождается новое знание, не может быть не только решен, но даже сколько-нибудь корректно поставлен вне рамок целостной научной концепции.

Фундаментальным открытием Ярошевского, изложенным и обоснованным в его монографии, является принципиально новое в историографии научного знания направление — историческая психология науки. Ее разработкой со своими учениками и коллегами Ярошевский занимался долгие годы. (В части, касающейся феномена «репрессированной науки», к ученикам Ярошевского я отношу также и себя.) Несколько упрощая, можно сказать, что это направление лежит покуда в пленках, но горизонты перед «младенцем» открываются необозримые.

...В первой части книги — «Человек науки как историческая фигура» — на обширном, начиная с древности, историко-научном материале рассматриваются три координаты движения познающего субъекта к новому знанию: предметно-логическая, социальная, психологическая; в рамках первой из них анализируются объяснительные принципы детерминизма, системности, развития, категориальный аппарат психологии; второй — феномены научных школ и современной информационной технологии; третьей — ученый в спектре ролей (эрудита, генератора, критика, лидера, исполнителя), идеогенез, оппонентный круг, надсознательное, когнитивный стиль. В реальном процессе творчества все три координаты представляют некую целостность, и их «разъятие», продиктованное методическими соображениями, весьма условно. Такую же целостность являют собой феномены каждой из координат, взятой в отдельности.

В своем развитии и функционировании историческая психология науки опирается на ранее разработанный и устоявшийся в психологии и историографии научного знания аппарат понятий и терминов. Однако хотя он для нее и необходим, но уже недостаточен, так как оказывается не в состоянии охватить все многообразие и своеобразие ее проблематики. По этой причине Ярошевскому пришлось обратиться к разработке языкового каркаса этого направления, вводя в него принципиально новые понятия и термины. Одним из таких бесспорно плодотворных понятий, очерчивающих важную исследовательскую проблему, является понятие надсознательного, по своему временному вектору противоположного подсознательному.

«Термин «надсознательное», — пишет Ярошевский, — лишь один из компонентов того языка, разработка которого открывает перспективу анализа научной деятельности в единстве ее логических и психологических аспектов. Ныне нарождаются и другие термины, такие, например, как «внутренняя мотивация», «категориальный профиль», «стиль мышления» и др. ... В нем нет ничего мистического, выводящего психические процессы за пределы материального субстрата, в котором они совершаются. Подсознательное, сознательное, надсознательное — это различные уровни духовной жизни целостной человеческой личности, изначально исторической по своей природе, реализующей в материальном и духовном производстве свои сущностные силы посредством иерархии психофизиологических систем... Детерминация прошлым — таков во всех случаях основной смысл обращения к понятию о подсознательном. Но применительно к процессам творчества, созидания отдельным индивидом того, что никогда еще не содержалось в его прежнем опыте, а нарождается соответственно объективным закономерностям развития науки, принцип детерминации прошлым (выраженный в понятии о подсознательном) оказывается недостаточным. Понятие о надсознательном призвано объяснить детерминацию творческого процесса «потребным будущим» науки... Оно побуждает рассматривать замыслы... ученого, направление его поисков, его незавершенные проекты, варианты трудов, динамику мотивов, ошибки и неожиданные находки... Надсознательное движение научной мысли меньше всего напоминает общение индивида «один на один» с «госпожой» логикой науки. В каждом новом проекте незримо присутствует в качестве союзников и противников, возможных оппонентов и критиков множество конкретных исследователей. Поэтому надсознательное является по своей сути коллективно-надсознательным в том смысле, что вторым и старшим

Я для творческой личности, работающей в его режиме, является научное сообщество, выступающее в функции особого, надличностного субъекта, незримо вершащего свой контроль и суд... Глубоким заблуждением было бы мыслить надсознательное как внеположное сознанию. Напротив, оно включено в его внутреннюю ткань и неотторжимо от нее. Надсознательное не есть надличное. В нем личность реализует себя с наибольшей полнотой, и только благодаря ему она обеспечивает — с исчезновением индивидуального сознания — свое творческое бессмертие».

Если в первой части книги тайна творческой личности тесно вплетена в сетку понятий и категорий создаваемого автором нового научного направления, то во второй части — «Русский путь» — теория облекается живой плотью реальных исторических личностей — русских натуралистов, их индивидуальных судеб и творческого пути. Именно здесь разработанный Ярошевским категориальный аппарат убедительно демонстрирует свою продуктивность и эвристическую ценность, выступая одновременно и как научная система, и как метод, эффективно работающий в процессе решения конкретных задач.

Русские натуралисты XIX — XX веков заполнили вакуум в понимании взаимоотношений организма и среды: центральное торможение, большое рефлексорное кольцо и саморегуляция И. М. Сеченова; условный рефлекс и вторая сигнальная система И. П. Павлова; доминанта А. А. Ухтомского; слово, знак и значение Л. С. Выготского; организм — индивид — личность Б. М. Теплова; реактивность, активность, потребное будущее Н. А. Бернштейна; личностное начало ноосферы В. И. Вернадского — все это узловые точки, веши на тернистом пути создания целостного учения о поведении. (Разделы, посвященные творчеству Н. А. Бернштейна и Б. М. Теплова, написаны учениками Ярошевского, кандидатами психологических наук В. В. Умрихиным и И. Е. Сироткиной.)

«Глубинные преобразования по всему фронту знаний о жизни оставляли в мировой науке незатронутой одну из важнейших ее сфер, а именно сферу отношений отдельного целостного действующего организма со средой, в недрах которой он существует, с которой он взаимодействует. Завоевание этой сферы стало историческим достижением российской науки. Если Германия дала миру учение о физико-химических основах жизни, Англия — о законах эволюции, Франция — о гомеостазе, то Россия — о поведении. Категория поведения сформировалась в духовной атмосфере этой страны и придала самобытность пути, на котором русской мыслью были прочерчены идеи, обогатившие мировую науку».

Поведение организма во внешней среде нашими натуралистами, начиная с Сеченова, понималось и объяснялось не только и не столько как система ответных, вторичных, а потому как бы «пассивных» реакций, сколько как энергичное имманентное состояние воздействия на среду. Человек — не пассивный продукт среды, но творец высших социальных и нравственных ценностей.

«Своеобразие сеченовской позиции, ее уникальность были обусловлены введением понятия о ценности (которого биология, как и любая другая наука о природе, не знает) в причинное объяснение волевого акта. Эти положения выводили за пределы того, чему учила новая биология с ее важнейшими достижениями, касающимися детерминистского подхода к жизненным явлениям. Сеченов соединяет этот подход с представлением о ценностной организации волевого поведения. Его аргументация в конечном счете стягивается к тому, чтобы объяснить, как формируются люди высшего типа произвольности. ...Отличающие русский путь („антигомеостатические“) прорывы к будущему, к новым формам бытия были сопряжены не только с преобразованием принципа развития применительно к естественнонаучному объяснению нервно-психической организации поведения. В их подтексте просвечивало общее воззрение на мироздание и грядущее место в нем человека и его духовной жизни. Особенно отчетливо это проступает в представлениях Ухтомского о персониферии и Вернадского о ноосфере. В этом плане знаменательна картина эволюции мироздания и места человека в нем, каковой она предстала перед философским взором Владимира Соловьева, охватившего, наряду с эволюцией природы и человека, высшие и абсолютные ценности, к воцарению которых направлен ход мирового процесса. Созвучность исканий мыслителей в различных сферах русской культуры говорит об укорененности в ней идей, формировавших науку о поведении соответственно духу этой культуры с ее „лицом общим выраженьем“».

Возобладавший в России тоталитаризм не мог мириться со столь активистским, в глубинных основаниях своих враждебным ему учением о поведении, не принимавшим существующий порядок вещей как нечто неизменное. Репрессии, преследования, надзор и слежка коснулись большинства выдающихся отечественных ученых. Определение «репрессированная наука» было впервые предложено автором данной книги, под редакцией и при участии которого в 1991 и 1994 годах были изданы — под этим названием — два тома статей и материалов. Сам Ярошевский был арестован в 1938 году по обвинению в «террористической» деятельности, а в 1951 году в связи с новыми гонениями был вынужден выехать в Среднюю Азию (в фактическую ссылку).

Ярошевский блестяще обрисовал контуры и рельеф открытых им двух интеллектуальных «континентов» — исторической психологии науки и учения о поведении, созданного трудами русских ученых. Дело будущих исследователей — основательно изучить, освоить, «обжить» эти новые континенты.

И. МОЧАЛОВ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«НОВЫЙ МИР» О НАВОДНЕНИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ — ЛЕНИНГРАДЕ

В 1969 году Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина издала справочник «Наводнения в Петербурге — Ленинграде и борьба с ними (гидрология, прогнозы, техника защиты). Список литературы на русском языке за 1765 — 1968 гг.». Публикация содержала 230 названий нескольких книг и множества статей, преимущественно сугубо специальных, извлеченных из самых разных научно-технических источников. Список включал также популярные описания наводнений из газет и периодических журналов. Среди этой весьма полезной для специалистов информации обращала на себя внимание ссылка на статью Б. П. Мультиановского «Наводнения в Ленинграде» в «Новом мире» (1925, № 1). Слишком много значил в конце 60-х «Новый мир», чтобы не заинтересоваться этой ссылкой (я тогда только начинал заниматься невскими наводнениями в Ленинградском отделении Государственного океанографического института). Получив журнал в библиотеке, обнаружил, что «Новый мир», 1925, № 1 — вообще самый первый в истории журнала. Так статьей Мультиановского открывалась новоявленная традиция внимания к природным явлениям и проблемам, как теперь говорят, окружающей среды.

Выступление Бориса Помпеевича Мультиановского (1876 — 1938), одного из выдающихся наших гидрометеорологов, в новом общественном издании не было случайным. 23 сентября 1924 года в Ленинграде произошло катастрофическое наводнение. Вода достигла отметки 369 см над ординаром. Наводнение оказалось — и до сих пор остается — вторым по высоте после потопа 19(7) ноября 1824 года (410 см) и третьим хронологически из трех катастрофических (более 300 см) наводнений в Петербурге — Ленинграде (первое по времени и третье по высоте — 21(10) сентября 1777 года, 310 см).

Жизнь города, всего восемь месяцев носившего имя вождя революции, была серьезно нарушена. В «Официальном сообщении Губернского исполнительного комитета», опубликованном в «Ленинградской правде» 24 сентября 1924 года, говорилось: «Днем 23 сентября, при сильном ветре с моря, после 3 часов началось быстрое прибытие воды, уровень которой к 8 час. веч. достиг 12 футов выше ординара. Благодаря этому, Василеостровский район, Петроградская сторона и часть Центрального, Выборгского и Володарского районов оказались затопленными. Население было предупреждено об угрожающем наводнении и в большинстве мест успело своевременно очистить улицы и перейти в верхние этажи. Количество единичных жертв, захваченных наводнением, выясняется. Сильно пострадали порт, ряд фабрик и заводов, а также склады. Были частичные пожары. Снесено несколько мостов: Сампсониевский, Гренадерский и др.

Ввиду чрезвычайно широких размеров наводнения, а также в целях строжайшего поддержания революционного порядка и своевременной помощи населению Губернский исполнительный комитет постановил объявить в Ленинграде военное положение, поручив проведение его чрезвычайной тройке в составе коменданта города тов. Федорова, заместителя начальника ГПУ тов. Леонова и заместителя заведующего административным отделом Губисполкома тов. Ильина».

Еще примерно недели две в местных и центральных газетах под крупными заголовками приводились описания наводнения и его последствий. Преобладал тон пафоса революционной борьбы со стихией и мужественного сопротивления красного питерского пролетариата природному бедствию. Печатались стихи «...иль страшна мне Нева озверелая, испугается ль страна моя краснотелая?..». Но было достаточно много и тревожных сообщений о многомиллионных убытках, мародерстве, спекуляциях, панике, бесхозяйственности. В город вошла кавалерийская ди-

визия для помощи милиции и рабочим отрядам. Число «единичных» жертв так и осталось неопределенным: по официальным сообщениям, их было семь, но эта цифра противоречила сведениям из различных районов города и пригородов, где обнаруживались погибшие.

Наводнение сразу же привлекло внимание ученых. Почти все известные тогда гидрометеорологи выступили со статьями об особенностях явления, его причинах и последствиях. Работа Мультиановского была одной из первых. Он начинал так: «По поводу невских наводнений собралась значительная литература, которая старательно пересматривается и дополняется после каждого большого наводнения. Нельзя, однако, сказать, что вопрос этот вырешен окончательно». Рассматривались три аспекта: наиболее известные наводнения в прошлом, механика наводнений и особенности наводнения 23 сентября 1924 года. Б. Мультиановский подверг сомнению сведения о наводнениях в устье Невы до основания Петербурга и утверждал: «...нет веских доказательств... что подъемы раньше были выше, чем теперь». Относительно формирования понятия об условиях, необходимых для возникновения наводнения... автор придерживался взгляда, что «началом наших наводнений служит волна...». В момент ее нахождения у горла Финского залива необходимо, чтобы ветер стал западным и возможно дольше держался бы этого направления... Таким образом, существуют два условия образования наводнений: волна и западный ветер. Наконец, относительно наводнения 23 сентября 1924 года отмечалось, что оно — «первое при довольно полном научном освещении».

Вместе с тем предполагалось, что особая интенсивность явления связана с небольшим вихрем типа тайфуна или антильского урагана. А для надлежащего анализа такой синоптической обстановки число существующих метеорологических станций оказалось недостаточным.

Эта трудность подчеркивалась почти во всех работах, посвященных наводнению. Находились и другие недостатки: неудовлетворительное техническое оснащение гидрометеослужбы, плохая связь с Прибалтийскими государствами, низкая заработная плата работников. Пессимистический тон в отношении возможностей полного исследования наводнения и его предсказания преобладал в большинстве статей. Объяснялось это, скорее всего, неудовлетворительным, почти вдвое заниженным по высоте, прогнозом наводнения, составленным в Главной геофизической обсерватории. Синоптиков стали обвинять в халатности и невнимательности. 25 сентября 1924 года в «Ленинградской правде» появилась статья «Преступная ошибка», где говорилось: «...смотрели ли когда-нибудь сотрудники обсерватории на небо? Видимо, они совершенно не считаются с местными признаками. Пора бы Главнауке обратить внимание на характер предсказаний ГГО. Рабочему государству нужно дело...» Заработали проверочные комиссии, начались длительные заседания и совещания, снятие директора и перемещения ведущих сотрудников. В результате все же большинство политизированных обвинений в адрес ГГО было снято. Сошлись на том, что «обсерватория проявила не преступную халатность, а недопустимую небрежность».

Публикация исследований наводнения 1924 года продолжалась еще несколько лет. Да и сейчас материалы этого исключительного явления представляют немалый интерес. Но широкие обсуждения проблемы наводнений в Ленинграде заметно резко прервались после убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 года. Ленинграду — колыбели трех революций — неподобало, по мнению руководителей, зависеть от случайностей стихии. Такое, впрочем, в истории города уже бывало. О катастрофе 19(7) ноября 1824 года общественность узнала лишь спустя несколько дней, а по мнению некоторых исследователей, довольно долго существовал запрет на сообщения о наводнениях, чтобы «не портить репутации столицы». В советские времена почти пятьдесят лет о наводнениях сообщалось весьма скупо и сдержанно, причем часто — искаженно. Например, когда 15 октября 1955 года произошло наводнение, оказавшееся четвертым по высоте в истории города (282 см), о нем сообщили в местных газетах, не указав главного — максимальной отметки уровня воды. Об этом случае, о его обстоятельствах и последствиях с горечью и досадой писал в своем недавно опубликованном дневнике («Нева», 1995, № 2) Федор Абрамов: «...«Правда» не сочла нужным даже упомянуть о наводнении. В разделе хроники — вечер... газеты «Руде право», очередной мировой рекорд и пребывание английских кораблей в Ленинграде. А о наводнении — ни слова. Да и что такое — наводнение? Разве оно типично для нашей действительности? Разве оно выражает передовые

тенденции развития нашей жизни?.. В городе уже ходят легенды, связывающие его с приходом английских кораблей. Вытеснили, говорят, корабли воду из Невы — вот и наводнение...» Увиденное Федором Абрамовым во время наводнения 15 октября 1955 года невольно сравниваешь с пространными описаниями 1924 года и убеждаешься, насколько изменилось общественное сознание за тридцать лет. Возможно, впрочем, что существенно изменилось не сознание, а его отражение в печати?..

А еще через двадцать лет, 29 сентября 1975 года, произошло пятое по высоте наводнение в Ленинграде — 270 см над ординаром. Его освещение было уже другим. Не было подробностей, деталей, эмоций, пафоса 1924 года, но факты освещались достаточно объективно. Назывались даже убытки и «отдельные недостатки» в ликвидации последствий наводнения. Злые языки, правда, поговаривали, что опасный подъем воды весьма «выгоден» сторонникам дамбы, о которой тогда уже много писали и проект которой близился к завершению.

Много воды утекло в Неве за семьдесят с лишним лет с тех пор, когда в ее устье произошло последнее катастрофическое наводнение. Много вопросов в проблеме наводнений «вырешены», говоря словами уважаемого Бориса Помпеевича Мультиановского. Хотя никто не рискнет уточнить, что они «вырешены окончательно». Ученые и даже практические инженеры редко употребляют теперь слово «окончательно». Да и не требуют от них этого слова так жестко, как семьдесят лет назад. Другое время... До людей дошло, хотя и не окончательно, что за все надо платить, особенно в проблемах природы и окружающей среды. Здесь действительно — «и поражение от победы ты сам не должен отличать». Попытаемся все же коротко назвать вопросы в проблеме петербургских наводнений, которые «вырешены» с достаточной определенностью.

Мы располагаем теперь надежным списком числа наводнений в Петербурге. Хотелось бы добавить «вполне надежным», но это было бы неверно, поскольку наводнения до 1849 года, когда была основана Главная физическая (с 1924 года — Геофизическая) обсерватория, фиксировались в разных местах города, от различных отсчетных горизонтов, в различное время. «Вполне надежным» принято считать число наводнений с 1878 года, когда ГФО установила у Горного института водный пост с самописцем-регистратором уровня воды. Список наводнений, пусть и разной степени достоверности, интересен не только гидрометеорологам. Им пользуются и градостроители, и архитекторы, и историки. Математики, специалисты в области теории вероятностей и статистики, используют список как «банк данных» для различных расчетов. Возможны ли подъемы воды выше 1824, 1924 или 1777 годов? И расчеты бесстрастно и беспощадно говорят — да, возможны. И здравый смысл с холодной рассудительностью подтверждает: если на протяжении неполных трехсот лет произошло три потопа, то почему бы им не случиться в следующие триста, пятьсот или одну тысячу лет? Вот и получилось, что в Петербурге один раз в тысячу лет возможно еще не наблюдавшееся наводнение высотой 465 см над ординаром, а раз в десять тысяч лет — 530 см. Эти цифры еще более устрашающи тем, что они — не прогноз на столь необозримые для нас, смертных, периоды, а расчеты редких событий, которые могут произойти и завтра, и в эту осень, и в ближайшие годы. Но не будем чрезмерно бояться этих цифр: они — результат применения определенных теорий и гипотез. Иные предпосылки приведут и к другим цифрам, иногда, впрочем, еще более устрашающим...

А в «банке данных», если взять период от основания города до 15 июля сего года, содержится 288 наводнений. Причем они делятся на градации, установленные гидрометеорологами совместно с городскими властями: опасные — от 150 см над ординаром до 199 см, особо опасные — от 200 см до 300 см и катастрофические — более 300 см. Соответственно в каждой градации оказывается 220, 65 и 3 наводнения. С «банком» можно производить самые разные манипуляции — рассмотреть данные по месяцам, сезонам, времени суток, различным высотам. При этом выявляются определенные закономерности, которые, строго говоря, таковыми не являются из-за неустойчивости и зависимости от устанавливаемых критериев. Так, например, кажется достаточно очевидным преобладание наводнений в осенний сезон: изменчивая погода, ненастье, ветры, циклоны в эту пору свойственны Европе вообще и северо-западу России в особенности. И действительно, при периодах осреднения 70 — 100 лет, а тем более по всему «банку данных», на долю осенних наводнений приходится 60 — 65 процентов случаев. Но в последние

тридцать лет участились зимние наводнения — их доля достигла 50 процентов, а в последнее десятилетие — и 75 процентов. Причина очевидна — теплые зимы, малоотличимые от поздней осени.

Практически решен вопрос о механике наводнений, причем совершенно в духе Мультиановского: наводнение формируется волной и западными ветрами. Правда, идея о такой природе наводнений высказывалась задолго до Мультиановского, который признавал в «Новом мире», что ряд прежних наблюдений и замечаний поражает своей проницательностью. В качественном виде эта идея была сформулирована в начале 30-х годов прошлого века Адольфом Яковлевичем Купфером (1799 — 1865), основателем и первым директором ГФО. Доказывая необходимость создания метеорологического центра в России, он утверждал: «Бури, производящие наводнения в нашей столице, приходят с запада и бывают чувствуемы в Ревеле на несколько часов ранее, нежели в Петербурге. По наблюдениям в Ревеле (Таллине. — К. П.) можно будет узнать высоту, до которой поднимется вода в Петербурге».

С некоторых, относительно недавних, пор качественные представления о механике наводнений обрели математическую форму. Причем в двух модификациях: в виде простой эмпирической формулы и в виде гидродинамических уравнений, решаемых специальными методами на мощных современных вычислительных машинах. Первый способ был реализован в начале 50-х годов — наводнение 15 октября 1955 года было своевременно и достаточно точно предсказано этим способом. Он остается основным до настоящего времени. Второй способ был готов лет через десять, но до сих пор проходит период мучительных (в организационном смысле) испытаний, несмотря на то что его результаты дважды каждые сутки предстают перед взором дежурного синоптика. С помощью гидродинамического способа выполнены сотни, даже тысячи расчетов, десятки прогнозов наводнений. Кстати, наводнение 1924 года воспроизведено этим способом вполне удовлетворительно. Есть, разумеется, и у него изъяны, важные детали не «вырешены окончательно». До сих пор не в пользу гидродинамики «работает» печальный факт — неудача первого оперативного испытания 18 октября 1967 года, когда случилось наводнение высотой 233 см.

Благодаря двум способам прогнозов «вырешена» задача предсказания наводнений в Петербурге на короткие сроки — от нескольких часов до двух-трех суток. А вот долгосрочное предсказание — на месяц, сезон, год — заставляет желать лучшего. Кстати, Борис Помпеевич был именно метеорологом-долгосрочником, его первые опыты прогнозов погоды на сезон в ГФО относятся к 1913 году. Его методы используются до сих пор, их основы разумны и результаты порой удовлетворительны. Но слишком сложная эта система — атмосфера. Да еще с Мировым океаном, воздействие которого необходимо учитывать при прогнозах даже на месяц. И все же попытки прогнозов на долгий срок имеют место. Их следует только приветствовать и всячески поощрять. Жаль только, что они иногда приобретают характер спекуляций. Вот уже который год некоторые долгосрочники грозят Петербургу потопом, утверждая, что мы вступили в «эпоху наводнений». Пока что прогнозы эти не оправдались. «Эпоха наводнений», возможно, даже наступила: в этом еще не завершившемся веке уже случилось почти вдвое больше наводнений, чем в веке девятнадцатом. Но при чем здесь катастрофический потоп? «Ужасный день!» 19(7) ноября 1824 года грянул, например, когда наводнений долго не было вовсе. Точнее, за период 1803 — 1835 годов кроме потопа было всего еще одно наводнение — 4 февраля (по новому стилю) 1822 года, высотой 243 см. Через сто лет обстановка была иной: наводнения стали довольно частыми с середины прошлого века и с редкими, одно- или двухлетними, перерывами продолжаются до сих пор. Из всего следует, что аналогов в прошлом нет, что «эпоха наводнений» не означает приближения «потопа» и что в целом, наконец, нет надежных оснований для долгосрочного прогноза.

Нельзя не сказать и о нашей злополучной дамбе. Защищать город от водной стихии, безусловно, надо. Так поступали везде и всегда. Способы, однако, могут быть самыми разными. Царь Петр издавал указы «возвышать сушу с великим поспешанием», заботился и об экологии, требуя «никакого сору и помета на Неву не бросать». Указы часто нарушались даже и самим издателем. После каждого наводнения следовали мероприятия по защите — возведение валов, проведение каналов, конкурсы проектов. Ныне осуществляемый проект, в принципе, мало отличается

от предложенного инженером Базеном после 1824 года. К нему вернулись и после 1924 года, решив возвести к 1938 году защитные сооружения «централизованным способом, подобно всесоюзным гигантам — Магнитогоркстрою, Днепрострою и Беломорстрою». Так говорилось в документах проекта, который поддерживал Киров. После его гибели Ленинград затопила кровь, а не наводнение. Она проливалась обильно и — это еще страшнее — безмолвно. (Питерская «Вечерка» вот уже шестой год печатает мартиролог: число расстрелянных в Левашовской пустоши только в августе — ноябре 1937 года перевалило за 10 тысяч.) «Всесоюзный гигант», а на поверку — еще один объект ГУЛАГа, «у морских ворот Невы» не состоялся. После массовых репрессий были война и блокада, потом снова аресты и расстрелы по «ленинградскому делу». До наводнений ли, хотя они шли своим чередом. К проекту защиты вернулись только в 60-е годы. На сей раз ему было суждено осуществиться: в августе 1979 года ЦК КПСС и СМ СССР постановили начать строительство. Это яркий, хотя и не единственный, пример того, как гигантоманы, заручившись поддержкой властей, «пробили» решение. Пример того, как определенные знания и опыт сочетались с ведомственными амбициями и нравственной глухотой. Ведь в те годы в стране были уже объявлены насущными продовольственная, жилищная, энергетическая и другие проблемы. В Ленинграде они были особенно обострены, и к ним добавлялись еще многие. Тут-то бы и задуматься на пленумах партийным и советским работникам, ученым и инженерам на своих советах и симпозиумах. Уж не говоря о том, чтобы поступить подобно Петербургской городской думе в 1897 году, когда защита города от наводнений была отнесена к дальним целям «за неимением средств». А на первые места ставились строительство больниц («...из-за поражающей азиатской смертности: 37 человек на 1000, тогда как в Лондоне — 17»), школ, жилья, водопровода, дорог, рынков, скверов и парков.

Показательно: об одобрении проекта заявил Г. Романов (тогдашний «первый» в Ленинграде) на торжествах в честь 60-летия революции, призывая ленинградцев благодарить Леонида Ильича и ЦК за заботу. То есть все было решено за два года до партийно-правительственного решения.

После 1985 года все покатило вспять. Замитинговали «зеленые», возникли ученые, ранее молчавшие и поддакивавшие, затормозилось финансирование, возражали новые депутаты и городские власти. В солидном энциклопедическом справочнике «Ленинград — Петербург» 1992 года утверждается, что строительство законсервировано. Сейчас говорят о новом развертывании работ, несмотря на отсутствие денег...

Есть о чем поговорить спустя семьдесят с лишним лет после первой публикации о невских наводнениях в «Новом мире». И похоже, что эта тема не скоро устареет.

К. С. ПОМЕРАНЕЦ.



ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ МГНОВЕНИЙ

ANDREÏ MAKINE. Le testament francais. Paris. 1995. 309 p.*.
АНДРЕЙ МАКИН. Французское завещание.

Госпожа Удача отыскала Андрея Макина в комнатке для прислуги, где он жил, то есть писал романы, и щедро наградила. В ноябре прошлого года безвестный сочинитель получил за свою четвертую книгу две премии подряд, в том числе самую престижную — Гонкуровскую, что сразу привлекло к нему внимание прессы и читателей (скорее всего, ненадолго). Среди дружных похвал прозвучал, как водится, и одинокий голос скептика, напомнивший о многочисленных промахах Гонкуровского жюри и в очередной раз повторивший то, о чем знают все (кроме широкой публики), а именно: что исход состязания зависит вовсе не от таланта претендентов, а от закулисной борьбы трех крупнейших издательств, экономически заинтересованных в Гонкуровской премии, которая гарантирует высокие тиражи и, стало быть, барыши.

Впрочем, даже если это всем известно, такого рода низкие истины принято не замечать, праздник награждения имеет свои нерушимые правила. А «Французскому завещанию» суждено было стать сенсацией, притом не только во Франции, но и у нас, в России, еще и по особым причинам. У нас — потому что автором «лучшего французского романа» года оказался русский, всего восемь лет назад покинувший Советский Союз. (В некоторых откликах явственно слышалось эдакое «знай наших!».) У них — потому что этот русский пишет «безупречным, классическим» французским языком и любит Францию так, как любят родину — или страну своей мечты. Такое необычное объяснение в любви ко всему французскому не могло не подкупить французов. Хотя страна, сотворенная русским мальчиком Алейшей — так зовут героя — из рассказов бабушки, француженки Шарлотты (волей случая застрявшей в российском захолустье), из старых газетных вырезок, хранившихся в бабушкином чемодане, и, конечно, из французской литературы, давным-давно канула в Лету. Недаром же Макин постоянно называет ее Атлантидой. Несмотря на достоверность исторических частных и бытовых штрихов, она имеет мало общего с реальной Францией. В чем герой (авторское alter ego) убеждается, став невозвращенцем. («Именно во Франции я едва не забыл окончательно Шарлоттину Францию».)

Любой другой писатель извлек бы из этого столкновения мечты с действительностью очередной вариант утраченных иллюзий. Во «Французском завещании» сей традиционный и вечно новый драматический мотив, едва возникнув, сходит на нет. Как бы вопреки сюжету и судьбе, загоняющей героя в одиночество и нищету, наперекор самой смерти, настигшей Шарлотту в тот момент, когда он готовился встретить ее в Париже, Макин написал не о крушении, а о торжестве мечты, иллюзии, воображения, иначе говоря — литературы, над грубой оболочкой бытия, которую мы называем жизнью. А решение Гонкуровской академии сообщило неожиданную убедительность этому романтическому кредо, увенчав его — за пределами текста — эффектным хеппи-эндом.

Но русских читателей книга Макина наверняка разочарует.

* Журнал «Иностранная литература» готовит публикацию книги.

«Французское завещание» представляет собой нечто среднее между семейной хроникой и романом воспитания. История семьи (с начала века до эпохи «застоя») рассказана, вернее, пересказана Алешей, в основном, со слов Шарлотты, которая и является главной героиней книги. «Посланница поглощенной временем Атлантиды», друг и единственная привязанность внука, она играет решающую роль в формировании его необычного характера. Именно она, эта француженка, чей язык с детства стал для него родным, своими красочными рассказами о далекой Франции увлекла Алешу в призрачный мир мечтаний и «замкнула» в прошлом, откуда он «бросал рассеянные взгляды на реальную жизнь». Сидя на балконе бабушкиного дома, глядящего в степь, мальчик завороченно внимал причудливым семейным преданиям и грезил наяву: в степной дали с очевидностью миража возникала «Атлантида», постепенно заполняясь людьми и событиями. Алеша видел маленькую Шарлотту, смотрящую из окна на затопленный Париж, депутатов, добирающихся в лодках на заседания парламента; безумного австрийца, прыгающего с парашютом с Эйфелевой башни; молодого элегантного господина по имени Марсель Пруст, небрежно заказывающего в ресторане стакан воды и кисть винограда; президента республики Феликса Фора, умирающего в Елисейском дворце в объятиях своей любовницы... Мальчик в мечтах посещал Францию вместе с российской императорской четой, Николаем и Александрой: торжественные встречи, восторги толпы, блеск золота и роскошных туалетов, банкеты, речи, оvationи. А какой обед им подавали, каким вином их угощали! Как упоительно звучат названия неведомых блюд: «Bartavelles et ortolans» (приводится полностью меню)! Отныне эти бартавелли и ортолансы станут для Алеши и его сестры своего рода паролем, впускающим в иной мир, удаленный от дрязг здешнего. Автор увлеченно водит нас по своей персональной коллекции, с простодушной гордостью демонстрирует любимые экспонаты и диковинки, а мы позевываем, томимся и недоумеваем: ну чем его так приворожила вся эта реникса? Непохожестью на нашу жизнь? Звучком и ритмом французской речи? Впрочем, разве любят за что-то? Попробуйте объяснить, почему изгиб Грушенькиной спины свел с ума бедного Митю, почему де Грие навеки полюбил непутевую Манон...

Роман героя с Прекрасной Дамой — Францией развивается по всем правилам амурного жанра. Приливы пылкого увлечения и жгучего интереса к предмету страсти (запойного чтения французской литературы) чередуются с охлаждением, ссорами и разрывами. Он даже бежит на тайные свидания с Ней: в том большом и скучном волжском городе, где Алеша живет с родителями, есть одно место, которое вечером, в пасмурную или дождливую погоду, чем-то напоминает ему Париж, и вот, едва стемнеет, он спешит на свой «парижский» перекресток и балдеет там до поздней ночи.

Внезапная смерть матери, а затем отца обрывают это наваждение. Пятнадцатилетний Алеша наконец обнаруживает реальный мир и, отрекшись от французских миражей, пытается освоиться на родной земле, даже стать как все. Для героя начинается «русский период»: «Россия, будто медведь после долгой зимы, просыпалась во мне». Только, право, лучше б не просыпалась!.. На макинской России словно стоит штамп: «Сделано за границей». До развесистой клюквы, правда, дело не доходит, все-таки автор до тридцати лет жил в нашей стране, но подделка очевидна. Перед нами — типичный кич, притом поданный без тени иронии, с многозначительной миной и патетическим придыханием. Незамысловатая комбинация привычных, как этот фирменный медведь, стереотипов, экзотического местного колорита, пошлых общих мест и псевдооткровений создает «похожий» имидж, который лишь иностранцы могут принять за чистую монету. Впрочем, на них-то и ориентировался автор, и это чувствуется с самого начала по тому, с какой настойчивостью он выделяет все, что может поразить европейский глаз: беспредельные просторы, хлеба, колосающиеся «от Черного моря до Тихого океана», степь, степь, степь и снега без конца и края, в коих, конечно же, таится нечто загадочно-притягательное. «Снежная планета никогда не отпускала души, околдованные безмерностью ее пространств». Поясню: речь идет о прабабушке героя, француженке Альбертине, которая после смерти мужа, привезшего ее в Сибирь, так и не смогла вернуться во Францию, зачарованная то ли вышеназванными просторами, то ли «пьянящей отравой» темной русской жизни, проникшей в ее кровь (кажется, имеется в виду морфий, к которому пристрастилась бедняжка)...

Но я отвлеклась от Алеши, а между тем медведь, проснувшийся в нем, то бишь Россия, быстро овладевает его душой. Герой как-то вдруг «излечился» от Франции и полюбил свою немыслимую родину с ее жестокостью, нежностью, пьянством, анархией, покорно принимаемым рабством, неожиданной утонченностью и проч., полюбил «за чудовищность и абсурдность» и открыл в ней «высший смысл, недоступный логическому суждению». Однако по-настоящему он почувствовал себя русским и постиг тайны русской души благодаря... Берии. Рассказ о грязных похождениях всесильного «сатрапа», подстерегавшего на улицах Москвы и похищавшего приглянувшихся ему женщин, производит ошеломляющее впечатление на подростка, который как раз вступил в мучительную пору полового созревания. Его воспаленное воображение без конца рисует картины «охоты», насилия, совокупления, возбуждающие и изнуряющие Алешу. Эти болезненные фантазии становятся поводом для далеко идущих выводов о национальном характере: «...если Россия покоряет меня, то потому, что она не знает пределов — ни в добре, ни в зле. Особенно в зле. Она позволяет мне завидовать этому охотнику за женской плотью. И ненавидеть за это себя. И страдать вместе с этой терзаемой женщиной... И стремиться умереть вместе с ней, потому что невозможно жить, имея в себе двойника, который восхищается Берией... Да, я был русским. Теперь я понимал, пусть еще смутно, что это значит. ...Очень буднично жить на краю бездны. Да, это и есть Россия».

Из этих «достоевских» бездн автор вытаскивает героя по испытанному советскому рецепту — военные игры и казарменная жизнь в школьном лагере пробуждают в Алеше патриотические чувства и восторженный коллективизм. Стремительное перевоспитание изгоя-индивидуалиста заставляет вспомнить наивные агитки сталинской эпохи, а представление о психологии советского молодого человека вполне соответствует расхожим западным стереотипам: «Жить в блаженной простоте предписанных жестов: стрелять, шагать строем... Отдаться коллективному движению, управляемому другими. Теми, кто знает высшую цель. Кто великодушно снимает с нас бремя ответственности... И эта цель тоже проста и однозначна: защита родины. Я спешил слиться с этой великой целью, раствориться в массе, среди моих чудесно безответственных товарищей. Счастливый. Блаженный. Здоровый». Прекрасная Франция предана, более того — вызывает у героя, как и Запад вообще, «врожденную» русскую подозрительность. С чувством «никогда дотоле не испытанной гордости» Алеша думает о мощи наших танков, которые могут «раздавить весь земной шар».

Но хватит цитат. Кажется, «улик» более чем достаточно, и вывод напрашивается сам собой. А между тем все не так просто, как может показаться, и подводить черту еще рано. Ибо есть в романе Макина, несмотря на его очевидные слабости и пошлость общих мест, некая сокровенная, почти магическая сила, которой мы исподволь и невольно поддаемся. Правда, большей частью она остается под спудом, зато когда выходит на поверхность, условный мир, выстроенный автором, на миг другой волшебным образом преображается и оживает. Так оживают, сойдя с газетной фотографии, три красавицы былых времен и, словно притянутые Алешиным взглядом, улыбаясь, идут ему навстречу по шелестящей осенней аллее... С пронзительной недетской печалью мальчик вдруг сознает, что бледный газетный оттиск — единственный материальный след, оставшийся от прелестных, некогда полных жизни женщин, и отчаянным усилием воли пытается удержать их тающие тени. В этом мимолетном эпизоде — ключик к тайне «Французского завещания». У нас на глазах герой (автор) открывает в себе удивительную способность — силой воображения возвращать к жизни канувшее в Лету мгновенье, отнимать у смерти ее добычу, иначе говоря, обнаруживает поэтический дар. В его основе — та извечная человеческая грусть пред сонмом уходящих, та невозможность примириться с бесследностью исчезновения и бунт против небытия, которые лежат в подоплеке всякого творчества. Только вот художественный диапазон Макина заведомо ограничен.

Он умеет сообщить убеждающую достоверность фантазиям и призракам, населяющим его внутренний мир, жить чувствами несуществующих людей, но бросает лишь рассеянные взгляды на реальную жизнь, не замечает близкое и близких и маскирует отсутствие наблюдательности штампами, когда дело доходит до изображения действительности. Только Шарлотта, увиденная глазами любви, составляет исключение из правила — именно потому, что она подарила Алеше вселенную, существующую лишь в ее воображении. Но... Годы спустя, когда, бездомный, боль-

ной и абсолютно одинокий, он будет погибать в Париже, Шарлоттина Атлантида спасет его.

Бесцельно бродя по улицам, Алеша случайно обнаруживает ее след — мемориальную планку с надписью: «Наводнение. Январь 1910». Эти возникшие «как по волшебству» слова, подтверждающие реальность мира грез, возвращают героя к жизни, а вместе с ней — к воспоминаниям. Перед ним всплывают, цепляясь друг за друга, яркие осколки увиденного и пережитого — «вечные мгновенья», чье «таинственное созвучие» еще в детстве приоткрыла ему Атлантида. Теперь, когда она вдруг окликнула его, он наконец осознает свое призвание и принимает одно из тех героических решений, которые мало кто выполняет: «У меня не будет иной жизни, кроме этих мгновений, возрождающихся на листе бумаги». Остальное известно (см. начало).

Настоящая литература, утверждает Макин, — это «волшебство, которое одним словом, строфой, стихом переносит нас в мгновенье вечной красоты». И если верно, что писателя надо судить по законам, им самим над собой признанным, то «Французское завещание» все же следует отнести к настоящей литературе. Верно и то, что Макин подобрал закон себе по мерке — у него короткое поэтическое дыхание. В любом случае, несколько десятков подлинно прекрасных мгновений теряются среди трех сотен страниц, на протяжении которых наполовину условный герой мечется между вымечтанной Францией и липовой Россией.

Майя ЗЛОБИНА.



КНИЖНАЯ ПОЛКА



Юз Алешковский. Собрание сочинений. В трех томах. Вступительная статья Иосифа Бродского. Послесловие Андрея Битова. М. «ННН». 1996. 20 000 экз.

Том 1. Николай Николаевич. Кенгуру. Маскировка. Рука. 640 стр.

Том 2. Синенький скромный платочек. Книга последних слов. Смерть в Москве. 560 стр.

Том 3. Bloшиное танго. Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке. Признания несчастного сексота. Смерть Ленина. Руру. Перстень в футляре. Семейная история. Песни. Строки гусиного пера, найденного на чужбине. 560 стр.

Иво Андрич. Травницкая хроника. Консульские времена. Роман. Перевод с сербохорватского М. Волконского. М. «Панорама». 1996. 448 стр. 10 500 экз.

Евгений Габрилович. Последняя книга. М. «ЛОКИД». 1996. 336 стр. 10 000 экз.

Короткие рассказы и повести, в которые переросли замыслы так и не воплощенных киносценариев и пьес. Предисловие Алексея Евгеньевича Габриловича.

Гайто Газданов. Собрание сочинений в трех томах. Составление, подготовка текста Л. Диенеша (США), С. С. Никоненко, Ф. Х. Хадоновой. Комментарии Л. В. Сыроватко, С. С. Никоненко, Л. Диенеша. Вступительная статья Ласло Диенеша и С. С. Никоненко. М. «Согласие». 1996.

Том первый. Вечер у Клер. История одного путешествия. Полет. Ночные дороги. 720 стр.

Том второй. Призрак Александра Вольфа. Возвращение Будды. Пилигримы. Пробуждение. Эвелина и ее друзья. 800 стр.

Том третий. Рассказы. На французской земле. 848 стр.

Первое в России издание собрания сочинений Гайто (Георгия Ивановича) Газданова (1903 — 1971).

М. Гершензон. Гольфстрем. М. «Народное образование». 1996. 128 стр. 10 000 экз.

Сергей Довлатов. Малоизвестный Довлатов. Составление, подготовка текстов А. Арьева. СПб. Журнал «Звезда». 1996. 512 стр. 20 000 экз.

Евгений Звягин. Письмо лучшему другу. Санкт-Петербург. Издание ТЦ «Борей-Арт». 1995. 60 стр.

Сборник эссе петербургского прозаика о ленинградском андерграунде 70-х годов, о поэтах Леониде Аронzone, Александре Миронове, художнике Валерии Вальране; о писателях прошлого Константине Вагинове, А. М. Коллонтай и о прозе незаслуженно забытого Леонида Соловьева.

Кокинавакасю. Собрание старых и новых песен Японии. Перевод со старояпонского и предисловие А. Долина. М. Издательство «Радуга». 1995.

Том 1. Свитки I — VI. 272 стр. 5000 экз.

Том 2. Свитки VI — XVI. 344 стр. 5000 экз.

Том 3. Свитки XVII — XX. 232 стр. 5000 экз.

Антология японской поэзии эпохи Хэйан, составленная в X веке.

Марина Кулакова. Река по имени Мастер. Проза, эссеистика, теория и литературная практика. Нижний Новгород. Издательство «Деком». 1995. 151 стр. 2000 экз.

Кроме указанных в подзаголовке жанров в книгу вошла драматическая поэма «Персефона».

Феликс Розинер. Вектор века. Стихи 1978 — 1996 гг. Москва — Париж — Нью-Йорк. Издательство «Третья волна». 1996. 112 стр. 1000 экз.

Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох». Сказитель В. О. Каратаев. Подготовка текста В. В. Илларионова. Новосибирск. «Наука». Сибирская издательская фирма РАН. 1996. 440 стр. 10 000 экз. На русском и якутском языках.



Екатерина Великая. Наставление к воспитанию внуков. Составление и предисловие В. И. Десятерика. М. Фонд имени И. Д. Сытина. 1996. 16 стр. 3000 экз.

А. Ермолов. Народное погодоведение. М. «Русская книга». 1995. 432 стр. 16 000 экз.

Переиздание книги ученого и агронома Алексея Сергеевича Ермолова (1848 — 1917), вышедшей единственным изданием в 1905 году в С.-Петербурге. В полном названии ее значилось: «Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах».

М. Забылин. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия. М. «Русская книга». 1996. 496 стр. 9200 экз.

Первое издание этой книги — в 1880 году, об авторе сведений почти не сохранилось. Печатается по первому изданию с исправлением орфографии и с исключением последнего раздела «Старинные и народные песни». В подзаголовке полного названия книги: «Книга, содержащая в себе: русские праздники, обряды, суеверия, ложные убеждения, сведения о колдунах, ведьмах, нечистой силе, разного рода симпатии, приметы, заклинания, заговоры. — Народную медицину: старинный травник и цветник. — О кладях. — Домашняя жизнь: описание костюмов, охоты, музыки».

Иуда: 2000 лет дискуссий о предательстве. Составители: В. Горбунов, В. И. Десятерик, И. М. Мешкова. М. Фонд имени И. Д. Сытина. 1996. 255 стр. 5000 экз. Формат 70×94 мм.

Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. Словарь по психоанализу. Перевод с французского и предисловие Н. С. Автономовой. М. «Высшая школа». 1996. 623 стр. 50 000 экз.

Первое издание в России наиболее популярного во Франции (12 изданий после 1967 года) словаря по немецкому психоанализу в его классической фрейдистской форме, принадлежащего перу авторитетных французских специалистов.

Литературные мемуары XX века. Аннотированный указатель книг, публикаций в сборниках и журналах на русском языке. (1985 — 1989 гг.). Часть 1. Ответственный редактор Н. Н. Воробьева. Составление И. Г. Волович и других. М. Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН. 1995. 720 стр. 1000 экз.

И. Тэн. Философия искусства. Подготовка к изданию, общая редакция, составление именного указателя и послесловие А. М. Микиши. Вступительная статья П. С. Гуревича. М. «Республика». 1996. 352 стр. 10 100 экз.

Тюремные рукописи Н. И. Бухарина. В 2-х книгах. Ассоциация исследователей российского общества XX века; Фонд имени Н. И. Бухарина. М. «АИОРО — XX века». 1996. 500 экз.

Книга 1. Социализм и его культура. 258 стр.

Книга 2. Философские арабески. Диалектические очерки. 394 стр.

Б. Савченко. Эстрада ретро. Юрий Морфесси. Александр Вертинский. Иза Кремер. Петр Лещенко. Вадим Козин. Изабелла Юрьева. М. «Искусство». 1996. 400 стр. 5000 экз.

К. Хюбнер. Истина мифа. Перевод с немецкого. М. «Республика». 1996. 448 стр. 11 000 экз.

А. С. Эфрон. «А душа не тонет...». Письма 1942 — 1975. Воспоминания. Составление, подготовка текста, примечания, подбор иллюстраций Р. Б. Вальбе. М. «Культура». 1996. 448 стр. 5000 экз.

Составитель С. Костырко.



Научное наследство. Т. 24. Естественнонаучное наследие декабристов. Г. С. Батеньков, Н. А. Бестужев, М. А. Бестужев, К. П. Торсон. Составители О. А. Александровская, Г. А. Фирсова. Отв. редактор академик П. В. Волобуев. М. «Наука». 1995. 464 стр. 925 экз.

Издание включает научные труды декабристов-естествоиспытателей. Круг рассматриваемых тем чрезвычайно широк: от природы и этнографии до философского осмыс-

ления развития природы, общества, человека, до предложения оригинальных технических и машинных усовершенствований. Записи, дневники, письма описывают несуществующие ныне ландшафты, содержат массу этнографических, зоологических, природных и бытовых наблюдений и подробностей, благодаря им не канувших в Лету.

Следует отметить археографическую работу публикаторов. Исключительную трудность для расшифровки представляли разрозненные черновые философские заметки Г. С. Батенькова, над которыми работал В. А. Западный. Особый интерес представляет попытка реконструкции труда Г. С. Батенькова «Общая философия системы мира», предпринятая А. П. Огурцовым, который попытался воссоздать его структуру исходя из сохранившихся фрагментов.

Публикуемые материалы снабжены сопроводительными статьями О. А. Александровской, обширными комментариями, терминологическим словарем, раскрывающим значение устаревших, малоупотребляемых и специальных терминов, а также аннотированным именованным указателем.

М. Бастракова.



ПЕРИОДИКА



«Грани», «Дружба народов», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Кольцо А», «Литературная газета», «Литературная учеба», «Литературное обозрение», «Москва», «Московские новости», «Нева», «Независимая газета», «Общая газета», «Октябрь», «Открытая политика», «Русская мысль», «Стрелец», «Urbī», «Юность»

Леонид Бородин. Царица Смуты. Историческая повесть. — «Москва», 1996, № 5.

Про Марину Мнишек.

Вокруг «Чисел». — «Литературное обозрение», 1996, № 2.

Специальный номер «Литературного обозрения», посвященный парижскому журналу «Числа», не приурочен к каким-либо юбилеям и датам. Как явствует из редакционного предисловия, его появление означает скорее исключительный интерес современного литературного мира к русской эмиграции первой волны. Журнал «Числа», несмотря на кратковременность своего существования, оставил заметный след в русской культуре (Мережковский называл «Числа» чудом эмигрантской литературной жизни). В данном номере «Литературного обозрения» мы можем прочесть следующие материалы, подготовленные М. А. Васильевой. Вводную статью Георгия Мосешвили «Между человеком и звездным небом». Статью Л. Ереминой «Рыцарь культуры» о Николае Оцупе. Комментарии О. Коростелева к «Комментариям» Г. Адамовича. Сокращенный текст диссертации Елены Менегальдо (Франция) о Борисе Поплавском. За этим следуют стихотворения 1918 — 1920 годов и дневниковые записи самого Поплавского (публикация А. Н. Богословского). О «трудном писателе» Юрии Фельзене рассказывает Виктор Леонидов. За этим идет текст самого Фельзена «Неравенство». Публикуются стихи 30 — 40-х годов Анатолия Штейгера (вступительная статья, публикация и подготовка текста Георгия Мосешвили). Стихотворения Довида Кнута сопровождаются статьей публикатора — Анатолия Кудрявицкого, а также фрагментами из книги Мириам Деган «Благотворная жажда» (перевод с французского Е. Туницкой и А. Кудрявицкого). Мария Васильева в статье «Неудачи «Чисел»...» размышляет о взаимоотношениях литературных поколений в 20 — 30-е годы и в наши дни. Одна статья Темиры Пахмус (Иллинойсский университет, США) рассказывает о литературном обществе «Зеленая лампа», возникшем по инициативе Мережковских в Париже в 1927 году; другая — о публикациях Зинаиды Гиппиус в «Числах». Алексей Кубрик в статье «Молчание и зеркала» пишет о творчестве поэта Бориса Божнева. И наконец, литературная война между Владимиром Набоковым и «Числами» обрисована в статье Н. Мельникова.

Надежда Вольпин. Свидание с другом. Главы из книги. — «Кольцо А». Литературный журнал Союза писателей Москвы. 1996, № 2.

Воспоминания переводчицы и поэтессы Н. Д. Вольпин о Сергее Есенине сопровождаются публикацией нескольких ее стихотворений 20-х, 40-х и 80-х годов.

Инна Гофф. Из записных книжек. Вступление и публикация Константина Ваншенкина. — «Октябрь», 1996, № 5.

Записи 1958 — 1990 годов И. А. Гофф (1928 — 1991). «Старые продавцы хотят, чтобы мы их запомнили, а молодые нас не замечают» (запись 1964 года).

Гюнтер Грасс. Собачьи годы. Роман. Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого. — «Иностранная литература», 1996, № 5, 6...

Сокращенная публикация последней книги из так называемой «данцигской трилогии» Гюнтера Грасса, снискавшей автору в начале 60-х годов всемирную славу. См. также фрагменты его романа «Жестяной барабан», публиковавшиеся «Иностранной литературой» (1995, № 11).

Евгений Евтушенко. Тринадцать. Поэма. — «Литературная газета», 1996, № 22, 29 мая.

«Идут тринадцать работяг...»

Анатолий Жигулин. Урановая удочка. — «Грани», № 179 (1996).

Лаконичные воспоминания об урановом руднике Бутугычаг продолжают известную автобиографическую повесть А. Жигулина «Черные камни».

Михаил Золотоносов. Нагибин. Дневник неизвестного. — «Московские новости», 1996, № 21, 26 мая — 2 июня.

Отклик на второе, дополненное издание нагибинского «Дневника», выпущенного издательством «Книжный сад». Цитата: «Корни нагибинского исповедничества имеют дostoевско-ставрогинский привкус, отсюда и амбивалентный образ автора «Дневника», бесконечно далекий от банальной привлекательности». Ср. с рецензией Сергея Костырко в «Новом мире» (1995, № 11) на первое издание книги.

Вячеслав Курицын. Смерть на острове. О реакции гуманитарной общественности на смерть Иосифа Бродского. — «Независимая газета», 1996, № 104, 7 июня.

Среди прочих «политнекорректностей» автор позволяет себе отметить «таинственную склонность властей города Санкт-Петербурга к мертвым телам». А именно: «В Северную Пальмиру последовательно востребовались В. И. Ленин из мавзолея, Николай Второй из Екатеринбурга и Иосиф Бродский из Нью-Йорка. Пока Смольный никого не получил, но любопытно будет проследить за действиями его хозяев после того, как им таки удастся добыть какого-нибудь неживого человека. В настоящее время городу приходится довольствоваться паллиативами в виде вполне запредельных, но, увы, неорганических монстров Михаила Шемякина».

Александр Лацис. Спрятанный ключ. Шифровальное мастерство Пушкина. — «Кольцо А». Литературный журнал Союза писателей Москвы. 1996, № 2.

Десятая глава «Онегина». Конспирология.

Эдуард Лимонов. Два рассказа. — «Юность», 1996, № 5.

«Mother's Day» и «Первый панк» — рассказы со множеством целомудренных многоточий.

Лев Лосев. Реальность зазеркалья: Венеция Иосифа Бродского. — «Иностранная литература», 1996, № 5.

Статья поэта, литературоведа, переводчика, живущего в США, получена редакцией «Иностранной литературы» в рукописи.

Борис Любимов. Богословие в звуках. О церковности, осветившей «творчество и чудотворство» позднего Пастернака. — «Русская мысль», Париж, 1996, № 4126, 16 — 22 мая.

«Большинство знатоков Пастернака до недавнего времени были далеки от Церкви, а церковный люд далек от Пастернака. Пастернак и церковность — тема, еще ждущая исследования».

Николай Любимов. Из книги «Неувядаемый цвет». Борис Пастернак. Публикация Б. Н. Любимова. — «Дружба народов», 1996, № 5.

Предыдущие главы из мемуарной книги известного переводчика см.: «Дружба народов», 1992, № 7; 1993, № 6, 7; 1994, № 8.

Чеслав Милош. Об Иосифе Бродском. Перевела с польского Анна Пустынцева. — «Русская мысль» (Париж), 1996, № 4126, 16 — 22 мая.

Отклик на смерть поэта («Тыгодник повсехный», Краков, 1996, 17 марта).

Борис Можяев. Земля и воля. Нижегородские заметки. Предисловие Людмилы Сараскиной. — «Октябрь», 1996, № 5.

Последний очерк недавно умершего писателя.

Евгений Носов. Яблочный спас. Рассказ. — «Москва», 1996, № 5.

Деревенская проза. Воспоминания о войне. Русские женщины.

Юрий Петкевич. Возвращение на родину. Хроника. — «Дружба народов», 1996, № 5.

«Когда у моего дяди умерла жена, бедняга сильно переживал, так что места себе не находил... Зная про редкую любовь между ним и покойной и предполагая, что участь его облегчится, если дяде мысленно перенестись в иные времена, когда любимая женщина находилась рядом, — я предложил ему написать воспоминания о чудной возвышенной любви. Дядя с восторгом откликнулся на мое предложение». Далее следуют «дядины» мемуары.

Григорий Петров. Мать Кирсана-плотника. Повесть. — «Октябрь», 1996, № 5.

«Тоже знамений всяких и пророчеств тогда в городе было немало...» См. также его рассказ «Царство земное и небесное» в «Новом мире» (1996, № 2).

Леонид Петрушенко. Лейбниц и Петр Первый. — «Открытая политика». Журнал российской политической жизни. 1996, № 3 — 4 (март — апрель).

О том, почему философ Лейбниц с живым участием следил за деятельностью Петра Первого и какие «новые мысли и надежды» эта деятельность в нем возбуждала.

Игорь Померанцев. Любимцы господина Фабра. Радиокомпозиция. — «Urbі». Литературный альманах, издаваемый Владимиром Садовским под редакцией Кирилла Кобрин. Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Выпуск шестой. Санкт-Петербург, 1996.

«Классический тип ученого-чудака, дилетанта с проблесками гениальности» — так определяется в авторском предуведомлении французский энтомолог Ж. Фабр. В основе радиокомпозиции лежат тексты самого Фабра, а также М. Пруста и собственно авторская речь. В финале ученый приглашает насекомых его, Фабра, скушать... Последняя ремарка: «Скрежет, шумы сада, музыка».

«Правда душевно-духовного знания». Современники о Владиславе Ходасевиче. Предисловие, примечания и подготовка текстов В. Перхина. — «Нева», 1996, № 5.

К 110-летию со дня рождения поэта. А. Белый, «Рембрандтова правда в поэзии наших дней. О стихах В. Ходасевича» (1922); Глеб Струве, «Письма о русской поэзии. Владислав Ходасевич. Тяжелая лира» (1923); Владимир Вейдле, «В. Ф. Ходасевич. О Пушкине» (1937); Владимир Вейдле, «В. Ф. Ходасевич. Некрополь» (1939); Владимир Набоков, «О Ходасевиче» (1939).

Всеволод Ревич. Алексей Толстой как зеркало русской революции. — «Знание — сила», 1996, № 4.

Революционный авантюризм в истории и литературе. «Аэлита» А. Н. Толстого в сравнении с «Великим походом за освобождение Индии» В. Залотухи («Новый мир», 1995, № 1).

Нина Садур. Заikuша. Повесть. — «Стрелец». Альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли. 1995, № 2 (76).

«Ненавижу: метро, автобус и свою работу. Медбрат я».

Владимир Славецкий. Прорыв дебютантов. — «Литературная учеба», 1996, № 2 (март — апрель).

«Не все заметили, что прорыв дебютантов девяностых состоялся». Среди прочего в статье отмечается, что «Новый мир» в 1995 году «побил рекорд» по молодым авторам.

Александр Солженицын. Традиции российской государственности и перспективы федерализма. — «Общая газета», 1996, № 22, 6 — 12 июня.

«Подлинная федерация может создаться только центростремительными силами: добровольным соединением государственных или полугосударственных образований для взаимовыгодного общего укрепления. Так создавались Швейцария, Соединенные Штаты, федерация германских земель — и мы видим, как они прочны. Федерация же надуманная, искусственная, в ее ленинских формулах, ставшая реальностью только с 1991 года, ведет к произволу центробежных сил».

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Октябрь

40 лет назад — в № 10 за 1956 год напечатано стихотворение Н. Заболоцкого «Противостояние Марса».

50 лет назад — в № 10 (11) за 1946 год напечатан рассказ Андрея Платонова «Семья Иванова».

65 лет назад — в № 10 за 1931 год напечатаны произведения И. Бабеля «Гапа Гужва» (первая глава из книги «Великая Криница») и «В подвале» (из книги «История моей голубятни»).

70 лет назад — в № 10 за 1926 год напечатано стихотворение Владимира Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии».



«ЮНОСТЬ»

в 1997 году

Журнал для всех, кто не только молод душой, но и верен идеалам правды и благородства, для кого в каждом рассвете — песня и цвета романтики, в каждом закате — нежность мечтаний и надежда на новый рассвет. Лучшие повести и романы самых талантливых прозаиков, поэтов, публицистов. Наследие: открытие забытых имен и новые литературные подробности творчества знаменитостей. Самая широкая панорама проблем и явлений, портреты личностей, создающих историю дня, века, тысячелетия.

Привет тебе, наш друг-подписчик, сентиментальный реалист, не чуждающийся фантастических предвидений; сын Отечества, достойный наследник поколений, заботливо растивших дерево жизни.

*Не расставайтесь
с Вашим
«ЮНОСТЬЮ».
будьте молоды всегда!*

Журнал «Юность» в первой половине 1997 года

Роман Сергея ЕСИНА «Владимир Ленин».

Роман Ивана ОГАНОВА «Райское яблоко года».

Роман Андрея БЕКЕТОВА «Тоска о девичьих грезах» (императрица Елизавета Петровна).

Повествование Геннадия ГОЛОВИНА «Приключения шестиствольного американца в России».

Рассказы Леонида БОРОДИНА.

Рассказы Эдуарда ЛИМОНОВА.

Повесть Михаила УМНОВА «Прощание сталкера».

Повести и рассказы Сергея ТОЛКАЧЕВА, Евгения КОНСТАНТИНОВА, Василия ЛОГИНОВА, Елены ДОЛГОПЯТ, Самиды АГАЕВА, Владимира СУТЫРИНА, Александра РАПОПОРТА.

Новый роман Александра СКОРОБОГАТОВА «Песни Нерона».

Микаэл КСАВЕР. «Скифская сага».

Роман Анаис НИИ «Шпион в храме любви».

Сказы Таисии ПЬЯНКОВОЙ.

Сатирические сказы Вовши ХМЕЛЕВА.

Ехидные рассказы Виталия УРАЖЦЕВА.

Сатиры Павла РУМЯНЦЕВА.

Исторические публикации: жизнь боярина Артамона Матвеева; смерть любовницы графа Аракчеева и обстоятельства смерти самого графа; из жизни пажей Людовика XVI; арест Бирона.

В 1997 году журнал «Юность» обращается к читателю с предложением годовой подписки.

Льготная подписка ждет библиотеки, школы и воинские части.

И еще: цена подписки на следующий год остается такой же, как и в нынешнем году!

СРЕДИ ПУБЛИКАЦИЙ БУДУЩЕГО ГОДА

Произведения авторов, которых в России хорошо знают и любят:

Роман Питера Акройда «ПРОЦЕСС ЭЛИЗАБЕТ КРИ»
 Роман Клайва С. Льюиса «ПОКА МЫ ЛИЦ НЕ ОБРЕЛИ»
 Роман Кристи Вольф «МЕДЕЯ»
 Роман Эмиля Ажара (Ромена Гари) «ПЕЧАЛЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
 Роман Марио Варгаса Льосы «ЛИТУМА В АНДАХ»
 Повесть Милорада Павича «ШЛЯПА ИЗ РЫБЬЕЙ ЧЕШУИ»
 Эссеистический цикл Умберто Эко «ШЕСТЬ ПРОГУЛОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЛЕСУ»
 Рассказы Зигфрида Ленца, Антонио Табуки, Сола Беллоу

Произведения авторов, которых в России пока не знают, но наверняка полюбят:

Роман Пола Остера «СТЕКЛЯННЫЙ ГОРОД»
 Роман Майкла Каннингема «ДОМ НА КРАЮ СВЕТА»
 Роман Алана Айлера «ПРИНЦ ВЕСТ-ЭНДСКИЙ»
 Роман Михала Вивега «ЛУЧШИЕ ГОДЫ ПСУ ПОД ХВОСТ»
 Роман Стефана Хвина «ГАНЕМАН»
 Роман Владимира Парала «ДЕКАМЕРОН 2000, ИЛИ ЛЮБОВЬ В ПРАГЕ»

А также:

Главы из автобиографической книги компьютерного вундеркинда Билла Гейтса «ДОРОГА ВПЕРЕД»
 Книга интервью Федерико Феллини «РАССКАЗЫВАЯ О СЕБЕ»
 Переписка Гюнтера Грасса с Кэндзабуро Оэ
 Литературные портреты Антонена Арто и Фернандо Пессоа в рубрике Бориса Дубина «Портрет в зеркалах»
 Новые главы книги Петра Вайля «Гений места»

Кроме того, редакция готовит ряд тематических номеров и специальных выпусков. Уже составлены:

«АМЕРИКАНСКИЙ ПОСТАВАНГАРД»
«АНТИЧНАЯ ТЕМА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Ведутся переговоры о приобретении авторских прав на перевод еще нескольких произведений, каждое из которых стало ярким событием в литературе последних лет.

Советуем обратить особое внимание на майский номер, который станет для журнала юбилейным, ПЯТИСОТЫМ.

ОКТАБРЬ — 1997

В 1997 году «Октябрь» предполагает опубликовать новые произведения многих известных авторов.

Среди них:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Валерий БЫЛИНСКИЙ. **Июльское утро.** Повесть.

Александр БОРОДЫНЯ. **Религиозные войны.** Роман.

Юрий БУЙДА. **Рассказы.**

Ролан Быков. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Ковчег.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **«Родиться в России...».** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский.**

Владимир КАНОВИЧ. **Парк забытых евреев.** Роман.

Юрий КАРЯКИН. **Дневник русского читателя.**

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Руслан КИРЕЕВ. **Витгинские легенды.** Рассказы.

Михаил ЛЕВИТИН. **Чушь собачья.** Повесть.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы.**

Анатолий НАЙМАН. **Славный конец бесславных поколений.** Рассказы

Олег ПАВЛОВ. **Дело Матюшина.** Повесть. **Записки из-под сапога.** Рассказы.

Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1938 года.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Генрих САПГИР. **Бабье лето и несколько мужчин.** Рассказы.

Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. **Быть!** Документальное повествование.

Борис ХАЗАНОВ. **После нас потоп.** Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Асар ЭППЕЛЬ. **Рассказы.**

ПОЭЗИЯ

Стихи Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Ольги БЕШЕНКОВСКОЙ, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Натальи ГОРБАНЕВСКОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Виктора КРИВУЛИНА, Льва ЛОСЕВА, Юнны МОРИЦ, Анатолия НАЙМАНА, Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Виктора СОСНОРЫ, а также подборки стихов молодых поэтов.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Серебряный век: эпистолярное наследие. Переписка Марка АЛДАНОВА с Георгием АДАМОВИЧЕМ, Борисом ЗАЙЦЕВЫМ, Михаилом ОСОРГИНЫМ, Ильей РЕПИНЫМ, ТЭФФИ и другими — из Бахметевского архива (Нью-Йорк).

Переписка Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА. 60 — 70-е гг.

Новые поступления из архивов Музея А. С. ПУШКИНА и Музея Л. Н. ТОЛСТОГО.

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Статьи известных публицистов, видных философов, экономистов, историков: Л. БАТКИНА, В. КАНТОРА, В. КАРДИНА, С. НИКОЛЬСКОГО, Л. СКВОРЦОВА, Г. ПОМЕРАНЦА, Л. ФРИЗМАНА и других.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Статьи Д. БАВИЛЬСКОГО, Д. БАКА, М. ГАСПАРОВА, А. ЗВЕРЕВА, Е. ИВАНИЦКОЙ, К. КОБРИНА, В. КУРИЦЫНА, М. ЛИПОВЕЦКОГО, Е. ПЕРЕМЫШЛЕВА, Л. САРАСКИНОЙ, Б. САРНОВА, А. ЭТКИНДА.

ДЛЯ ЖУРНАЛА РАБОТАЮТ:

Юрий ДАВЫДОВ, Сергей ДЫШЕВ, Владимир МАКАНИН, Ирина МУРАВЬЕВА, Виктор ПЕЛЕВИН, Григорий ПЕТРОВ, Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ, Валерий ПОПОВ, Людмила УЛИЦКАЯ, Марина УРУСОВА и другие.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



ПОДПИШИТЕСЬ НА “ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ”!

И она познакомит вас с людьми читающими и пишущими в России, США, Израиле и всех странах Европы. “Литературная газета” — самая престижная газета из изданий, освещающих культурную жизнь России и зарубежья.

Кроме того, наши журналисты обеспечат профессиональный уровень проведения рекламной кампании вашего предприятия или фирмы, найдут правильный подход к характеру потребителя.

Мы оказываем следующие услуги:

- ✓ Оригинальное макетирование текстов прямой и косвенной рекламы.
- ✓ Разработка логотипов и фирменного стиля.
- ✓ Слоганы.

И наконец туристическая служба “ЛГ” предложит вам разнообразные поездки в культурные центры мира.

**Наша реклама — это
кратчайшее достижение
вашей цели!**

Тел/факс: 208-6319.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yury Ryashentsev, Olga Yermolaeva and Vadim Stepanov, as well as poems by Mael Feinberg (publication and preface by Vladimir Glotser).

The novel «The Round Dance» by Anton Utkin is being continued, and we are publishing short stories by Boris Yekimov, William Ozolin and Georgy Ball.

In the section «Literary Heritage» we are publishing letters written by Yevgeny Zamyatin to various addressees (publication by T. Davydova and A. Tyurin).

The essay «Returning from Leningrad to St. Petersburg» by Mikhail Kuraev occupies the section «Writer's Diary».

In the section «Philosophy. History. Culture» Svetlana Semenova, Vladimir Miku-shevich and others discuss the works by Daniil Andreev in connection with publishing of his collected works (record of the conversation by T. Antonyan).

The section «By the Way» contains the reflections by Sergei Kostyrko on the literary prizes in St. Petersburg.

In the section «Book Review» Valery Lipnevich reviews poems by Vladimir Burich; Tatyana Bek reviews the ones by Sergei Biryukov; Lilya Pann reviews poems by Vladimir Gandelsman; Sergei Biryukov reviews the ones by Gennady Kalashnikov; Renata Galtseva reviews the book «Dying of Art» by V. Veidle; I. Mochalov reviews the book «Historical Psychology of Science» by M. Yaroshevsky.

In the section «Editor's Mail» K. Pomeranets writes about floods in St. Petersburg — Leningrad.

In the section «Foreign Books about Russia» Maya Zlobina writes about awarding Russian prosaist Andrei Makine, who writes in French, the Goncourt Prize.

The issue also contains our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.06.96 г. Подписано к печати 21.08.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 21 600 экз. Зак. 2350. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1996 ГОДА И В 1997 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
ИНГМАР БЕРГМАН. Исповедальные беседы (роман, перевод со шведского);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда (повесть);

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Дневники (перевод с польского);

ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. Наш старый дом (повесть); **В снегах** (очерк);

ИГОРЬ ЗОЛОТОВСКИЙ. Путешествие к Набокову;

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Авторитет. Рассказы;

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. Пастырь добрый (об о. Александре Мене);

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ. Детство с Куоккалой и Достоевским (обрывки воспоминаний);

АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др. (рассказы);

МАРИНА НОВИКОВА. Ужасы (продолжение статей «Маргиналы», «Соблазны», «Символы»);

БУЛАТ ОКУДЖАВА. Автобиографические анекдоты;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Прохождение тени (роман);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Шкаф (рассказы);

КРИСТОФ РАНСМАЙР. Morbus Kitahara (роман, перевод с немецкого);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);

НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ. Переход Суворова через Альпы (повесть в новеллах);

УОЛЛЕС ШОУН. Лихорадка (повесть, перевод с английского);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Митина любовь (повесть);

Ю. ЭДЛИС. Аноним. Роман;

а также новые произведения **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АНДРЕЯ БИТОВА, СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ОЛЕГА ЛАРИНА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**